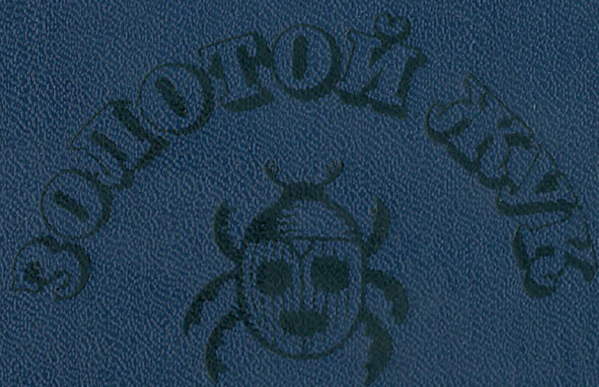


Эдгар По



БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Т. К. Кестертон





Библио-
тека
приклю-
чений





Библиотека
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

7

ИЗДАТЕЛЬСТВО

*«Детская
литература»*

МОСКВА

1967



Эдгар По
**ЗОЛОТОЙ
ЖУК**



Т. К. Честертон

**СТРАННЫЕ
ШАТИ**



С63

П41

Перевод с английского

Рисунки

Н. ЦЕЙГЛИНА

Оформление

Ю. КИСЕЛЕВА

Эдгар По



ЗОЛОТОЙ ЖУК



Рассказы

ЗОЛОТОЙ ЖУК



Глядите! Хо! Он пляшет как безумный.
Тарантул укусил его.

«Все не правы»¹

Много лет назад мне довелось близко познакомиться с неким Уильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избежать унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Сэлливановом острове, поблизости от Чарльстона в Южной Каролине.

Это очень странный остров. Он тянется в длину мили на три и состоит почти что из одного морского песка. Ширина его нигде не превышает четверти мили. От материка он отделен едва заметным проливом, вода в котором с трудом пробивает себе путь сквозь тину и густой камыш — убежище болотных курочек. Деревьев на острове мало, и растут они плохо. Настоящего дерева не встретишь совсем. На западной оконечности острова, где возвышается форт Моултри и стоит несколько жалких строений, заселяемых в летние месяцы городскими жите-

¹ В качестве эниграфа использована цитата из пьесы «Все не правы» английского драматурга Артура Мэрфи (1727—1805).

лями, спасающимися от лихорадки и чарльстонской пыли, можно увидеть колючую карликовую пальму. Зато весь остров, если не считать этого западного мыса и белой, твердой как камень песчаной полосы на взморье, покрыт частой зарослью душистого мирта, столь высоко ценимого английскими садоводами. Кусты его достигают нередко пятнадцати — двадцати футов и образуют сплошную чашу, наполняющую воздух тяжким благоуханием и почти непроходимую для человека.

В сокровенных глубинах миртовой чащи, ближе к восточной, удаленной от материка оконечности острова, Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я, по воле случая, с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Многое в характере отшельника внушало интерес и уважение. Я увидел, что он отлично образован и наделен недюжинными способностями, но вместе с тем заражен мизантропией и страдает от болезненного состояния ума, впадая попеременно то в восторженность, то в угрюмость. У Леграна было немало книг, но он редко к ним обращался. Он предпочитал охотиться и ловить рыбу или же бродить по прибрежному песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. Его коллекции насекомых позавидовал бы Сваммердам¹. В этих странствиях Леграна обычно сопровождал старый негр Юпитер. Он был отпущен на волю еще до разорения семьи; однако ни угрозами, ни посулами нельзя было убедить Юпитера, что он лишился неотъемлемого права следовать повсюду за «масса Уиллом». Возможно, впрочем, что родные Леграна, обеспокоенные его психической неуравновешенностью, поддерживали это упорство в Юпитере, чтобы не оставить беглеца без всякого попечения.

Зимы на широте Сэлливанова острова редко бывают очень суровыми, и в осеннее время почти никогда не приходится разводить огонь в помещении. В средних числах октября 18.. года выдался, однако, необычайно холодный день. Перед самым заходом солнца я пробрался сквозь вечнозеленые заросли к хижине моего друга, которого не видел уже несколько недель. Я жил в Чарль-

¹ Сваммердам Ян (1637—1680) — голландский биолог, автор «Истории насекомых».

стане, в девяти милях от острова, и удобства сообщения в те дни далеко отставали от нынешних. Добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив ответа, разыскал в потайном месте ключ, отомкнул замок и вошел.

В камине пылал славный огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло, поближе к потрескивающим поленьям, и стал терпеливо ждать возвращения хозяев.

Они пришли вскоре после наступления темноты и сердечно меня приветствовали. Юпитер, улыбаясь до ушей, стал хлопотать по хозяйству, приготовляя на ужин болотных курочек. У Леграна был очередной приступ восторженности,— не знаю, как еще именовать это состояние. Он нашел двустворчатую раковину, которой не встречал ранее, и, что еще более радовало его, выследил и с помощью Юпитера поймал жука, по его словам совершенно неизвестного науке. Он сказал, что завтра хочет выслушать мое суждение об этом жуке.

— Почему же не сегодня? — спросил я, потирая руки у огня и мысленно посылая к чертям всех жуков на свете.

— Если бы я знал, что вы здесь! — сказал Легран.— Но ведь мы так давно не виделись. Как я мог угадать, что именно сегодня вечером вы к нам пожалуете? Когда мы с Юпитером возвращались, то повстречали лейтенанта Дж.— из форта,— и я, по глупости, отдал ему жука до завтра. Так что сейчас жука у меня нет. Переночуйте, и с восходом солнца мы пошлем за ним Юпа. Это просто очарование!

— Что? Восход солнца?

— К черту восход солнца! Я о жуке! Он ослепительно золотой, величиной с крупный лесной орех, и на спинке у него три пятнышка, черных как смоль. Два повыше, и одно, продолговатое, внизу. А усики и голову...

— Где же там олово, масса Уилл, послушайте вы меня! — вмешался Юпитер.— Жук весь золотой — чистое золото внутри и снаружи, только вот на спинке пятна. Никогда еще не встречал такого тяжелого жука.

— Допустим, что это так и жук из чистого золота, — сказал Легран, как мне показалось, более серьезным тоном, чем того требовали обстоятельства, — но почему же, Юп, мы должны из-за этого есть пережаренную дичь?

Действительно, цвет жука таков,— продолжал он, обращаясь ко мне,— что я почти готов согласиться с Юпитером. Надкрылья излучают яркий металлический блеск — в этом вы сами сможете завтра убедиться. Пока что я нарисую вам, как он выглядит.

Легран сел за столик, где были перо и чернильница. Бумаги на столе не оказалось. Он поискал в ящике, но и там ничего не нашел.

— Не беда! — сказал он наконец. — Обойдусь и так.

Он вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок писчей бумаги и, взяв перо, стал бегом набрасывать рисунок. Пока он занимался этим, я продолжал греться у огня; озноб мой еще не прошел. Легран закончил рисунок и протянул его мне, не поднимаясь со стула. В эту минуту послышался громкий лай и царапанье у входной двери. Юпитер распахнул ее, и огромный ньюфаундленд Леграна ворвался в комнату и стал бурно ластиться ко мне, положив лапы прямо мне на плечи,— я подружился с ним еще в прежние свои посещения. Когда пес уgomонился, я взглянул на бумагу, которую держал в руке, и, по правде говоря, был немало озадачен рисунком моего друга.

— Что ж,— промолвил я, наглядевшись на него вдовсталь,— это действительно странный жук. Признаюсь, совершенная новинка, никогда ничего подобного не видывал. По-моему, этот жук походит на череп, каким его изображают на эмблемах. Да что там походит!.. Самый настоящий череп!

— Череп? — воскликнул Легран.— Пожалуй, что и так, в особенности на моем рисунке. Общая форма овальная. Два черных пятнышка сверху напоминают глазницы — не так ли? Нижнее же, удлиненное пятно, можно счесть за оскал черепа.

— Да, может быть, Легран,— сказал я,— но рисовальщик вы слабый. Я подожду с окончательным суждением о жуке, пока не увижу его собственными глазами.

— Как вам угодно,— отозвался он с некоторой досадой,— но, по-моему, я рисую недурно — по крайней мере, я привык так думать. У меня были отличные учителя, и, позволю себе заметить, чему-то я должен был у них научиться.

— В таком случае вы меня дурачите, милый друг,— сказал я.— Вы нарисовали довольно сносный череп, я готов даже допустить — хоть я и дилетант в вопросах остеологии,— что вы нарисовали превосходный череп. И, если ваш жук на самом деле похож на него, это самый поразительный жук на свете. Жук с такой внешностью должен вызывать суеверный страх. Я не сомневаюсь, что вы назовете его *scarabaeus carui hominis*¹ или как-нибудь в этом роде; естественная история полна подобных наименований... Хорошо, а где же усики?

— Усики? — повторил Легран, которого наш спор почему-то привел в дурное расположение духа.— Разве вы не видите? Я нарисовал их в точности, как в натуре. Думаю, что большего от меня требовать нельзя.

— Не стоит волноваться,— сказал я,— может быть, вы их и нарисовали, но я их не вижу.— И я вернул ему рисунок без дальнейших замечаний, не желая сердить его.

Я был удивлен странным оборотом, который приняла эта история. Раздражение Леграна было непонятно: на его рисунке не было даже следа усиков и жук как две капли воды походил на череп.

Он с недовольным видом взял у меня бумагу и уже сомкнул ее, намереваясь, видимо, бросить в огонь, когда что-то в рисунке привлекло его внимание. Легран вдруг побавровел, еще через мгновение стал блее мела. Некоторое время он разглядывал рисунок, словно изучая его, потом встал и, взяв свечу со стола, пересел на сундук в другом конце комнаты. Там он снова устался на бумагу, поворачивая ее то так, то этак, однако хранил молчание. Хотя его поведение было странным, я счел благоразумным также помолчать: мой друг, как видно, погружался в свое угрюмое настроение. Легран достал из кармана бумажник, тщательно спрятал рисунок, затем положил бумажник в бюро и замкнул его там. Он как будто пришел в себя, однако прежнее оживление уже не возвращалось. Он не был мрачен, но его мысли были где-то далеко. Рассеянность Леграна все возрастала, и мои попытки развлечь его не имели успеха. Я думал сперва заночевать в гостях, как бывало уже не раз, но,

¹ Жук — человеческая голова (лат.).

считаясь с настроением Леграна, решил вернуться домой. Он не удерживал меня, однако, прощаясь, пожал мне руку сердечнее, чем обычно.

По прошествии месяца, в течение которого я не имел ни малейших сведений о Легране, меня посетил в Чарльстоне его слуга, Юпитер. Я никогда не видел старого добряка негра таким удрученным, и меня охватила тревога: уж не случилось ли чего дурного с моим другом?

— Ну, Юп,— сказал я,— что там у вас? Как поживает твой хозяин?

— По чести говоря, масса, он нездоров.

— Нездоров? Ты пугаешь меня! На что же он жалуется?

— В том-то и штука! Ни на что не жалуется. Но он очень болен.

— Очень болен, Юпитер? Что же ты сразу не сказал? Лежит в постели?

— Какое там лежит! Его с собаками не сыщешь! В том-то и горе! Ох, болит у меня душа! Бедный масса Уилл!..

— Юпитер, я хочу все-таки понять, о чем ты толкуешь. Ты сказал, что хозяин твой болен. Не говорил он тебе, что именно у него болит?

— Вы не сердчайте на меня, масса. Не знаю, что с ним стряслось. А я вас спрашиваю, почему масса Уилл ходит весь день, уставившись в землю, а сам белый, как гусь? И почему он все время считает?..

— Что он делает?

— Считает да цифры на доске пишет,— таких чудных цифр я отроду не видел. Говорю, страх за него берет. Смотрю в оба, глаз не спускаю. А вчера все-таки проворонил: он убежал — солнце еще не вставало — и пропадал до самой ночи. Я вырезал большую палку, хотел отлупить его, когда придет, да пожалел, старый дурак; очень уж он грустный вернулся...

— Как? Что? Отлупить его?.. Нет, Юпитер, не будь слишком суров с беднягой, не бей его — он этого не перенесет. Скажи мне вот что: как ты думаешь, что послужило причиной этой болезни или, вернее, этого странного поведения? Не приключилось ли с ним что-нибудь дурное, после того как я приходил к вам?

— Нет, масса, после того как вы приходили, ничего

дурного не приключилось. А вот до того приключилось. В тот самый день оно и приключилось.

— Что? О чем ты толкуешь?

— Известно о чем, масса! О жуке!

— О чем?..

— О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил масса Уилла, укусил в голову.

— Золотой жук укусил его? Эка напасть!

— Вот-вот, масса, очень большая пасть, и когти тоже крепкие. В жизни не видел такого чертова жука: бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что подвернется. Масса Уилл схватил его да выронил, тут же выронил; тогда-то жук и укусил его. А мне морда этого жука сразу не понравилась, и я решил — голыми руками брать его ни за что не стану. Поднял клочок бумаги да и завернул его в бумагу, а край бумаги засунул ему прямо в пасть — вот что я сделал!

— Значит, ты действительно думаешь, что твоего хозяина укусил жук и что это причина его болезни?

— Не думаю, а точно говорю. Если бы его не укусил золотой жук, разве ему снилось бы золото? Я много кое-чего слышал про этих золотых жуков.

— А откуда ты знаешь, что ему снится золото?

— Откуда знаю? Да он во сне об этом говорит — вот откуда знаю.

— Хорошо, Юп, может быть, все это и верно. Ну, а каким же счастливым обстоятельствам я обязан чести твоего сегодняшнего визита?

— О чем это вы толкуете, масса?

— Ты принес какое-нибудь послание от господина Леграна?

— Нет, масса. Он велел вам передать вот это.

И Юпитер вручил мне записку следующего содержания:

Дорогой N!

Почему вы совсем перестали бывать у меня? Неужели вы приняли близко к сердцу какую-нибудь очередную brusquerie¹ с моей стороны? Нет, это, конечно, не так.

¹ Резкость (франц.).

За то время, что мы не виделись, у меня появилась серьезная забота. Хочу рассказать вам о ней, но не знаю, как за это взяться да и следует ли рассказывать вообще.

Последние дни я был не совсем здоров, и старина Юп вконец извел меня своим непрошеным попечением. Можете себе представить, он припас вчера огромную дубину; хотел поколотить меня за то, что я ускользнул от него и прогулял весь день *solus*¹ на материке в горах. Только нездоровье спасло меня от взбучки.

Со времени нашей встречи ничего нового к моей коллекции не прибавилось.

Если у вас есть хоть малейшая возможность, приезжайте вместе с Юпитером. Я очень прошу вас. Мне нужно повидаться с вами сегодня же вечером по важному делу. Поверьте, что это дело величайшей важности. Ваш, как всегда,

Уильям Легран.

Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь стиль ее был совершенно необычен для Леграна. Что ему пришло в голову? Какая новая фантазия овладела его необузданным воображением? Что за «дело величайшей важности» могло быть у него? Рассказ Юпитера не предвещал ничего доброго. Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его несчастье помутили рассудок моего друга. Не колеблясь ни минуты, я решил ехать вместе с негром.

Когда мы пришли к пристани, я заметил на дне лодки, в которой нам предстояло плыть, косу и две лопаты, как видно совершенно новые.

— Это еще что, Юп? — спросил я.

— Коса и две лопаты, масса.

— Ты прав. Но откуда они взялись?

— Масса Уилл приказал мне купить в городе косу и две лопаты, и я отдал за них чертову уйму денег.

— Во имя всего, что есть таинственного на свете! Зачем твоему масса Уиллу коса и лопаты?

— Зачем — я не знаю, и черт меня побери, если он сам знает. Все дело в жуке!

¹ Один (лат.).

Видя, что от Юпитера толку не добьешься и что все его интеллектуальные способности парализованы мыслью о жуке, я вскочил в лодку и поднял парус. Сильный попутный ветер быстро пригнал нас в каменистую, опоясанную скалами бухточку к северу от форта Моултри, откуда оставалось около двух миль до хижины Леграна.

Когда мы пришли, было три часа пополудни. Легран ожидал нас с видимым нетерпением. Он крепко сжал мне руку, и эта нервическая горячность пробудила вновь и усилила мои недавние опасения. В лице Леграна была какая-то мертвенная бледность, запавшие глаза сверкали лихорадочным огнем. Осведомившись о его здоровье и не зная, о чем еще говорить, я спросил, получил ли он обратно от лейтенанта Дж. своего жука.

— О да! — ответил он и залился ярким румянцем. — На другое же утро! Ничто не разлучит меня теперь с этим жуком. Знаете ли вы, что Юпитер оказался совершенно прав?

— В чем оказался прав? — спросил я, и меня охватило горестное предчувствие.

— Жук — из чистого золота!

Он произнес эти слова с полной серьезностью. Я был глубоко потрясен.

— Жук этот принесет мне счастье, — продолжал Легран с торжествующей усмешкой, — он вернет мне утраченное родовое состояние. Что ж удивительного, что я его так ценю? Он ниспослан мне судьбой и вернет мне богатство, если только я правильно пойму его указания... Юпитер, принеси жука!

— Что? Жука, масса? Не буду я связываться с жуком! Несите сами.

Легран поднялся с торжественным и важным видом и вынул жука из застекленного ящика, где хранил его.

Жук был действительно великолепен. В научной ценности находки Леграна не приходилось сомневаться — натуралисты в то время еще не знали такого жука. На спинке виднелись с одного конца два круглых черных пятнышка, с другого — одно продолговатое. Надкрылья были необычайно твердые и блестели, словно полированное золото. Тяжесть жука также была необычной. Учитывая все это, можно было не порицать слишком строго

Юпитера за его суждения о жуке. Но как мог Легран разделять мнение Юпитера — оставалось для меня неразрешимой загадкой.

— Я послал за вами...— начал Легран торжественным тоном, когда я кончил осматривать жука,— я послал за вами, чтобы испросить вашего совета и вашей помощи для уяснения воли Судьбы и Жука...

— Дорогой Легран,— воскликнул я, прерывая его речь,— вы совсем больны, вам надо лечиться! Лягте сейчас же в постель, и я побуду с вами несколько дней, пока вам не станет легче. Вас лихорадит.

— Пощупайте мне пульс,— сказал он.

Я пощупал пульс и вынужден был признать, что ни малейшей лихорадки у него нет.

— Бывают болезни и без лихорадки. Послушайтесь на сей раз моего совета. Прежде всего — в постель... Затем...

— Вы заблуждаетесь,— прервал он меня.— Я совершенно здоров, но меня обуревают сильнейшее волнение. Если вы действительно желаете мне добра, вы должны помочь мне успокоиться.

— А как это сделать?

— Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы, и нам нужен помощник, на которого мы могли бы положиться. Вы единственный, кому мы доверяем. Ждет ли нас успех или неудача — все равно волнение, которое вы замечаете во мне, утихнет.

— Я буду очень рад, если смогу быть вам полезным,— ответил я,— но скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы?

— Да!

— В таком случае, Легран, я отказываюсь принимать участие в столь нелепой затее.

— Жаль! Очень жаль! Нам придется тогда идти одним.

Идти одним! Он действительно сумасшедший!

— Погодите! Сколько времени вы намереваетесь пробыть там?

— Должно быть, всю ночь. Мы отправимся сию же минуту и к восходу солнца вернемся домой во что бы то ни стало.

— Согласны вы поклясться честью, что, когда ваша прихоть будет выполнена и вся эта затея с жуком (боже праведный!) благополучно завершится, вы вернетесь домой и станете слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом?

— Да. Обещаю. А теперь в путь! Время не ждет!

С тяжелым сердцем решил я сопровождать моего друга. Было около четырех часов, когда мы пустились в путь — Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер нес косу и лопаты; он настоял на том не от избытка любезности или трудолюбия, но, как я полагаю, из страха доверить эти орудия своему господину. Вид у него был преупрямый. «Чертов жук!» — вот единственное, что я услышал от него за все время путешествия. Мне поручили два потайных фонаря. Легран нес жука. Жук был привязан к концу шнура, и Легран крутил его на ходу, словно заклинатель. Когда я заметил это новое явное доказательство безумия моего друга, я с трудом удержался от слез. Тем не менее я решил пока ни в чем не перечить Леграну и ждать случая, когда я смогу предпринять какие-либо энергичные и действенные меры. Я сделал несколько попыток завязать беседу о целях нашего похода, но безуспешно. Уговорив меня идти вместе с ними и довольный этим, Легран, видимо, не хотел больше вести никаких разговоров и на все мои расспросы отвечал односложно: «Увидим!»

Дойдя до мыса, мы сели в лодку и переправились на материк, потом взобрались по высокому берегу и, взяв направление на северо-запад, углубились в дикий и пустынный край, где, казалось, никогда не ступала нога человека. Легран уверенно вел нас вперед, лишь изредка останавливаясь и сверяясь с ориентирами, которые он, как видно, приметил, посещая эти места ранее.

Так мы шли часа два, и на закате перед нами открылась местность, еще более угрюмая, чем все, что нам встретилось до сих пор. Это был род плато, раскинувшегося у подножия почти неприступного склона, поросшего лесом от низу до самого верха. Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не скатывались вниз лишь потому, что деревья преграждали им путь. Глубокие расселины пересекали местность во всех направлениях и придавали пейзажу еще большую суровость.

Плоскогорье, по которому мы шли, сплошь поросло ежевикой. Вскоре стало ясно, что без помощи косы через эти заросли не пробраться. По приказу Леграна Юпитер стал выкашивать для нас тропинку к тюльпановому дереву необыкновенной высоты, которое стояло окруженное десятком дубов и далеко превосходило и эти дубы, и все деревья, какие мне приходилось когда-либо видеть, раскидистой кроной, величавой красотой листвы и царственностью общих очертаний. Когда мы подошли поближе, Легран обернулся к Юпитеру и спросил его, сумеет ли он взобраться на это дерево. Старик был озадачен столь неожиданным вопросом и сперва ничего не ответил; потом приблизился к гигантскому стволу и обошел его кругом, внимательно разглядывая. Когда осмотр был закончен, Юпитер сказал просто:

— Да, масса! Еще не выросло такого дерева, чтобы Юпитер не смог на него взобраться!

— Тогда не мешай и лезь, потому что скоро станет темно и мы ничего не успеем сделать.

— Высоко лезть, масса? — спросил Юпитер.

— Взирайся вверх, пока я не скажу тебе... Эй, стой! Возьми с собой жука.

— Жука, масса Уилл? Золотого жука?! — вскричал негр, отшатнувшись в испуге. — Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если я его возьму!

— Слушай, Юпитер, если ты, здоровенный, рослый негр, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, тогда держи его так, на шнурке, — но если ты не возьмешь жука совсем, мне придется — как это ни печально — проломить тебе голову вот этой лопатой.

— Совсем ни к чему шуметь, масса, — сказал Юпитер, видимо пристыженный и ставший более сговорчивым. — Всегда вы браните старого негра. А я только пошутил. Разве я боюсь жука? Что такое жук!..

И, взяв осторожно конец шнурка и держа жука как можно дальше от себя, он приготовился лезть на дерево.

Тюльпановое дерево — *Liriodendron Tulipifera* — великолепнейшее из деревьев, произрастающих в американских лесах. В юном возрасте оно отличается необыкновенно гладким стволом и выгоняет ветви лишь на большой высоте. Однако по мере того как дерево стареет

поверхность ствола становится неровной и узловатой, а вместе с тем на нем появляется и множество коротких сучьев. Так что задача, стоявшая перед Юпитером, казалась невыполнимой лишь на первый взгляд. Крепко обхватив огромный ствол руками и коленями, нащупывая босыми пальцами ног неровности коры для упора и раздав счастливо избежав падения, Юпитер добрался до первой развилины ствола и, видимо, считал свой подвиг выполненным. Главная опасность действительно была позади, но Юпитер находился на высоте в шестьдесят или семьдесят футов.

— Куда лезть дальше, масса Уилл? — спросил он.

— По самому толстому суку вверх, вот с этой стороны, — сказал Легран.

Негр тотчас повиновался: лезть было, видимо, нетрудно. Он поднимался все выше, и скоро его коренастая фигура исчезла из виду, потерявшись в густой листве. Потом послышался его голос словно издалека:

— Сколько еще лезть?

— Где ты сейчас? — спросил Легран.

— Очень, очень высоко! — ответил негр. — Вижу верхушку дерева, а дальше небо.

— Поменьше смотри на небо и слушай внимательно, что я скажу. Посмотри вниз и сосчитай, сколько ветвей на суку, по которому ты лезешь. Сколько ветвей ты миновал?

— Одна, две, три, четыре, пять! Подо мной пять веток, масса.

— Поднимись еще на одну!

Вскоре Юпитер заверил нас, что он добрался до седьмой ветви.

— А теперь, Юп, — закричал Легран в сильнейшем волнении, — ты полезешь по этой ветке! Лезь, пока она будет тебя держать! Найдешь что-нибудь на ней — крикни.

Если у меня оставались еще сомнения по поводу помешательства моего друга, сейчас они исчезли. Увы, он был сумасшедший! Следовало подумать о том, как доставить его домой. Пока я размышлял над этим, опять послышался голос Юпитера:

— По этой ветке я боюсь далеко лезть. Эта ветка почти вся сухая.

— Ты говоришь, что ветка засохла, Юпитер? — закричал Легран прерывающимся голосом.

— Да, масса, она мертвая, готова для того света.

— Боже мой! Что делать? — воскликнул Легран, видимо, в отчаянии.

— Что делать? — откликнулся я, обрадованный, что наступил мой черед сказать слово.— Вернуться домой и лечь в постель. Будьте умницей, не надо медлить. Уже поздно. И к тому же вы мне обещали...

— Юпитер! — закричал он, не обращая на мои слова ни малейшего внимания.— Ты слышишь меня?

— Слышу, масса Уилл, как не слышать!

— Возьми нож и постругай эту ветку. Может быть, она не очень гнилая.

— Гнилая-то она гнилая,— ответил негр немного погодя,— да не такая уж гнилая. Пожалуй, я могу продвигаться еще вперед. Но только я один!

— Что это значит? Ты и так один!

— Я про жука. Жук очень, очень тяжелый. Если я брошу его вниз, я думаю — одного старого негра эта ветвь выдержит.

— Старый плут! — закричал Легран, испытывая, видимо, большое облегчение.— Не городи вздора! Если ты бросишь жука, я сверну тебе шею. Эй, Юпитер, ты слышишь меня?

— Конечно, слышу, масса! Нехорошо так ругать бедного негра!

— Так вот, слушай! Если ты проберешься еще немножко вперед по этой ветке, осторожно, конечно, чтобы не упасть, и если ты не выпустишь из рук жука, я подарю тебе серебряный доллар сразу, как только ты спустишься вниз.

— Хорошо, масса Уилл, лезу,— очень быстро ответил Юпитер,— а вот уже и конец.

— Конец ветки? — завопил Легран.— Ты правду говоришь, ты на конце ветки?

— Не совсем на конце, масса... Ой-ой-ой! Господи боже мой! Что это здесь на дереве?

— Ну? — крикнул Легран, очень довольный. — Что ты там нашел?

— Да ничего особенного — череп. Кто-то забыл свою голову на дереве, и вороны склевали все мясо.

— Ты говоришь — череп?! Очень хорошо! Как он держится на ветке? Почему он не падает?

— А ведь верно, масса! Сейчас погляжу. Что за притча такая, удивительно! Большой длинный гвоздь. Череп прибит к ветке гвоздем.

— Теперь, Юпитер, делай в точности, как я скажу. Слышишь меня?

— Слышу, масса!

— Слушай внимательно! Найди левый глаз черепа.

— Угу! Да! А где же мне искать левый глаз черепа, если он совсем без глаз?

— Ох, какой ты болван! Ты знаешь, где у тебя правая рука и где левая?

— Знаю, хорошо знаю, левой рукой я колю дрова.

— Верно! Ты левша. Так вот, твой левый глаз с той же стороны, что и твоя левая рука. Ну, сумеешь ты теперь найти левый глаз черепа, то место, где был левый глаз? Нашел?

Ответа долго не было. Потом негр сказал:

— Левый глаз черепа с той же стороны, что и левая рука черепа? Но ведь у черепа совсем нет левой руки. А, да ладно! Вот, я нашел глаз! Что с ним делать?

— Пропусти через него жука и спусти вниз, сколько хватит шнура. Только смотри не урони.

— Гогово, масса Уилл! Самое простое дело — пропустить жука через дырку. Смотрите-ка!

Во время этого диалога Юпитер был скрыт от нас листом дерева. Но вот на конце шнура показался жук, которого он спустил вниз. Заходящее солнце еще слегка освещало возвышенность, на которой мы стояли, и в последних его лучах жук сверкнул, как полированный золотой шарик. Он свободно висел между ветвей дерева, и, если бы Юпитер отпустил шнурок, жук упал бы прямо к нашим ногам. Легран быстро схватил косу и расчистил участок диаметром в три-четыре ярда. Покончив с этим, он велел Юпитеру отпустить шнурок с жуком и слезать вниз.

Забив колышек точно в том месте, куда упал жук, мой друг вынул из кармана землемерную ленту. Он прикрепил один конец к стволу дерева и протянул ее до колышка, после чего, продолжая разматывать ленту, отмерил в том же направлении еще пятьдесят футов. Юпитер

с косой в руках шел впереди, срезая ежевичные кусты. Дойдя до нужного места, Легран вбил второй колышек и, приняв его за центр, очертил круг диаметром примерно в четыре фута. Потом взял лопату, дал по лопате Юпитеру и мне и велел нам рыть изо всех сил.

Откровенно говоря, я не питаю склонности к подобным забавам даже при свете дня; теперь же спускалась ночь, я и без того был утомлен нашей прогулкой. Охотнее всего я ответил бы «нет», но мне не хотелось перечить моему бедному другу и тем усугублять его душевное расстройство. Так что делать было нечего. Если бы я мог надеяться на помощь Юпитера, я, ни минуты не колеблясь, применил бы силу и увел безумца домой. Однако я слишком хорошо знал старого негра и понимал, что ни при каких обстоятельствах он не поддержит меня против своего господина. Что до Леграна, мне было вполне ясно, что он заразился столь распространенной у нас на Юге манией кладоискательства и что его пылкое воображение было подстегнуто находкой жука и еще, наверно, упрямой болтовней Юпитера о том, что жук этот «из чистого золота».

Мании такого рода легко приводят к помешательству неустойчивый рассудок, особенно если они находят себе пищу в тайных стремлениях души. Я вспомнил слова моего бедного друга, что жук вернет ему утраченное состояние. Я был раздосадован и вместе с тем глубоко огорчен. Но в конце концов я решил проявить добрую волю (поскольку не было иного выхода) и принять по-сильное участие в поисках клада, чтобы быстрым и наглядным образом убедить Леграна в беспочвенности его фантазии.

Мы зажгли фонари и принялись рыть с усердием, которое заслуживало лучшего применения. Свет струился по нашим лицам, и я подумал, что мы образуем весьма живописную группу и что случайный путник, натолкнувшись на нас, должен будет преисполниться странных мыслей и подозрений.

Работа шла уже добрых два часа. Мы сохраняли полное молчание, и нас смущал лишь лай собаки, которая выказывала необычайный интерес к нашей работе. Этот лай становился все более настойчивым, и мы стали опасаться, как бы он и в самом деле не привлек какого-



Легран с громким проклятием схватил негра за шиворот..

нибудь бродягу, расположившегося на отдых по соседству. Точнее говоря, боялся этого Легран; я был бы только рад, если бы вмешательство постороннего человека помогло вернуть домой моего путешественника. Разбушевавшегося пса утихомирил Юпитер, проявив при этом большую изобретательность. Он вылез из ямы с решительным видом и стянул ему пасть своими подтяжками, после чего, хмуро посмеиваясь, снова взялся за лопату.

После двухчасовой работы наша яма достигла пяти футов в глубину, однако никаких признаков клада не было видно. Мы приостановились, и я начал надеяться, что комедия подходит к концу. Однако Легран, хоть и озадаченный, как я мог заметить, отер пот со лба и снова взялся за лопату. Вырытая нами яма уже занимала всю площадь очерченного Леграном круга. Теперь мы вышли за эти границы, а потом углубили яму еще на два фута. Результаты остались те же. Мой кладоискатель, которого мне было жаль от души, вылез наконец из ямы и принялся медленно и неохотно натягивать скюртук, который сбросил перед началом работы. В каждой черточке его лица сквозило горькое разочарование. Я молчал, Юпитер, по знаку своего господина, стал собирать инструменты. Потом он снял с собаки самодельный намордник, и мы двинулись домой, не произнеся ни слова.

Не прошли мы и десяти шагов, как Легран с громким проклятием повернулся к Юпитеру и схватил его за ворот. Пораженный негр выпучил глаза, разинул рот и, выронив лопаты, повалился на колени.

— Каналья, — еле вымолвил Легран сквозь стиснутые зубы, — проклятый черный негодяй, отвечай немедленно, отвечай без уверток: где твой левый глаз?!

— Помилуй бог, масса Уилл, вот мой левый глаз, вот он! — ревел перепуганный Юпитер, кладя руку на правый глаз и прижимая ее изо всей мочи, словно опасаясь, что господин его вознамерился вырвать ему этот глаз.

— Я так и думал! Я знал это! Ура! — вскричал Легран, отпуская негра. Он исполнил несколько замысловатых антраша, поразивших его слугу, который, поднявшись на ноги и словно онемев от неожиданности, переводил взгляд с хозяина на меня и с меня снова на хозяина.

— За дело! — сказал Легран. — Вернемся! Мы еще выиграем эту игру!

И он повел нас обратно к тюльпановому дереву.

— Ну, Юпитер, — сказал Легран, когда мы снова стояли у подножия дерева, — говори, как был прибит череп — лицом к ветке или лицом наружу?

— Наружу, масса, чтобы воронам легче было клевать глаза.

— Теперь скажи, через какой глаз ты пропустил жука, через этот или через тот? — И Легран тронул сперва один глаз Юпитера, потом другой.

— Через этот, масса, через левый, как вы приказали! — Юпитер, как и прежде, указывал на правый глаз.

— Вот и хорошо, начнем сначала!

С этими словами мой друг, в безумии которого, как мне теперь казалось, появилась некоторая система, вытащил колышек, вбитый им ранее на месте падения жука, и переставил его на три дюйма к западу. Снова соединив землемерной лентой колышек со стволом дерева, он отмерил пятьдесят футов до новой точки, которая находилась теперь в нескольких ярдах от нашей ямы.

Мы снова очертили круг, несколько большего размера, чем первый, и опять взялись за лопаты.

Я смертельно устал, однако, хотя я сам еще не отдавал себе отчета в том, что повлияло на меня, прежнее отвращение к работе исчезло. Неведомо почему я почувствовал к ней интерес, более того, меня охватило волнение. В нелепом поведении Леграна сквозило что-то похожее на предвидение, на продуманный план, и это, вероятно, оказало на меня свое действие. Усердно орудя лопатой, я ловил себя на том, что вглядываюсь в яму, словно ищу на дне ее воображаемое сокровище, мечта о котором свела с ума моего бедного друга. Мы трудились уже часа полтора, и эта странная причуда мысли все настойчивее овладевала мной, когда нас снова всполошил отчаянный лай нашего пса. Если раньше он не желал молчать из озорства или какого-то каприза, теперь его беспокойство было непритворным. Он не дался Юпитеру, когда тот опять хотел напаялить ему намордник, и, прыгнув в яму, стал яростно разгребать лапами землю. Через несколько секунд он отрыл два человеческих скелета, вернее, груды костей, перемешанных

с остатками истлевшей шерстяной материи и металлическими пуговицами. Еще два удара лопатой — и мы увидели широкое лезвие испанского ножа и несколько золотых и серебряных монет.

При виде монет Юпитер предался необузданной радости, но на лице его господина выразилось сильнейшее разочарование. Он умолял нас, однако, не прекращать работы. Не успел он вымолвить свою просьбу, как я оступился и упал ничком, зацепившись ногой за большое железное кольцо, прикрытое рыхлой землей.

Теперь работа пошла уже не на шутку; лихорадочное напряжение, испытанное за эти десять минут, я не решусь сравнить ни с чем в своей жизни. Мы отрыли продолговатый деревянный сундук, прекрасно сохранившийся. Необыкновенная твердость досок, из которых он был сбит, наводила на мысль, что дерево подверглось химической обработке — вероятно, было пропитано двухлористой ртутью. Сундук был длиною в три с половиной фута, шириною в три фута и высотой в два с половиной. Он был надежно окован железом с заклепками. Перекрещиваясь, железные полосы покрывали поверхность сундука, образуя как бы решетку. По бокам сундука, у самой крышки, было вбито по три железных кольца, всего шесть колец, так что за них могли взяться сразу шесть человек. Втроем мы смогли только лишь сдвинуть сундук с места. Стало ясно, что унести такой груз нам не под силу. По счастью, крышка сундука держалась на двух выдвижных болтах. Дрожащими руками, задыхаясь от волнения, мы вытянули болты. Еще мгновение — и нам открылось неоценимое сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взметнулся блеск такой силы, что мы были буквально ослеплены.

Чувства, с которыми я взирал на сокровище, не передать словами. Прежде всего я был, конечно, изумлен. Легран, казалось, изнемогал от волнения и почти не разговаривал с нами. Лицо Юпитера на несколько секунд стало смертельно бледным, если можно говорить о бледности применительно к черной коже. Он был ошеломлен, его словно поразило громом. Потом он упал на колени и, по локоть погрузив в сокровища голые руки, застыл в таком положении, словно наслаждаясь теплой ванной.

Наконец, испустив глубокий вздох, он произнес нечто вроде монолога:

— И все это сделал золотой жук! Милый золотой жук, бедный золотой жучок! А я его обижал, я его бранил! И не стыдно тебе, старый негр? Отвечай!..

Я оказался вынужденным призвать и господина и слугу к порядку: необходимо было забрать сокровище. Уже спустилась ночь, а до рассвета нам предстояло перенести его домой. Мы не знали, как взяться за дело, голова шла кругом, и много времени ушло на размышления. Наконец мы извлекли из сундука две трети его содержимого и после этого, тоже не без труда, вытащили сундук из ямы. Вынутое сокровище мы спрятали в кустах ежевики и оставили под охраной нашего пса, которому Юпитер строго приказал ни под каким видом не двигаться с места и не разевать пасть до нашего возвращения. Затем мы подняли сундук и поспешно двинулись в путь. Дорога была нелегкой, но к часу ночи мы благополучно пришли домой. Слишком измученные, чтобы идти обратно — ведь и человеческая выносливость имеет предел, — мы поужинали и дали себе отдых до двух часов, а потом, захватив три больших мешка, оказавшихся, на наше счастье, в хижине, и не задерживаясь более, отправились назад. Около четырех часов утра мы подошли к тюльпановому дереву, разделили оставшуюся добычу на три примерно равных части и, оставив ямы незасыпанными, снова пустились в путь и сложили золотую ношу в хижине, когда первые слабые проблески зари едва показались на востоке над верхушками деревьев.

Мы изнемогали от усталости, но внутреннее волнение не покидало нас. Проспав три-четыре часа беспокойным сном, мы, словно уговорившись заранее, поднялись и стали рассматривать наше сокровище.

Сундук был полон до краев, и мы потратили весь день и большую часть ночи, перебирая драгоценности. Они были свалены как попало. Видно было, что их бросали в сундук не глядя. После тщательной разборки выяснилось, что доставшееся нам богатство даже значительнее, чем нам показалось с первого взгляда. Одних золотых монет, исчисляя стоимость золота по тогдашнему курсу, было не менее чем на четыреста пятьдесят тысяч долларов. Серебра не встречалось совсем, только лишь

золото иностранного происхождения и старинной чеканки — французское, испанское, немецкое, несколько английских гиней и еще каких-то монет, нам совсем незнакомых. Попадались большие и тяжелые монеты, стертые до того, что нельзя было прочесть надписи на них. Американских монет ни одной. Определить стоимость драгоценностей было труднее. Бриллианты изумили нас своим размером и красотой. Всего было сто десять бриллиантов, и среди них ни одного мелкого. Мы нашли восемнадцать рубинов удивительного блеска, триста десять превосходных изумрудов, двадцать один сапфир и один опал. Все камни были вынуты из оправы и брошены в сундук небрежной рукой. Оправы же, перемешанные с другими золотыми вещами, были сплющены ударом молотка — видимо, для того, чтобы нельзя было опознать драгоценности. Кроме того, что я назвал, в сундуке было множество золотых украшений, около двухсот массивных колец и серег; золотые цепочки — всего тридцать штук, если я не ошибаюсь; восемьдесят три больших тяжелых распятия; пять золотых кадилъниц огромной ценности; большая золотая чаша для изготовления пунша, изукрашенная виноградными листьями и вакхическими фигурами искусной ювелирной работы; две рукоятки от шпага с изящными чеканными украшениями и еще много мелких вещей, которых я не в силах вспомнить. Вес этих драгоценностей превышал триста пятьдесят английских фунтов. Я уж не говорю о часах: их было сто девяносто семь штук, и трое из них стоили не менее чем по пятьсот долларов. Часы были старинной системы, и ржавчина разрушила механизм, но украшенные драгоценными камнями золотые крышки были в сохранности. В эту ночь мы оценили содержимое нашего сундука в полтора миллиона долларов. В дальнейшем, когда мы продали драгоценные камни и золотые изделия (некоторые безделушки мы оставили себе), оказалось, что наша оценка клада была слишком скромной.

Когда, наконец, мы завершили осмотр и владевшее нами необычайное волнение несколько утихло, Легран, который видел, что я сгораю от нетерпения и жажду получить разгадку этой поразительной тайны, принялся за рассказ, не упуская ни малейшей подробности.

— Вы помните, — сказал он, — тот вечер, когда я по-

казал вам свой беглый набросок жука. Вспомните также, как я был раздосадован, когда вы сказали, что мой рисунок походит на череп. Сперва я подумал, вы шутите; потом вспомнил о характерном расположении пятен на спинке жука и решил, что ваш отзыв не так уж абсурден. Насмешка все же задела меня: ведь я считаю хорошим рисовальщиком. И когда вы вернули назад мне клочок пергамента, я вспылil и хотел скомкать его и швырнуть в огонь.

— Клочок бумаги, вы хотите сказать? — заметил я.

— Нет! Я и сам так решил сперва, но, начав рисовать, обнаружил, что это тонкий-претонкий пергамент. Как вы помните, он был очень грязный. Так вот, комкая его в руке, я ненароком взглянул на рисунок, о котором шла речь. Представьте мое изумление, когда я тоже увидел череп на том самом месте, где только что нарисовал жука. В первую минуту я растерялся. Я вдруг увидел, что это — другой рисунок, непохожий на мой, хотя в общих очертаниях и можно было найти нечто сходное. Я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал исследовать пергамент более тщательно. Перевернув его, я обнаружил на обороте свой рисунок — в точности такой, каким он вышел из-под моего пера. Близость этих двух изображений была поистине странной. На обороте пергамента, в точности под моим рисунком жука, был изображен череп, который напоминал мой рисунок и очертаниями и размером. Совпадение было поразительным и на минуту ошеломило меня. Так бывает в подобных случаях: рассудок силится установить причинную связь явлений и, потерпев неудачу, оказывается на время как бы парализованным. Когда я очнулся, меня осенила мысль, которая была еще удивительнее, чем совпадение, о котором я сейчас говорил. Я совершенно ясно и отчетливо помнил, что, когда я рисовал своего жука, на пергаменте не было никакого другого изображения. Я был в этом абсолютно уверен, так как, отыскивая для рисунка местечко почище, поворачивал пергамент то одной, то другой стороной. Если бы череп там был, я, конечно, заметил бы его. Здесь таилась загадка, которую я не мог объяснить. Впрочем, скажу вам: уже тогда, в эту первую минуту, где-то в отдаленных тайниках моего мозга чуть мерцало, подобно светлячку, предчувствие разгадки, ко-

торую столь блистательно подтвердила наша вчерашняя ночная прогулка. Я встал, спрятал пергамент в укромное место и отложил дальнейшие размышления до того, как останусь один.

Когда вы ушли и Юпитер крепко уснул, я приступил к более методическому продумыванию стоявшей передо мной задачи. Прежде всего я постарался восстановить обстоятельства, при которых пергамент попал мне в руки. Мы нашли жука на материке, в миле к востоку от острова и поблизости от линии прилива. Когда я схватил жука, он меня сильно укусил, и я его выронил. Юпитер, прежде чем поднять упавшего возле него жука, стал со своей обычной осторожностью искать поблизости листок или еще что-нибудь, чем защитить свои пальцы. В ту самую минуту и он и я одновременно увидели клочок пергамента; я счел тогда, что это была бумага. Пергамент лежал полузасыпанный песком, только уголок его торчал наружу. Близко от того места я заметил остов корабельной шлюпки,— видно, она пролежала там немалый срок, потому что от деревянной обшивки не оставалось и следа.

Итак, Юпитер подобрал пергамент, завернул в него жука и передал мне. Вскоре мы направились домой. По дороге мы встретили лейтенанта Дж., я показал ему свою находку, и он попросил разрешения взять жука с собой в форт. Я согласился, он быстро опустил жука в жилетный карман, а пергамент остался у меня в руке. Лейтенант поспешил воспользоваться моим разрешением и спрятал жука, быть может боясь, что я переменю свое решение,— вы знаете, как пылко он относится ко всему связанному с естественными науками. Я, в свою очередь, сунул пергамент в карман совершенно машинально.

Вы помните, когда я подошел к столу, чтобы нарисовать жука, у меня не оказалось под рукой бумаги. Я заглянул в ящик — там тоже было пусто. Я стал рыться в карманах, рассчитывая найти какое-нибудь старое письмо, и нащупал пергамент. Я нарочно описываю с большой точностью, как он попал ко мне: эти обстоятельства имеют особое значение.

Можете, если хотите, считать меня фантазером, но должен вам сказать, что уже в ту минуту я установил некоторую логическую связь событий. Я соединил два

звена длинной цепи. На морском побережье лежала шлюпка, неподалеку от шлюпки лежал пергамент — не бумага, заметьте, а пергамент, — на котором был изображен череп. Вы, конечно, спросите: где же здесь связь? Я отвечу, что череп — всем известная эмблема пиратов. Вступая в бой, пираты поднимают флаг с изображением черепа.

Как я уже сказал, то был пергамент. Пергамент сохраняется бесконечно долго, так сказать вечно. Его редко используют для ординарных записей уже потому, что писать и рисовать гораздо легче на бумаге. Это заставляло думать, что череп на пергаменте был нарисован неспроста. Я обратил внимание и на формат пергамента. Один уголок его был по какой-то причине оборван, но первоначально пергамент был удлиненным. Это был именно такой лист пергамента, который предназначается для памятной записи, для записи, которую следует долго и тщательно хранить...

— Все это так, — прервал я Леграна, — но вы ведь говорите, что, когда рисовали на пергаменте жука, там не было никакого черепа. Как же вы беретесь утверждать, что существует связь между шлюпкой и черепом, когда вы сами же заявляете, что этот череп был нарисован (один бог знает кем!) уже после того, как вы нарисовали жука.

— А! Здесь-то и начинается тайна! Хотя замечу, что разгадка ее в этой части не составила для меня большого труда. Я не давал своим мыслям сбиться с пути; логика же допускала только одно решение. Я рассуждал примерно так: когда я стал рисовать жука, на пергаменте не было никаких признаков черепа. Я кончил рисунок, передал его вам и пристально следил за вами, пока не получил свой пергамент обратно. Значит, не вы нарисовали череп. Но, кроме вас, сделать это было некому. Значит, череп был нарисован не человеческой рукой. Откуда же он взялся?

Тут я постарался припомнить с полной отчетливостью решительно все, что происходило в тот вечер. Стояла холодная погода (о, редкий и счастливый случай!), и в камине пылал огонь. Я разогрелся от быстрой ходьбы и присел у стола. Вы же пододвинули свое кресло к самому камину. В ту минуту, как я передал вам пергамент и

вы принялись его разглядывать, вбежал Волк, наш нью-фаундленд, и бросился вам на грудь. Левой рукой вы ласкали пса, стараясь его отстранить, а правую руку с пергаментом опустили между колен, совсем близко к огню. Я побоялся даже, что пергамент вспыхнет, и хотел предупредить вас, но не успел, потому что вы тут же подняли руку и стали снова разглядывать рисунок. Когда я восстановил в памяти всю картину, то уже не сомневался, что рисунок черепа появился на пергаменте под действием тепла.

Вы, конечно, знаете, что с незапамятных времен существуют химические составы, при посредстве которых можно писать на бумаге и на пергаменте невидимыми буквами. Запись становится видимой только под действием тепла. Растворите цафру в царской водке, разведите в четырехкратном по весу количестве воды, и вы получите зеленые чернила. Кобальтовый королек, растворенный в нашатырном спирте, даст красные. Запись постепенно бледнеет, но она появится вновь, если вы прогреете бумагу или пергамент вторично.

Я стал тщательно рассматривать изображение черепа на пергаменте. Наружный контур рисунка — я имею в виду очертания его, близкие к краю пергаamenta, — выделялся сильнее. Было ясно, что действие тепла было недостаточным или же неравномерным. Я тотчас разжег огонь и стал разогревать пергамент над палящим жаром. Вскоре очертания черепа проступили более явственно; когда же я продолжил свой эксперимент, то по диагонали от изображения черепа, в противоположном углу пергаamenta, стала обозначаться фигура, которую я сперва принял за изображение козы. Более внимательное изучение рисунка убедило меня, что это был козленок.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся я. — Признаю, Легран, что я не вправе смеяться над вами — полтора миллиона долларов не тема для шуток, — но прибавить новое звено к цепи вам все же не удастся! Пират и коза несоединимы. Пираты не занимаются скотоводством: это привилегия фермеров.

— Но я же сказал вам, что это была не коза.

— Не коза — так козленок, не вижу большой разницы.

— Большой и я не вижу, но разница есть, — сказал

Легран.— Сопоставьте Kid (козленок) и Kidd! Доводилось ли вам слышать о капитане Кидде?¹ Я сразу воспринял изображение животного как иероглифическую подпись, наподобие рисунка в ребусе. Я говорю «подпись», потому что козленок был нарисован на пергаменте в том месте, где ставится подпись. Изображение черепа в противоположном — по диагонали — углу пергамента, в свою очередь, наводило на мысль о гербе или печати. Но меня обескураживало отсутствие главного — текста моего воображаемого документа.

— Значит, вы рассчитывали, что между печатью и подписью будет письмо?

— Да, или что-то в этом роде. Сказать по правде, мной уже овладевало неколебимое предчувствие огромной удачи. Почему — сам не знаю. То было не столько предчувствие, быть может, сколько самовнушение. Поверите ли, глупые слова Юпитера о том, что жук из чистого золота, сильно подействовали на мое воображение. К тому же эта удивительная цепь случайностей и совпадений!.. Ведь все произошло в тот самый день, выпадающий, быть может, всего раз в году, когда холод заставляет затопить камин, а ведь без камина и без участия моего пса, который явился как раз в нужную минуту, я никогда не узнал бы о черепе и никогда не стал бы владельцем сокровищ.

— Так что же было дальше? Я сгораю от нетерпения.

— Хорошо. Вы, конечно, знаете, что есть множество смутных преданий о кладах, зарытых Киддом и его сообщниками где-то на атлантическом побережье. В основе всех этих преданий, конечно, лежат факты. Предания существуют с давних пор и не теряют своей живучести; полагаю, это говорит о том, что клад до сих пор не найден. Если бы Кидд сперва спрятал сокровище, а потом пришел и забрал его, едва ли предания дошли бы до нас все в той же неизменной форме. Заметьте, предания говорят лишь о поисках клада, о находке в них нет ни слова. Стоило пирату отрыть сокровище, и толки о нем затихли бы. Мне всегда казалось, что какая-нибудь случайность,

¹ Кидд Уильям (1650—1701)—капитан британского флота, ставший пиратом и окончивший жизнь на виселице; по преданию, он зарыл в разных местах награбленные сокровища.

например потеря плана, где было обозначено местонахождение клада, помешала Кидду разыскать его. О беде Кидда разведали другие пираты, без того вообще никогда не узнавшие бы о спрятанном сокровище. Их бесплодные поиски, предпринятые наудачу, и породили все эти толки и предания, которые разошлись по свету и дожили до наших дней. Доводилось ли вам слышать, чтобы на нашем побережье кто-нибудь нашел богатый клад?

— Нет, никогда.

— А ведь всякий знает, что Кидд владел несметными богатствами. Итак, я сделал вывод, что клад все еще лежит в земле. Пусть же вас не удивляет, если во мне родилась надежда, граничившая с уверенностью, что столь необычным путем попавший ко мне пергамент укажет мне, где зарыто сокровище Кидда.

— Что же вы предприняли дальше?

— Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь, но это не дало ничего нового. Тогда я решил, что помехой служит грязь, наросшая на пергаменте. Я взял пергамент, осторожно обмыл его теплой водой, затем положил на железную сковороду, повернув книзу той стороной, где был изображен череп, и поставил сковороду на пылающие уголья. Через несколько минут, когда сковорода накалилась, я вынул пергамент и с невыразимой радостью увидел, что в нескольких местах на нем появились какие-то знаки и цифры, расположенные строкой. Я снова положил пергамент на сковороду и подержал еще с минуту над огнем. Тогда надпись выступила целиком,— сейчас я вам ее покажу.

Тут Легран нагрел пергамент и дал его мне. Между черепом и козленком, грубо выведенные красными чернилами, стояли следующие знаки:

53 # # + 305))6*; 4826) 4 #) 4 #); 806*; 48
+ 8 || 60))85;;]8*; : #*8 + 83(88)5* + 46
(;88*96*?;8)*#(;485);5* + 2:*#(;4956
2(5—4)8 || 8*;4069285);)6 + 8)4# #;1(#9
;48081;8:8#1;48 + 85;4)485 + 528806*81(#
9;48;(88;4(#?34;48)4#;161;:188;#?;

— Что ж,— сказал я, возвращая пергамент,— меня бы это не подвинуло ни на шаг. За все сокровища Голконды¹ я не возьмусь решать подобную головоломку.

— И тем не менее,— сказал Легран,— она не столь трудна, как это может показаться на первый взгляд. Знаки, конечно,— шифр; иными словами, в них заключено определенное содержание. Кидд, сколько я знаю о нем, не сумел бы составить сложной криптограммы. И я сразу решил, что передо мной простейший шифр, но притом такой, который незатейливой фантазии моряка должен казаться совершенно непостижимым.

— И что же, вы сумели найти решение?

— С легкостью! В моей практике встречались шифры в тысячу раз сложнее этого. Я занялся подобными головоломками благодаря особым обстоятельствам моей жизни и природным склонностям ума и пришел к выводу, что едва ли разум человека может загадать такую загадку, которую разум другого человека, направленный должным образом, не смог бы разгадать. Скажу вам прямо, если текст зашифрован без ошибок и документ в приличной сохранности— мне больше ничего не надо: дальнейшие трудности для меня не существуют.

Прежде всего, как всегда, возникает вопрос о языке криптограммы. Принцип решения (в особенности это относится к шифрам простейшего типа) в огромной мере зависит от особенностей языка. Выяснить этот вопрос можно единственным путем... испытать один язык за другим в поисках совпадений и закономерностей, пока не нападешь на верное решение. С моим пергаментом такой трудности не было: подпись давала разгадку. Игра словами Kid и Kidd говорила в пользу английского языка. В ином случае я начал бы поиски с французского или испанского. Пират южных морей скорее всего избрал бы для тайной записи один из этих двух языков. Но я уже знал: криптограмма написана по-английски.

Как видите, текст криптограммы идет в сплошную строку. Если бы слова были написаны отдельно, задача намного упростилась бы. Я начал бы сличать и исследовать более короткие слова; и как только напал бы на слово, состоящее из одной буквы (например, местоиме-

¹ Голконда — древняя столица Индии; в Голконде гранили и полировали алмазы.

ние я или союз *и*), я счел бы шифр разгаданным. Но просветов между словами не было, и я принялся подсчитывать одинаковые знаки, чтобы узнать, какие из них чаще, а какие реже встречаются в криптограмме. Закончив подсчет, я составил такую таблицу:

Знак	8	встречается	34	раза
:			27	раз
4			19	"
)			16	"
#			15	"
*			14	"
5			12	"
6			11	"
+			8	"
1			7	"
0			6	"
9 и 2			5	"
: и 3			4	раза
?			3	"
			2	"
— и]			1	раз

Самая употребительная буква в английской письменной речи — это *e*. Далее идут в убывающем порядке *a*, *o*, *i*, *d*, *h*, *n*, *г*, *s*, *t*, *u*, *y*, *c*, *f*, *g*, *l*, *m*, *w*, *b*, *k*, *p*, *q*, *x*, *z*. Буква *e* встречается, однако, настолько часто, что трудно найти фразу, в которой она не занимала бы господствующего положения.

Итак, уже с самого начала у нас в руках путеводная нить. Составленная таблица весьма полезна, хотя в данном случае она понадобится нам лишь на первой стадии работы.

Поскольку знак 8 встречается в криптограмме чаще других, примем его за букву *e* английского алфавита. Для проверки нашей гипотезы взглянем, встречается ли этот знак дважды подряд, потому что в английском языке буква *e* очень часто удваивается, например в таких словах, как *meet*, *fleet*, *speed*, *seed*, *seen*, *been*, *agree* и т. д. Хотя текст криптограммы невелик, знак 8 стоит в нем дважды подряд не менее чем пять раз.

Итак, будем считать, что 8 — это *e*. Самое частое слово в английском языке — определенный артикль *the*. Посмотрим, не повторяется ли у нас сочетание из трех знаков, расположенных в одинаковой последовательности и оканчивающихся притом знаком 8. Если мы найдем такое сочетание, оно будет означать, по всей вероятности, определенный артикль *the*. Приглядевшись, находим не менее семи раз сочетание из трех знаков ; 4 8. Итак, мы имеем право предположить, что знак ; означает букву *t* и знак 4 — букву *h*; попутно подтверждается, что 8 — это *e*. Мы сделали важный шаг вперед.

То, что мы расшифровали целое слово, намного облегчает дальнейшую работу, так как позволяет искать границы новых слов. Для примера возьмем предпоследнее из сочетаний ; 4 8. Идущий за 8 знак ; будет, очевидно, начальной буквой следующего слова. Выписываем, начав с него, шесть знаков подряд. Только один из них нам не знаком. Обозначим известные знаки буквами и оставим для неизвестного свободное место:

t eeth

Ни одно слово в английском языке, начинающееся на *t* и состоящее из шести букв, не имеет окончания *th*; в этом нетрудно убедиться, подставляя на свободное место по очереди все буквы алфавита. Потому отбрасываем две последние буквы как посторонние и получаем:

t ee

Для заполнения свободного места можно опять обратиться к алфавиту. Единственным правильным прочтением будет:

tree (дерево).

Итак, мы узнали еще одну букву — *г*, обозначенную знаком (, и можем прочитать теперь два слова подряд:

the tree.

Немного дальше находим уже знакомое сочетание ; 4 8. Примем его за границу и выпишем отрывок, начинающийся с двух расшифрованных нами слов. Получаем следующее:

the tree ; 4 (# ? 3 4 the

Заменяем уже расшифрованные знаки буквами:

the tree thr # ? 3h the

Теперь подставим на место неизвестных знаков точки:

the tree thr...h the

Не может быть сомнения, что перед нами слово through (через). Это открытие дает нам еще три буквы o, u и g, обозначенные в криптограмме знаками # ? и 3.

Внимательно вглядываясь в криптограмму, находим неподалеку от ее начала сочетание знакомых нам знаков:

8 3 (8 8

которое читается так: egree. Это, конечно, слово degree (градус) без первой буквы. Так мы узнали, что буква d обозначена в криптограмме знаком +.

Вслед за словом degree, пропустив четыре знака, встречаем такое сочетание:

4 6 (8 8 *

Заменяем, как и раньше, известные нам знаки буквами и неизвестные точками:

th rtee

Нет сомнения, что перед нами слово thirteen (тринадцать). К уже выясненным буквам прибавились еще i и n, обозначенные в криптограмме знаками 6 и *.

Криптограмма начинается со следующего сочетания:

53 # +

Подставляя по-прежнему буквы и точки, получаем:
good (хороший).

Недостающей буквой будет a, и первые два слова криптограммы будут читаться так:

A good

Чтобы не запутаться, расположим наши знаки по алфавиту. Вот так:

5	означает	a
+	»	d
8	»	e
3	»	g
4	»	h
6	»	i
*	»	n
#	»	o
(	»	r
;	»	t

Здесь ключ к десяти важнейшим буквам. Я думаю, нет нужды рассказывать вам, как я расшифровал остальные. Я познакомил вас со структурой шифра и, надеюсь, убедил, что он легко поддается разгадке. Повторяю, впрочем, что наша криптограмма принадлежит к простейшим. Теперь осталось дать вам полный расшифрованный текст записи на пергаменте. Вот он: A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat twenty one degrees and thirteen minutes northeast and by north main branch seventh limb east side shoot from the left eye of the death's-head a bee line from the tree throught the shot fifty feet out.

(Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле двадцать один градус и тринадцать минут северо-северо-восток главный сук седьмая ветвь восточная сторона стреляй из левого глаза мертвой головы прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов.)

— Что ж,— сказал я,— загадка осталась загадкой. Как перевести на человеческий язык эту тарабарщину: «трактир епископа», «мертвая голова», «чертов стул»?

— Согласен,— сказал Легран,— текст темноват, особенно при беглом чтении. Первое, что надо было сделать,— это расчленить запись по смыслу.

— То есть расставить знаки препинания?

— Да, в этом роде.

— Но как же вы добились этого?

— Я видел, что автор намеренно записал свой текст в сплошную строку, чтобы затруднить разгадку криптограммы. Человек не слишком тонкого ума, задавшись такой целью, непременно хватит через край. Там, где

в тексте по смыслу нужен просвет, он будет ставить буквы еще теснее. Взгляните на пергамент, и вы сразу увидите пять таких мест. Основываясь на этом, я разбил текст на предложения следующим образом:

«Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле — двадцать один градус и тринадцать минут — северо-северо-восток — главный сук седьмая ветвь восточная сторона — стреляй из левого глаза мертвой головы — прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов».

— Текст разбит на предложения, — сказал я, — но смысла от того не прибавилось.

— И мне так казалось, — сказал Легран. — Первое время я расспрашивал всех, кто попадался мне на глаза, нет ли по соседству с Сэлливановым островом какого-либо строения, или дома, известного под названием «трактир епископа». Ничего не узнав, я уже решил было расширить сферу моих поисков и повести их более систематично, как вдруг однажды утром мне пришло в голову, что, быть может, слова «трактир епископа» — *bishop's hostel* — нужно связывать со старинным родом Бессопов — *Bessor*, — владевшим в давние времена усадьбой в четырех милях к северу от острова. Я отправился на плантацию и обратился к неграм, старожилам этих мест. После долгих расспросов самая дряхлая старушка сказала, что она знает место, которое называется «трактир епископа», и думает, что сможет найти его, но что это вовсе не трактир и даже не таверна, а высокая скала.

Я обещал хорошо заплатить ей за труды, и после некоторых колебаний она согласилась отправиться туда со мной. Мы добрались до места без особых приключений. Я отпустил ее и стал осматриваться. «Трактир» оказался нагромождением скал и утесов. Одна скала, стоявшая особняком, выделялась высотой и странностью очертаний, напоминая искусственное сооружение. Я взобрался на ее вершину и остановился в недоумении, не зная, что предпринять дальше.

Пока я раздумывал над этим, взор мой упал на узкий выступ в скале, на восточном склоне ее, примерно в ярде от вершины, где я стоял. Выступ торчал наружу дюймов на восемнадцать и имел в ширину около фута. За ним в скале была ниша, и он походил на кресло с поллой спинкой, какие стояли в домах наших прадедов.

Я сразу понял, что это и есть «чертов стул» и что я проник в тайну криптограммы.

«Хорошее стекло» могло означать только подзорную трубу — моряки часто пользуются словом «стекло» в этом смысле. Нужно было посмотреть отсюда в подзорную трубу, причем с заранее определенной позиции, не допуская отклонений. «Двадцать один градус и тринадцать минут» и «север-северо-восток» указывали, конечно, направление трубы. Сильно взволнованный своим открытием, я поспешил домой, взял подзорную трубу и вернулся на вершину скалы.

Опустившись на выступ, я убедился, что сидеть на нем можно было только в одном определенном положении. Моя догадка, таким образом, подтвердилась. Я взялся за трубу. Направление по горизонту было указано в словах «север-северо-восток»; значит, указание «двадцать один градус и тринадцать минут» относилось к высоте над видимым горизонтом. Ориентируясь по карманному компасу, я поднял трубу приблизительно под углом в двадцать один градус и стал осторожно наводить ее сперва вверх, потом книзу, пока взор мой не задержался на круглом отверстии или просвете в листе громадного дерева, поднявшего свою крону над окружающим лесом. В центре просвета я заметил белое пятнышко, но не мог сперва понять, что это такое. Отрегулировав трубу, я взглянул еще раз и ясно увидел человеческий череп.

Открытие открыло меня, и я счел загадку решенной. Было очевидно, что слова «главный сук седьмая ветвь восточная сторона» относились к положению черепа на дереве, а приказ «стреляй из левого глаза мертвой головы» тоже допускал лишь одно толкование и указывал местонахождение клада. Опустив пулю в левую глазницу черепа, надо было затем провести «прямую» — иными словами, прямую линию от ближайшей точки ствола через «выстрел» (место падения пули) на пятьдесят футов вперед. Там находилось место, где, по всей вероятности, было зарыто сокровище.

— Все это выглядит убедительно, — сказал я, — и при некоторой фантастичности все же просто и по-своему логично. Что вы сделали, когда покинули «трактир епископа»?

— Хорошенько приметив дерево, я направился домой. В ту же минуту, как я встал с «чертова стула», круглый просвет исчез: сколько я ни напрягал взор, я его больше не видел. В этом и состояло остроумие замысла, что просвет в листе дерева (как я убедился, повторив опыт несколько раз) открывался наблюдателю с одной-единственной точки — с узкого выступа на скале.

В экспедиции к «трактиру епископа» меня сопровождал Юпитер, который, конечно, заметил, что последнее время я веду себя как-то странно, и не отставал от меня ни на шаг. Но на следующий день я поднялся чуть свет, ускользнул от его надзора и ушел в горы разыскивать дерево. Я разыскал его с большим трудом. Когда я вернулся вечером домой, Юпитер, как вы знаете, хотел поколотить меня.

О дальнейших приключениях можно не рассказывать. Они вам известны.

— Надо полагать,— сказал я,— что первый раз вы ошиблись местом из-за оплошности Юпитера, опустившего жука в правую глазницу черепа вместо левой?

— Конечно! Отклонение в «выстреле», то есть в положении колышка под деревом, не превышало двух с половиной дюймов, и, если бы сокровище было зарыто под деревом, ошибка не имела бы значения. Но ведь линия от дерева через «выстрел» лишь указывала направление, по которому следовало идти. По мере того как я удалялся от дерева, отклонение возрастало, и, когда я отошел на пятьдесят футов, клад остался в стороне. Не будь я так глубоко уверен, что здесь на самом деле зарыто сокровище, наши труды пропали бы даром.

— Не пиратский ли флаг внушил Кидду эту странную причуду, этот череп, в пустую глазницу которого надо опустить пулю? Вернуть сокровище через посредство зловещей эмблемы пиратов — в этом чувствуется некий поэтический замысел.

— Быть может, и так, хотя я думаю, практические соображения значили здесь не меньше, чем поэтическая фантазия. Увидеть с «чертова стула» небольшой предмет на дереве можно только в том случае, если он будет белым. А что тут сравнится с черепом? Череп не темнеет от дождей и бурь — напротив, становится все белее...

— Ну, ваши высокаторжественные речи и это верчение жука на шнурке!.. Что за странное чудачество! Я был уверен, что вы сошли с ума. И почему вам вздумалось опускать жука в глазницу черепа вместо пули?

— Что ж, не скрою: ваши намеки, что я не в своем уме, рассердили меня, и я решил отплатить вам маленькой мистификацией в моем вкусе. Сперва я вертел жука, а потом решил спустить его с дерева. Кстати, эта мысль воспользоваться им вместо пули пришла мне на ум, когда вы сказали, что поражены тяжестью жука.

— Теперь все ясно. Ответьте только на один вопрос. Откуда взялись скелеты, которые мы нашли в яме?

— Об этом я знаю не больше вас. Тут возможна, по-видимому, лишь одна догадка, но она предполагает дьявольскую жестокость. Понятно, что Кидд — если со-кровище зарыл Кидд, в чем я лично не сомневаюсь, — не мог обойтись без помощников. Когда работа была сделана и подручные его стали засыпать яму, он рассудил, наверно, что не нуждается в лишних свидетелях. Два-три удара ломом, я думаю, решили дело. А быть может, потребовался целый десяток — кто скажет?

УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ МОРГ

Что за песню пели сирены или каким именем назвался Ахилл, скрываясь среди женщин,— уж на что это, кажется, мудреные вопросы, а какая-то догадка и здесь возможна.

Сэр Томас Браун¹



Так называемые аналитические способности нашего ума сами по себе малодоступны анализу. Мы судим о них только по результатам. Известно, что для человека, исключительно одаренного в этом смысле, дар анализа служит источником живейших наслаждений. Как атлет радуется своей силе и ловкости и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, так аналитик горд своим умением распутать любую головоломку. Всякое, хотя бы и самое нехитрое, занятие, высекающее искры из его таланта, ему приятно. Он обожает загадки, ребусы, криптограммы, обнаруживая в их решении проникающую, которая заурядному сознанию представляется чуть ли не сверхъестественной. Его выводы, рожденные существом и душой метода, и в самом деле кажутся чудесами интуиции.

Эта способность рассуждения, возможно, выигрывает от занятий математикой, особенно тем высшим ее разделом, который неправомерно и только в силу обратного

¹ Сэр Томас Браун (1605—1632) — английский врач и писатель.

характера своих действий именуется анализом, так сказать анализом *par excellence*¹. Между тем рассчитывать, вычислять — само по себе еще не значит анализировать. Шахматист, например, рассчитывает, но отнюдь не анализирует. А отсюда следует, что представление о шахматах как об игре, исключительно полезной для ума, основано на чистейшем недоразумении. И так как перед вами, читатель, не трактат, а только несколько случайных соображений, которые должны послужить предисловием к моему не совсем обычному рассказу, то я пользуюсь случаем заявить, что непритязательная игра в шашки требует куда более высокого умения размышлять и задает уму больше сложных и полезных задач, чем мнимая изощренность шахмат. В шахматах, где фигуры неравноценны и где им присвоены самые разнообразные и причудливые ходы, сложность (как это нередко бывает) ошибочно принимается за глубину. Между тем здесь все решает внимание. Стоит ему ослабеть, и вы совершаете оплошность, которая приводит к просчету или поражению. А поскольку шахматные ходы не только многообразны, но и многозначны, то шансы на оплошность соответственно растут, и в девяти случаях из десяти выигрывает не более способный, а более сосредоточенный игрок. Другое дело шашки, где допускается только один ход, лишь с незначительными вариантами; здесь шансов на недосмотр куда меньше, внимание не играет особой роли, и успех зависит главным образом от проницательности игрока. Представим себе для ясности партию в шашки, где остались только четыре дамки и, значит, ни о каком недосмотре не может быть и речи. Очевидно, здесь (при равных силах игроков) победа зависит от удачного хода, от неожиданного и остроумного решения. За отсутствием других возможностей аналитик старается проникнуть в мысли противника, он ставит себя на его место и нередко с одного взгляда замечает ту единственную (и порой до очевидности простую) комбинацию, которая может вовлечь его в просчет или толкнуть на ошибку.

Вист давно известен как прекрасная школа для искусства расчета; известно также, что многие выдаю-

¹ По преимуществу (*франц.*).

щиеся умы питали, казалось бы, необъяснимую слабость к висту и пренебрегали шахматами, как пустым занятием. В самом деле, никакая другая игра не требует такой способности к анализу. Лучший в мире шахматист — шахматист, и только, тогда как мастерская игра в вист сопряжена с умением добиваться победы и в тех более важных областях человеческой деятельности, в которых ум соревнуется с умом. Говоря «мастерская игра», я имею в виду ту степень совершенства, при которой игрок владеет всеми средствами, приводящими к законной победе. Эти средства не только многочисленны, но и многообразны и часто предполагают такое знание человеческой души, какое недоступно игроку средних способностей. Кто внимательно наблюдает, тот отчетливо помнит, и, следовательно, всякий сосредоточенно играющий шахматист может рассчитывать на успех в висте, поскольку руководство Хойла¹ (основанное на простой механике игры) общепонятно и общедоступно, чтобы хорошо играть в вист, достаточно, по распространенному мнению, соблюдать «правила» и обладать хорошей памятью. Однако искусство аналитика проявляется как раз в том, что не предусмотрено правилами игры. Каких он только не делает про себя выводов и наблюдений! Его партнеры, быть может, тоже; но перевес в этой обоюдной разведке зависит не столько от веских выводов, сколько от качества наблюдения. Важно, конечно, знать, на что обращать внимание. Но наш игрок ничем себя не ограничивает. И, хотя прямое его дело — игра, он не брезгает и самыми отдаленными указаниями. Он изучает лицо партнера и сравнивает его с лицами противников. Замечает, как сосед распределяет карты в обеих руках, и нередко угадывает козырь за козырем и онёр за онёром по взглядам, какие тот на них бросает. Следит по ходу игры за мимикой игроков и делает уйму заключений, подмечая все оттенки уверенности, удивления, торжества или досады, сменяющиеся на их физиономиях. Судя по тому как человек сгреб взятку, он заключает, последует ли за ней другая. По тому, как карта брошена, догадывается, что противник финтит и что ход сделан для отвода глаз. Не-

¹ Хойл Эдмонд (1672—1762) — автор книги «Краткое руководство по игре в вист».

нароком или против воли оброшенное слово; случайно упавшая или открывшаяся карта и как ее прячут — с опаской или спокойно; подсчет взяток и их расположение; растерянность, колебания, нетерпение или боязнь — ничто не ускользает от якобы непосредственного восприятия аналитика. С двух первых робберов из трех он представляет себе, что у кого на руках, и играет так уверенно, точно все игроки раскрылись.

Способность к анализу не следует смешивать с простой изобретательностью, ибо аналитик всегда изобретателен, изобретательный же человек зачастую оказывается неспособным к анализу. Умение придумывать и комбинировать, в котором обычно проявляется изобретательность и для которого френологи¹ (совершенно напрасно, по-моему) отводят особый орган, считая эту способность первичной, нередко наблюдается и у тех, чей умственный уровень во всем остальном граничит с кретинизмом, что не раз отмечалось писателями, живописующими быт и нравы. Между умом изобретательным и аналитическим существует куда большее различие, чем между фантазией и воображением, но это различие того же порядка. В самом деле, нетрудно заметить, что люди изобретательные — большие фантазеры и что человек с подлинно богатым воображением всегда склонен к анализу.

Дальнейший рассказ послужит для читателя своего рода иллюстрацией к приведенным здесь соображениям.

Весну и часть лета 18.. года я прожил в Париже, где свел знакомство с неким мосье Ш. Огюстом Дюпенем. Потомок знатного и даже прославленного рода, он уже в ранней молодости испытал превратности судьбы и оказался в обстоятельствах столь плачевных, что утратил всю свою природную энергию, ничего не добивался в жизни и не помышлял о том, чтобы вернуть прежнее богатство. Любезность кредиторов сохранила Дюпену небольшую часть отцовского наследства, и, живя на проценты и придерживаясь строжайшей экономии, он кое-как сводил концы с концами, равнодушный к при-

¹ Френология — ложное учение о связи психических свойств человека со строением поверхности его черепа.

манкам жизни. Единственная роскошь, какую он себе позволял, — книги — доступна в Париже.

Впервые мы встретились в плохонькой библиотеке на улице Монмартр, и так как оба случайно искали одну и ту же книгу, чрезвычайно редкое и примечательное издание, то, естественно, разговорились. После этого мы не раз встречались. Я заинтересовался семейной историей Дюпена, и он поведал ее мне с чистосердечностью, присущей всякому французу, рассказывающему вам о себе. Поразила меня и обширная начитанность Дюпена, а главное — я не мог не восхищаться неистовым жаром и свежестью его воображения.

Я жил тогда в Париже совершенно особыми интересами и, чувствуя, что общество такого человека было бы для меня бесценным кладом, не замедлил откровенно сказать ему об этом. Вскоре у нас возникло решение на время моего пребывания в Париже поселиться вместе; а поскольку обстоятельства мои были чуть получше, чем у Дюпена, то я снял с его согласия и оставил в духе столь милой нам обоим романтической меланхолии сильно пострадавший от времени дом причудливой архитектуры в тихом уголке Сен-Жерменского предместья; покинутый хозяевами из-за каких-то суеверных преданий, в суть которых мы не стали вдаваться, он клонился к упадку.

Если бы образ жизни, какой мы вели в этой обители, стал известен миру, нас сочли б маньяками, хоть и безобидными маньяками. Наше уединение было полным. Мы никого не хотели видеть. Я скрыл от друзей свой новый адрес, а Дюпен давно порвал с Парижем, да и Париж не вспоминал о нем. Мы жили только в себе и для себя.

Одной из фантазий моего друга — ибо как еще это назвать? — была влюбленность в ночь, в ее особое очарование; и я покорно принял эту *bizagerie*¹, как принимал и все другие, самозабвенно отдаваясь причудам моего друга. Темноликая богиня то и дело покидала нас, и, чтобы не лишаться ее милостей, мы прибегали к обману: при первом блеске утра захлопывали тяжелые ставни старого дома и зажигали два-три светильника, кото-

¹ Странность, чудачество (франц.).

рые, курясь благовониями, изливали тусклый, призрачный свет. В их бледном сиянии мы предавались грезам, читали, писали, беседовали, пока звон часов не возвещал нам приход истинной Тьмы. А тогда мы рука об руку выходили на улицу, продолжая дневной разговор, или бесцельно бродили до поздней ночи, находя в мелькающих огнях и тенях большого города ту неисчерпаемую пищу для умственных восторгов, какую дарит нам тихое созерцание.

В такие минуты я не мог не восхищаться блестящим аналитическим умом Дюпена, ибо видел в нем лишнее подтверждение его умозрительных способностей. Да и ему, видимо, нравилось забавляться этим даром — если не блистать им, — и он не чинясь признавался мне, сколько радости это ему доставляет. Дюпен не раз хвалился с довольным смехом, что люди для него — открытая книга, и тут же приводил ошеломляющие доказательства того, как ясно он читает в моей душе. В подобных случаях мне чудилась в нем какая-то холодность и отрешенность; пустой, ничего не выражающий взгляд его был устремлен куда-то вдаль, а голос, сочный тенор, срывался на фальцет и звучал бы вызывающе, если бы не четкая дикция и спокойный тон. Глядя на него в эти минуты, я часто вспоминал старинное учение о двойственности души и забавлялся мыслью о двух Дюпенах: созидающем и расчленяющем.

Поймите меня, однако, правильно: я не собираюсь поведать вам некую тайну, я также не намерен сделать Дюпена героем фантастического романа. Описанные здесь черты моего приятеля-француза были лишь следствием перевозбужденного, а может быть, и больного ума. Однако о характере его замечаний той поры вам лучше расскажет живой пример.

Как-то вечером мы гуляли по необычайно длинной и необычайно грязной улице, неподалеку от Пале-Рояля. Каждый думал, по-видимому, о своем, и в течение четверти часа никто из нас не проронил ни слова. Как вдруг Дюпен, словно невзначай, произнес:

— Ну куда ему, такому заморышу! Лучше б он попытал счастья в театре «Варьете».

— Вот именно, — ответил я машинально.

Я так задумался, что не сразу сообразил, как удачно

слова Дюпена совпали с моими мыслями. Но тут же опомнился, и удивлению моему не было границ.

— Дюпен,— сказал я серьезно,— это выше моего понимания. Скажу вам честно: я поражен, я просто ушам своим не верю. Как могли вы догадаться, что я думал о...— Тут я остановился, чтобы удостовериться, знает ли он, о ком я думал.

— ...о Шантильи,— закончил он.— Почему же вы запнулись? Вы говорили себе, что при его тщедушном сложении нечего ему лезть в трагические актеры.

Да, это и было предметом моих размышлений. Шантильи, *quondam*¹ сапожник с улицы Сен-Дени, помешавшийся на театре, недавно дебютировал в роли Ксеркса² в одноименной трагедии Кребийона и был, несмотря на свои старания, жестоко освистан.

— Объясните мне, ради бога, ваш метод,— настаивал я,— если он у вас есть и если вы с его помощью так безошибочно прочли мои мысли.— Признаться, я даже старался скрыть всю меру своего удивления.

— Зеленщик,— ответил мой друг,— навел вас на мысль, что наш врачеватель подметок не дорос до Ксеркса *et id genus omne*³.

— Зеленщик? — удивился я.— Я знать не знаю никакого зеленщика!

— Ну, тот увалень, что налетел на вас, когда мы свернули на эту улицу с четверть часа назад.

Тут я вспомнил, что зеленщик с большой корзиной яблок на голове в самом деле чуть не сбил меня с ног, как только мы из переулка вышли на людную улицу. Но какое отношение к этому имеет Шантильи, я так и не мог понять.

У Дюпена и на волос не было того, что французы называют *charlatanerie*⁴.

— Извольте, я вам объясню,— вызвался он.— А чтобы вы лучше меня поняли, давайте восстановим весь ход ваших мыслей с нашего последнего разговора и до встречи с пресловутым зеленщиком. Основные вехи — Шан-

¹ Некогда (*лат.*).

² «Ксеркс» (1714) — трагедия французского драматурга Проспера Жюлио Кребийона-старшего (1674—1762).

³ И ему подобных (*лат.*).

⁴ Очковитительство (*франц.*).

тильи, Орион, доктор Никольс, Эпикур, стереотомия, булыжник и зеленщик.

Вряд ли найдется человек, которому хоть раз не пришлось бы в голову проследить забавы ради шаг за шагом все, что привело его к известному выводу. Это очень увлекательное подчас занятие, и кто возьмется за него впервые, будет поражен, какое, по-видимому, расстояние отделяет исходный пункт от конечного вывода и как они мало друг другу соответствуют. С удивлением выслушал я Дюпена, но не мог не признать справедливость его слов.

Мой друг между тем продолжал:

— До того как свернуть за угол, мы, помнится, говорили о лошадях. На этом разговор наш оборвался. Когда мы, перейдя через дорогу, вышли сюда, на эту улицу, выскочивший откуда-то зеленщик с большой корзиной яблок на голове пробежал мимо и второпях толкнул вас на грудь булыжника, сваленного там, где каменщики чинили мостовую. Вы споткнулись о камень, поскользнулись, слегка растянули связку, рассердились, во всяком случае насупились, пробормотали что-то, еще раз оглянулись на грудь булыжника и молча зашагали дальше. Я не то чтобы следил за вами: просто наблюдательность стала за последнее время моей второй натурой.

Вы упорно не поднимали глаз и только косились на выбоины и трещины в панели (из чего я заключил, что вы все еще думаете о булыжнике), пока мы не поравнялись с переулком, который носит имя Ламартина¹ и вымощен на новый лад — плотно пригнанными плитками, уложенными в шахматном порядке. Вы заметно повеселели, а по движению ваших губ я угадал слово «стереотомия» — термин, которым для пущей важности окрестили такое мощение. Я понимал, что слово «стереотомия» должно навести вас на мысль об атомах, а кстати, и об учении Эпикура. И поскольку это было темой нашего недавнего разговора — я еще рассказывал вам, как разительно смутные догадки благородного грека подтверждаются выводами современной космогонии по части небесных туманностей, в чем никто еще не отдал ему

¹ Ламартин Альфонс (1791—1869) — французский поэт, историк и политический деятель.

должного,— то я так и ждал, что вы устремите глаза на огромную туманность в созвездии Ориона. И вы действительно посмотрели вверх, чем доказали, что я безошибочно иду по вашему следу. Кстати, в злобном выпаде против Шантильи во вчерашней «Musée» некий зоил, весьма недостойно пройдясь насчет того, что сапожник, взобравшийся на котурны, постарался изменить и самое имя свое, процитировал строчку латинского автора, к которой мы не раз обращались в наших беседах. Я разумею стих: *Perdidit antiquum litera prima sonum*¹.

Я как-то рассказывал вам, что здесь имеется в виду Орион — когда-то он писался Урион,— мы с вами еще пошутили на этот счет, так что случай, можно сказать, памятный. Я понимал, что Орион наведет вас на мысль о Шантильи, и ваша улыбка это подтвердила. Вы вздохнули о бедной жертве, отданной на заклатие. Все это время вы сутулились, а тут выпрямились во весь рост; я и решил, что вы подумали о тщедушном сапожнике. Тогда-то я и прервал ваши размышления, заметив, что он в самом деле не вышел ростом, наш Шантильи, и лучше бы ему попытаться счастья в театре «Варьете».

Вскоре затем, просматривая вечерний выпуск «Gazette des Tribunaux»², мы наткнулись на следующую заметку:

«НЕСЛЫХАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

Сегодня, часов около трех утра, мирный сон обитателей квартала Сен-Рок был нарушен душераздирающими криками. Следуя один за другим без перерыва, они доносились, по-видимому, с четвертого этажа дома на улице Морг, где, как известно местным обывателям, проживала только некая мадам Л'Эспанэ с незамужней дочерью Камиллой. После небольшой заминки у закрытых ворот пришлось прибегнуть к лому, и с десятков соседей в сопровождении двух жандармов проникли в подъезд. Крики уже стихли; но едва лишь кучка смель-

¹ Утратила бывшее звучание первая буква (лат.).

² «Судебная газета» (франц.)

чаков поднялась по первому маршу, как сверху послышалась перебранка двух, а возможно, и трех голосов, звучавших отрывисто и сердито. Покуда добрались до третьего этажа, стихли и эти звуки, и водворилась полная тишина. Люди рассыпались по всему дому, перебегая из одной комнаты в другую. Когда же очередь дошла до просторной угловой спальни — на четвертом этаже, окнами во двор (дверь, запертую изнутри, тоже взломали), — толпа отступила перед открывшимся ей зрелищем, охваченная ужасом и изумлением.

Здесь все было вверх дном, всюду раскидана поломанная мебель. В комнате стояла одна только кровать, но без постели, подушка и одеяло валялись на полу. На стуле лежала бритва с окровавленным лезвием. Две-три густые пряди длинных седых волос, вырванных, видимо, с корнем и слипшихся от крови, пристали к каминной решетке. На полу, под ногами, найдены четыре напольнодора, одна серьга с топазом, три столовые серебряные и три чайные мельхиоровые ложки и два мешочка с золотыми монетами — общим счетом без малого четыре тысячи франков. Ящики комода в углу были выдвинуты наружу, грабители, очевидно, в них рылись, хотя всего не унесли. Железная укладка обнаружена под постелью (а не под кроватью). Она была открыта, ключ еще торчал в замке, но в ней ничего не осталось, кроме пожелтевших писем и других заваливавшихся бумажек.

И никаких следов мадам Л'Эспанэ! Кто-то заметил в камине большую грудку золы, стали шарить в дымоходе и — о ужас! — вытащили за голову труп дочери; должно быть, его вверх ногами, и притом довольно далеко, втиснули в узкую печную трубу. Тело было еще теплым. Кожа, как выяснилось при осмотре, во многих местах содрана — явное следствие тех усилий, с каким труп заталкивали в дымоход, а потом выволакивали оттуда. Лицо страшно исцарапано, на шее сине-багровые подтеки и глубокие следы ногтей, словно человека душили.

После того как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись вниз, на мощный дворик, и там наткнулись на мертвую старуху, — ее так хватили бритвой по шее, что при первой же попытке поднять труп голова отвалилась. И тело и лицо

были изуродованы, особенно тело, в нем не сохранилось ничего человеческого.

Таково это поистине ужасное преступление, пока еще окутанное непроницаемой тайной».

Назавтра газета принесла следующие дополнительные сообщения:

«ТРАГЕДИЯ НА УЛИЦЕ МОРГ

Неслыханное по своей жестокости убийство всколыхнуло весь Париж, допрошен ряд свидетелей, но ничего нового, проясняющего тайну, пока не обнаружено. Ниже приведены вкратце наиболее существенные показания.

Полина Дюбур, прачка, показывает, что знала покойниц последние три года, стирала на них. Старая дама с дочкой, видно, жили дружно, душа в душу. Платили исправно. Насчет их образа жизни и средств ничего сказать не может. Полагает, что мадам Л'Эспанэ была гадалкой, этим они и кормились. Поговаривали, что у нее есть деньги. Свидетельница никого не встречала в доме, когда приходила за бельем или приносила его после стирки. Знает наверняка, что служанки они не держали. Насколько ей известно, мебелью был обставлен только четвертый этаж.

Пьер Моро, владелец табачной лавки, показывает, что в течение четырех лет отпускал мадам Л'Эспанэ нюхательный и курительный табак небольшими пачками. Он местный уроженец и коренной житель. Покойница с дочерью уже больше шести лет как поселились в доме, где их нашли убитыми. До того здесь квартировал ювелир, сдававший жильцам верхние комнаты. Дом принадлежал мадам Л'Эспанэ. Старуха всякое терпение потеряла с квартирантом, который пускал к себе жильцов, взяла да и переехала сама в верхний этаж, а от сдачи внаем свободных помещений и вовсе отказалась. Не иначе как впала в детство. За все эти годы свидетель только пять-шесть раз видел дочь. Обе женщины жили уединенно, по слухам, у них имелись деньги. Болтали, будто мадам Л. промышляет гаданьем, но он этому не

верил. Ни разу не видел, чтобы кто-либо входил в дом, кроме самой и дочери, да кое-когда привратника, да раз восемь-десять наведывался доктор.

Примерно то же показали и другие соседи. Никто не замечал, чтобы к покойницам кто-либо хаживал запросто. Были ли у них где-нибудь друзья или родственники, тоже никому слышать не приходилось. Ставни по фасаду открывались редко, а со двора их и вовсе заколотили, за исключением большой комнаты на четвертом этаже. Дом еще не старый, крепкий.

Изидор Мюзе, жандарм, показывает, что за ним пришли около трех утра. Застал у дома толпу, человек в двадцать—тридцать, осаждавшую дверь. Замок взломал он, и не ломом, а штыком. Дверь поддалась легко, она двустворчатая, ни сверху, ни снизу не запирается. Крики доносились все время, пока не открыли дверь,—и вдруг оборвались. Кричали (не разберешь — один или двое) как будто в смертной тоске, крики были протяжные и громкие, а не отрывистые и хриплые. Наверх свидетель поднимался первым. Взойдя на лестничную площадку, услышал, как двое сердито и громко переругиваются — один глухим, а другой вроде как визгливым голосом, и голос какой-то чудной. Отдельные слова у первого разобрал. Это был француз. Нет, ни в коем случае не женщина. Он разобрал слова «sacré» и «diable»¹. Визгливым голосом говорил иностранец. Не разберешь, мужчина или женщина. Не поймешь, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский. Рассказывая, в каком виде нашли комнату и трупы, свидетель не добавил ничего нового к нашему вчерашнему сообщению.

Анри Дюваль, сосед, по профессии серебряник, показывает, что с первой же группой вошел в дом. В целом подтверждает показания Мюзе. Едва проникнув в подъезд, они тут же заперли дверь, чтобы задержать толпу, которая все прибывала, хотя стояла глухая ночь. Визгливый голос, по впечатлению свидетеля, принадлежал итальянцу. Уверен, что не француз. По голосу не сказал бы, что непременно мужчина. Возможно, что и женщина. Итальянского не знает, слов не разобрал, но, судя по интонации, уверен, что говорил итальянец.

¹ «Проклятие» и «черт» (франц.).

С мадам Л. и дочерью был лично знаком. Не раз беседовал с обеими. Убежден, что ни та, ни другая не говорила визгливым голосом.

Оденгеймер, ресторатор. Свидетель сам вызвался дать показания. По-французски не говорит, допрашивается через переводчика. Уроженец Амстердама. Проходил мимо дома, когда оттуда раздались крики. Кричали долго, несколько минут, пожалуй, что и десять. Крики протяжные, громкие, хватающие за душу, леденящие кровь. Одним из первых вошел в дом. Подтверждает предыдущие показания по всем пунктам, кроме одного: уверен, что визгливый голос принадлежал мужчине, и притом французу. Нет, слов не разобрал, говорили очень громко и часто-часто, будто захлебываясь, не то от гнева, не то от страха. Голос резкий — скорее резкий, чем визгливый. Нет, визгливым его не назовешь. Хриплый голос все время повторял «sacré» и «diable», а однажды сказал «mon Dieu»¹.

Жюль Миньо, банкир, фирма «Миньо и сыновья» на улице Делорен. Он — Миньо-старший. У мадам Л'Эспанэ имелся кое-какой капиталец. Она открыла у них в конторе счет весною такого-то года (восемь лет назад). Часто делала новые вклады — небольшими суммами. Чеков не выписывала, но всего за три дня до смерти лично забрала со счета четыре тысячи франков. Деньги были выплачены ей золотом и доставлены на дом конторщиком банка.

Адольф Ле Бон, конторщик фирмы «Миньо и сыновья», показывает, что в означенный день, часу в двенадцатом, проводил мадам Л'Эспанэ до самого дома, отнес ей четыре тысячи франков, сложенных в два мешочка. Дверь открыла мадемуазель Л'Эспанэ; она взяла у него один мешочек, а старуха другой. После чего он откланялся и ушел. Никого на улице он в тот раз не видел. Улица тихая, безлюдная.

Уильям Бойрд, портной, показывает, что вместе с другими вошел в дом. Англичанин. В Париже живет два года. Одним из первых поднялся по лестнице. Слышал, как двое спорили. Хриплый голос принадлежал французу. Отдельные слова можно было разобрать, но всего он

¹ Боже мой (франц.).

не помнит. Ясно слышал «sacré» и «mon Dieu». Слова эти сопровождалось шумом борьбы, топотом и возней, как будто дрались несколько человек. Пронзительный голос звучал очень громко, куда громче, чем хриплый. Уверен, что не англичанин. Скорее, немец. Может быть, и женщина. Сам он по-немецки не говорит.

Четверо из числа означенных свидетелей на вторичном допросе показали, что дверь спальни, где нашли труп мадемуазель Л., была заперта изнутри. Тишина стояла мертвая, ни стоны, ни малейшего шороха. Когда дверь спальни взломали, там уже никого не было. Окна спальни и смежной комнаты, что на улицу, были опущены и наглухо заперты изнутри, дверь между ними приотворена, но не заперта. Дверь из передней комнаты в коридор была заперта изнутри. Небольшая комнатка окнами на улицу, в дальнем конце коридора, на том же четвертом этаже, была не заперта, и дверь приотворена. Здесь стояли старые кровати, ящики и прочая рухлядь. Вещи вынесли и тщательно осмотрели. Весь дом обшарили сверху донизу. Дымоходы обследованы трубочниками. В доме четыре этажа, не считая чердачных помещений (mansardes). На крышу ведет люк, он забит гвоздями и, видимо, давно бездействует. Время, истекшее между тем, как свидетели услышали перебранку, и тем, как взломали входную дверь, оценивается по-разному: от трех до пяти минут. Взломать дверь стоило немалых усилий.

Альфонсо Гарсио, гробовщик, показал, что проживает на улице Морг. Испанец по рождению. Вместе с другими побывал в доме. Наверх не подымался. У него нервы слабые, ему запрещено волноваться. Слышал, как двое спорили, хриплый голос — несомненно француза. О чем спорили, не уловил. Визгливым голосом говорил англичанин. Сам он по-английски ни слова не знает, судит по интонации.

Альберто Монтани, владелец магазина готового платья, показывает, что одним из первых взбежал наверх. Голоса слышал. Хрипло говорил француз. Кое-что понять можно было. Говоривший в чем-то упрекал другого. Слов второго не разобрал. Второй говорил часто-часто, заплетающимся языком. Похоже, что русский. В остальном свидетель подтверждает предыдущие пока-

зания. Сам он итальянец. Разговаривать с русскими ему не приходилось.

Кое-кто из свидетелей на вторичном допросе подтвердил, что дымоходы на четвертом этаже слишком узкие и в них человеку не пролезть. Под «трубочистами» они разумеют цилиндрической формы щетки, какие употребляют при чистке труб. В доме нет черной лестницы, по которой злодеи могли бы убежать, пока их преследователи подымались вверх. Труп мадемуазель Л'Эспанэ был так плотно затиснут в дымоход, что только общими усилиями четырех или пяти человек удалось его вытащить.

Поль Дюма, врач, показывает, что утром, чуть рассвело, его позвали освидетельствовать тела убитых женщин. Оба трупа лежали на старом матраце, снятом с кровати в спальне, где найдена мадемуазель Л. Тело дочери все в кровоподтеках и ссадинах. Это вполне объясняется тем, что его заталкивали в тесный дымоход. Особенно пострадала шея. Под самым подбородком несколько глубоких ссадин и сине-багровых подтеков — очевидно, отпечатки пальцев. Лицо в страшных синяках, глаза вылезли из орбит. Язык чуть не насквозь прокушен. Большой кровоподтек на нижней части живота показывает, что здесь надавливали коленом. По мнению мосье Дюма, мадемуазель Л'Эспанэ задушена, — убийца был, возможно, не один. Тело матери чудовищно искалечено. Все кости правой руки и ноги переломаны и частично раздроблены. Расщеплена левая tibia¹, равно как и ребра с левой стороны. Все тело в синяках и ссадинах. Трудно сказать, чем нанесены повреждения. Увесистая дубинка или железный лом, ножка кресла — да, собственно, любое тяжелое орудие в руках необычайно сильного человека могло это сделать. Женщина была бы не в силах нанести такие увечья. Голова убитой, когда ее увидел врач, была отделена от тела и тоже сильно изуродована. Горло перерезано острым лезвием, возможно бритвой.

Александр Этьен, хирург, вместе с мосье Дюма был приглашен освидетельствовать трупы. Полностью присоединяется к показаниям и заключению мосье Дюма.

Ничего существенного больше установить не удалось,

¹ Берцовая кость (лат.).

хотя к дознанию были привлечены и другие лица. В Париже не бывало убийства, совершенного при столь туманных и во всех отношениях загадочных обстоятельствах. Да и убийство ли это? Полиция сбита с толку. Ни малейшей путеводной нити, ни намек на возможную разгадку».

В вечернем выпуске сообщалось, что в квартале Сен-Рок по-прежнему сильнейший переполох, но ни новый обыск в доме, ни повторные допросы свидетелей ни к чему не привели. Дополнительно сообщалось, что арестован и посажен в тюрьму Адольф Ле Бон, хотя никаких новых отягчающих улик, кроме уже известных фактов, не обнаружено.

Я видел по всему, что Дюпен крайне заинтересован ходом следствия, хоть он и воздерживался от комментариев. И только когда появилось сообщение об аресте Ле Бона, он пожелал узнать, что я думаю об этом убийстве.

Я мог лишь вместе со всем Парижем объявить его неразрешимой загадкой. Я не видел ни малейшей возможности напасть на след убийцы.

— А вы не судите по этой пародии на следствие, — возразил Дюпен. — Парижская полиция берет только хитростью, ее хваленая догадка — чистейшая басня. В ее действиях нет системы, если не считать системой обыкновение хвататься за первое, что подскажет минута. Они кричат о своих мероприятиях, но эти мероприятия так часто бьют мимо цели, что невольно вспомнишь Журдена¹, который требовал подать себе теплый халат, *pour mieux entendre la musique*². Если они иногда кое-чего и достигают, то исключительно усердием и трудом. Там же, где этих качеств недостаточно, их усилия терпят крах. У Видока³, например, была догадка и упорство, при полном неумении систематически мыслить; самая горячность его поисков подводила его, и он часто попадал впросак. Он так близко подносил предмет к глазам, что это искажало перспективу. Пусть он ясно разли-

¹ Журден — герой комедии Мольера (1622—1673) «Мещанин во дворянстве».

² Чтобы лучше слышать музыку (франц.).

³ Видок Эжен-Франсуа (1775—1857) — французский сыщик, в прошлом авантюрист и вор

чал то или другое, зато целое от него ускользало. В глубокомыслии легко перемудрить. Истина не всегда обитает на дне колодца. В насущных вопросах она, по-моему, скорее лежит на поверхности. Мы ищем ее на дне ущелий, а она поджидает нас на горных вершинах. Чтобы уразуметь характер подобных ошибок и их причину, обратимся к наблюдению небесных тел. Бросьте на звезду быстрый взгляд, посмотрите на нее уголком сетчатки (более чувствительным к слабым световым раздражениям), и вы увидите светило со всей ясностью и сможете оценить его блеск, который тускнеет, по мере того как вы поворачиваетесь, чтобы посмотреть на него в упор. В последнем случае на глаз упадет больше лучей, зато в первом восприимчивость куда острее. Чрезмерная глубина лишь путает и затуманивает мысль. Слишком сосредоточенный, настойчивый и упорный взгляд может и Венеру согнать с небес.

Что касается убийства, то давайте учиним самостоятельный розыск, а потом уже вынесем суждение. Такое расследование нас позабавит (я подумал, что «позабавит» не то слово, но промолчал), к тому же Ле Бон когда-то оказал мне услугу, за которую я и поныне ему обязан. Пойдемте же, поглядим на все своими глазами. Полицейский префект Г.— мой старый знакомый — не откажет нам в разрешении.

Разрешение было получено, и мы не мешкая отправились на улицу Морг. Это одна из тихих, неказистых улочек, соединяющих улицу Ришелье с улицей Сен-Рок. Мы жили на другом конце города и только часам к трем добрались до места. Дом нам сразу бросился в глаза, так как немало зевак все еще бесцельно глазело на закрытые ставни с противоположного тротуара. Это был обычный парижский особняк с подворотней, сбоку ее прилепилась стеклянная сторожка с подъемным оконцем, так называемая *loge de concierge*¹. Не заходя, мы проследовали дальше по улице, свернули в переулок, опять свернули и вышли к задкам дома. Дюпен так внимательно оглядывал усадьбу и соседние дома, что я только диву давался, так как не находил ничего достойного внимания.

¹ Привратническая (франц.).

Вернувшись к входу, мы позвонили. Наши верительные грамоты произвели впечатление, и дежурные полицейские впустили нас. Мы поднялись по лестнице в спальню, где была найдена мадемуазель Л'Эспанэ и где все еще лежали оба трупа. Здесь, как и полагается, все осталось в неприкосновенности и по-прежнему царил хаос. Я видел перед собой картину, описанную в «Gazette des Tribunaux», и ничего больше. Однако Дюпен все подверг самому тщательному осмотру, в том числе и трупы. Мы обошли и остальные комнаты и спустились во двор, все это под бдительным оком полицейского. Осмотр затянулся до вечера; наконец мы попрощались. На обратном пути мой спутник наведалься еще в редакцию одной из утренних газет.

Я уже рассказал здесь о многообразных причудах моего друга и о том, как *je les ménageais*¹, — соответствующее английское выражение не приходит мне в голову. Сейчас он был явно не в настроении обсуждать убийство и заговорил об этом только на завтра в полдень. Начав без предисловий, он ошеломил меня вопросом: не заметил ли я чего-то *особенного* в этой картине зверской жестокости?

«*Особенного*» он сказал таким тоном, что я невольно содрогнулся.

— Нет, ничего особенного, — сказал я, — по сравнению с тем, конечно, что мы читали в газете.

— Боюсь, что в газетном отчете отсутствует самое главное, — возразил Дюпен, — а именно то чувство невыразимого ужаса, которым веет от этого происшествия. Но бог с ним, с этим дурацким листком и его праздными домыслами. Мне думается, загадку объявили неразрешимой на том основании, которое как раз помогает ее решить: я имею в виду то чудовищное, что наблюдается здесь во всем. Полицейских смущает кажущееся отсутствие побудительных мотивов, и не столько для самого убийства, сколько для его жестокости. Кроме того, они никак не могут справиться с таким будто бы непримиримым противоречием: свидетели слышали спорящие голоса, а между тем наверху, кроме убитой мадемуазель Л'Эспанэ, никого не оказалось. Но и бежать убийцы не могли — другого выхода нет, свидетели непременно

¹ Я им потакал (франц.).

увидели б их, поднимаясь по лестнице. Невообразимый хаос в спальне; труп, который кто-то ухитрился затолкать в дымоход, да еще вверх ногами; фантастические истязания старухи — эти обстоятельства вместе с вышеупомянутыми да и многими другими, которых я не стану перечислять, оказались достаточными, чтобы выбить у наших властей почву из-под ног, парировать их хваленую догадливость. Они впали в грубую, хоть и весьма распространенную ошибку, смешав необычайное с необъяснимым. А ведь именно отклонения от простого и обычного освещают дорогу разуму в поисках истины. В таких расследованиях, как наше с вами, надо спрашивать не «Что случилось?», а «Что случилось такого, чего еще никогда не бывало?» И в самом деле, легкость, с какой я прихожу — пришел, если хотите, — к решению этой загадки, не прямо ли пропорциональна тем трудностям, какие возникают перед полицией?

Я смотрел на Дюпена в немом изумлении.

— Сейчас я жду, — продолжал Дюпен, поглядывая на дверь, — жду человека, который, не будучи прямым виновником этих зверств, в какой-то мере, однако, способствовал тому, что случилось. В самой страшной части содеянных преступлений он, по всей вероятности, неповинен. Надеюсь, я прав в своем предположении, так как на нем строится мое решение всей задачи в целом. Я жду этого человека сюда, к нам, с минуты на минуту. Разумеется, он может и не прийти, но, по всей вероятности, придет. И тогда необходимо задержать его. Вот пистолеты. Оба мы сумеем, если нужно будет, пустить их в ход.

Я машинально взял пистолеты, почти не сознавая, что делаю, не веря ушам своим, а Дюпен продолжал, словно изливаясь в монолог. Я уже упоминал о присущей ему временами отрешенности. Он адресовался ко мне и, следовательно, говорил негромко, но что-то в его интонации звучало так, точно он обращается к кому-то на далеком расстоянии. Пустой, ничего не выражающий взгляд его упирался в стену.

— Показаниями установлено, — продолжал Дюпен, — что спорящие голоса, которые свидетели слышали на лестнице, не принадлежали обоим женщинам. А значит, отпадает версия, будто мадам Л'Эспанэ убила дочь,

а потом лишила себя жизни. Я говорю об этом, лишь чтобы показать ход своих рассуждений: у мадам Л'Эспанэ не хватило бы, конечно, сил засунуть труп дочери в дымоход, где он был найден, а те истязания, которым подверглась она сама, исключают всякую мысль о самоубийстве. Отсюда следует, что убийство совершено какой-то третьей стороной и спорящие голоса с полной очевидностью принадлежали этой третьей стороне. А теперь обратимся не ко всей части показаний, касающихся обоих голосов, а только к известной их особенности. Скажите, вас ничто не удивило?

— Все свидетели,— сказал я,— согласны в том, что хриплый голос принадлежал французу, тогда как насчет визгливого или резкого, как кто-то выразился, мнения разошлись.

— Вы говорите о показаниях вообще,— возразил Дюпен,— а не об их отличительной особенности. Вы не заметили самого характерного. А следовало бы заметить. Свидетели, как вы правильно указали, все одного мнения относительно хриплого голоса; тут наблюдается полное единодушие. Что же до визгливого голоса, то удивившая меня особенность заключается не в том, что мнения разошлись, а в том, что итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз — все характеризуют его как голос иностранца. Никто в интонациях визгливого голоса не признал речи соотечественника. При этом каждый отсылает нас не к нации, язык которой ему знаком, а как раз наоборот. Французу слышится речь испанца: «Не поймешь, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский». Для голландца это был француз; впрочем, как записано в протоколе, «свидетель по-французски не говорит, допрашивается через переводчика». Для англичанина это звучит как речь немца; кстати, он по-немецки не говорит. Испанец «уверен», что это англичанин, причем сам он по-английски ни слова не знает, судит только по интонации,— английский язык для него чужой. Итальянцу мерещится русская речь — правда, с русскими разговаривать ему не приходилось. Мало того, второй француз, в отличие от первого, «уверен, что говорил итальянец»; не владея этим языком, он, как и испанец, ссылается на интонацию. Поистине странно должна была звучать речь, вызвавшая подобные

суждения, речь, в звуках которой ни один из представителей пяти крупнейших европейских стран не узнал ничего знакомого ему, родного! Вы скажете, что то мог быть азиат или африканец. Правда, выходцы из Азии или Африки нечасто встречаются в Париже, но, даже не отрицая такой возможности, я хочу обратить ваше внимание на три обстоятельства. Одному из свидетелей голос неизвестного показался «скорее резким, чем визгливым». Двое других характеризуют его речь как торопливую и неровную. И никому не удалось разобрать ни одного членораздельного слова или хотя бы отчетливого звука.

Не знаю,— продолжал Дюпен,— какое на вас впечатление производят мои доводы, но осмелюсь утверждать, что уже из этой части показаний — насчет хриплого и визгливого голоса — вытекают законные выводы и догадки, предопределяющие весь дальнейший ход нашего расследования. Сказав «законные выводы», я не совсем точно выразился. Я хотел сказать, что это единственно возможные выводы и что они неизбежно ведут к моей догадке, как к единственному результату. Что за догадка, я пока умолчу. Прошу лишь запомнить, что для меня она столь убедительна, что придала определенное направление и даже известную цель моим розыскам в старухиной спальне.

Перенесемся мысленно в эту спальню. Чего мы прежде всего станем в ней искать? Конечно, выхода, которым воспользовались убийцы. Мы с вами, слава богу, в чуде-са не верим. Не злые же духи, в самом деле, расправились с мадам и мадемуазель Л'Эспанэ! Преступники — заведомо существа материального мира, и бежали они согласно его законам. Но как? Тут, к счастью, требуются самые несложные рассуждения, и они должны привести нас к прямому и точному ответу. Рассмотрим же последовательно все наличные выходы. Ясно, что когда люди поднимались по лестнице, убийцы находились в старухиной спальне либо, в крайнем случае, в смежной комнате,— а значит, и выход нужно искать в этих пределах. Полицейские добросовестно обследовали пол, стены и потолок. Ни одна потайная дверь не укрылась бы от их взгляда. Но, не полагаясь на них, я все проверил. Обе двери из комнат в коридор были надежно заперты изнутри. Обратимся к дымоходам.

Хотя в нижней части, футов на восемь—десять от выхода в камин, они обычной ширины, но выше настолько сужаются, что в них не пролезть и упитанной кошке. Итак, эти возможности бегства отпадают. Остаются окна. Окна в комнате на улицу в счет не идут, так как собравшаяся толпа увидела бы беглецов. Следовательно, убийцы должны были скрыться через окна спальни. Придя к такому логическому выводу, мы, как разумные люди, не должны отказываться от него на том основании, что это, мол, явно невозможно. Наоборот, мы постараемся доказать, что «невозможность» здесь не явная, а мнимая.

В спальне два окна. Одно из них ничем не заставлено и видно сверху донизу. Другое закрыто снизу спинкой громоздкой кровати. Первое окно закреплено изнутри. Все усилия поднять его оказались безуспешными. Слева в оконной раме проделано отверстие, и в нем глубоко, чуть ли не по самую шляпку, сидит большой гвоздь. Когда обратились к другому окну, то и там в раме нашли такой же гвоздь. И это окно тоже не поддавалось попыткам открыть его. Указанные обстоятельства убедили полицию, что преступники не могли бежать этим путем. А положившись на это, полицейские не сочли нужным вытащить гвозди и открыть окна.

Я не ограничился поверхностным осмотром, я уже объяснил вам почему. Ведь мне надлежало доказать, что «невозможность» здесь не явная, а мнимая.

Я стал рассуждать *апостериори*¹. Убийцы несомненно бежали в одно из этих окон. Но тогда они не могли бы снова закрепить раму изнутри, а ведь окна оказались наглухо запертыми, и это соображение своей очевидностью давило на полицейских и пресекло их поиски в этом направлении. Да, окна были заперты. Значит, они запираются автоматически. Такое решение напрашивалось само собой. Я подошел к свободному окну, с трудом вытащил гвоздь и попробовал поднять раму. Как я и думал, она не поддалась. Тут я понял, что где-то есть потайная пружина. Такая догадка, по крайней мере, оставляла в силе мое исходное положение, как ни загадочно обстояло дело с гвоздями. При внимательном осмотре я действительно обнаружил скрытую пружину.

¹ В обратном порядке (лат.).

Я нажал на нее и, удовлетворяясь этой находкой, не стал поднимать раму.

Я снова вставил гвоздь в отверстие и стал внимательно его разглядывать. Человек, вылезший в окно, может снаружи опустить раму, и затвор сам собой защелкнется,—но ведь гвоздь сам на место не станет. Отсюда следовал вывод, еще более ограничивший поле моих изысканий. Убийцы должны были бежать через другое окно. Но если, как и следовало ожидать, затвор в обоих окнах одинаковый, то разница должна быть в гвозде или, по крайней мере, в том, как он вставляется на место. Забравшись на матрац и перегнувшись через спинку кровати, я тщательно обследовал раму; потом, просунув руку, нащупал и нажал пружину, во всех отношениях схожую со своей соседкой. Затем я занялся гвоздем. Он был такой же крепыш, как и его товарищ, и тоже входил в отверстие чуть ли не по самую шляпку.

Вы, конечно, решите, что я был озадачен. Плохо же вы себе представляете индуктивный метод мышления! Выражаясь языком спортсменов, я бил по мячу без промаха. Я шел по верному следу. В цепочке моих рассуждений не было ни одного порочного звена, я проследил всю их нить до конечной точки,—и этой точкой оказался гвоздь. Я уже говорил, что он во всех отношениях походил на своего собрата в соседнем окне, но что значил этот довод (при всей своей убедительности) по сравнению с моей твердой уверенностью в том, что именно к этой конечной точке и ведет путеводная нить. «Значит, гвоздь не в порядке»,—подумал я. И действительно, чуть я до него дотронулся, как шляпка вместе с обломком шпенька осталась у меня в руке. Большая часть гвоздя продолжала сидеть в отверстии, где он, должно быть, и сломался. Излом был старый; об этом говорила покрывавшая его ржавчина; я заметил также, что удары молотка, сломавшие гвоздь, частично вогнали в раму края его шляпки. Когда я аккуратно вставил обломок в старое место, получилось впечатление, будто гвоздь целый. Ни малейшей трещинки не было заметно. Нажав на пружину, я приподнял окно. Вместе с рамой поднялась и шляпка, плотно сидевшая в отверстии. Я опустил окно, и опять возникло впечатление целого гвоздя.

Итак, в этой части загадка была разгадана: убийца

скрылся в окно, заставленное кроватью. Когда рама снова опустилась — сама или с чьей-то помощью, — пружина защелкнулась и закрепила раму на месте; полицейские же действие пружины приняли за действие гвоздя и отказались от дальнейших расследований.

Встает вопрос, как преступник спустился вниз. Тут меня вполне удовлетворила наша с вами прогулка вокруг дома. Футы в пяти с половиной от проема окна, о котором идет речь, проходит громоотвод. Добраться отсюда до окна, а тем более взлезть в него нет никакой возможности. Однако я заметил, что ставни на четвертом этаже принадлежат к числу *ferrades*, как называют их парижские плотники; они давно вышли из моды, но вы еще частенько встретите их в старых особняках где-нибудь в Лионе или Бордо. Такой ставень напоминает обычную дверь — одностворчатую, а не двустворчатую — с той, однако, разницей, что нижняя половина у него сквозная, наподобие кованой решетки или шпалеры, за нее удобно ухватиться руками. Ставни в доме мадам Л'Эспанэ шириной в три с половиной фута. Когда мы увидели их с задворок, они были полуоткрыты, то есть стояли к стене под прямым углом. Возможно, что полиция, как и я, осматривала дом с тылу. Но, увидев ставни в поперечном разрезе, полицейские не заметили их необычайной ширины, во всяком случае — не обратили должного внимания. Уверенные, что преступники не могли ускользнуть таким путем, они, естественно, ограничились беглым осмотром окон. Мне же сразу стало ясно, что, если до конца распахнуть ставень над изголовьем кровати, он окажется не более чем в двух футах от громоотвода. При известном усилии, а также исключительной смелости и ловкости вполне можно перебраться с громоотвода на окно. Протянув руку фута на два с половиной, при условии, что ставень открыт настежь, грабитель мог ухватиться за решетку. Отпустив затем громоотвод и упершись в стенку ногами, он мог с силой оттолкнуться и захлопнуть ставень, а там, если предположить, что окно открыто, махнуть через подоконник прямо в комнату.

Итак, запомните: речь идет о совершенно особой, из ряда вон выходящей ловкости, ибо только с ее помощью можно совершить столь рискованный акробатический

номер. Я намерен вам доказать, во-первых, что такой прыжок возможен, а во-вторых, — и это главное, — хочу, чтобы вы представили себе, какое необычайное, почти сверхъестественное проворство требуется для такого прыжка.

Вы, конечно, скажете, что «в моих интересах», как выражаются наши адвокаты, скорее скрыть, чем признать в полной мере, какая здесь нужна ловкость. Но если таковы нравы юристов, то не таково обыкновение разума. Моя конечная цель — истина. Ближайшая же моя задача в том, чтобы вызвать в вашем сознании следующее сопоставление: с одной стороны, изумительная ловкость, о которой я уже говорил; с другой — крайне своеобразный, пронзительный, а по другой версии — резкий голос, относительно национальной принадлежности которого мнения расходятся; и при этом невнятное лопотание, в котором нельзя различить ни одного членораздельного слога...

Под влиянием этих слов какая-то смутная догадка забрезжила в моем мозгу. Казалось, еще усилие, и я схвачу мысль Дюпена; так иной тщетно напрягает память, стараясь что-то вспомнить, и не может. Мой друг между тем продолжал:

— Заметьте, от вопроса, как грабитель скрылся, я свернул на то, как он проник в помещение. Я хочу показать вам, что то и другое произошло в одном и том же месте и одинаковым путем. А теперь вернемся к самому помещению. Что мы здесь застали? Из ящичков комода, где и сейчас лежат носильные вещи, многое, как нас уверяют, было похищено. Ну не абсурд ли? Предположение, явно взятое с потолка и не сказать чтобы умное. Почему знать, может быть, в комод и не было ничего, кроме найденных полицией вещей? Мадам Л'Эспанэ и ее дочь жили затворницами, никого не принимали и мало где бывали, — зачем же им, казалось бы, нужен был богатый гардероб? Найденные платья по своему качеству явно не худшие из того, что могли носить эти дамы. И если грабитель польстился на женские платья, то почему он оставил как раз лучшие, почему, наконец, не захватил все? А главное, почему он ради каких-то тряпок отказался от четырех тысяч золотых франков?!

А ведь денег-то он и не взял. Чуть ли не все золото, о котором сообщил мосье Миньо, осталось в целости и валялось в мешочках на полу. А потому выбросьте из

головы всякую мысль о побудительных мотивах — дурацкую мысль, возникшую в голове полицейских под влиянием той части показаний, которая говорит о доставленном на дом золоте. Совпадения вдесятеро более разительные, чем доставка денег на дом и последовавшее спустя три дня убийство получателя, происходят ежечасно у нас на глазах, а мы их даже не замечаем. Совпадения — это величайший подвох для известного сорта мыслителей, и слыхом не слыхавших ни о какой теории вероятности, — а ведь этой теории важнейшие отрасли знания обязаны наиболее славными своими открытиями. Разумеется, если бы денег недосчитались, тот факт, что их принесли чуть ли не накануне убийства, означал бы нечто большее, чем простое совпадение. С полным правом возник бы вопрос о побудительных мотивах. В данном же случае счастье деньги главным мотивом преступления означало бы прийти к выводу, что преступник — совершеннейшая разиня и болван, ибо о деньгах, а значит, о своем побудительном мотиве, он как раз и позабыл.

А теперь, твердо помня о трех обстоятельствах, на которые я обратил ваше внимание, — своеобразный голос, необычайная ловкость и поражающее отсутствие мотивов в таком исключительном по своей жестокости убийстве, — обратимся к самой картине преступления. Вот жертва, которую задушили голыми руками, а потом вверх ногами засунули в дымоход. Обычные преступники так не убивают. И уж, во всяком случае, не прячут таким образом трупы своих жертв. Представьте себе, как мертвое тело заталкивали в трубу, и вы согласитесь, что в этом есть что-то чудовищное, что-то несовместимое с нашими представлениями о человеческих поступках, даже считая, что здесь орудовало последнее отребье. Представьте также, какая требуется неимоверная сила, чтобы затолкать тело в трубу — снизу вверх, когда лишь совместными усилиями нескольких человек удалось извлечь его оттуда — сверху вниз...

И, наконец, другие проявления этой страшной силы! На каминной решетке были найдены космы волос, необыкновенно густых седых волос. Они были вырваны с корнем. Вы знаете, какая нужна сила, чтобы вырвать сразу даже двадцать — тридцать волосков! Вы, так же

как и я, видели эти космы. На корнях — страшно сказать! — запеклись окровавленные клочки мяса, содранные со скальпа,— красноречивое свидетельство того, каких усилий стоило вырвать одним махом до полумиллиона волос. Горло старухи было не просто перерезано— голова начисто отделена от шеи; а ведь орудием убийце послужила простая бритва. Вдумайтесь также в звериную жестокость этих злодеяний. Я не говорю уже о синяках на теле мадам Л'Эспанэ. Мосье Дюма и его достойный коллега мосье Этьен считают, что побои нанесены каким-то тупым орудием,— и в этом почтенные эскулапы не ошиблись. Тупым орудием в данном случае явилась булыжная мостовая, на которую тело выбросили из окна, заставленного кроватью. Ведь это же проще простого! Но полицейские и это проморгали, как проморгали ширину ставней, ибо в их герметически закупоренных мозгах не могла возникнуть мысль, что окна все же отворяются.

Если вы присоедините к этому картину хаотического беспорядка в спальне, вам останется только сопоставить неимоверную прыть, сверхчеловеческую силу, лютую кроваважность и чудовищную жестокость, превосходящую всякое понимание, с голосом и интонациями, которые кажутся чуждыми представителям самых разных национальностей, а также речью, лишенной всякой членораздельности. Какой же напрашивается вывод? Какой образ возникает перед вами?

Меня прямо-таки в жар бросило от этого вопроса.

— Безумец, совершивший это злодеяние,— сказал я,— бесноватый маньяк, сбежавший из ближайшего сумасшедшего дома.

— Что ж, не так уж плохо,— одобрительно заметил Дюпен,— в вашем предположении кое-что есть. И все же выкрики сумасшедшего, даже в припадке неукротимого буйства, не отвечают описанию того своеобразного голоса, который слышали подымавшиеся по лестнице. У сумасшедшего есть все же национальность, есть родной язык, а речи его, хоть и темны по смыслу, звучат членораздельно. К тому же и волосы сумасшедшего не похожи на эти у меня в руке. Я едва вытащил их из судорожно сжатых пальцев мадам Л'Эспанэ. Что вы о них скажете?

— Дюпен,— воскликнул я, вконец обескураженный,— это более чем странные волосы — они не принадлежат человеку!

— Я этого и не утверждаю,— возразил Дюпен.— Но прежде чем прийти к какому-нибудь выводу, взгляните на рисунок на этом листке. Я точно воспроизвел здесь то, что частью показаний определяется как «темные кровоподтеки и следы ногтей» на шее у мадемуазель Л'Эспанэ, а в заключении господ Дюма и Этьена фигурирует как «ряд сине-багровых пятен — по-видимому, отпечатки пальцев».

Рисунок, как вы можете судить,— продолжал мой друг, кладя перед собой на стол листок бумаги,— дает представление о крепкой и цепкой хватке. Эти пальцы держали намертво. Каждый из них сохранил, очевидно, до последнего дыхания жертвы ту чудовищную силу, с какой он впился в живое тело. А теперь попробуйте одновременно вложить пальцы обеих рук в изображенные здесь отпечатки.

Тщетные попытки! Мои пальцы не совпадали с отпечатками.

— Нет, постойте, сделаем уж все как следует,— остановил меня Дюпен.— Листок лежит на плоской поверхности, а человеческая шея округлой формы. Вот полence такого же радиуса, как шея. Наложите на него рисунок и попробуйте еще раз.

Я повиновался, но стало не легче, а труднее.

— Похоже,— сказал я наконец,— что это отпечаток не человеческой руки.

— А теперь,— сказал Дюпен,— прочтите этот абзац из Кювье¹.

То было подробное анатомическое и общее описание исполинского бурого орангутанга, который водится на Ост-Индских островах. Огромный рост, неимоверная сила и ловкость, неукротимая злоба и необычайная способность к подражанию у этих млекопитающих общеизвестны.

— Описание пальцев,— сказал я, закончив чтение,—

¹ К ю вье Жорж (1769—1832) — французский ученый, известный трудами в области сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных.

в точности совпадает с тем, что мы видим на вашем рисунке. Теперь я понимаю, что только описанный здесь орангутанг мог оставить эти отпечатки. Шерстинки ржаво-бурого цвета подтверждают сходство. Однако как объяснить все обстоятельства катастрофы? Ведь свидетели слышали два голоса, и один из них бесспорно принадлежал французу.

— Совершенно справедливо! И вам, конечно, запомнилось восклицание, которое чуть ли не все приписывают французу: «*mon Dieu!*» Восклицание это, применительно к данному случаю, было удачно истолковано одним из свидетелей (Монтани, владельцем магазина) как выражение протеста или недовольства. На этих двух словах и основаны мои надежды полностью решить эту загадку. Какой-то француз был очевидцем убийства. Возможно, и даже вероятно, что он непричастен к зверской расправе. Обезьяна, должно быть, сбежала от него. Француз, должно быть, выследил ее до места преступления. Поймать ее при всем том, что здесь разыгралось, он, конечно, был бессилён. Обезьяна и сейчас на свободе. Я не стану распространяться о своих догадках, ибо это всего лишь догадки и те зыбкие соображения, на которых они основаны, столь легковесны, что недостаточно убеждают даже меня, а тем более не убедят других. Итак, назовем это догадками и будем соответственно их расценивать. Но если наш француз, как я догадываюсь, непричастен к убийству, то объявление, которое я по дороге сдал в редакцию «*Le Monde*» — газеты, представляющей интересы нашего судоходства и очень популярной среди моряков, — это объявление наверняка приведет его сюда.

Дюпен вручил мне газетный лист. Я прочел:

«**ПОЙМАН** в Булонском лесу — ранним утром — такого-то числа сего месяца (*в утро, когда произошло убийство*) огромных размеров бурый орангутанг, разновидности, встречающейся на острове Борнео. Будет возвращен владельцу (по слухам, матросу мальтийского судна) при условии удостоверения им своих прав и возмещения расходов, связанных с поимкой и содержанием животного. Обращаться по адресу: дом №... на улице... в Сен-Жерменском предместье; справиться на четвертом этаже».

— Как же вы узнали,— спросил я,— что человек этот матрос с мальтийского корабля?

— Я этого не знаю,— возразил Дюпен.— И далеко не уверен в этом. Но вот обрывок ленты, посмотрите, как она засалена, да и с виду напоминает те, какими матросы завязывают волосы,— вы знаете эти излюбленные моряками *queues*¹. К тому же таким узлом мог завязать ее только моряк, скорее всего мальтиец. Я нашел эту ленту под громоотводом. Вряд ли она принадлежала одной из убитых женщин. Но даже если я ошибаюсь и хозяин ленты не мальтийский моряк, то нет большой беды в том, что я сослался на это в объявлении. Если я ошибся, матрос подумает, что кто-то ввел меня в заблуждение, и особенно вникать в это не станет. Если же я прав — это козырь в моих руках. Как очевидец, хоть и не соучастник убийства, француз, конечно, не раз подумает, прежде чем пойдет по объявлению. Вот как он станет рассуждать: «Я не виновен; к тому же человек я бедный; орангутанг и вообще-то в большой цене, а для меня это целое состояние, зачем же терять его из-за пустой мнительности. Вот он, рядом, только руку протянуть. Его нашли в Булонском лесу, далеко от места, где произошло убийство. Никому и в голову не придет, что такие страсти мог натворить дикий зверь. Полиции ввек не догадаться, как это случилось. Но хотя бы обезьяну и выследили — попробуй докажи, что я что-то знаю; а хоть бы и знал, я не виноват. Главное, кому-то я уже известен. В объявлении меня так и называют владельцем этой твари. Кто знает, что этому человеку еще про меня рассказали. Если я не приду за моей собственностью, а ведь она больших денег стоит, да известно, что хозяин — я, на обезьяну падет подозрение. А мне ни к чему навлекать подозрение что на себя, что на эту бестию. Лучше уж явлюсь по объявлению, заберу орангутанга и спрячу, пока все не порастет травой».

На лестнице послышались шаги.

— Держите пистолеты наготове,— предупредил меня Дюпен,— только не показывайте и не стреляйте — ждите сигнала.

Парадное внизу было открыто; посетитель вошел, не

¹ Здесь: косицы; буквально: хвосты (*франц.*).

позвонив, и стал подниматься по ступенькам. Однако он, должно быть, колебался, с минутой постоял на месте и начал спускаться вниз. Дюпен бросился к двери, но тут мы услышали, что незнакомец опять поднимается. Больше он не делал попыток повернуть. Мы слышали, как он решительно топает по лестнице, затем в дверь постучали.

— Войдите,— весело и приветливо отозвался Дюпен.

Вошел мужчина, судя по всему матрос,— высокий, плотный, мускулистый, с таким видом, словно сам черт ему не брат, а в общем, приятный малый. Лихие бачки и *mustacchi*¹ больше чем наполовину скрывали его загорелое лицо. Он держал в руке увесистую дубинку, по-видимому, единственное свое оружие. Матрос неловко поклонился и пожелал нам доброго вечера; говорил он по-французски чисто, разве что с легким невшательским акцентом; но по всему было видно, что это коренной парижанин.

— Садитесь, приятель,— приветствовал его Дюпен.— Вы, конечно, за орангутангом? По правде говоря, вам позавидуешь: великолепноый экземпляр и, должно быть, ценный. Сколько ему лет, как вы думаете?

Матрос вздохнул с облегчением. Видно, у него гора свалилась с плеч.

— Вот уж не знаю,— ответил он развязным тоном.— Годика четыре-пять — не больше. Он здесь, в доме?

— Где там, у нас не нашлось такого помещения. Мы сдали его на извозничий двор на улице Дюбур, совсем рядом. Приходите за ним завтра. Вам, конечно, нетрудно будет удостоверить свои права?

— За этим дело не станет, мосье.

— Прямо жалко расстаться с ним,— продолжал Дюпен.

— Не думайте, мосье, что вы хлопотали задаром,— заверил его матрос.— У меня тоже совесть есть. Я охотно уплачу вам за труды, по силе возможности, конечно. Столкуемся.

— Что ж,— сказал мой друг,— очень порядочно с вашей стороны. Дайте-ка я соображу, сколько с вас взять. А впрочем, не нужно мне денег; расскажите нам лучше, что вам известно об убийстве на улице Морг.

¹ Усы (итал.).



Вошел мужчина, судя по всему матрос...

Последнее он сказал негромко, но очень спокойно. Так же спокойно подошел к двери, запер ее и положил ключ в карман; потом достал из бокового кармана пистолет и без шума и волнения положил на стол.

Лицо матроса побагровело, казалось, он борется с удушьем. Инстинктивно он вскочил и схватился за дубинку, но тут же рухнул на стул, дрожа всем телом, смертельно бледный. Он не произнес ни слова. Мне было от души его жаль.

— Зря пугаетесь, приятель,— успокоил его Дюпен.— Мы ничего плохого вам не сделаем, поверьте. Даю вам слово француза и порядочного человека, у нас самые добрые намерения. Мне хорошо известно, что вы не виновны в этих ужасах на улице Морг. Но не станете же вы утверждать, будто вы здесь совершенно ни при чем. Как видите, многое мне уже известно, при этом из источника, о котором вы не подозреваете. В общем, положение мне ясно. Вы не сделали ничего такого, в чем могли бы себя упрекнуть или за что вас можно было бы привлечь к ответу. Вы даже не польстились на чужие деньги, хоть это могло сойти вам с рук. Вам нечего скрывать, и у вас нет оснований скрываться. Однако совесть обязывает вас рассказать все, что вы знаете по этому делу. Арестован невинный человек; над ним тяготеет подозрение в убийстве, истинный виновник которого вам известен.

Слова Дюпена оказали действие: матрос овладел собой, но куда девалась его развязность!

— Будь что будет,— сказал он, помолчав.— Расскажу вам все, что знаю. И да поможет мне бог! Вы, конечно, не поверите — я был бы дураком, если б надеялся, что вы мне поверите. Но все равно, моей вины тут нет! И пусть меня казнят, а я расскажу вам все как на духу.

Рассказ его, в общем, свелся к следующему. Недавно пришлось ему побывать на островах Индонезийского архипелага. С компанией моряков он высадился на Борнео и отправился на прогулку в глубь острова. Им с товарищем удалось поймать орангутанга. Компаньон его вскоре умер, и единственным владельцем обезьяны оказался матрос. Чего только не натерпелся он на обратном пути из-за свирепого нрава обезьяны, пока не доставил ее домой в Париж и не посадил под замок, опасаясь назойли-

вого любопытства соседей, а также в ожидании, чтобы у орангутанга зажила нога, которую он занозил на пароходе. Матрос рассчитывал выгодно его продать.

Вернувшись недавно домой с веселой пирушки — это было в ту ночь, вернее, в то утро, когда произошло убийство, — он застал орангутанга у себя в спальне. Оказалось, что пленник сломал перегородку в смежном чулане, куда его засадили для верности, чтобы не убежал. Вооружившись бритвой и намылившись по всем правилам, обезьяна, сидела перед зеркалом и собиралась бриться в подражание хозяину, за которым не раз наблюдала в замочную скважину. Увидев опасное оружие в руках у свирепого хищника и зная, что тот сумеет им распорядиться, матрос в первую минуту растерялся. Однако он уже привык справляться со своим узником и с помощью бича укрощал даже самые буйные вспышки его ярости. Сейчас он тоже схватился за бич. Заметив это, орангутанг кинулся к двери и вниз по лестнице, где было, по счастью, открыто окно, — а там и на улицу.

Француз в ужасе побежал за ним. Обезьяна, не бросая бритвы, то и дело останавливалась, корчила рожи своему преследователю и, подпустив совсем близко, снова от него убегала. Долго гнался он за ней. Было около трех часов утра, на улицах стояла мертвая тишина. В переулке Морг внимание беглянки привлек свет, мерцавший в окне спальни мадам Л'Эспанэ, на четвертом этаже ее дома. Подбежав ближе и увидев громоотвод, обезьяна с непостижимой быстротой вскарабкалась наверх, схватилась за открытый настежь ставень и с его помощью перемахнула на спинку кровати. Весь этот акробатический номер не потребовал и минуты. Оказавшись в комнате, обезьяна опять пинком распахнула ставень.

Матрос не знал, радоваться или горевать. Он вознадеялся вернуть беглянку, угодившую в ловушку, бежать она могла только по громоотводу, а тут ему легко было ее поймать. Но как бы она чего не натворила в доме! Последнее соображение перевесило и заставило его последовать за своей питомицей. Вскрабкаться по громоотводу нетрудно, особенно матросу, но, поравнявшись с окном, которое приходилось слева, в отдалении, он вынужден был остановиться. Единственное, что он мог сделать, это,

дотянувшись до ставня, заглянуть в окно. От ужаса он чуть не свалился вниз. В эту минуту и раздались душераздирающие крики, всполошившие обитателей улицы Морг.

Мадам Л'Эспанэ и ее дочь, обе в ночных одеяниях, очевидно, разбирали бумаги в упомянутой выше железной укладке, выдвинутой на середину комнаты. Сундучок был открыт, его содержимое лежало на полу рядом. Обе женщины, должно быть, сидели спиной к окну и не сразу увидели ночного гостя, судя по тому, что между его появлением и криками прошло некоторое время. Они, конечно, решили, что ставнем хлопнул ветер.

Когда матрос заглянул в комнату, огромный орангутанг держал мадам Л'Эспанэ за волосы, распущенные по плечам (она расчесывала их на ночь), и поигрывал бритвой перед самым ее носом в подражание парикмахеру. Дочь лежала на полу без движения, в глубоком обмороке. Крики и сопротивление старухи, стоившие ей вырванных волос, изменили, быть может, и мирные поначалу намерения орангутанга, разбудив в нем ярость. Сильным взмахом мускулистой руки он чуть не снес ей голову. При виде крови гнев зверя перешел в неистовство. Глаза его пылали, как раскаленные угли. Скрежеща зубами, набросился он на девушку, вцепился ей страшными ногтями в горло и душил, пока та не испустила дух. Озираясь в бешенстве, обезьяна увидела маячившее в глубине над изголовьем кровати помертвелое от ужаса лицо хозяина. Остервенение зверя, видимо не забывшего о грозном хлысте, мгновенно сменилось страхом. Чувствуя себя виноватым и боясь наказания, орангутанг, верно, решил скрыть свои кровавые проделки и панически заметался по комнате, ломая и опрокидывая мебель, сбрасывая с кровати подушки и одеяла. Наконец, он схватил труп девушки и затолкал его в дымоход камина, где его потом и обнаружили, а труп старухи недолго думая швырнул за окно.

Когда обезьяна со своей истерзанной ношей показалась в окне, матрос так и обмер, и не столько спустился, сколько съехал вниз по громоотводу и бросился бежать домой, страшась последствий кровавой бойни и отложив до лучших времен попечение о дальнейшей судьбе своей питомицы. Испуганные восклицания потрясенного фран-

цуза и злобное бормотание разъяренной твари и были теми голосами, которые слышали поднимавшиеся по лестнице люди.

Вот, пожалуй, и все. Орангутанг бежал из старухиной спальни по громоотводу еще до того, как взломали дверь. По-видимому, он и опустил за собой окно.

Спустя некоторое время матрос поймал его и за большие деньги продал в Ботанический сад. Ле Бона сразу же освободили, как только мы с Дюпенем явились к префекту и обо всем ему рассказали, причем Дюпен не удержался и от кое-каких комментариев. При всей благосклонности к моему другу сей чинуша не скрыл своего разочарования по случаю такого конфуза и даже отпустил в наш адрес две-три шпильки насчет того, что не худо бы каждому заниматься своим делом.

— Пусть ворчит,— сказал мне потом Дюпен, не удостоивший префекта ответом.— Надо же человеку отвести душу. Пусть утешается. С меня довольно и того, что я побил противника на его территории. Впрочем, напрасно наш префект удивляется, что загадка ему не далась. По правде сказать, он слишком хитер, чтобы смотреть в корень. Вся его премудрость сплошное верхоглядство. У нее одна лишь голова, без тела, как изображают богиню Лаверну¹, или в лучшем случае — голова и плечи, как у трески. Но что ни говори, он добрый малый, в особенности восхищает меня ловкость, с какой он стяжал репутацию великого умника. Я говорю о его манере «*de nier ce qui est, et d'expliquer ce qui n'est pas*»².

¹ Л а в е р н а — древнеримская богиня прибыли, покровительница воров и мошенников.

² «Отрицать то, что есть, и распространяться о том, чего не существует в природе» («Новая Элоиза» Руссо).

УКРАДЕННОЕ ПИСЬМО

Nil sapientiae odiosius acumine nimio.

Seneca ¹



Однажды, в темный и бурный вечер осенью 18.. года, в Париже, я услаждал свою душу размышлениями и пенковой трубкой, сидя в обществе моего друга Ш. Огюста Дюпена в его крошечной библиотеке — она же кладовая для книг, — au troisième № 33, Rue Dunôt, Faubourg, St. Germain ².

Битый час мы хранили глубокое молчание, всецело погруженные — так, по крайней мере, показалось бы постороннему наблюдателю — в созерцание причудливых облаков дыма, наполнявшего комнату. Что касается меня, то я думал о двух давних событиях, о которых мы беседовали вначале вечера: это было происшествие на улице Морг и тайна, связанная с убийством Мари Рожé. И я невольно был поражен каким-то странным совпадением, когда дверь отворилась и вошел господин Г., префект парижской полиции.

¹ Для мудрости нет ничего ненавистнее мудрствования (лат.). Сенека.

² В Сен Жерменском предместье, на улице Дюно, № 33, четвертый этаж (франц.).

Мы встретили его очень приветливо: хоть многое в нем заслуживало презрения, но человек он был презабавный, к тому же мы не виделись с ним уж несколько лет. Мы сидели в темноте, и Дюпен привстал было, чтобы зажечь лампу, но снова уселся, услышав, что гость пришел посоветоваться с нами — точнее, с моим другом — относительно одного происшествия, наделавшего немало хлопот.

— История эта, вероятно, потребует размышлений, — сказал Дюпен, — и нам, пожалуй, удобнее будет обсуждать ее в темноте.

— Это тоже одна из ваших странностей, — заметил префект, называвший странным все, что превышало его понимание, и потому живший среди бесчисленных «странностей».

— Вот именно, — отвечал Дюпен, предложив гостю трубку и пододвинув ему спокойное кресло.

— Так в чем же теперь дело? — спросил я. — Надеюсь, на сей раз речь идет не об убийстве?

— О нет, ничего подобного. Дело очень простое; я думаю, мы и сами с ним справимся! Но мне показалось, что Дюпену будет интересно узнать подробности: происшествие крайне странное.

— Простое и странное? — спросил Дюпен.

— Ну да, и это еще не все. В том-то и странность, что дело-то уж очень простое, а сбивает с толку.

— Может быть, именно своей простотой оно и сбивает вас с толку? — заметил мой друг.

— Что за вздор! — возразил префект, рассмеявшись.

— Может быть, тайна слишком ясна? — прибавил Дюпен.

— О господи, что за мысли!

— И слишком очевидна?

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! — захохотал гость. — Ну, Дюпен, вы меня просто уморите.

— Но что же, наконец, произошло? — спросил я.

— Я вам, пожалуй, расскажу, — отвечал префект; сделав длинную затяжку, он задумчиво выпустил струю дыма и откинулся на спинку кресла. — Расскажу в немногих словах, но должен предупредить: дело требует строжайшей тайны, и я наверняка лишусь места, если выяснится, что я кому-то о нем рассказал.

— Говорите,— предложил я.

— Или не говорите,— заметил Дюпен.

— Так вот: я получил извещение от одного высокопоставленного лица, что из королевских апартаментов похищен крайне важный документ. Похититель установлен. Тут не может быть никаких сомнений: видели, как он взял документ. Известно также, что документ до сих пор остается в его руках.

— Откуда это известно? — спросил Дюпен.

— Это ясно из самой природы документа,— отвечал префект,— и потому, что до сих пор не обнаружилось последствий, которые должны обнаружиться, когда документ уйдет из рук вора, то есть когда вор употребит его для той цели, ради которой похитил.

— Нельзя ли немножко яснее? — заметил я.

— Хорошо. Поясню: документ этот дает лицу, владеющему им, власть в той именно области, где эта власть имеет особое значение.— Префект любил дипломатические обороты.

— Я все-таки ничего не понимаю,— заявил Дюпен.

— Не понимаете? Хорошо. Предъявление этого документа третьему лицу — я не стану его называть — затронет честь одной очень высокопоставленной особы. Это дает владельцу документа власть над некоей знатной особой, спокойствие и честь которой, таким образом, подвергаются опасности.

— Но,— заметил я,— ведь эта власть зависит от того, известно ли укравшему документ, что обокраденная им особа знает похитителя? Кто же дерзнул бы...

— Вор,— перебил префект,— министр Д., человек, который способен на все достойное и недостойное. Самый способ похищения так же смел, как и остроумен. Документ, о котором идет речь (если уж говорить откровенно, это письмо), был получен пострадавшей особой в королевском будуаре, где она, находясь в одиночестве, принялась читать его и была захвачена врасплох другой знатной особой — именно той, от которой надлежало скрыть письмо. После неудачной попытки сунуть его в ящик она вынуждена была оставить письмо на столе. Впрочем, оно лежало адресом вверх и могло остаться незамеченным. В эту минуту входит министр Д. Его рысьи глаза мигом замечают конверт, узнают почерк на

адресе, видят смущение особы — и тайна угадана. Поговорив о делах, министр с обычной своей торопливостью достает из кармана письмо, очень похожее на то, о котором идет речь, разворачивает его, делает вид, что читает, потом кладет на стол рядом с первым и продолжает разговор о государственных делах. Наконец через четверть часа уходит, захватив письмо, адресованное вовсе не ему. Особа, которой принадлежало письмо, заметила этот маневр, но не могла остановить вора в присутствии стоявшего подле нее третьего лица. Министр отретировался, оставив на столе свое письмо — самого пустого содержания.

— Итак,— сказал Дюпен, обращаясь ко мне,— условия именно таковы, какие, по вашему мнению, нужны, чтобы власть одного лица над другим была полной: вору известно, что потерпевший знает, кто вор.

— Да,— подтвердил префект,— и вот уже несколько месяцев, как вор злоупотребляет этой властью для осуществления своих крайне опасных политических целей. Обворованная особа с каждым днем все более убеждается в необходимости получить письмо обратно. Но этого нельзя сделать открыто. В конце концов, доведенная до отчаяния, она поручила все дело мне.

— Полагаю,— заметил Дюпен, скрываясь в клубах дыма,— что более проницательного агента нельзя и желать, нельзя даже вообразить.

— Вы мне льстите,— отозвался префект,— впрочем, возможно, что кое-кто и держится подобного мнения.

— Как вы сами заметили,— сказал я,— письмо, очевидно, все еще в руках министра. Обладание письмом, а не его употребление дает министру власть; когда письмо будет пущено в ход, власть кончится.

— Вот именно,— сказал префект,— я и действовал на основании этого убеждения. Прежде всего я решился обыскать дом министра. Главное затруднение состояло в том, чтобы произвести обыск без его ведома. Меня предупредили, что опасность будет особенно велика в том случае, если он узнает о моих замыслах.

— Но,— сказал я,— вы достаточно *au fait*¹ в подобно-го рода делах. Парижская полиция не раз уже успешно проделывала такие штуки.

¹ Опытны (франц.).

— О да, оттого-то я и не отчаивался. К тому же и привычки министра были мне на руку. Он сплошь да рядом не ночует дома. Слуг у него мало, спят они далеко от хозяйских комнат; это главным образом неаполитанцы, которых ничего не стоит напоить. Как вам известно, у меня есть ключи, с помощью которых можно отомкнуть любую дверь в Париже. И вот уже в течение трех месяцев я почти каждую ночь самолично обыскиваю особняк Д. Это для меня вопрос чести. Кроме того, говорю вам под секретом, награда назначена огромная. Итак, я искал без устали, пока не убедился, что вор все же хитрее меня. Думаю, что я облазил каждый уголок в доме, каждую щель, в которой могло быть запрятано письмо.

— Но разве нельзя себе представить, — заметил я, — что письмо хоть и находится в руках министра, в чем не может быть сомнения, спрятано вне его квартиры?

— Вряд ли, — сказал Дюпен. — Запутанное положение дел при дворе, а в особенности интриги, в которых замешан Д., требуют, чтобы документ всегда находился под рукой и чтобы им можно было воспользоваться в любую минуту. Это для Д. почти столь же важно, как и само обладание документом.

— Воспользоваться им? — спросил я.

— Вернее говоря, уничтожить его, — отвечал Дюпен.

— Да, — заметил я, — в таком случае письмо, очевидно, в его квартире. При нем оно не может находиться, об этом и говорить нечего.

— Разумеется, — подтвердил префект. — Мои агенты под видом бандитов дважды нападали на него и обыскивали его на моих глазах.

— Напрасно трудились, — заметил Дюпен. — Не совсем же Д. сумасшедший, — он, конечно, ожидал подобных нападений.

— Не совсем сумасшедший, — возразил префект, — но ведь он поэт, стало быть, не далек от сумасшествия.

— Верно, — согласился Дюпен, задумчиво выпуская клуб дыма из своей пенковой трубки, — хотя и я когда-то грешил виршами.

— Не можете ли вы, — спросил я, — рассказать подробнее об обыске?

— Видите ли, времени у нас было довольно, и мы искали везде. Я ведь собаку съел на этих делах. Я обыскал

весь дом, комнату за комнатой, и все по ночам; посвятил каждой по неделе. Мы прежде всего осматривали мебель; вскрывали все ящики, вы, я думаю, сами понимаете, что для хорошего сыщика нет потайных ящиков. Тот, от кого ускользнет при обыске потайной ящик,— олух, а не сыщик. Это же так просто. У каждого письменного стола есть определенная вместимость, он занимает известное пространство. У нас на этот счет существуют точные правила. Ничто не ускользнет от осмотра. Обыскав ящики, мы принялись за кресла. Подушки были исследованы тонкими иглами, их употребление я вам объяснял. Со столов мы снимали доски.

— Зачем?

— Случается, что, желая спрятать вещь, снимают доску со стола или с другой подобной мебели, выдалбливают в ножке углубление, прячут туда вещь и кладут доску на старое место. Для той же цели служат иногда ножки кроватей.

— А разве нельзя определить пустоту по звуку? — спросил я.

— Никким образом, если спрятанный предмет завернут в достаточно толстый слой ваты. К тому же нам приходилось действовать без шума.

— Однако не могли же вы снять все крышки, изломать все ножки и все ящики, в которых могло быть спрятано письмо. Ведь его можно свернуть в трубочку не толще вязальной спицы и засунуть... ну хотя бы в перекладину стула. Не могли же вы разбирать по кусочкам все стулья!

— Разумеется, нет. Но мы сделали лучше: мы осмотрели все стулья, всю мебель, каждую шишечку, каждую отдельную планку с помощью сильной лупы. Малейшие следы недавней работы не ускользнули бы от нас. Впадинка от буравка показалась бы размером с яблоко. Ничтожная царапинка, трещинка в местах соединения планок заставила бы нас взломать вещь.

— Полагаю, что вы осмотрели зеркала между рамами и стеклом, обыскали постели, постельное белье, ковры, шторы?

— Само собой разумеется. Исследовав таким образом все вещи, мы принялись за самый дом. Мы разделили его на участки, занумеровали их, чтобы не пропустить

ни одного, и осмотрели таким же порядком, в лупу, каждый квадратный дюйм этого и двух соседних домов.

— Двух соседних домов! — воскликнул я. — Однако пришлось же вам повозиться!

— Да, но и награда обещана колоссальная!

— А сады и участки вокруг домов тоже осмотрели?

— Они вымощены кирпичом. Их осмотр не представлял особенных затруднений. Мы исследовали мох между кирпичами и убедились, что он не тронут.

— Вы, разумеется, осмотрели также бумаги и библиотеку Д.?

— Конечно; мы развязывали каждую связку, каждую папку; каждую книгу перелистывали с начала до конца, не ограничиваясь одним встряхиванием, как делает иногда полиция. Измеряли толщину переплетов и рассматривали их в лупу самым тщательным образом. Если бы что-нибудь было запрятано в переплете, мы не могли бы этого не заметить. Некоторые из книг, только что полученные от переплетчика, были осторожно исследованы тонкими иглами.

— Вы исследовали полы под коврами?

— Еще бы. Мы снимали ковры и рассматривали доски в лупу.

— Обои?

— Тоже.

— Заглянули в подвалы?

— Как же.

— Ну, — сказал я, — значит, вы ошиблись: письмо спрятано не в его доме.

— Боюсь, что вы правы, — отвечал префект. — Так вот, что же вы мне посоветуете, Дюпен?

— Основательно обыскать еще раз весь особняк.

— Это ни к чему, — возразил префект. — Я головой ручаюсь за то, что письма в доме нет.

— Другого совета я вам дать не могу, — сказал Дюпен. — У вас, конечно, есть точное описание письма?

— О да! — Тут префект достал из кармана записную книжку и прочел подробнейшее описание внутреннего и особенно внешнего вида пропавшего документа. Вскоре после этого он ушел в таком угнетенном состоянии духа, в каком я его еще никогда не видал.

Месяц спустя он нанес нам вторичный визит и застал

нас за прежним занятием. Усевшись в кресло и заку-
рив трубку, он начал болтать о том о сем. Наконец я
спросил:

— Как же насчет письма, любезный Г.? Я думаю, вы
убедились, что поймать этого министра с поличным не-
легко?

— Да, черт его подери! Я еще раз произвел обыск,
по совету Дюпена, но, как и ожидал, без успеха.

— Какая, вы сказали, обещана награда? — спросил
Дюпен.

— Огромная сумма, очень щедрая награда. Точной
цифры не назову, но скажу одно: я лично выдал бы чек
на пятьдесят тысяч франков тому, кто доставит мне это
письмо. Дело в том, что необходимость найти его возра-
стает с каждым днем. На днях награда удвоена. Но,
будь она даже утроена, я не могу сделать больше того,
что сделал.

— Ну, знаете, — протянул Дюпен, попыхивая пенко-
вой трубкой, — я думаю... мне кажется, Г., вы еще не все
сделали, не все испробовали. Вы могли бы сделать боль-
ше, думается мне, а?

— Как? Каким образом?

— Видите ли, — пфф, пфф — вы могли бы — пфф,
пфф — посоветоваться кое с кем. Пфф, пфф, пфф. Пом-
ните анекдот об Абернети? ¹

— Нет, черт с ним, с Абернети!

— Разумеется, черт с ним! Но один богатый скряга
вздумал как-то выудить у Абернети медицинский совет.
Вступив с ним для этого в разговор где-то на вечере,
он описал свою болезнь под видом болезни вымышлен-
ного лица. «Вот каковы симптомы, — сказал он в за-
ключение. — Что бы вы ему посоветовали, доктор?» —
«Что бы я посоветовал? — отвечал Абернети. — Пригла-
сить врача».

— Но, — сказал префект, слегка покраснев, — я реши-
тельно готов заплатить за совет. Я действительно дам
пятьдесят тысяч франков тому, кто поможет мне найти
письмо.

— В таком случае, — сказал Дюпен, отодвигая ящик

¹ Абернети Джон (1764—1831) — английский хирург, извест-
ный своим эксцентрическим поведением.

письменного стола и доставая чековую книжку, — вы можете сейчас же написать чек. Как только он будет готов, я вручу вам письмо.

Я остолбенел. Префект был точно громом поражен. В течение нескольких минут он сидел нем и недвижим; разинув рот и выпучив глаза, он недоверчиво смотрел на моего друга. Затем, опомнившись, схватил перо и после некоторых колебаний и растерянных взглядов написал чек и протянул его через стол Дюпену. Последний внимательно прочел чек, спрятал его в записную книжку, затем открыл бювар, извлек оттуда письмо и подал префекту. Полицейский схватил его вне себя от радости, развернул дрожащими руками, пробежал, ринулся как безумный к дверям и исчез, так и не сказав ни единого слова с той минуты, как Дюпен предложил ему подписать чек.

Когда он ушел, мой друг приступил к объяснению.

— Парижские полицейские, — начал он, — по-своему народ очень полезный. Они настойчивы, изобретательны, хитры и знают свое дело до тонкости. Когда Г. описал мне, как он производил обыск в доме министра, я ни минуты не сомневался, что обследование было сделано безукоризненно — для такого рода обследований.

— Для такого рода обследований?

— Да. Принятые меры были в данном случае не только лучшими, но и выполнены в совершенстве. Если бы письмо было спрятано на той территории, где они производили обыск, эти молодцы, без сомнения, нашли бы его.

Я рассмеялся, но Дюпен, по-видимому, говорил вполне серьезно.

— Итак, — продолжал он, — меры были по-своему хороши, исполнение тоже не оставляло желать лучшего. Недостаток их заключался в том, что они не подходили к данному случаю и к данному лицу. Существует группа очень остроумных приемов, род прокрустова ложа, и к ним префект прибегает во всех случаях. Но он подходит к делу или слишком глубокомысленно, или слишком поверхностно, так что сплошь да рядом любой школьник оказался бы сообразительнее. Я знал одного восьмилетнего мальчика, который изумлял всех своим искусством играть в «чет и нечет». Игра эта очень простая: один из играющих зажимает в руке несколько шариков, а другой



Префект дрожащими руками развернул письмо и пробежал его глазами.

должен угадать, четное у него число или нечетное. Если угадает — получит один шарик, если нет — должен отдать шарик противнику. Мальчик, о котором я говорю, обыгрывал всех в школе. Разумеется, у него был известный метод отгадывания, основанный на простой наблюдательности и оценке сообразительности партнеров. Например, играет с ним какой-нибудь простофиля, зажав в руке шарики, и спрашивает: «Чет или нечет?» Наш игрок отвечает: «Нечет» — и проигрывает; но в следующий раз выигрывает, ибо он рассуждает так: простофиля взял в первый раз четное число — хитрости у него хватит как раз настолько, чтобы взять теперь нечет, — поэтому я должен сказать «нечет». Он говорит: «Нечет» — и выигрывает. Имея дело с партнером немного поумнее, он рассуждает так: в первый раз я сказал «нечет»; помня это, он будет рассчитывать (как и первый), что в следующий раз я скажу «чет» и, стало быть, ему следует взять нечет. Но он тотчас сообразит, что это слишком простая хитрость, и решится взять чет. Скажу лучше «чет». Говорит: «Чет» — и выигрывает. В чем же, в конце концов, суть игры этого школьника, которого товарищи называли «счастливецем»?

— Это просто отождествление интеллекта игрока с интеллектом противника, — сказал я.

— Именно, — отвечал Дюпен, — и, когда я спросил мальчика, каким образом он достигает полного отождествления, от которого зависит его успех, он отвечал мне: «Когда я хочу узнать, насколько мой противник умен или глуп, добр или зол и какие у него мысли, я стараюсь придать своему лицу такое же выражение, как у него, и замечая, какие мысли или чувства появляются у меня в соответствии с этим выражением». Истина, высказанная школьником, лежит в основе всей мнимой мудрости, приписываемой Ларошфуко, Лабрюйеру, Макиавелли и Кампанелле.

— А отождествление своего интеллекта с чужим, — добавил я, — зависит, если я правильно вас понял, от точной оценки интеллекта противника.

— В своем практическом применении — да, — отвечал Дюпен. — Префект и его сподвижники ошибаются так часто, во-первых, потому, что у них отсутствует отождествление, во-вторых, потому, что они неточно оцени-

вают или вовсе не оценивают тот интеллект, с которым им приходится иметь дело. Они принимают в расчет только свои представления о хитрости и, разыскивая что-нибудь, имеют в виду лишь те способы, которые они применили бы сами, если бы им вздумалось что-нибудь скрыть. Отчасти они правы — их изобретательность в точности соответствует изобретательности рядового человека; преступник, изобретательный на свой лад, наверняка проведет их. Это всегда случается, если он по уму выше их, и нередко — если он ниже. Они не изменяют принципа своих расследований даже в случаях особой важности или экстраординарной награды, а лишь усиливают, доводя до крайности обычные приемы, не отступая при этом от того же принципа. Вот, например, случай с господином Д. Отступили ли они хоть на йоту от своего принципа? Что такое все эти ощупывания, рассматривания в лупу, деление поверхности на квадратные дюймы, — что это, как не скрупулезное применение принципа или принципов расследования, основанных на том представлении о человеческой изобретательности, к которому приучила префекта рутина его долгой практики? Вы видите, он уверен, что всякий спрячет письмо если не в ножке стула или кровати, то, во всяком случае, в какой-нибудь незаметной щелке или углублении, следуя тому же ходу мысли, которое побуждает человека просверлить дыру в ножке стула. Разве вы не понимаете, что в такие потаенные местечки прячут вещи только в обыкновенных случаях и люди обыкновенного ума, так как этот способ прежде всего придет в голову, если вам нужно что-нибудь спрятать. В таком случае успешность поисков зависит вовсе не от принципиальности ищущего, а от простого усердия, терпения и настойчивости. А эти качества всегда окажутся налицо, когда дело представляет большую важность или за него обещана хорошая награда, что в глазах полиции одно и то же. Теперь для вас ясен и смысл моего замечания: если бы письмо находилось в районе поисков префекта, иными словами, если бы вор руководствовался тем же принципом, что и префект, то оно, без сомнений, было бы найдено. Однако префект остался в дураках. Главная причина его ошибки в том, что он считает министра сумасшедшим, зная, что тот поэт. Все сумасшедшие — поэты, об этом наш префект

догадывается; только он нарушил правило *non distributio medii*¹, сделав обратный вывод: что все поэты — сумасшедшие.

— Но разве он действительно поэт? — спросил я. — Их, как я слышал, два брата, и оба известные литераторы. Министр, кажется, написал ученый трактат о дифференциальном исчислении, он математик, а не поэт.

— Вы ошибаетесь; я хорошо его знаю. Он и то и другое. Как поэт и математик он рассуждал здраво; будь он только математик, он не рассуждал бы вовсе и попал бы в лапы префекта.

— Вы меня удивляете, — сказал я, — ваше мнение противоречит общему. Или вы ни во что не ставите веками установившиеся взгляды? Математический ум издвна считается умом *par excellence*².

— Н-у-а *à parier*, — возразил Дюпен, цитируя Шамфора³, — *que toute idée publique, toute convention reçue est une sottise, car elle a convenue au plus grand nombre*⁴. Правда, математики сделали все возможное для распространения ошибочного взгляда, о котором вы упомянули и который остается ошибочным, хотя и прослыл за истину. Например, с усердием, заслуживающим лучшей награды, они искусно ввели в алгебру термин «анализ». Виновники этого недоразумения — французы; но если термин имеет какое-либо значение, если слова важны, поскольку у них есть определенное применение, то «анализ» так же относится к «алгебре», как, например, латинское «*ambitus*»⁵ к «амбиции», «*religio*»⁶ к «религии» или «*homines honesti*» к «достопочтенным людям».

— Вы наживете ссору с парижскими алгебраистами, — заметил я, — но продолжайте.

— Я оспариваю правильность выводов и, следова-

¹ *Non distributio medii* — нерасчленение среднего (лат.) — в формальной логике одно из правил построения силлогизма

² По преимуществу (франц.).

³ Ш а м ф о р Себастиан (1741—1794) — французский писатель, активный деятель Великой французской революции, противник якобинцев.

⁴ Можно побиться об заклад, что всякая общественная идея, всякое общепринятое мнение — глупость, так как оно понравилось большинству (франц.).

⁵ Хождение вокруг, обхаживание (лат.).

⁶ Совестьливость (лат.).

⁷ Честные люди (лат.).

тельно, достоинства ума, воспитавшегося на каком угодно методе, кроме абстрактно-логического. В особенности я оспариваю достоинства ума, воспитанного на математике. Математика — наука о форме и количестве; математические доказательства — простое приложение логики к наблюдениям над формой и количеством. Даже истины так называемой чистой алгебры только в силу глубокого заблуждения считаются отвлеченными или общими. Ошибка до того грубая, что я удивляюсь, как могла она стать общепринятым убеждением. Математические аксиомы — не жизненные аксиомы. То, что справедливо в применении к отношениям между формой и количеством, часто оказывается вздором в применении, например, к истинам моральным. В этой области положение «сумма частей равна целому» в большинстве случаев оказывается неверным. В химии эта аксиома тоже не применяется. В вопросе о мотивах она не оправдывается, ибо два мотива известной побуждающей силы, соединяясь, вовсе не производят действия, равного сумме этих двух сил. И существует много других математических истин, которые являются истинами лишь в пределах *отношений*. Но математики привыкли судить обо всем с точки зрения своих окончательных истин, как будто они абсолютно применимы в жизни, и мир согласен с ними. Брайант¹ в своей весьма ученой «Мифологии» указывает аналогичный источник ошибок, говоря, что «хотя мы и не верим языческим басням, но часто забываемся и относимся к ним так, как будто бы они были реальным фактом». Математики — те же язычники: веруют в «языческие басни» и ссылаются на них не вследствие забывчивости, а в силу какого-то необъяснимого помрачения ума. Я еще не встречал математика, которому можно было бы доверять все области квадратных корней и который не веровал бы втайне, что $x^2 + px$ безусловно и при всяких обстоятельствах равно q . Скажите, ради опыта, кому-нибудь из этих господ, что, по вашему мнению, могут быть случаи, когда $x^2 + px$ не вполне равно q , — скажите, попробуйте! А затем бегите без оглядки, не давая ему опомниться, иначе он вас пристукнет.

¹ Брайант Джейкоб (1715—1804) — английский писатель, автор книги «Анализ античной мифологии».

Я к тому веду речь,— продолжал Дюпен, хотя я и рассмеялся над его последним замечанием,— что префекту не пришлось бы выдать мне чек, если бы Д. был только математиком. Но я знал, что министр — математик и поэт, и сообразовал свои действия с условиями, в которых он находился. Я знал также, что он лстец и смелый интриган. Такому господину, рассуждал я, без сомнения, известны обычные приемы полиции. Он бесспорно предвидел (последствия показали, что он действительно предвидел) нападение переодетых агентов. Он не мог не предугадать, я думаю, тайный обыск его особняка. Его частые отлучки, в которых префект усмотрел столь благоприятное условие для своих поисков, показались мне просто хитростью: ему хотелось поскорее убедить полицию (она и убедилась, как вы знаете), что письма у него в доме нет. Я догадался, что ряд мыслей, которые я вам только что изложил,— о неизменном принципе полицейских приемов расследования,— что весь этот ряд мыслей непременно должен был прийти в голову и министру. Это заставило его с презрением отвергнуть все обычные тайники, которыми пользуются, чтобы спрятать вещь. У него, думал я, хватит ума сообразить, что для буравов, зондов и луп префекта самый потайной и незаметный уголок в его квартире окажется вполне доступным. Словом, я видел, что он должен прийти — инстинктивно или сознательно — к самому простому решению вопроса. Вы помните, как хохотал префект, когда я заметил при первом его посещении, что тайна сбивает его с толку, быть может, именно потому, что она слишком ясна.

— Да,— заметил я,— помню, как он развеселился. Я боялся, что он лопнет со смеху.

— Материальный мир,— продолжал Дюпен,— изобилует аналогиями с миром нематериальным, что придает определенную убедительность известному правилу риторики, утверждающему, будто метафора, или уподобление, может усилить аргумент и украсить описание. Например, принцип *vis inertiae*¹, по-видимому, одинаков и для мира физического, и для мира метафизического. Как в первом тяжелое тело труднее привести в движение, чем легкое, и его дальнейший напор пропорционален сделан-

¹ Сила инерции (лат.).

ному усилию, так во втором мощный интеллект, более гибкий, более настойчивый, более смелый в своих стремлениях, чем дюжинный ум, труднее приводится в движение и дольше колеблется на первых порах. Далее: замечали вы когда-нибудь, какие вывески наиболее обращают на себя внимание?

— Никогда не замечал,— сказал я.

— Существует игра в загадки на географической карте,— продолжал Дюпен.— Одна сторона должна найти слово, задуманное другой,— название города, реки, области, государства,— стоящее на пестрой, испещренной названиями поверхности карты. Новички стараются обыкновенно затруднить своих противников, загадывая названия, напечатанные самым мелким шрифтом, но опытный игрок выбирает слова, напечатанные крупным шрифтом от одного края карты до другого. Эти названия, как и вывески или объявления, написанные чересчур крупными буквами, ускользают от внимания, ибо видны слишком ясно. Эта физическая слепота вполне аналогична духовной, в силу которой ум опускает все слишком очевидное, слишком осязательное. Но это обстоятельство выше или ниже понимания префекта. Ему и в голову не приходило, что министр может положить письмо на виду у всех именно для того, чтобы никто его не увидел.

Но чем больше я думаю о дерзком, блестящем и тонком остроумии Д., о том, что документ, если он хотел им воспользоваться, безусловно должен был всегда находиться у него под рукою, и об обыске, показавшем, как нельзя яснее, что письмо не было спрятано там, где префект его искал, тем вернее я приходил к убеждению, что министр избрал остроумный и простой способ скрыть письмо, не пряча его вовсе.

С такими мыслями я в одно прекрасное утро надел синие очки и отправился к министру. Д. оказался дома; по обыкновению, он зевал, потягивался, бродил из угла в угол, уверяя, что пропадает от скуки. Он, быть может, самый деятельный человек в мире, но только когда его никто не видит.

Чтобы попасть ему в тон, я стал жаловаться на слабость зрения и необходимость носить очки, из-под которых меж тем осторожно осматривал комнату, делая вид, что интересуюсь только нашим разговором.

Я обратил внимание на большой письменный стол, подле которого мы сидели; на нем в беспорядке валялись письма и бумаги, один-два музыкальных инструмента и несколько книг. Внимательно осмотрев стол, я не заметил ничего подозрительного.

Наконец взгляд мой, блуждая по комнате, упал на дрянную плетеную сумочку для визитных карточек: она была обвязана грязной голубой лентой и болталась на медном гвозде над камином. В сумочке, состоявшей из трех или четырех отделений, хранилось несколько карточек и какое-то письмо, засаленное и скомканное. Оно было надорвано почти до половины, как будто его хотели разорвать и бросить, как ненужную бумажонку, но потом раздумали. На нем была черная печать с вензелем Д., очень заметным, и адрес, написанный мелким женским почерком. Письмо было адресовано самому Д., министру. Оно было кое-как, по-видимому даже с пренебрежением, засунуто в одно из верхних отделений сумочки.

При первом взгляде на это письмо я решил, что его-то я и ищу. Конечно, вид его совершенно не соответствовал описанию префекта. Тут печать была большая, черная, с вензелем Д., там — маленькая, красная, с гербом герцогов С. Тут стояло имя Д. и адрес был написан мелким женским почерком, там — имя королевской особы, написанное смело и размашисто; только размером они подходили одно на другое. Но этот контраст лишь усилил мои подозрения. Письмо грязное и засаленное, что никак не вязалось с методическими привычками Д., было надорвано, словно пытались внушить мысль о его ненужности, и оно лежало, как я и ожидал, на самом виду.

Я затащил свой визит сколько мог и, беседуя с министром на тему, которая, как мне было известно, всегда интересовала и захватывала его, не сводил глаз с письма. Благодаря этому я до мелочей запомнил, как оно выглядело и в каком положении лежало; сверх того, мне удалось сделать открытие, уничтожившее мои последние сомнения. Рассматривая сгибы, я заметил, что они смяты больше, чем нужно. Такой вид имеет бумага, если ее сложить, потом расправить, разгладить, а затем снова сложить в обратную сторону по тем же изгибам. Этого было совершенно достаточно. Я убедился, что конверт был вы-

вернут наизнанку, как перчатка, снова сложен и снова запечатан. Я простился с министром и ушел, оставив на столе золотую табакерку.

На другой день я явился за табакеркой, и мы с увлечением возобновили вчерашний разговор. Вдруг на улице раздался выстрел, затем отчаянные крики и шум. Д. кинулся к окну, отворил его и высунулся на улицу, а я подошел к сумочке, схватил письмо и сунул в карман, положив на его место facsimile¹ конверта. Я приготовил его заранее, дома, сделав очень удачно слепок с вензеля Д. при помощи хлебного мякиша. Суматоху на улице произвел какой-то полоумный, выстрелив из ружья в толпе женщин и детей. Впрочем, выстрел был сделан холостым зарядом, так что виновника отпустили, приняв его за помешанного или пьяного. Когда он удалился, Д. отошел от окна, а я занял его место. Вскоре за тем я простился и ушел. Мнимый помешанный был подкуплен мною.

— Но зачем вам было подменять письмо? — спросил я. — Не лучше ли было в первое же посещение схватить его и уйти?

— Д., — возразил Дюпен, — человек отчаянный, готовый на все. И в его особняке найдутся преданные ему люди. Если бы я решился на такую выходку, мне бы, пожалуй, не выбраться живым из его дома. И мои милые парижане больше не услышали бы обо мне. Но у меня была определенная цель и помимо этих соображений. Вы знаете мои политические взгляды. В этом происшествии я действовал как сторонник дамы, у которой украдено письмо. Вот уже полтора года министр держит ее в своей власти.

Теперь он у нее в руках, так как, не зная о судьбе письма, он будет действовать по-прежнему. Таким образом, он собственноручно подготовил свое политическое крушение. Падение его будет столь же стремительно, как и комично. Хорошо толковать о *facilis descensus Avernus*², но я думаю, что идти вверх всегда легче, чем вниз, как говаривала Каталани о пении. В данном случае я не испытываю жалости к тому, кому предстоит идти вниз.

¹ Точное подобие (лат.).

² Легкости сошествия в преисподнюю (лат.).

Это *monstrum horrendum*¹, человек талантливый, но совершенно беспринципный. Признаюсь, мне бы очень хотелось знать, что он подумает, когда, встретив отпор со стороны «некоей особы», как называет ее префект, достанет и прочтет мое письмо.

— Как, разве вы что-нибудь написали ему?!

— Видите ли, положить чистый листок бумаги было бы с моей стороны просто неуважительно. Однажды Д. сыграл со мной в Вене злую шутку, и я тогда же сказал ему, вполне благодушно, что не забуду ее. Зная, что ему будет любопытно узнать, кто так поддел его, я решил оставить ключ к разъяснению тайны. Он знает мой почерк — и вот я написал как раз посередине листка:

Un dessein si funeste,
S'il n'est digne d'Atrée, est digne de Thyeste².

Это из «Атрея» Кребийона³.

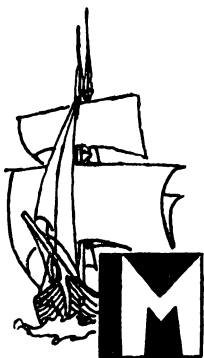
¹ Ужасное чудовище (лат.).

² Такой пагубный план

Достойн если не Атрея, то Фиеста (франц.).

³ «Атрей и Фиест» (1707) — трагедия французского драматурга Кребийона-старшего. Герои трагедии — братья-враги, согласно греческим преданиям, жестоко мстящие друг другу.

НИЗВЕРЖЕНИЕ В МАЛЬСТРЕМ



Пути Господни в Природе и в Промысле его не наши пути, и уподобления, к коим мы прибегаем, ни в коей мере не соответствуют обширности, величию и непостижимости его деяний, глубина коих превосходит глубину колодца Демокрита¹.

Джозеф Глэнвилл²

Мы наконец взобрались на вершину самого высокого отрога. Несколько минут старик, по-видимому, был не в силах говорить от изнеможения.

— Еще не так давно, — наконец промолвил он, — я мог бы провести вас по этой тропе с такой же легкостью, как мой младший сын; но без малого три года тому назад со мной случилось происшествие, какого еще никогда не выпадало на долю смертного, во всяком случае, я думаю, нет на земле человека, который, пройдя через такое испытание, остался бы жив и мог рассказать о нем. Шесть часов пережитого мною смертельного ужаса сломили мой дух и мои силы. Вы думаете, я глубокий старик, но вы ошибаетесь. Меньше чем за один день мои волосы, черные как смоль, стали совсем седыми, тело мое ослабло и нервы до того расшатались, что я дрожу от малейшего усилия и пугаюсь тени. Вы знае-

¹ Под «колодцем Демокрита» следует понимать бесконечность, в которой представлял себе движение атомов древнегреческий философ-материалист Демокрит из Абдеры (около 460—370 гг до н. э.), один из основателей атомистической теории

² Г л э н в и л л Джозеф (1636—1680) — английский философ.

те, стоит мне только поглядеть вниз с этого маленького утеса, и у меня сейчас же начинает кружиться голова.

«Маленький утес», на краю которого он прилег отдохнуть столь неосмотрительно, что большая часть его туловища выдавалась над бездной и он удерживался только тем, что опирался локтем на крутой и скользкий выступ,— этот маленький утес поднимался над пропастью прямой, отвесной глянцеви́то-черной каменной глыбой футов на полтора́ста выше гряды скал, теснившихся под нами. Ни за что на свете не осмелился бы я подойти хотя бы на пять-шесть шагов к его краю. Признаюсь, что рискованная поза моего спутника повергла меня в такое смятение, что я бросился ничком на землю и, уцепившись за торчавший около меня кустарник, не решался даже поднять глаза. Я не мог отделаться от мысли, что вся эта скалистая глыба может вот-вот обрушиться от бешеного натиска ветра. Прошло довольно много времени, прежде чем мне удалось несколько овладеть собой и я обрел в себе мужество приподняться, сесть и оглядеться кругом.

— Будет вам чудить,— сказал мой проводник,— ведь я вас только затем и привел, чтобы показать место того происшествия, о котором я говорил, потому что, если вы хотите послушать эту историю, надо, чтобы вся картина была у вас перед глазами.

Мы сейчас находимся,— продолжал он с той же неизменной обстоятельностью, коей отличался во всем,— над самым побережьем Норвегии, на шестьдесят восьмом градусе широты, в обширной области Нордланд, в суровом краю Лофодена. Гора, на вершине которой мы с вами сидим, называется Хмурый Хельсегген. Теперь поднимитесь-ка немножко повыше — держитесь за траву, если у вас кружится голова, вот так,— и посмотрите вниз, вон туда, за полосу туманов над нами, в море.

Я посмотрел, и у меня потемнело в глазах: я увидел широкую гладь океана такого густого черного цвета, что мне невольно припомнилось *Mare Tenebrarum*¹ в описании нубийского географа². Нельзя даже и вообразить

¹ Море мрака (лат.).

² ...в описании нубийского географа.— Речь идет о древнем арабском географе XII века Аль Идриси, которого называли нубийцем, так как в XVII веке его сочинения были переведены на латинский язык, под названием «География Нубии».

себе более безотрадное, более мрачное зрелище. Направо и налево, насколько мог охватить глаз, простирались гряды отвесных чудовищно черных нависших скал, как бы заслонявших весь мир. Их зловещая чернота казалась еще чернее из-за бурунов, которые, высоко вздыбливая свои белые страшные гребни, обрушивались на них с неумолчным ревом и воем. Прямо против мыса, на вершине которого мы находились, в пяти-шести милях от берега, виднелся маленький плоский островок; вернее было бы сказать, что вы угадывали этот островок по яростному клочкотанию волн, вздымавшихся вокруг него. Мили на две поближе к берегу виднелся другой островок, поменьше, чудовищно изрезанный, голый и окруженный со всех сторон выступающими там и сям темными зубцами скал.

Поверхность океана на всем пространстве между дальним островком и берегом имела какой-то необычайный вид. Несмотря на то что ветер дул с моря с такой силой, что небольшое судно, двигавшееся вдалеке под глухо зарифленным триселем, то и дело пропадало из глаз, зарываясь всем корпусом в волны, все же это была не настоящая морская зыбь, а какие-то короткие, быстрые, гневные всплески во все стороны — и по ветру, и против ветра. Пены почти не было, она бурлила только у самых скал.

— Вот тот дальний островок, — продолжал старик, — зовется у норвежцев Вург. Этот, поближе, — Моске. Там, на милю к северу, — Амбаарен. Это Ислезен, Готхольм, Кейлдохольм, Суарвен и Букхольм. Туда подальше, между Моске и Вургом, — Оттерхольм, Флимен, Сандфлезен и Стокхольм. Вот вам точные названия этих местечек, но зачем их, в сущности, понадобилось как-то называть, этого ни вам, ни мне уразуметь не дано. Вы слышите что-нибудь? Не замечаете вы никакой перемены в воде?

Мы уже минут десять находились на вершине Хельсеггена, куда поднялись из внутренней части Лофодена, так что мы только тогда увидели море, когда оно внезапно открылось перед нами с утеса. Старик еще не успел договорить, как я услышал громкий, все нарастающий гул, похожий на рев огромного стада буйволов в американской прерии; в ту же минуту я заметил, что эти всплески на море, как говорят моряки, «сечка», стремительно перешли в быстрое течение, которое неслось на

восток. У меня на глазах (в то время как я следил за ним) это течение приобретало чудовищную скорость. С каждым мгновением его стремительность, его напор возрастали. В каких-нибудь пять минут все море до самого Вурга заклокотало в неукротимом бешенстве, но сильнее всего оно бушевало между Моске и берегом. Здесь водная ширь, изрезанная, изрубцованная тысячью встречных потоков, вдруг вздыбившись в неистовых судорогах, шипела, бурлила, свистела, закручивалась спиралью в бесчисленные гигантские воронки и вихрем неслась на восток с такой невообразимой быстротой, с какой может низвергаться только водопад с горной кручи.

Еще через пять минут вся картина снова изменилась до неузнаваемости. Поверхность моря стала более гладкой, воронки одна за другой исчезли, но откуда-то появились громадные полосы пены, которых раньше совсем не было. Эти полосы разрастались, охватывая огромное пространство, и, сливаясь одна с другой, вбирали в себя вращательное движение осевших водоворотов, словно готовясь стать очагом нового, более обширного. Неожиданно — совсем неожиданно — он вдруг выступил совершенно отчетливым и явственным кругом, диаметр которого, пожалуй, превышал милю. Водоворот этот был опоясан широкой полосой сверкающей пены; но ни один клочок этой пены не залетал в пасть чудовищной воронки: внутренность ее, насколько в нее мог проникнуть взгляд, представляла собой гладкую, блестящую, черную, как агат, водяную стену с наклоном к горизонту под углом примерно в сорок пять градусов, которая бешено вращалась стремительными судорожными рывками и оглашала воздух таким душераздирающим воем — не то воплем, не то ревом, — какого даже могучий водопад Ниагары никогда не воссылает к небесам.

Гора содрогалась до самого основания, и утес колебался. Я приник лицом к земле и в невыразимом смятении вцепился в чахлую траву.

— Это, конечно, и есть, — прошептал я, обращаясь к старику, — великий водоворот Мальстрем?

— Так его иногда называют, — отозвался старик. — Мы, норвежцы, называем его Москестрем — по имени острова Моске, вон там, посредине.

Обычные описания этого водоворота отнюдь не под-

готовили меня к тому, что я теперь видел. Описание Джонаса Рамуса¹, пожалуй самое подробное из всех, не дает ни малейшего представления ни о величии, ни о грозной красоте этого зрелища, ни о том непостижимо захватывающем ощущении необычности, которое потрясает зрителя. Мне не совсем ясно, откуда наблюдал автор это явление и в какое время,— во всяком случае, не с вершины Хельсеггена и не во время шторма. Некоторые места из его описания стоит привести ради кое-каких подробностей, но язык его так беден, что совершенно не передает впечатления от этого страшного котла.

«Между Лофоденом и Моске,— говорит он,— глубина океана доходит до тридцати шести — сорока морских сажень; но по другую сторону, к Вургу, она настолько уменьшается, что здесь нет сколько-нибудь безопасного прохода для судов и они всегда рискуют разбиться о камни даже при самой тихой погоде. Во время прилива течение между Лофоденом и Моске бурно устремляется к берегу, но оглушительный гул, с которым оно во время отлива несется обратно в море, едва ли может сравниться даже с шумом самых мощных водопадов. Гул этот слышен за несколько десятков километров, а глубина и размеры образующихся здесь ям или воронок таковы, что судно, попадающее в сферу их притяжения, неминуемо захватывается водоворотом, идет ко дну и там разбивается о камни; когда море утихает, обломки выносит на поверхность. Но это затишье наступает только в промежутке между приливом и отливом в спокойную погоду и продолжается всего четверть часа, после чего волнение снова постепенно нарастает. Когда течение бушует и ярость его еще усиливается штормом, опасно приближаться к этому месту на расстояние норвежской мили. Шхуны, яхты, корабли, вовремя не заметившие опасности, погибают в пучине. Часто случается, что киты, очутившиеся слишком близко к этому котлу, становятся жертвой разъяренного потока; и невозможно описать их неистовое мычание и рев, когда они тщетно пытаются выплыть. Однажды медведя, который плыл от Лофодена к Моске, затянуло в воронку, и он так ревел, что рев его был слышен на берегу. Громадные

¹ Джонас Рамус (1649—1718) — норвежский историк.

стволы сосен и елей, поглощенные водоворотом, выносит обратно в таком растерзанном виде, что щепы на них торчат как щетина. Это несомненно указывает на то, что дно здесь покрыто острыми рифами, о которые и разбивается все, что попадает в крутящийся поток. Водоворот этот возникает в связи с приливом и отливом, которые чередуются каждые шесть часов. В 1645 году, рано утром в вербное воскресенье, он бушевал с такой силой, что от домов, стоящих на берегу, не осталось камня на камне.

Что касается глубины, я не представляю себе, каким образом можно было определить ее в непосредственной близости к воронке. Сорок саженей указывают, по-видимому, на глубину прохода возле берегов Моске или Лифодена. Глубина в середине течения Москестрема, конечно, неизмеримо больше. И для этого не требуется никаких доказательств: достаточно бросить хотя бы один беглый взгляд в пучину водоворота с вершины Хельсеггена. Глядя с этого утеса на ревущий внизу Флегетон¹, я не мог не улыбнуться тому простодушию, с каким почтенный Джонас Рамус рассказывает, как о чем-то мало-правдоподобном, о случаях с китами и медведями, ибо мне, признаться, казалось совершенно очевидным, что самый крупный линейный корабль, очутившись в пределах смертоносного притяжения, мог бы противиться ему не больше, чем перышко урагану, и был бы мгновенно поглощен водоворотом.

Попытки объяснить это явление казались мне, насколько я их помню, довольно убедительными. Но теперь я воспринял их совсем по-другому, и они отнюдь не удовлетворяли меня. По общему признанию, этот водоворот, так же как и три других небольших водоворота между островами Варё, обязан своим происхождением не чему иному, как столкновению волн, которые, во время прилива и отлива сдавленные между грядками скал и рифов, яростно взмываются вверх и обрушиваются с неистовой силой; таким образом, чем выше водяной столб, тем больше глубина его падения, и естественным результатом этого является воронка, или водоворот, удивительная способность всасывания коего достаточно изучена на

¹ Флегетон — в греческой мифологии огненная река, окружающая подземное царство.

менее грандиозных примерах. Вот что говорится по этому поводу в Британской энциклопедии. Кирхер¹ и другие считают, что в середине Мальстрема имеется бездонная пропасть, которая выходит по ту сторону земного шара, что-нибудь в районе Ботнического залива, как определенно утверждают иные. Это само по себе нелепое утверждение сейчас, когда вся картина была у меня перед глазами, казалось мне вполне правдоподобным, но когда я обмолвился об этом моему проводнику, я с удивлением услышал от него, что, хотя почти все норвежцы и придерживаются этого мнения, он сам не разделяет его. Что же касается приведенного выше объяснения, он просто сознался, что не в состоянии этого понять; и я согласился с ним, потому что, как оно ни убедительно на бумаге, здесь, перед этой ревущей пучиной, оно кажется невразумительным и даже нелепым.

— Ну, вы достаточно нагляделись на водоворот,— сказал старик,— так вот теперь, если вы осторожно обогнете утес и сядете здесь, с подветренной стороны, где не так слышен этот рев, я расскажу вам одну историю, которая убедит вас, что я-то кое-что знаю о Москестреме...

Я пристроился там, где он мне посоветовал, и он приступил к рассказу:

— Я и двое моих братьев владели когда-то сообща хорошо оснащенный парусным судном, тонн этак на семьсот, и на этом паруснике мы обычно отправлялись ловить рыбу к островам за Моске, ближе к Вургу. Во время бурных приливов в море всегда бывает хороший улов, надо только выбрать подходящую минуту и иметь достаточно мужества, чтобы не упустить ее; однако из всех лофоденских рыбаков только мы трое ходили промыслять к островам. Обычно лов рыбы производится значительно ниже к югу, где можно без всякого риска рыбачить в любое время, поэтому все и предпочитают охотиться там. Однако здесь, среди скал, были кое-какие местечки, где мало того что водилась разная редкая рыба, но и улов был много богаче, так что нам иногда

¹ Кирхер Афанасий (1601—1680) — немецкий ученый, по теории которого Земля представляет собой твердое тело с пустотами внутри, заполненными огнем, водой и воздухом.

удавалось за один день наловить столько, сколько люди более робкого десятка не добывали и за неделю. Словом, это было своего рода отчаянное предприятие: вместо того чтобы вкладывать в него свой труд, мы рисковали головой, отвага заменяла нам капитал.

Мы держали наш парусник в небольшой бухте, примерно миль на пять выше отсюда по побережью, и обычно в хорошую погоду, пользуясь затишьем, которое длилось четверть часа, мы пересекали главное течение Мальстрема, намного выше ямы, и бросали якорь где-нибудь около Оттерхольма или Сандфлезена, где не так бушует прибой. Мы оставались здесь, пока снова не наступало затишье, и тогда, снявшись с якоря, возвращались домой. Мы никогда не пускались в это путешествие, если не было надежного бейдевинда (такого, за который можно было поручиться, что он не стихнет до нашего возвращения), и редко ошибались в наших расчетах. За шесть лет мы только два раза вынуждены были простоять ночь на якоре из-за мертвого штиля — явление поистине редкое в здешних местах; а однажды нам пришлось целую неделю задержаться на промысле, и мы чуть не подошли к голоду, потому что едва только мы прибыли на лов, как поднялся шторм и нечего было даже и думать о том, чтобы пересечь разбушевавшееся течение. Нас бы, конечно, все равно унесло в море, потому что шхуну так швыряло и крутило, что якорь запутался и волочился по дну; но, к счастью, мы попали в одно из перекрестных течений — их много здесь, пlynче оно тут, а завтра уже и нет его, — и оно прибило нас к острову Флимен, где нам удалось стать на якорь.

Я не могу описать и двадцатую долю тех затруднений, с которыми нам приходилось сталкиваться на промысле (скверное это место, даже и в тихую погоду). Однако мы ухитрялись всегда благополучно миновать страшную пропасть Москестрема, хотя, признаюсь, у меня иной раз душа уходила в пятки, когда нам случалось очутиться в его водах на какую-нибудь минуту раньше или позже затишья. Бывало, что ветер оказывался слабее, чем нам казалось, когда мы выходили на лов, и наш парусник двигался не так быстро, как нам хотелось, а управлять им мешало течение. У моего старшего брата был сын восемнадцати лет, и у меня тоже было двое

здоровых молодцов. Они, разумеется, были бы нам большой подмогой в таких случаях — и на веслах, да и во время лова, — но, хотя сами мы всякий раз шли на риск, у нас не хватало духу подвергать опасности жизнь наших детей, потому что, сказать правду, это была смертельная опасность.

Через несколько дней исполнится три года с тех пор, как произошло то, о чем я вам хочу рассказать. Это случилось десятого июля тысяча восемьсот... года. Жители здешних мест никогда не забудут этого дня, ибо такого страшного урагана, какой свирепствовал в тот день, еще никогда не посылали небеса. Однако все утро и после полудня дул мягкий устойчивый юго-западный ветер и солнце светило ярко, так что самый что ни на есть старожил из рыбаков не мог предугадать того, что случилось.

Около двух часов пополудни мы втроем — два моих брата и я — пристали к островам и очень скоро нагрузили нашу шхуну превосходной рыбой, которая в этот день, как мы все заметили, шла в таком изобилии, как никогда. Было ровно семь по моим часам, когда мы снялись с якоря и пустились в обратный путь, чтобы пересечь опасное течение Стрема в самом затишье, а оно, как мы хорошо знали, должно было наступить в восемь часов.

Мы вышли под свежим ветром, который нас подгонял с штирборта, и некоторое время быстро двигались вперед, не думая ни о какой опасности, потому что и в самом деле не видели никаких причин для опасений. Вдруг ни с того ни с сего навстречу нам подул ветер с Хельсеггена. Это было что-то совсем необычное, никогда такого не бывало, и мне, сам не зная почему, стало как-то не по себе. Мы поставили паруса под ветер, но все равно не двигались с места из-за встречного течения, и я уже собирался было предложить братьям повернуть обратно и стать на якорь, но в эту минуту, оглянувшись, мы увидели, что над горизонтом нависла какая-то необыкновенная, совершенно медная туча, которая росла с невероятной быстротой. Между тем налетевший на нас спереди ветер утих, наступил мертвый штиль, и нас только мотало во все стороны течением. Но это продолжалось так недолго, что мы даже не успели подумать, что бы это значило. Не прошло и минуты, как на нас налетел шторм, еще минута — небо заволочло, море вспенилось,

и внезапно наступил такой мрак, что мы перестали видеть друг друга. Бессмысленно и пытаться описать этот ураган. Ни один из самых старых норвежских моряков не видал ничего подобного. Мы успели убрать паруса, прежде чем на нас налетел шквал, но при первом же порыве ветра обе наши мачты рухнули за борт, будто их спилили, и грот-мачта увлекла за собой моего младшего брата, который привязал себя к ней из предосторожности.

Наше судно отличалось необыкновенной легкостью, оно скользило по волнам, как перышко. Палуба у него была сплошного настила, с одним только небольшим люком в носовой части; этот люк мы обычно задраивали, перед тем как переправляться через Стрем, чтобы нас не захлестнуло «сечкой». И если бы не эта предосторожность, то мы сразу пошли бы ко дну, потому что на несколько секунд совершенно зарылись в воду.

Каким образом мой старший брат избежал гибели, я не могу сказать, мне не пришлось его об этом спросить. А я, как только у меня вырвало из рук фок, бросился ничком на палубу и, упершись ногами в планшир, уцепился что было сил за рымболт у основания фок-мачты. Конечно, я это сделал совершенно инстинктивно, и это лучшее, что я мог сделать, потому что в ту минуту я был не способен думать.

На несколько секунд, как я уже вам говорил, нас совершенно затопило, и я лежал не дыша, цепляясь обеими руками за рым. Когда я почувствовал, что силы изменяют мне, я приподнялся на колени, не выпуская кольца из рук, и высунул голову из воды. В это время наше суденышко встряхнулось, точь-в-точь как пес, выскочивший из воды, и таким образом как-то вывернулось из потока. Я был точно в каком-то столбняке, изо всех сил старался овладеть собой и сообразить, что мне делать, как вдруг кто-то схватил меня за руку. Оказалось, это мой старший брат, и я страшно обрадовался, потому что я ведь уже был уверен, что его смыло за борт. Но радость моя мгновенно сменилась ужасом, когда он, приблизив губы к моему уху, выкрикнул одно слово: «Москестрем!»

Нельзя передать, что почувствовал я в эту минуту. Я затрясся с головы до ног, точно в каком-то страшном

лихорадочном ознобе. Я хорошо понял, что означало в его устах это одно-единственное слово. Ветер гнал нас вперед, прямо к водовороту Стрема, и ничто не могло нас спасти.

Вы понимаете, что обычно, пересекая течение Стрема, мы всегда старались держаться как можно выше, подальше от водоворота, даже в самую тихую погоду, и при этом зорко следили за началом затишья, а теперь нас несло в самый котел, да еще при таком урагане. «Но ведь мы, наверно, попадем туда в самое затишье,— подумал я.— Есть еще маленькая надежда». И тут же обружал себя: только сумасшедший мог на что-то надеяться.

К этому времени первый бешеный натиск шторма утих, или, может быть, мы не так ощущали его, потому что ветер дул нам в корму, но зато волны, которые сперва ложились низко, прибитые ветром, и только пенились, теперь вздыбились и превратились в целые горы... В небе также произошла какая-то странная перемена. Кругом со всех сторон оно было черное как деготь, и вдруг прямо у нас над головой прорвалось круглое оконце, и в этом внезапном просвете чистой, ясной, глубокой синевы засияла полная луна таким ярким светом, какого я никогда в жизни не видывал. Она озарила все кругом, и все выступило с необыкновенной отчетливостью — но боже, какое зрелище открылось нам в лунном свете!

Я несколько раз пытался заговорить с братом, но, непонятно почему, шум до такой степени усилился, что, как я ни старался, он не мог расслышать ни одного слова, несмотря на то, что я изо всех сил кричал ему прямо в ухо. Вдруг он покачал головой и, бледный как смерть, поднял палец, словно желая сказать: «Слушай!»

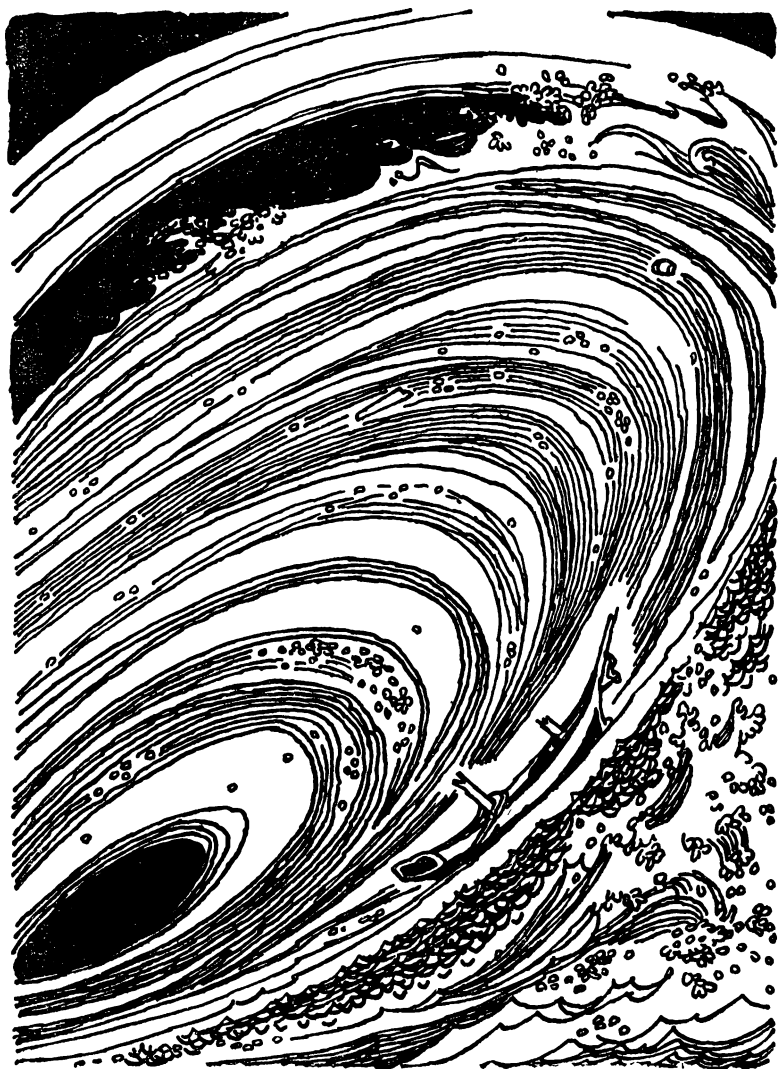
Сперва я не мог понять, на что он хочет обратить мое внимание, но тотчас же у меня мелькнула страшная мысль. Я вытащил из кармана часы, поднял их на свет и поглядел на циферблат. Они остановились в семь часов! Мы пропустили время затишья, и водоворот Стрема сейчас бушевал вовсю.

Если судно сбито прочно, хорошо оснащено и не слишком нагружено, при сильном шторме в открытом море волны всегда словно выскальзывают из-под него; людям, непривычным к морю, это кажется странным, а у нас на морском языке это называется «оседлать волны».

Так вот, до сих пор мы очень благополучно «держались в седле», как вдруг огромная волна подхватила нас прямо под корму и, взметнувшись, потащила вверх, выше, выше, словно в самое небо. Я бы никогда не поверил, что волна может так высоко подняться. А потом, крутясь и скользя, мы стремглав полетели вниз, так что у меня захватило дух и потемнело в глазах, будто я падал во сне с высокой-высокой горы. Но, пока мы еще были наверху, я успел бросить взгляд по сторонам, и одного этого взгляда было достаточно. Я тотчас же понял, где мы находимся. Водоворот Москестрема лежал прямо перед нами, на расстоянии всего четверти мили, но он был так непохож на обычный Москестрем, как вот этот водоворот, который вы видите, на мельничный ручей. Если бы я еще раньше не догадался, где мы и к чему мы должны быть готовы, я бы не узнал этого места. И я невольно закрыл глаза от ужаса. Веки мои сами собой судорожно сомкнулись.

Прошло не больше двух-трех минут, как вдруг мы почувствовали, что волны отхлынули и нас обдаёт пеной. Судно круто повернуло на левый борт и стремительно рванулось вперед. В тот же миг оглушительный грохот волн совершенно потонул в каком-то пронзительном свисте,— представьте себе несколько тысяч пароходов, которые все сразу вместе свистят всеми своими выпускными трубами! Мы очутились теперь в полдсе пены, всегда окружающей водоворот, и я подумал, что нас, конечно, сейчас швырнет в бездну, которую мы только смутно различали, потому что кружили над ней с невероятной быстротой. Шхуна наша как будто совсем не погружалась в воду, а скользила, как пузырь, по поверхности зыби. Правый борт был обращен к водовороту, а слева громоздился необъятный, покинутый нами океан. Он высился подобно огромной стене, которая судорожно вздыбливалась между нами и горизонтом.

Это может казаться странным, но теперь, когда мы уже очутились в самой пасти водяной бездны, я был спокойнее, чем тогда, когда мы еще только приближались к ней. Сказав себе, что надеяться не на что, я почти избавился от того страха, который так парализовал меня вначале. Должно быть, отчаяние взвинтило мои нервы.



Водоворот Москестрема лежал прямо перед нами...

Можно подумать, что я хвастаюсь, но я вам говорю правду: мне представлялось, как это должно быть величественно — погибнуть такой смертью и как безрассудно перед столь чудесным проявлением всемогущества божьего думать о таком пустяке, как моя собственная жизнь. Мне кажется, я даже вспыхнул от стыда, когда эта мысль мелькнула у меня в голове. Спустя некоторое время мысли мои обратились к водовороту, и мной овладело чувство жгучего любопытства. Меня положительно тянуло проникнуть в его глубину, и мне казалось, что для этого стоит пожертвовать жизнью. Я только очень сожалел о том, что никогда уже не смогу рассказать старым товарищам, оставшимся на суше, о тех чудесах, которые увижу. Конечно, это странно, что у человека перед лицом смерти возникают такие нелепые фантазии; я потом часто думал, что, может быть, это бесконечное кружение над бездной несколько помутило мой разум.

Было, между прочим, еще одно обстоятельство, которое помогло мне овладеть собой: это отсутствие ветра, теперь не достигавшего нас. Как вы сами видели, полоса пены находится значительно ниже уровня океана — он громоздился над нами высокой, черной, необозримой стеной. Если вам никогда не случалось быть на море во время сильного шторма, вы не в состоянии даже представить себе, до какого исступления может довести ветер и хлестанье волн. Они слепят, оглушают, не дают вздохнуть, лишают вас всякой способности действовать и соображать. Но теперь мы были почти избавлены от этих неприятностей, — так осужденный на смерть преступник пользуется в тюрьме некоторыми маленькими льготами, которых он был лишен, когда участь его еще не была решена.

Сколько раз совершили мы круг по краю водоворота, сказать невозможно. Нас кружило, может быть, около часа; мы не плыли, а словно летели, подвигаясь все больше к середине пояса, потом все ближе и ближе к его зловещему внутреннему краю. Все это время я не выпускал из рук рыма. Мой старший брат лежал на корме, ухватившись за маленький пустой бочонок, принайтованный к корме; это была единственная вещь на палубе, которую не снесло за борт налетевшим ураганом. Но вот, когда мы уже совсем приблизились к краю воронки, брат вдруг выпустил из рук бочонок и, бросившись

к рыму, вне себя от ужаса, пытался оторвать от него мои руки, так как вдвоем за него уцепиться было нельзя. Никогда в жизни не испытывал я такого огорчения, как от этого его поступка, хотя я и понимал, что у него, должно быть, отшибло разум, что он совсем помешался от страха. У меня и в мыслях не было вступать с ним в борьбу. Я знал, что никому из нас не поможет, будем мы за что-нибудь держаться или нет. Я уступил ему кольцо и перебрался на корму к бочонку. Сделать это не представляло большого труда, потому что шхуна наша в своем вращении держалась довольно устойчиво, не кренилась на борт и только покачивалась взад и вперед от гигантских рывков и содроганий водоворота. Едва я успел примоститься на новом месте, как вдруг мы резко опрокинулись на правый борт и стремглав понеслись в бездну. Я поспешно прошептал молитву и решил, что все кончено.

Во время этого головокружительного падения я инстинктивно вцепился изо всех сил в бочонок и закрыл глаза. В течение нескольких секунд я не решался их открыть; я ждал, что вот-вот мы погибнем, и не понимал, почему я еще не вступил в смертельную схватку с потоком. Но секунды проходили одна за другой — я был жив. Я перестал чувствовать, что мы летим вниз; шхуна, казалось, двигалась совершенно так же, как и раньше, когда она была в полосе пены, с той только разницей, что теперь она как будто глубже сидела в воде. Я собрался с духом, открыл глаза и бросил взгляд сначала в одну, потом в другую сторону.

Никогда не забуду я ощущения благоговейного трепета, ужаса и восторга, охвативших меня. Шхуна, казалось, повисла, задержанная какой-то волшебной силой, на половине своего пути в бездну, на внутренней поверхности огромной круглой воронки невероятной глубины; ее совершенно гладкие стены можно было бы принять за черное дерево, если бы они не вращались с головокружительной быстротой и не отбрасывали от себя мерцающее, призрачное сияние лунных лучей, которые золотым потоком струились вдоль черных склонов, проникая далеко вглубь, в самые недра пропасти.

Сначала я был так ошеломлен, что не мог ничего разглядеть. Грозное, всеобъемлющее величие — вот

все, что открылось моему зрению. Когда я немножко пришел в себя, взгляд мой невольно устремился вниз. В этом направлении для глаза не было никаких преград, ибо шхуна висела на наклонной поверхности воронки. Она держалась совершенно ровно, иначе говоря — палуба ее представляла собой плоскость, параллельную плоскости воды, но эта последняя круто опускалась, образуя угол больше сорока пяти градусов, так что мы как бы лежали на боку. Однако я не мог не заметить, что и при таком положении я почти без труда сохранял равновесие; должно быть, это объяснялось скоростью нашего вращения.

Лунные лучи, казалось, ощупывали самое дно пучины; но я по-прежнему не мог ничего различить, так как все было окутано густым туманом, а над ним висела сверкающая радуга, подобная тому узкому, колеблющемуся мосту, который, по словам мусульман, является единственным переходом из Времени в Вечность. Этот туман, или водяная пыль, возникал, вероятно, от столкновения гигантских стен воронки, когда они все сразу сшибались на дне; но вопль, который поднимался из этого тумана и летел к небесам, я не берусь описать.

Когда мы оторвались от верхнего пояса пены и очутились в бездне, нас сразу увлекло на очень большую глубину, но после этого мы спускались отнюдь не равномерно. Мы носились кругами, но не ровным, плавным движением, а стремительными рывками и толчками, которые то швыряли нас всего на какую-нибудь сотню ярдов, то заставляли лететь так, что мы сразу описывали чуть не полный круг. И с каждым оборотом мы опускались ниже, медленно, но очень заметно.

Озираясь кругом и глядяваясь в огромную черную пропасть, по стенам которой мы кружились, я заметил, что наше судно было не единственной добычей, захваченной пастью водоворота.

Над нами и ниже нас виднелись обломки судов, громадные бревна, стволы деревьев и масса мелких предметов — разная домашняя утварь, разломанные ящики, доски, бочонки. Я уже говорил о том неестественном любопытстве, которое овладело мною, вытеснив первоначальное чувство безумного страха. Оно как будто все сильнее разгоралось во мне, по мере того как я все бли-

же и ближе подвигался к страшному концу. Я с необычайным интересом разглядывал теперь все эти предметы, кружившиеся вместе с нами. Быть может, я был в бреду, потому что мне даже доставляло удовольствие загадывать, какой из этих предметов скорее умчится в клокочущую пучину. Вот эта сосна, говорил я себе, сейчас непременно сделает роковой прыжок, нырнет и исчезнет,— и я был очень разочарован, когда остов голландского торгового судна опередил ее и нырнул первым. Наконец, после того как я несколько раз загадывал и всякий раз ошибался, самый этот факт — неизменной ошибочности моих догадок — натолкнул меня на мысль, от которой я снова весь задрожал с головы до ног, а сердце мое снова неистово заколотилось.

Но причиной этому был не страх, а смутное предчувствие надежды. Надежда эта была вызвана к жизни некоторыми воспоминаниями и в то же время моими теперешними наблюдениями. Я припоминал весь тот разнообразный хлам, которым усеян берег Лофодена, все, что когда-то было поглощено Москестремом и потом выброшено им обратно. Большей частью это были совершенно изуродованные обломки, истерзанные и искромсанные до такой степени, что щепы на них стояла торчком, но среди этого хлама иногда попадались предметы, которые совсем не были изуродованы. Я не мог найти этому никакого объяснения, кроме того, что из всех этих предметов только те, что превратились в обломки, были увлечены на дно, другие же — потому ли, что они много позже попали в водоворот, или по какой-то иной причине — опускались очень медленно и не успевали достичь дна, так как наступал прилив или отлив. Я готов был допустить, что и в том и в другом случае они могли быть вынесены на поверхность океана, не подвергшись участи тех предметов, которые были втянуты раньше или почему-то затонули скорее. При этом я сделал еще три важных наблюдения. Первое: как общее правило, чем больше были предметы, тем скорее они опускались; второе: если из двух тел одинакового объема одно было сферическим, а другое какой-нибудь иной формы, сферическое опускалось быстрее; третье: если из двух тел одинаковой величины одно было цилиндрическим, а другое любой иной формы, цилиндрическое погружалось медленнее.

После того как я спасся, я несколько раз беседовал на эту тему с нашим старым школьным учителем. От него я и научился употреблению этих слов — «цилиндр» и «сфера». Он объяснил мне, хоть я и забыл это объяснение, какую связь имеет то, что мне пришлось наблюдать, с формой плывущих предметов и почему так получилось, что цилиндр, попавший в водоворот, оказывал большее сопротивление его всасывающей силе и втягивался труднее, чем какое-нибудь другое, равное ему по объему тело, обладающее иной формой¹.

Еще одно удивительное обстоятельство в большей мере подкрепляло мои наблюдения, оно-то главным образом и побудило меня воспользоваться ими для своего спасения: каждый раз, описывая круг, мы обгоняли то бочонок, то рею или обломок мачты, и многие из этих предметов, которые были на одном уровне с нами в ту минуту, когда я только что открыл глаза и увидел эти чудеса водоворота, теперь кружили высоко над нами и как будто почти не сдвинулись со своего первоначального уровня.

Я больше не колебался. Я решил привязать себя как можно крепче к бочонку для воды, за который я держался, отрезать найтов, прикреплявший его к корме, и броситься в воду. Я попытался знаками привлечь внимание брата, я показывал ему на проплывавшие мимо нас бочки и всеми силами старался объяснить ему, что именно я собираюсь сделать. Мне кажется, он в конце концов понял мое намерение, но — так это было или нет — он только безнадежно покачал головой и не захотел двинуться с места. Дотянуться до него было невозможно; каждая секунда промедления грозила гибелью. Итак, я скрепя сердце предоставил брата его собственной участи, привязал себя к бочонку той самой веревкой, которой бочонок был принайтован к корме, и не задумываясь бросился в пучину.

Результат оказался в точности таким, как я и надеялся. Так как я сам рассказываю вам эту историю и вы видите, что я спасся, и знаете из моих слов, каким образом мне удалось спастись, а следовательно, можете уже сейчас предугадать все, чего я еще не досказал, я

¹ См. Архимед, «О плавающих предметах», т. 2. (Примеч. автора)

постараюсь в немногих словах закончить мой рассказ. Прошел, быть может, час или немного больше, после того как я покинул шхуну, которая уже успела спуститься значительно ниже меня, как вдруг она стремительно перевернулась три-четыре раза и, унося с собой моего доброго брата, нырнула в пучину и навсегда исчезла из глаз в бушующей пене. Бочонок, к которому я был привязан, прошел чуть больше половины расстояния до дна воронки от того места, где я прыгнул, когда в самых недрах водоворота произошла решительная перемена. Покатые стены гигантской воронки стали внезапно и стремительно терять свою крутизну, их бурное вращение постепенно замедлялось. Туман и радуга мало-помалу исчезли, и дно пучины как будто начало медленно подниматься. Небо было ясное, ветер затих, и полная луна, сияя, катилась к западу, когда я очутился на поверхности океана против берегов Лофодена, над тем самым местом, где только что зияла пропасть Москестрема. Это было время затишья, но море после урагана все еще дыбилось громадными волнами. Течение Стрема подхватило меня и через несколько минут вынесло к рыбацким промыслам. Я был еле жив и теперь, когда опасность миновала, не в силах был вымолвить ни слова и не мог опомниться от пережитого ужаса. Меня подобрал мой старый приятель и товарищи, но они не узнали меня, как нельзя узнать выходца с того света. Волосы мои, еще накануне черные как смоль, стали, как вы сами видите, совершенно седыми. Говорят, будто и лицо у меня стало совсем другое. Я потом рассказывал им всю эту историю, но они не поверили мне. Теперь я рассказал ее вам, но я сильно сомневаюсь, что вы поверите этому больше, чем беспечные лофоденские рыбаки.

С В И Д А Н И Е

Ты подожди меня, постой,
Мы в мир теней уйдем с тобой ¹.

Эпитафия на смерть жены Генри
Кинга, епископа Чичестерского ²



Отмеченный роком, загадочный человек, ослепленный блеском собственного воображения и сгоревший в огне своей страстной юности! Снова твой образ встает в мечтах моих! Опять я вижу тебя — не таким, о, не таким, каким витаешь ты ныне в холодной долине теней, а каким ты мог быть — расточая жизнь и предаваясь роскошным грезам в этом городе смутных призраков, в твоей родной Венеции — счастливом Элизииуме моря, — чьи дворцы, возведенные Палладио ³, с глубокой и горькой думой смотрятся широкими окнами в безмолвные таинственные воды. Да, повторяю — каким ты мог быть! Конечно, есть иные миры, кроме нашего, иные мысли, кроме мыслей толпы, иные доводы, кроме доводов софистов. Кто же решится призвать тебя к ответу? Кто осудит часы твоих видений и назовет бесплодной растратой жизни занятия, в которых только прорывался избыток твоей неисчерпаемой энергии?

¹ Перевод А. Голембы.

² Кинг Генри (1592—1669) — английский епископ, известный также своими поэтическими произведениями.

³ Палладио Андреа (1508—1580) — выдающийся итальянский архитектор.

Это было в Венеции, под украшенной барельефами аркой Ponte dei Sospiri¹, — там я в третий или четвертый раз встретил того, о ком говорю. Смутно припоминаются мне обстоятельства нашей встречи. Но я помню — и могу ли забыть? — глубокую полночь, Мост Вздохов, красоту женщины и Гения Романтики, носившегося над узким каналом.

Была необыкновенно темная ночь. Большие часы на Пьяцце пробили два часа — итальянский вечер кончался. Площадь Кампанильи опустела и затихла, огни в старом герцогском дворце погасли один за другим. Я возвращался домой с Пьяцетты по Большому каналу. Но, когда моя гондола поравнялась с устьем канала св. Марка, дикий, отчаянный, протяжный женский вопль внезапно разнесся среди ночной тишины. Пораженный этим воплем, я вскочил, а гондольер выронил свое единственное весло, и так как найти его в этой непроглядной тьме было невозможно, то мы оказались во власти течения, которое в этом месте поворачивает из Большого канала в Малый. Подобно огромному черному кондору, тихонько скользили мы к Мосту Вздохов, когда тысячи огней, загоревшихся в окнах и на лестницах дворца, внезапно превратили эту угрюмую ночь в багровый, неестественный день.

Выскользнув из объятий матери, из верхнего окна высокого здания в глубокий и мрачный канал упал ребенок. Спокойные воды безмолвно сомкнулись над своей жертвой, и, хотя ни одной гондолы, кроме моей, не было поблизости, много смелых пловцов уже разыскивали на поверхности канала сокровище, которое — увы! — можно было найти только в его пучинах. На черных широких мраморных плитах у входа во дворец стояла фигура, которую никто, однажды видевший ее, уже не мог забыть. Всего несколько ступенек отделяло ее от воды. То была маркиза Афродита — кумир Венеции, воплощенное веселье, красавица из красавиц — молодая супруга старого интригана Ментони и мать прелестного ребенка, первого и единственного, который теперь в глубине темных вод с тоской вспоминал о ласках матери и, тщетно борясь за жизнь, пытался произнести ее имя.

¹ Мост Вздохов (итал.)

Она стояла одна. Маленькие босые серебристые ножки ее отражались в черном мраморе. Волосы, которые она еще не успела освободить на ночь от бальных украшений, окружали, словно грозди, ее классическую головку, спадая среди мерцающих бриллиантов крутыми кудрями, похожими на завитки распускающихся гиацинтов. Белоснежное покрывало из легкой прозрачной ткани, казалось, составляло ее единственную одежду; но летний ночной воздух был тяжел, душен и неподвижен, и сама она стояла, как статуя, и поэтому ее воздушный покров ниспадал складками, подобными мраморным одеждам Ниобеи¹. И — странное дело! — огромные блестящие глаза ее не были обращены вниз — к могиле, поглотившей ее лучезарнейшую надежду, — они устремились совсем в другом направлении. Допускаю, что тюрьма Старой Республики — величественнейшее здание Венеции; но как могла эта женщина смотреть на нее так пристально, когда ее родное дитя задыхалось внизу, у ее ног? Что было в той темной мрачной нише, как раз против окон молодой женщины, в ее тенях, в ее архитектуре, в ее обвитых плющом тяжелых карнизах, — чего маркиза де Ментони не видала уже тысячу раз? Нелепость! Кто не знает, что в такие минуты глаза, как разбитое зеркало, умножают отражения своей скорби, и горе, которое здесь, возле них, кажется им таким отдаленным.

На много ступеней выше маркизы, под аркой шлюза, одетый во фрак, стоял сам Ментони, напоминавший сатира. Он был до смерти епнуэ² и, давая указания, где искать ребенка, по временам брал аккорды на гитаре. Ошеломленный, охваченный ужасом, я не мог пошевелиться и, вероятно, показался взволнованной толпе зловещим призраком, когда, выпрямившись, бледный, оцепеневший, плыл мимо нее в своей траурной гондоле.

Все усилия оставались тщетными. Большинство самых сильных пловцов уже прекратило поиски, покорясь угрюмому року. Казалось, остается уже мало надежды (насколько же меньше для матери!), как вдруг из темной

¹ Ниобея — в античной мифологии жена фиванского царя Амфиона, дочь Тантала. Мать двенадцати детей, она насмехалась над женой Юпитера Латоной, имевшей всего двоих детей — Аполлона и Артемиду. В наказание Ниобея по приказу Латоны лишилась всех детей и была превращена в камень.

² Раздосадован (*франц.*).



Минуту спустя он уже стоял перед маркизой с ребенком на руках.

ниши, о которой я упоминал, в полосу света выступила мужская фигура, закутанная в плащ, на мгновение остановилась на краю отвесной стены и ринулась в канал. Минуту спустя он уже стоял на мраморных плитах перед маркизой с еще живым и не потерявшим сознания ребенком на руках. Промокший плащ, отяжелев от воды, соскользнул с него и лег складками у его ног, и взорам изумленных зрителей предстала изящная фигура юноши, чье имя гремело тогда по всей Европе.

Ни слова не вымолвил спаситель. Но маркиза!.. Вот она схватит ребенка, прижмет его к сердцу, обнимет его драгоценное тельце и покроет его бесчисленными поцелуями... Увы! *Другие* руки приняли ребенка, *другие* руки подняли и унесли его, не замеченного матерью, во дворец. А маркиза? Ее губы, ее прекрасные губы дрожат; слезы застилают глаза ее, глаза, к которым можно применить слова Плиния о листьях аканфа: «нежные и почти текучие». Да, слезы стояли в ее глазах — и вот женщина очнулась, статуя ожила. Бледное, мраморное лицо, выпуклость мраморной груди, даже чистый мрамор ног залились волной неудержимого румянца, и легкая дрожь поколебала ее нежные формы, как колеблет тихий ветерок Неаполя пышные серебряные лилии в траве.

Почему бы она могла покраснеть? На этот вопрос нет ответа. Неужели потому, что в ужасе и тревоге материнского сердца забыла надеть туфли на свои крошечные ножки, накинуть покрывало на свои венецианские плечи? Чем еще объяснить этот румянец? Блеск этих зовущих глаз? Необычайное волнение трепещущей груди? Судорожноежатие дрожащей руки — руки, которая случайно опустилась на руку незнакомца, когда Ментони отвернулся, уходя во дворец. Чем еще объяснить тихий, необычайно тихий звук непонятных слов, с которыми она торопливо обратилась к нему на прощанье? «Ты победил, — сказала она (или я ошибся, и то был ропот вод), — ты победил: через час после восхода солнца мы будем вместе!»

* * *

Смятение прекратилось, огни во дворце погасли, а незнакомец, которого я узнал теперь, еще стоял на ступенях. Он дрожал от неизъяснимого волнения, его взор искал гондолу. Я предложил ему свою, и он принял мое

любезное предложение. Раздобыв весло у шлюза, мы поплыли к его дому. Он быстро овладел собой и вспоминал о нашем прежнем мимолетном знакомстве в весьма сердечных выражениях.

Есть вещи, относительно которых я люблю быть точным. Это относится и к личности незнакомца. Я по-прежнему буду так называть его, ибо для всего мира он все еще оставался незнакомцем. Роста он, пожалуй, был ниже среднего, хотя в минуты страстного волнения тело его как будто вырастало и не подходило под это определение. Легкий, почти хрупкий облик обещал скорее отвагу и волю, какие он проявил у Моста Вздохов, нежели геркулесову силу, пример которой он, как известно, не раз выказывал без труда и в более опасных случаях. Рот и подбородок молодого бога, удивительные, страстные, огромные влажные глаза, оттенок которых менялся от чистого орехового тона до блестящей черноты, и густые выходящие темные волосы, из-под которых ослепительно сверкал необычайно высокий белый лоб,— такова была его наружность. Столь классически правильного лица я не видывал, разве что любуюсь статуями императора Коммода¹. Наружность его была из тех, какие случается встретить только раз в жизни. Лицо его не отличалось каким-либо особенным выражением, которое врежется в память; увидев это лицо, вы тотчас забывали о нем, но потом не могли отделаться от смутного и неотвязного желания восстановить его в памяти. Даже самые мимолетные страсти мгновенно отражались на этом лице, как в зеркале, но подобно зеркалу оно не сохраняло никаких следов исчезнувшей страсти.

Расставаясь со мной в эту ночь, он просил меня, и как будто очень настоятельно, зайти к нему завтра утром пораньше. Исполняя эту просьбу, я вскоре после восхода солнца уже стоял перед его палаццо — одним из тех угрюмых, но сказочно пышных зданий, которые возвышаются над водами Большого канала, неподалеку от Риальто. Меня провели по широкой витой мозаичной лестнице в приемную, изумительная роскошь которой, едва я вошел, ослепила и ошеломила меня.

Я знал, что мой знакомый богат. О его состоянии

¹ Коммод — римский император (161—192).

ходили слухи, которые я всегда считал нелепым преувеличением. Но, озираясь в этом палаццо, я не мог поверить, чтобы у какого-либо частного лица в Европе нашлось достаточно средств на такое царское великолепие, которое сияло и блистало вокруг меня.

Хотя, как я уже сказал, солнце взошло, но в комнате все еще горели яркие светильники. По этому обстоятельству, а равно и по утомленному виду моего друга я заключил, что в эту ночь он не ложился. В форме и обстановке комнаты заметно было стремление ослепить и поразить. Владелец, очевидно, не заботился ни о том, чтобы выдержать стиль, ни о национальном колорите. Глаза разбегались при виде гротесковых рисунков греческих живописцев, скульптур лучших итальянских мастеров старой школы, резных изделий Древнего Египта. Роскошные занавесы слегка дрожали от звуков тихой меланхолической музыки, лившейся неведомо откуда. Голова кружилась от смеси разнообразных благовоний, поднимавшихся из странных витых курильниц вместе с мерцающими, трепетными язычками изумрудного и лилового пламени. Лучи восходящего солнца озаряли все это сквозь окна с цельными малиновыми стеклами. Просачиваясь бесчисленными струями между занавесами, падавшими с высоты карнизов, точно потоки расплавленного серебра, и отражаясь от них тысячами бликов, лучи естественного света сливались с искусственным и ложились дрожащими полосами на пышный золотистый ковер.

— Ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха! — рассмеялся хозяин, знаком приглашая меня садиться и бросаясь на оттоманку. — Я вижу, — прибавил он, заметив, что я смущен этим странным приемом, — я вижу, что вас поражают мои апартаменты, мои статуи... мои картины... моя прихотливость в архитектуре и обстановке!.. Вы совсем опьянели от моей роскоши. Но простите, дорогой мой (тут он заговорил самым сердечным тоном), простите мне этот безжалостный смех. Ваше изумление было так непомерно! Кроме того, бывают вещи до того смешные, что человек должен рассмеяться, иначе он умрет. Умереть смеясь — вот славнейшая смерть. Сэр Томас Мор¹ —

¹ Мор Томас (1478—1535) — выдающийся английский мыслитель-гуманист, автор книги «Утопия» (1516), один из основоположников утопического социализма.

прекрасный человек был сэр Томас Мор! — сэр Томас Мор умер смеясь, если помните. И в «Абсурдностях» Ревизиуса Текстора приводится длинный список лиц, которые так же достойно встретили смерть... Знаете,— продолжал он задумчиво,— в Спарте (нынешней Палеохории), в Спарте, к западу от цитадели, среди груды едва заметных развалин, есть камень вроде подножия, на котором до сих пор можно разобрать буквы ЛАСМ. Без сомнения, это остаток слова ГЕЛАСМА. Теперь известно, что в Спарте существовали тысячи храмов и жертвенников самых разнообразных божеств. Как странно, что храм Смеха пережил все остальные! Однако в настоящую минуту,— при этих словах его движения и голос странно изменились,— я не имею права забавляться на ваш счет. Вы, вероятно, поражены. Во всей Европе вы не найдете ничего прекраснее моего царственного кабинета. Остальные комнаты совсем не таковы: те просто верх модного безвкусыя. Эта же лучше всякой моды, не правда ли? Стоит показать эту комнату, как она сама станет образцом моды,— конечно, для тех, кто может завести себе такую же, хотя бы ценой всего своего состояния. Впрочем, я не допустил бы подобной профанации. За одним только исключением: вы единственный, кто, кроме меня и моего слуги, посвящен в тайны этого царского чертога с тех самых пор, как он воздвигнут.

Я поклонился в знак признательности, так как был совершенно подавлен всем этим великолепием, музыкой, благоговениями, а также необычностью речей и манер хозяина, и это помешало мне выразить свое мнение в виде какой-нибудь любезности.

Он встал и, опершись на мою руку, повел меня вокруг комнаты.

— Здесь,— сказал он,— картины от греков до Чимабуэ¹ и от Чимабуэ до наших дней. Как видите, многие из них я выбрал, не считаясь с мнениями знатоков. Вот несколько шедевров, принадлежащих неведомым талантам; вот неоконченные рисунки людей, в свое время прославленных, но чьи имена проницательность академиков отдала безвестности и мне... Что вы скажете,— прибавил

¹ Ч и м а б у э Джованни (1240 — около 1302) — итальянский живописец.

он, внезапно обернувшись,— что вы скажете об этой *Madonna della Pietà*?¹

— Это настоящий Гвидо²,— отвечал я с присущим мне энтузиазмом, так как давно уже обратил внимание на чудесную картину.— Настоящий Гвидо! Как удалось вам достать ее? Бесспорно, она в живописи занимает то же место, что Венера в скульптуре.

— А! — сказал он задумчиво.— Венера, прекрасная Венера? Венера Медицейская? Золотоволосая, с миниатюрной головкой? Часть левой руки (здесь голос его понизился до еле слышного шепота) и вся правая реставрированы, и в кокетливом движении этой правой руки — квинтэссенция жеманства. А Канова!³ Его Аполлон тоже подделка, в этом не может быть сомнения,— и я, слепой глупец, никак не могу оценить хваленного вдохновения Аполлона. Я предпочитаю — что делать? — предпочитаю Антиноя⁴. Кто-то — кажется, Сократ — заметил, что скульптор видит свое изваяние еще в глыбе мрамора. В таком случае Микеланджело только повторил чужие слова, сказав:

*Non ha l'ottimo artista alcun concetto
Che un marmo solo in se non circonscriva*⁵.

Замечу, если никто еще не сделал этого до меня, что манеры истинного джентльмена всегда резко отличаются от манер простого человека, хотя не сразу можно определить, в чем состоит различие. Это как нельзя более подходило к внешности моего незнакомца, но — я это почувствовал в то достопамятное утро — оказывалось еще вернее в отношении его характера и внутреннего облика. Я не могу определить ту духовную особенность, которая так отличала его от прочих людей, иначе как назвав ее привычкой к упорному и сосредоточенному мышлению, сопровождавшему даже его обыденные действия; оно вторгалось в его шутку, переплеталось с

¹ Скорбящая божья мать (*итал.*).

² Рени Гвидо (1575—1642) — итальянский живописец

³ Канова Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор.

⁴ Антиной — прекрасный юноша, любимец римского императора Адриана (117—138); в припадке меланхолии бросился в Нил.

⁵ Лишь то ваятель создавать способен,

Что мрамор сам в себе уже таил.

Перевод А. Голембы.

порывами веселья — как те змеи, что выползают из глаз смеющихся масок на карнизах Персеполиса¹.

Я не мог не заметить, однако, в его быстром разговоре, то шутливом, то серьезном, какой-то внутренней дрожи, нервного волнения в речах и поступках, беспокойного возбуждения, которое оставалось для меня совершенно непонятным и по временам тревожило меня. Нередко, остановившись на середине фразы и, очевидно, позабыв ее начало, он прислушивался с глубоким вниманием, точно ожидал какого-то посетителя или вынимал звукам, раздававшимся лишь в его воображении.

В одну из этих минут рассеянности или задумчивости я развернул прекрасную трагедию поэта и ученого Полициано² «Орфей» (первую национальную итальянскую трагедию), лежавшую подле меня на оттоманке, и увидел место, подчеркнутое карандашом. Это место, в конце третьего акта, хватает за душу, и, хотя оно окрашено земными, грешными желаниями, ни один мужчина не прочтет его без волнения, ни одна женщина — без вздоха. Вся страница была закапана недавними слезами, а на вкладном листке я прочел следующие английские стихи, написанные почерком, до того непохожим на своеобразный почерк моего знакомого, что я с трудом мог признать его руку:

В твоём я видел взоре,
К чему летел мечтой:
Зелёный остров в море,
Ручей, алтарь святой
В плодах волшебных и цветах,
И любой цветок был мой.

Конец мечтам моим!
Мой яркий сон, милей всех снов,
Растаял ты, как дым!
Мне слышен Будущего зов:
«Вперед!» — Но над Былым
Мой дух простёрт без чувств, без слов,
Подавлен, недвижим!

Вновь не зажжётся надо мной
Любви моей звезда.

¹ Персеполис — одна из столиц древней Персии, славившаяся своей архитектурой.

² Полициано Анджели (1454—1494) — итальянский гуманист и поэт эпохи Возрождения.

«Нет, никогда — нет, никогда
(Так дюнам говорит прибой)
Не полетит орел больной.
И ветвь, разбитая грозой,
Вовек не даст плода!»

Мне сны дарят отраду,
И ночь меня ведет
К пленительному взгляду
В эфирный хоровод,
Где вечно льет прохладу
Плеск италийских вод.

И я живу, тот час кляня,
Когда простор бурливый
Тебя отторгнул от меня
Для ласки нечестивой,
От края, где, главу склоня,
Дрожат и плачут ивы¹

Стихи были написаны по-английски. Я не знал, что автор владеет этим языком, но это меня ничуть не удивило: он был известен своими обширными познаниями, которые всячески старался скрыть, так что удивляться было нечему,— но меня поразила пометка, стоявшая на листке. Она гласила, что стихи были написаны в Лондоне, затем ее соскоблили, однако не так чисто, чтобы нельзя было ее разобрать. Я говорю, что обстоятельство это поразило меня, ибо я помнил ясно один наш прежний разговор: на мой вопрос, встречался ли он в Лондоне с маркизой Ментони (она провела в этом городе несколько лет до замужества), мой друг ответил, что ему никогда не случалось бывать в столице Великобритании. Замечу кстати, что я не раз слышал (хотя и не придавал веры столь неправдоподобному утверждению), будто человек, о котором я говорю, не только по рождению, но и по воспитанию англичанин.

* * *

— Тут есть одна картина,— сказал он, не заметив, что я раскрыл трагедию,— тут есть одна картина, которой вы еще не видели.— С этими словами он отдернул занавес, и я увидел портрет маркизы Афродиты во весь рост.

¹ Перевод В. Рогоза.

Человеческое искусство не могло бы с большим совершенством передать эту сверхчеловеческую красоту. Я увидел опять тот же воздушный образ, что стоял передо мной в прошлую ночь на ступеньках герцогского дворца. Но в выражении лица, озаренного смехом, сквозила (непонятная странность!) чуть заметная печаль, которая кажется неразлучной с совершенством красоты. Правая рука лежала на груди, левая указывала вниз, на какую-то необычайной формы вазу. Маленькая волшебная ножка, выступавшая из-под одежды, чуть касалась земли, а в искрящемся воздухе, словно оттенявшем и обрамлявшем ее красоту, трепетали два прозрачных легких крыла. Я перевел взгляд с портрета на моего друга, и выразительные слова Чепмена в «Бюсси д'Амбуаз»¹ невольно затрепетали у меня на губах.

Он
Стоит, подобно римским изваяньям!
И будет здесь стоять, покуда Смерть
Не обратит его в холодный мрамор!

— Знаете что,— сказал он наконец, обернувшись к столу из литого серебра, украшенному финифтью, на котором стояли кубки с фантастическим узором и две большие этрусские вазы, такой же странной формы, как изображенная на картине, и наполненные, как мне показалось, иоганнисбергером.— Знаете что,— сказал он отрывисто,— давайте-ка выпьем. Еще рано, но что за беда — выпьем. Действительно, еще рано,— продолжал он задумчивым голосом, когда херувим на часах ударил тяжелым золотым молотом и в комнате прозвенел первый час после восхода солнца,— действительно, еще рано, но что за беда, выпьем! Совершим возлияние солнцу, которое эти пышные лампы и светильники так ревностно стараются затмить!

И, чокаясь со мной, он выпил один за другим несколько бокалов.

— Грезить,— продолжал он в своей прежней бесвязной манере, рассматривая в ярком свете курильницы одну из своих великолепных vaz,— грезить всегда было моим единственным занятием. Вот я и создал для

¹ «Бюсси д'Амбуаз» — трагедия английского драматурга Джорджа Чепмена (1557—1634)

себя царство грез. Мог ли я создать лучшее в сердце Венеции? Правда, вы видите вокруг себя смесь всевозможных стилей. Чистота ионийского стиля оскорбляется рисунками пещерного жителя; египетские сфинксы лежат на золотых коврах. Но все это покажется нелепым только робкому духу. Боязнь несоответствия времени или месту всегда отпугивала человечество от познания возвышенного. Когда-то я сам подчинялся моде. Но эта высшая из человеческих глупостей смертельно наскучила мне. То, что вы видите здесь, вполне отвечает моим стремлениям. Как пламя этих причудливых курильниц, душа моя трепещет в огне, и безумие убранства подготавливает меня к безумным видениям в стране, где грезы реальны и куда я отхожу теперь.— Он остановился, опустил голову на грудь, точно прислушиваясь к неслышному для меня звуку. Потом выпрямился, взглянул вверх и произнес слова епископа Чичестерского:

Ты подожди меня, постой,
Мы в мир теней уйдем с тобой,—

затем, побежденный силой вина, упал на оттоманку.

Быстрые шаги послышались на лестнице, и кто-то громко постучал в дверь. Я поспешил к двери, чтобы предупредить новый стук, когда в комнату ворвался паж Ментони и, задыхаясь от волнения, проговорил:

— Моя госпожа!.. Моя госпожа отравилась. Отравилась!.. О прекрасная, о прекрасная Афродита!..

Пораженный, я кинулся к оттоманке, чтобы разбудить спящего. Но члены его оцепенели, губы стали синими, огонь лучезарных глаз был потушен смертью. Я отпрянул к столу — рука моя упала на треснувший и почерневший кубок,— и ужасная истина внезапно предстала моей душе.

КОЛОДЕЦ И МАЯТНИК

Impia tortorum longas hic turba furores
Sanguinis innocui, non satiata, aluit.
Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro
Mors ubi dira fuit, vita salusque patent¹.

(Четверостишие, сочиненное для ворот рынка, который решено разбить на месте Якобинского клуба в Париже) ²



устал, смертельно устал от этой затянувшейся пытки; и когда, наконец, меня развязали и я смог сесть, я почувствовал, что сознание покидает меня. Приговор, страшный смертный приговор еще отчетливо прозвучал в моих ушах, но сразу вслед за тем голоса инквизиторов слились в далекий, невнятный гул. Он вызвал во мне образ какого-то *кружения* — быть может, напомнив шум мельничного колеса. И то лишь на миг, ибо в следующий миг я уже не слышал ничего. Зато некоторое время я еще видел — и с какой ужасающей, чудовищной отчетливостью! Я видел губы судей, облаченных в черное. Мне они казались белыми — белее листа, на котором я пишу эти строки, и тонкими, до уродливости тонкими; их как бы сплющило и вытянуло напряженное выражение беспощадности, непреклонной решимости и

¹ Кровью невинных несытая, шайка убийц нечестивых
Долго лелеяла здесь злое безумье свое.

Ныне разрушен застенек, родина ныне свободна;

В логово лютых смертей жизнь и спасенье пришли (Лар)

² Эпиграф заимствован из книги английского писателя Исаака Дизраэли «Курьезы литературы» (1835).

угрюмого презрения к человеческому страданию. Я видел, как слова, которые были моею Судьбой, продолжали стекать с этих губ. Я видел, как они растягивались, вещая о смерти. Я видел, как они выговаривали звуки моего имени; и я содрогался, потому что не слышал ничего. В эти мгновения безумного страха я видел еще, как слегка, едва заметно колышутся черные драпировки, которыми были обиты стены зала. Потом мой взгляд остановился на семи длинных свечах, горевших на столе. Сначала они показались мне символами милосердия, белыми, стройными ангелами, которые посланы, чтобы меня спасти; но сразу же вслед за тем волна нестерпимой тошноты вдруг захлестнула меня, и я почувствовал, как каждый нерв в моем теле затрепетал, словно я коснулся проводов гальванической батареи, ангелы стали бесплотными призраками с огненными головами,— и я понял, что ждать от них помощи безнадежно. А потом, словно певучая музыкальная фраза, в душу прокралась мысль, как, должно быть, сладок могильный покой. Она пришла осторожно и бесшумно и, казалось, задолго до того, как разум постиг ее вполне; но в тот самый миг, когда мой дух воспринял ее отчетливо и окончательно, фигуры судей перед моими глазами растаяли, точно по волшебству, длинные свечи исчезли, их огоньки погасли, и наступил непроглядный мрак; все чувства мои были словно проглочены этим отчаянным, стремительным нисхождением — так душа нисходит в Аид. А затем — беспредельная тишина, покой и ночь.

Это был обморок, и все же я не могу сказать, что сознание покинуло меня вовсе. Того, что осталось, я не стану ни определять, ни даже просто описывать,— скажу только, что исчезло не все. В глубочайшем забытии — нет, мало! — в бреду — мало! — обмороке — мало! — в могиле... да! — даже в могиле *что-то остается*. А иначе бессмертие наше — пустой звук! Пробуждаясь от самого глубокого сна, мы разрываем паутину *какого-то* сновидения. Но уже в следующий миг мы не помним, что нам снилось,— до того легка эта паутина. После обморока человек, возвращаясь к жизни, проходит две ступени: сначала возникает ощущение интеллектуального или духовного бытия, а потом — чувство жизни физической. И если бы, достигнув второй ступени, мы смогли

воскресить в памяти впечатления первой, то весьма вероятно, что эти впечатления поведали бы нам о потусторонней бездне. Но что она такое — эта бездна? Как отличить ее тени от теней могилы?.. Однако, если впечатления, оставленные тем, что я назвал первой ступенью, нельзя оживить силою воли, то разве не появляются они сами спустя долгое время — непрошенные, неведомо откуда? Тот, кто никогда не лишался чувств, не увидит в тлеющих угольях ни причудливых замков, ни до боли знакомых лиц; он не заметит парящих в воздухе печальных образов, незримых толпе; он не остановится в раздумье, вдохнув аромат неведомого цветка; он не из тех, чей ум смутят несколько музыкальных тактов, никогда прежде не привлекавших его внимания.

Среди частых и сосредоточенных попыток вспомнить, среди напряженных усилий свести воедино приметы мнимого небытия, в которое окунулась тогда моя душа, бывали минуты, когда мне казалось, что я достиг успеха; случались краткие, очень краткие проблески воспоминаний, которые рассудок, прояснившийся позднее, мог отнести лишь к тогдашнему состоянию бессознательности. Эти тени памяти сбивчиво повествуют о каких-то длинных фигурах, которые безмолвно подняли меня и понесли вниз — все вниз, вниз, вниз! — до тех пор, пока отвратительное головокружение не охватило меня от одной только мысли о бесконечности этого спуска. Еще они повествуют о смутном ужасе моего сердца, вызванном противоестественным спокойствием и тишиною в этом сердце. Затем приходит неожиданное ощущение неподвижности, сковавшей все, — словно те, кто нес меня (о этот путь!), переступив в своем движении вниз пределы беспредельного, остановились на миг передохнуть от своего однообразного, тяжелого труда. Вслед за тем душу пронизывает апатия и тоска; и, наконец, все захлестывает *безумие* — безумие памяти, вступившей в запретные области.

Совершенно неожиданно возвращаются движение и звук — громко и беспорядочно бьется сердце, и удары его шумно отдаются в ушах. Затем — провал: пустота, ничего, кроме пустоты. Затем снова звук, движение, прикосновение — и какая-то дрожь пронизывает все мое существо. Затем простое ощущение бытия, без всякой

мысли,— состояние, которое долго не проходит. И вдруг — *мысль*, и ужас, потрясший меня с головы до пят, и напряженное стремление осознать, что же все-таки со мной происходит. Затем страстное желание погрузиться в беспамятство. Затем стремительное воскрешение духа и успешная попытка пошевелиться. И тут — полное и ясное воспоминание о процессе, судьях, траурных драпировках, о приговоре, о слабости, об обмороке. Затем — абсолютное забвение всего, что последовало; лишь гораздо позже и ценою самых напряженных усилий мне удалось, хотя и смутно, восстановить все это в памяти.

Я еще долго не открывал глаз. Я чувствовал, что лежу на спине, что оковы сняты. Я вытянул руку, и она тяжело опустилась на что-то влажное и твердое. Так пролежала она немалое время, в продолжение которого я силился сообразить, *где я и что со мною* случилось. Я не хотел и не решался обратиться за ответом к зрению, страшась первого взгляда на то, что меня окружало. Боязнь увидеть нечто ужасное удерживала меня, и я весь замирал при мысли о том, что сейчас подниму веки и... не увижу *ничего*. Наконец, с безрассудством отчаяния в сердце, я открыл глаза. Увы, мои худшие опасения подтвердились. Вокруг была чернота вечной ночи. Я задыхался: густота мрака словно придавила меня и старалась удушить. Воздух был невыносимо спертый. Я лежал по-прежнему неподвижно, пытаюсь собраться с мыслями. Я припоминал судебные обычаи инквизиции и старался угадать истинное свое положение. Приговор был вынесен, и мне казалось, что с тех пор прошел уже очень долгий срок. И все-таки ни на минуту я не мог допустить, что я в самом деле мертв: такая мысль — вопреки всему, что мы читаем в романах, — совершенно не совместима с реальным существованием. Но где же я и что со мной? Я знал, что осужденные на смерть обыкновенно расстаются с жизнью на аутодафе и что одно из них было назначено на вечер того дня, когда меня судили. Неужели меня снова бросили в мою темницу, чтобы сохранить до следующей гекатомбы, которая будет совершена лишь через несколько месяцев? Нет, этого быть не может: ведь обычно жертву вели на заклатие без малейшего отлагательства. К тому же прежняя моя

темница, как и все камеры смертников в Толедо, была вымощена камнем и свет все же проникал в нее.

Вдруг — страшная мысль, от которой вся кровь стремительно прихлынула к сердцу; на короткое время я снова потерял сознание. Придя в себя, я сразу вскочил на ноги, каждая жилка во мне дрожала. Я иступленно шарил вокруг себя во всех направлениях. И, хотя руки встречали одну лишь пустоту, я не решался ступить ни шагу, боясь натолкнуться на стену *склепа*. Обильный пот выступил изо всех пор и крупными холодными каплями застыл на лбу. Наконец мука неизвестности сделалась нестерпимой, и я осторожно двинулся вперед, вытянув руки и с таким напряжением ловя хоть самый слабый проблеск света, что глаза вылезали из орбит. Я ступил раз, другой, третий — много раз, но кругом были все те же мрак и пустота. Я вздохнул свободнее: теперь мне казалось бесспорным, что моя участь — не самая страшная из всех возможных.

И пока я продолжал по-прежнему осторожно пробираться вперед, в памяти моей ожили сотни смутных слухов об ужасах Толедо. Удивительные рассказы ходили об этих темницах; правда, я всегда считал их пустыми баснями, и все же они были до того странными и жуткими, что их повторяли только шепотом. Предстояло ли мне погибнуть голодной смертью в мире подземного мрака? Или какая-нибудь иная, еще более тяжкая участь ожидала меня? Что концом моего заключения будет смерть, и смерть утонченно жестокая, я не сомневался — слишком уж хорошо знал я своих судей. Способ и срок — вот все, что меня занимало и не давало мне покоя.

Мои вытянутые руки в конце концов наткнулись на какое-то неподвижное препятствие. Это была стена, по-видимому каменной кладки, очень гладкая, осклизлая и холодная. Я пошел вдоль нее, ступая со всею предусмотрительной недоверчивостью, какую мне внушили иные из тех старинных историй. Однако таким образом мне никогда не удалось бы установить размеры моей темницы: я мог обойти ее кругом и вернуться к отправной точке, не заметив этого, — настолько неразлично однообразной казалась стена. Поэтому я стал искать нож, который был у меня в кармане, когда меня вели в зал суда, но его не оказалось: вместо прежнего платья на

мне был балахон из грубой саржи. Я рассчитывал всунуть лезвие в какую-нибудь щелочку между камнями и таким образом отметить начало пути. Возникшее затруднение было ничтожным, но расстройство мыслей делало его, на первый взгляд, непреодолимым. Я оторвал кусок подола от моего балахона и растянул на полу во всю длину, под прямым углом к стене. Обходя ощупью свою тюрьму, я непременно должен был наткнуться на этот лоскут, завершив полный круг. Так, по крайней мере, я думал, но я не принял в расчет ни возможных размеров темницы, ни собственной слабости. Под ногами было сыро и скользко. Какое-то время я, пошатываясь, двигался вперед, потом споткнулся и упал. Тут обнаружились последствия крайнего истощения сил: я остался лежать навзничь и, так и не поднявшись, скоро уснул.

Проснувшись и вытянув вперед руку, я нащупал подле себя хлебец и кувшин. Я был слишком измучен, чтобы размышлять, откуда они взялись, жадно съел хлеб и выпил воду. Спустя немного я возобновил свое путешествие вокруг темницы и после долгих усилий добрел, наконец, до обрывка саржи. К тому мгновению, когда я упал, я насчитал пятьдесят два шага, а теперь еще сорок восемь. Таким образом, всего получалось сто шагов; и, полагая ярд равным двум шагам, я решил, что моя тюрьма имеет пятьдесят ярдов в окружности. Но, так как во многих местах стена выступала углами, невозможно было сообразить, каковы истинные очертания sklepa — я не мог отделаться от мысли, что это все-таки склеп.

Во всех моих разысканиях не было, пожалуй, определенной цели и, разумеется, ни капли надежды. Но какое-то непонятное любопытство побуждало меня продолжать их. Оторвавшись от стены, я решил пересечь этот каменный мешок. Сначала я двигался с величайшей осторожностью, ибо пол хоть и казался надежным, но был предательски скользким. Мало-помалу я осмелел и начал ступать твердо и уверенно, стараясь по возможности не сбиваться с прямой линии. Таким образом я прошел шагов десять — двенадцать, когда запутался в подоле своего балахона и упал как подкошенный лицом вниз.

Я не сразу опомнился после падения, и потому сначала от меня ускользнуло одно удивительное обстоятельство; очень быстро, однако ж, еще до того, как я успел подняться, оно привлекло мое внимание. Дело в следующем: мой подбородок касался пола камеры, но губы и верхняя половина головы как бы повисли в воздухе, хотя, по-видимому, были опущены несколько ниже подбородка. В то же время лоб окутали какие-то холодные испарения, и специфический запах гнили и плесени касался моих ноздрей. Я вытянул руку и с дрожью удостоверился, что упал на самом краю круглого колодца, глубину которого я, разумеется, никак не мог определить в ту минуту. Ощупывая стыки плит у колодца, мне повеселилось отковырнуть маленький кусочек цемента, и я бросил его вниз, в бездну. Долгие секунды я слышал, как он гулко отскакивает от стен зиявшего передо мной провала; наконец сердитый всплеск воды и громкое эхо. И в тот же миг раздался какой-то звук, словно быстро распахнули и так же быстро захлопнули дверь у меня над головой, слабый луч света неожиданно прорезал мрак и так же неожиданно погас.

Теперь я понял, какая участь была мне уготована, и благословлял случай, который меня спас. Еще один шаг — и мир никогда больше не увидел бы меня. Смерть, только что пролетевшая мимо, словно вышла из тех самых рассказов об инквизиции, которые я считал неправдоподобными и вздорными. У жертв инквизиции не было иного выбора, кроме смерти в жесточайших телесных муках или тоже смерти, но в самых страшных пытках нравственных. Меня, видимо, приберегали для последнего; долгие страдания до того ослабили мои нервы, что я трепетал от звука собственного голоса, и вообще трудно было выбрать жертву более подходящую для той пытки, которая меня ожидала.

Дрожа всем телом, я отполз назад к стене, решив лучше умереть подле нее, чем подвергать себя риску провалиться в один из этих чудовищных колодцев: воображение уже рисовало их мне во множестве, по всей темнице. В ином состоянии духа я, вероятно, нашел бы в себе мужество броситься в пропасть и разом покончить со всеми своими бедствиями, но теперь я был самым жалким из трусов. Вдобавок я не мог забыть того,

что читал об этих колодцах: они предназначены для чего угодно, только не для того, чтобы обрывать нить жизни мгновенно.

Много часов подряд возбуждение не давало мне уснуть, но в конце концов я снова задремал. Проснувшись, я, как и в тот раз, нашел подле себя хлебец и воду. Меня томила жгучая жажда, и я залпом осушил кувшин. Должно быть, в воду подмешали какого-то зелья: не успел я допить до конца, как меня охватила неодолимая дремота. Я уснул глубоким сном — сном, похожим на могильный покой. Долго ли он тянулся, я, разумеется, не знаю; но, когда я снова открыл глаза, я увидел то, что меня окружало. При фантастическом, зеленовато-желтом освещении, источник которого я обнаружил не сразу, мне открылись размеры и устройство моей тюрьмы.

Оказалось, что я сильно ошибся: протяженность стен не превышала двадцати пяти ярдов. В течение нескольких минут это обстоятельство служило для меня источником немалой, но бессмысленной тревоги — вот уже поистине бессмысленной: ибо что могло иметь меньшее значение в этих страшных обстоятельствах, нежели размеры темницы? Но мой дух проникся неизъяснимым интересом к мелочам, и я погрузился в размышления, пытаясь объяснить ошибку в расчетах, которую я допустил. Наконец меня осенило. В первую половину обследования я насчитал пятьдесят два шага; в момент падения я был, вероятно, в одном или двух шагах от обрывка саржи, то есть почти закончил обход sklepa. Потом я заснул, а проснувшись, по всей видимости, пошел в обратном направлении. Вот почему я и представил себе протяженность темницы почти вдвое большей, чем она была на самом деле. Смятение в мыслях помешало мне заметить, что стена, которая вначале была слева от меня, потом оказалась справа.

Заблуждался я и относительно очертаний своей тюрьмы. Подвигаясь ощупью, я обнаружил множество углов и отсюда пришел к заключению о чрезвычайной неправильности ее формы, — с такой силой воздействует полный мрак на человека, пробудившегося от летаргии или даже просто от крепкого сна. Углы оказались самыми обыкновенными впадинами, или нишами, расположен-

ными на неодинаковом расстоянии одна от другой. В целом же камера была квадратная. То, что я принял за каменную кладку, теперь превратилось в огромные плиты из железа или какого-то другого металла, а швы или стыки между ними и образовали впадины. Поверхность металла была грубо размалевана всеми страшными и отталкивающими эмблемами, какие только могли подсказать монахам их суеверные представления о загробной жизни. Злые духи в виде скелетов с грозно занесенною рукой и другие менее фантастические, но еще более страшные изображения покрывали и безобразили стены. Я заметил, что, хотя контуры этих страшилищ выступают отчетливо, краски, казалось, поблекли и расплылись, словно под действием влаги. Я увидел также, что пол подо мною каменный. В середине зияло круглое отверстие колодца, пасти которого мне удалось избегнуть; но других колодцев, кроме этого, в моей темнице не было.

Все это я различал лишь смутно и с большим трудом, ибо мое собственное положение за время сна резко переменилось. Теперь я лежал на спине, вытянувшись во весь рост на чем-то вроде низкой деревянной скамейки, крепко привязанный к ней длинным ремнем, похожим на подпругу. Он многократно обвивал мое туловище и конечности, оставляя свободной голову, а также левую руку, но лишь настолько, чтобы я после долгих усилий мог дотянуться до глиняной миски с едою, стоявшей подле на полу. К своему ужасу, я обнаружил, что кувшин унесли. Я говорю «к ужасу», потому что меня томила нестерпимая жажда. Вероятно, в намерение моих мучителей входило распалить эту жажду еще сильнее, ибо в миске лежало приправленное пряностями мясо.

Подняв глаза, я увидел потолок моей тюрьмы. Он был в тридцати или сорока футах надо мной и выглядел примерно так же, как и стены. Необычайного вида фигура, написанная на одной из его плит, приковала мое внимание. Это была фигура Времени, каким его обычно изображают, только вместо косы оно держало в руках какой-то предмет, при беглом взгляде напомнивший мне длинный маятник, вроде тех, что мы видим на старинных часах. Было, однако, в этом маятнике что-то такое, что заставило меня всмотреться в него повнимательнее.

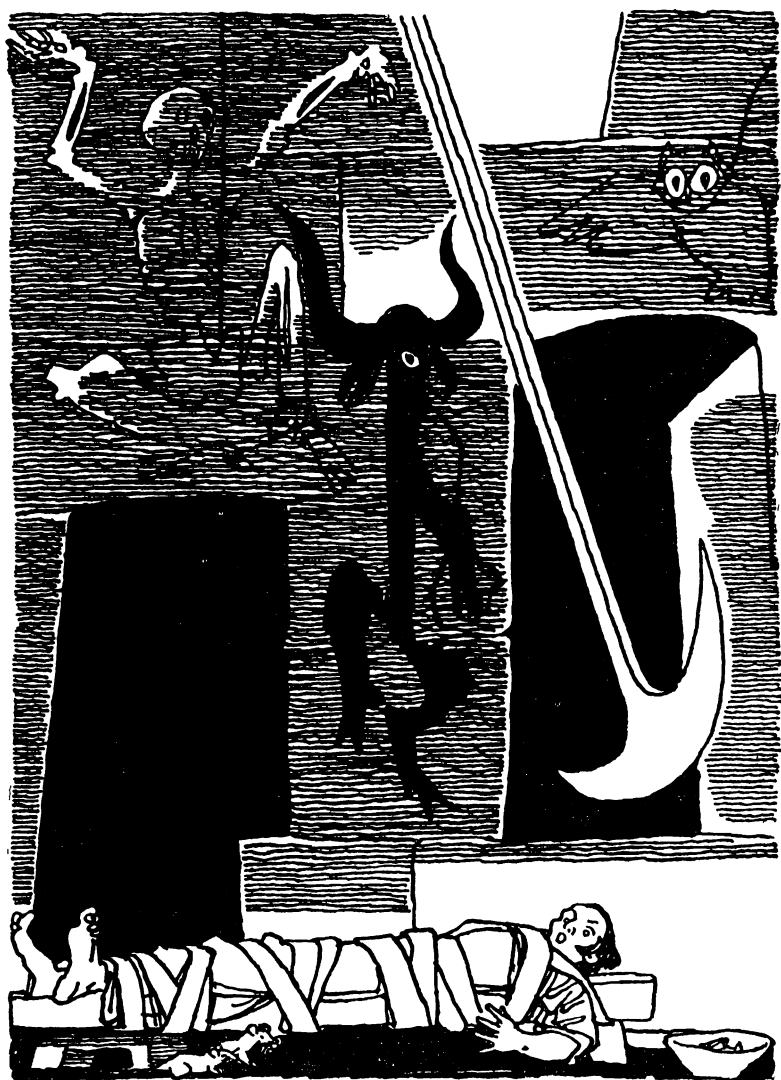
И когда я пристально глядел прямо вверх (маятник находился как раз надо мною), мне вдруг почудилось, что он движется. В следующий миг это впечатление подтвердилось. Размахи маятника были короткие и очень медленные. Несколько минут я следил за ним со смутным чувством страха, но еще больше — изумления. Устав, наконец, наблюдать за этими однообразными движениями, я принялся смотреть по сторонам.

Легкий шум донесся до моих ушей, и, взглянув на пол, я увидел множество огромных крыс, бежавших от стены к стене. Они вылезали из колодца, который находился справа от меня, в поле моего зрения. Они появлялись целыми полчищами прямо у меня на глазах — поспешно, жадно, привлеченные запахом мяса. Мне стоило немалого труда удерживать их на расстоянии от миски.

Прошло, пожалуй, полчаса, а может быть, и час (я мог судить о времени лишь очень приблизительно), прежде чем я снова поднял глаза к потолку. То, что я увидел, смутило и озадачило меня. Размахи маятника удлиннились примерно на целый ярд. Вместе с тем и скорость стала гораздо больше. Но сильнее всего меня взволновала мысль о том, что маятник заметно *опустился*. Теперь я рассмотрел — надо ли говорить, с каким ужасом? — что нижняя его часть представляла собой сверкающий стальной полумесяц длиной с фут (от рога до рога); кончики рогов были обращены вверх, а лезвие казалось острым как бритва. Выше, над лезвием, полумесяц утолщался — тоже как бритва — и был, по-видимому, массивным, тяжелым, несокрушимым. Он висел на толстом медном стержне и с громким свистом рассекал воздух.

Так вот, значит, какую смерть избрала для меня монашеская изобретательность в пытках! Инквизиторам стало известно, что я разгадал тайну колодца — *колодца*, ужасам которого обрекали дерзких, нераскаявшихся грешников вроде меня; *колодца*, который был, по слухам, прообразом ада — *ultima Thule*¹ всех казней. Чистая случайность спасла меня от падения в этот колодец; а я знал, что неожиданность, внезапность были

¹ Отдаленная Фула (лат.). Так древние греки и римляне называли какой-то полусказочный остров на Крайнем Севере. В переносном смысле — крайний предел.



*Маятник висел на толстом медном стержне и с громким свистом
рассекал воздух.*

неотъемлемым спутником любой изощренной пытки в этих застенках. Но я оступился раньше, чем следовало, и это нарушило дьявольский план низвержения преступника в бездну, а потому (иного выхода не было) меня ожидала другая, более милосердная смерть. Милосердная! Я даже улыбнулся при мысли о *таком* применении *такого* слова.

Что пользы рассказывать о долгих, долгих часах более чем смертельного ужаса, в продолжение которых я непрерывно считал стремительные размахи стали. Дюйм за дюймом, линия за линией, удлиняясь так медленно, что казалось, протекали века, пока это становилось заметным, все ниже и ниже опускался маятник! Прошли дни, может быть, много дней — и вот он уже проносится так близко, что веет мне в лицо своим едким дыханием. Запах остро отточенной стали врывается в мои ноздри. Я молился, я непрестанно молил небеса ускорить его спуск. Обезумев, я рвался вверх, навстречу размахам чудовищного ятагана. А потом внезапно опускался на свою скамейку и лежал спокойно, улыбаясь сверкающей смерти, словно дитя редкостной игрушке.

И снова — провал, глубочайшее забытие; оно было непродолжительным, ибо, вернувшись к жизни, я не заметил, чтобы маятник сколько-нибудь опустился. Но оно могло быть и долгим: ведь демоны инквизиции (я знал это наверное) следили за мной и, заметив мой обморок, могли умышленно остановить маятник. Очнувшись, я почувствовал крайнюю — нет, больше! — невыразимую усталость и слабость, словно после долгого, изнурительного поста. Невзирая на все страдания, моя человеческая природа властно требовала пищи. С мучительным усилием я вытянул руку, насколько позволяли мои путы, и добрался до ничтожных объедков, оставленных мне крысами. И когда я положил первый кусочек в рот, в моем сознании сверкнуло какое-то подобие радости... надежды. Я — и надежда? Нет, невозможно, несовместимо! Но я уже сказал, что это было одно из тех зыбких подобий, которые часто рождаются в человеческом сознании и гибнут в самом зародыше. Я ощущал радость и надежду, но я ощущал также, что они увяли, не распустившись. Напрасны были усилия углубить их... вернуть: долгие страдания лишили мой дух почти всей его силы,

всех способностей. Я превратился в слабоумного, в идиота.

Мое тело лежало под прямым углом к плоскости размахов маятника. Я видел, что полумесяц должен рас-сечь мне грудь как раз там, где бьется сердце. Он про-дерет саржу моего халата, он будет уходить и возвра-щаться, уходить и возвращаться, уходить и возвращать-ся — снова, снова и снова. Несмотря на ужасающую ширь его размахов (футов тридцать, а то и больше), на мощь его свистящего падения, достаточную, чтобы раз-рушить даже эти стены из железа, все же в течение не-скольких минут он будет продирать мой халат — и толь-ко. На этой мысли я остановился. Я не дерзнул пойти дальше. Я держался за нее настойчиво и цепко, словно такая задержка способна была предотвратить *дальней-ший* спуск стального лезвия. Я заставил себя думать о том, с каким звуком будет скользить полумесяц по платью, об особой дрожи, которую сообщает нервам трение одежды о тело. Я размышлял об этих пустяках до тех пор, пока не заскрипел зубами от отвращения.

Вниз — тихо и непрекленно маятник сползал вниз. Я находил какое-то иступленное удовольствие, сравни-вая это движение вниз со скоростью его размахов. Впра-во, влево — то удаляясь, то снова приближаясь, — виз-жа, точно грешники в аду! Стопою тигра крадется он к моему сердцу! И я то хохотал, то выл — в зависимости от того, какие чувства брали верх.

Вниз, вниз — уверенно и безжалостно! Вот он уже проносится в трех дюймах от моей груди. Я извивался в своих путах бешено, неистово, чтобы высвободить левую руку. Она была свободна лишь от локтя до кисти. С боль-шим трудом я мог двигать ею в пространстве между гли-няной миской рядом со скамьей и моим ртом, но не даль-ше. Если бы мне удалось разорвать путы, стягивающие локоть, я бы попытался схватить маятник, остановить его! С таким же успехом мог бы я остановить лавину.

Вниз, вниз — все так же упорно, все так же неотвра-тимо! Я задышался и корчился при каждом взмахе, пы-таясь вдавить свое тело в скамью, когда он проносился надо мною. Мой взор следовал за взлетами и падениями маятника с упорством и бессмысленностью предельного отчаяния; видя его приближение, я всякий раз судорож-

но жмурился, хотя смерть была бы блаженным избавлением — о, несказанно блаженным! И все же каждый нерв во мне трепетал при мысли о том, как движение механизма — ничтожное, еле заметное — обрушит этот острый сверкающий топор на мою грудь. То была *надежда*: слыша ее голос, трепетали нервы... скамейка точно уходила в пол... То была *надежда* — та самая надежда, которая торжествует победу даже на дыбе и даже в застенках инквизиции шепчет осужденному на смерть слова утешения.

Я увидел, что еще десять—двенадцать взмахов — и сталь коснется моего платья; вместе с этим наблюдением ко мне пришла вся ясность, вся собранность, все спокойствие отчаяния. И впервые за много часов (а может быть, дней) я начал думать. Я вдруг сообразил, что подпруга или путы, которыми я обвит,— это цельная полоса. Я был связан *одним-единственным* ремнем. Первый же удар острого как бритва полумесяца — при условии, что он заденет ремень,— рассек бы его, и я оказался бы в состоянии левой рукой распустить стягивающие меня витки. Но как ужасающе близко скользнет в этот миг стали! Каким смертоносным может оказаться малейшее неверное движение! Да и мыслимое ли дело, чтобы подручные палача не предвидели, не предугадали такой возможности?! Есть ли хоть какая-нибудь вероятность, что ремень у меня на груди скрещивается с линией движения маятника? Страшась обмануться в моей слабой и, по-видимому, последней надежде, я приподнял голову настолько, чтобы получше разглядеть свою грудь. Тугие кольца «подпруги», охватывавшие мои конечности и туловище, шли во всех направлениях, *но на пути губительного полумесяца их не было.*

Не успел я снова опустить голову, как вдруг меня осенило. Это была (я не могу описать ее иначе) другая половина того плана избавления, о котором я уже упоминал,— зыбкого и бесформенного прежде; первая его часть смутно проплыла в моем сознании, когда я подносил пищу к своим запекшимся губам. Теперь я владел всею мыслью полностью — пусть бледно, пусть едва ли здоровой и не совсем отчетливой, но всею целиком — и тут же с лихорадочной энергией отчаяния приступил к ее исполнению.

Уже много часов пол вокруг низкой скамьи, на которой я лежал, буквально кишел крысами — хищными, наглыми, алчными: их красные глазки смотрели на меня пристально и свирепо, словно они были уверены, что добыча от них не уйдет, и только ждали, когда я перестану шевелиться. «Чем же они обычно питаются в этом подземелье?» — думал я.

Невзирая на все мои усилия их отогнать, они сожрали почти все, что было в миске, оставив лишь жалкие объедки. Я непрерывно размахивал рукою над миской, и в конце концов невольное однообразие этого движения лишило его всякой действенности. Прожорливые грызуны то и дело впивались мне в пальцы своими острыми клыками. Уцелевшими кусочками жирного, остро приправленного кушанья я густо натер ремень повсюду, куда только смог дотянуться; потом перестал махать рукою и оцепенел, затаив дыхание.

В первую минуту маленькие хищники были озадачены и испуганы этой переменой — внезапной неподвижностью их жертвы. В тревоге они отпрянули, многие юркнули в колодец. Но это длилось лишь минуту. Мои расчеты на их прожорливость оправдались. Заметив, что я по-прежнему недвижим, две или три из числа самых отчаянных вспрыгнули на скамью и принялись обнюхивать «подпругу». Это послужило как бы сигналом к общему нападению. Из колодца хлынули новые орды крыс. Они карабкались по ножкам деревянной скамьи, взбирались на нее, сотнями бегали по моему телу. Размеренное движение маятника нимало их не беспокоило. Увертываясь от ударов, они занялись смазанным жиром ремнем. Они теснили и сталкивали друг друга, их полчище все росло и росло. Они копошились у меня на шее, их холодные губы тыкались в мои губы, я уже задыхался под их тяжестью; чудовищное отвращение, которому нет имени на земном языке, стиснуло мне грудь и каким-то липким холодом заливало сердце. Но еще минута — и я понял, что дело идет к концу. Я отчетливо чувствовал, как ослабевают пути. Я знал, что в нескольких местах они уже, должно быть, разгрызены. И сверхчеловеческим усилием воли я заставил себя лежать *неподвижно*.

Я не ошибся в своих расчетах, и мое терпение не было тщетным! Наконец-то я почувствовал себя *свободным*.

Обрывки ремня свисали на пол. Но маятник почти касался уже моей груди. Он рассек саржу халата, он разрезал белье; еще два размаха — и острая боль пронизала каждый мой нерв. Но миг спасения настал. Я шевельнул рукой, и мои избавители с шумом кинулись кто куда. Ровным движением — осторожно, медленно, вбок и назад — я выскользнул из тесных объятий ремня и стал недостижим для кривого лезвия. Что бы ни случилось дальше, в этот миг я был свободен.

Свободен — и в когтях у инквизиции! Едва я поднялся со своего деревянного ложа — ложа ужаса! — и ступил на каменный пол темницы, как движение дьявольского механизма прекратилось, и какая-то невидимая сила подняла его вверх, через потолок. Это было уроком для меня, уроком, который наполнил мое сердце отчаянием. За каждым моим движением, несомненно, следят. Свободен! Ха! Я избежал мучительной смерти в одном из ее обличий лишь для того, чтобы увидеть иное, еще более страшное, чем сама смерть. С этой мыслью я беспокойно обвел взглядом железные плиты, которые скрывали меня от мира. Что-то новое, какое-то явное изменение — сначала я не мог сообразить, какое именно, — произошло в обличии камеры. Дрожа от возбуждения, теряясь в бессвязных догадках, я на несколько минут погрузился в странную мечтательную рассеянность. Тут я впервые отдал себе отчет в том, откуда исходит фосфорический свет, озаряющий мою тюрьму. Он лился сквозь щель шириною примерно в полдюйма, которая опоясывала всю камеру у самого основания стен; таким образом, стены, по-видимому, не были соединены с полом. Я попытался заглянуть в эту щель, но, разумеется, безуспешно.

Когда вслед за этим я снова выпрямился, загадочные перемены, происходившие вокруг, стали мне вдруг понятны. Я уже говорил, что, хотя очертания фигур на стенах были довольно отчетливы, краски казались потускневшими, расплывшимися. Теперь эти краски засверкали, и с каждым мигом их пугающий блеск становился все ярче, что придавало дьявольским, призрачным изображениям такой вид, который способен был привести в трепет и более крепкие нервы, нежели мои. Очи демонов, тысячи очей, с жуткой, чудовищной живостью при-

стально глядели на меня отовсюду, даже оттуда, где раньше не было видно ничего, и мерцали зловещим огнем, который мое воображение не в силах было представить себе нематерьяльным.

Нематериальным — как бы не так! До моих ноздрей уже доносилось дыхание раскаленного железа. Удушающие пары наполнили темницу. Все жарче разгорались глаза, неотступно следившие за моими страданиями. Все ярче становился багровый свет, заливавший кровавые фигуры на стенах. Я задыхался! Я судорожно ловил ртом воздух! Можно ли было еще сомневаться в намерениях моих палачей — о-о-о! самых безжалостных, самых неумолимых среди исчадий ада! Пятясь от раскаленного металла, я отступал к центру темницы. Среди дум об огненной гибели, которая меня ожидала, мысль о прохладе колодца пролилась на душу бальзамом. Я ринулся к его смертоносному краю. Я устремил свой истомившийся взор вниз. Сияние, исходившее от пламенеющей кровли, освещало самые укромные закоулки внутри колодца. И все же в продолжение какого-то мига дух мой, словно помутившись, отказывался постигнуть смысл того, что я увидел. Но в конце концов он пробился... силой проложил себе путь в сознание... ожогом врезался в мой содрогающийся рассудок! О! язык мне не повинуется... О! какой ужас... ужас, не сравнимый ни с чем на свете! С воплем я отпрянул назад и, спрятав лицо в ладони, зарыдал.

Жар быстро усиливался, и, трясась словно в приступе лихорадки, я снова поднял глаза. Опять перемены, — на этот раз заметно переменялась *форма* темницы. Как и раньше, первая попытка правильно оценить или хотя бы понять, что творится вокруг, была безуспешной. Но растерянность и сомнение были недолги. Дважды ускользнув от смерти, я заставил инквизиторов поспешить с возмездием, повелитель ужасов не был более склонен терять время попусту. Прежде камера была квадратной. Теперь я увидел, что два ее железных угла сделались острыми, а два других — в согласии с этим — тупыми. Это страшное различие стремительно возрастало с каким-то глухим грохотом, а может быть, и стоном. В одно мгновение комната приняла форму ромба. Но движение стен не остановилось... и сам я уже не наде-

ялся, да и не хотел, чтобы оно остановилось. Поскорее бы сдавили мою грудь эти багровые плиты — риза вечного успокоения. «Смерть,— твердил я,— любая смерть, только не в колодце!» Глупец! Как это я сразу не догадался, что *именно в колодец* должно загнать меня раскаленное железо! Мог ли я выдержать жар этих стен? А если бы даже и мог,— в силах ли я был не отступить перед их напором? Ромб делался все уже, уже — с быстротою, не оставлявшей времени для размышлений. Его центр и, следовательно, наиболее широкая его часть находились в точности над зияющей пропастью. Я пятился назад, но сдвигающиеся стены с непреодолимой силой толкали меня вперед. В конце концов для моего опаленного, истерзанного тела не осталось и дюйма на твердом полу тюрьмы. Я больше не сопротивлялся, но предсмертные муки моей души излились в одном громком, долгом, последнем вопле отчаяния. Я чувствовал, что балансирую на самом краю.. Я отвернул лицо...

И вдруг... Нестройный гул человеческих голосов! Громкий рев, словно взвыли тысячи труб! Резкий, скрипучий удар, словно грянули тысячи громов! Огненные стены отпрянули! Чья-то протянутая рука поймала мою руку в то самое мгновение, когда я, теряя сознание, уже падал в бездну. То был генерал Лассаль¹. Французские войска вошли в Толедо. Инквизиция была в руках своих врагов.

¹ Лассаль Антуан (1775—1809) — французский генерал, участник наполеоновских войн.

ОВАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ



Egli à vivo e parlerebbe se non
osservasse la regola del silenzio ¹.

(Надпись на итальянской картине
св. Бруно)

Лихорадка моя была сильна и упорна. Я перепробовал все средства, какие только можно было достать в дикой области Апеннин, и все без успеха. Мой слуга и единственный помощник, с которым мы очутились в уединенном замке, был слишком нервен и неловок, чтобы пустить мне кровь, да я и без того немало потерял ее в схватке с бандитами. За помощью я его также не мог послать. Наконец я вспомнил о небольшом запасе опиума, который хранился у меня вместе с табаком: в Константинополе я привык курить табак с этим зельем. Педро подал мне ящик. Я отыскал в нем опиум. Но тут возникло затруднение: я не знал, сколько его полагается брать на один прием. При курении количество опиума не имело значения. Обычно я смешивал пополам опиум с табаком, набивал трубку и выкуривал ее, не испытывая иной раз никакого особенного действия. Случалось, что, выкурив две трети, я замечал признаки умственного расстройства, которые заставляли меня бросить трубку.

¹ Он жив и заговорил бы, если бы не соблюдал обета молчания (итал.).

Во всяком случае, действие опиума проявлялось так постепенно, что не представляло серьезной опасности. Теперь случай был совсем другой. Я никогда еще не принимал опиума *внутрь*. Мне случалось прибегать к лаудануму и морфию, и относительно этих средств я бы не стал колебаться. Но с употреблением опиума я вовсе не был знаком. Педро знал об этом не больше моего, так что приходилось действовать наудачу. Впрочем, я не долго колебался, решившись принимать его постепенно. На первый раз, думал я, приму совсем мало. Если это не подействует, буду увеличивать дозу до тех пор, пока не спадет лихорадка или не явится благотворительный сон, который так был мне нужен, но уже неделю бежал от моих смятенных чувств. Без сомнения, состояние, в котором я находился — а я был уже в преддверии бреда,— помешало мне уразуметь нелепость моего намерения устанавливать большие и малые дозы, не имея никакого масштаба для сравнения. Мне и в голову не приходило, что доза чистого опиума, которая кажется мне ничтожной, на самом деле может быть огромной. Напротив, я хорошо помню, что с полной уверенностью определил количество, необходимое для первого приема, сравнивая его с целым куском опиума, находившимся в моем распоряжении. Порция, которую я проглотил без всяких опасений, представляла очень малую часть всего куска, находившегося в моих руках.

Замок, в который мой слуга решился вломиться силой, лишь бы не оставить меня, раненого, под открытым небом, был одной из тех угрюмых и величавых громад, которые бог знает сколько веков хмуро высятся среди Апеннин не только в воображении миссис Рэдклиф¹, но и в действительности. По-видимому, он был покинут хозяевами очень недавно и только на время. Мы выбрали комнату поменьше и попроще в отдаленной башенке. Обстановка ее была богатая, но ветхая и старинная. Стены были увешаны гобеленами, трофеями охоты и невероятным числом прекрасных современных картин в богатых золотых рамах. Эти картины, висевшие не только на гладких стенах, но и по всем закоулкам, созданным причудливой архитектурой здания, возбуждали во мне

¹ Рэдклиф Анна (1764—1823) — английская писательница, автор популярных в конце XVIII века романов «кошмаров» и «ужасов».

глубокое любопытство, быть может порожденное начинающимся бредом, так что я велел Педро закрыть тяжелые ставни (ночь уже наступила), зажечь свечи в высоком канделябре, стоявшем у изголовья кровати, и отдернуть черный бархатный полог с бахромой, закрывавший постель. Я рассчитывал, что если мне не удастся уснуть, то я буду по крайней мере рассматривать картины и читать их описания в маленьком томике, который нашел на подушке.

Долго, долго читал я и пристально, благоговейно рассматривал картины. Часы летели быстрой и чудной чередой. Наступила полночь. Положение канделябра казалось мне неудобным, и, не желая будить уснувшего слугу, я, с трудом протянув руку, переставил его так, чтобы свет ярче освещал книгу.

Но эта перестановка произвела совершенно неожиданное действие. Лучи многочисленных свечей (их было действительно много) упали в нишу, которая до тех пор была окутана густой тенью от одного из столбов кровати. Я увидел ярко освещенную картину, которой не заметил раньше. То был портрет молодой девушки в первом расцвете пробудившейся женственности. Я только взглянул на картину — и сразу закрыл глаза. Почему — я и сам не понял в первую минуту. Но пока мои веки оставались сомкнутыми, я стал обдумывать, почему я опустил их. Это было невольное движение с целью выиграть время для размышления, удостовериться, что зрение не обмануло меня, унять и обуздать фантазию более надежным и трезвым наблюдением. Спустя несколько мгновений я снова устремил на картину пристальный взгляд.

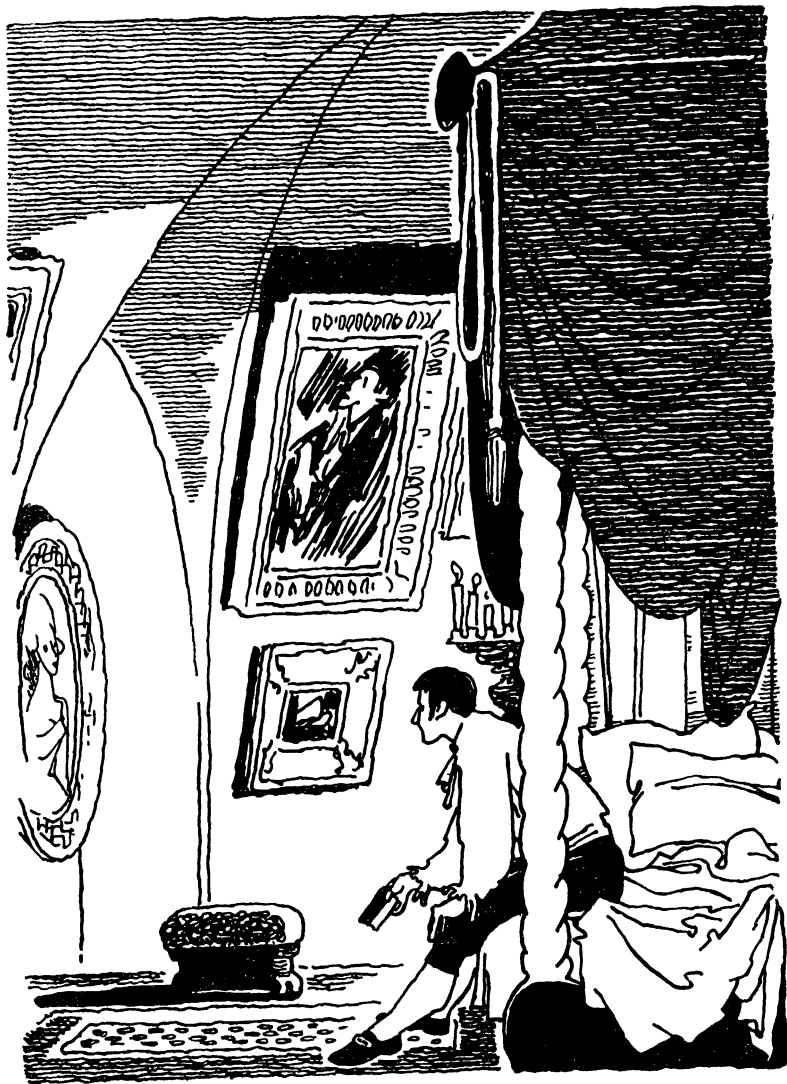
Теперь я не мог сомневаться, что вижу ясно и не обманываюсь, потому что первая вспышка свечей, озарившая картину, по-видимому, рассеяла сонное оцепенение, овладевшее моими чувствами, и разом вернула меня к действительности.

Как я уже сказал, то был портрет молодой девушки; голова и плечи были выполнены, если употребить технический термин, в стиле виньетки, напоминавшем головки Селли¹. Руки, грудь и даже концы золотистых прядей незаметно сливались с неопределенной, но глубокой

¹ Селли Томас (1783—1872) — английский художник.

тенью, составлявшей фон картины. Овальная вызолоченная рама была филигранной работы, в мавританском стиле. Живопись представляла верх совершенства. Но не образцовое исполнение, не божественная прелесть лица потрясли меня так внезапно и так могущественно. Менее всего мог я допустить, чтобы моя фантазия, пробудившаяся от полудремоты, приняла это лицо за живое. Я сразу увидел, что особенности рисунка, стиля, рамы должны были в первое же мгновение уничтожить подобную мысль, не допустить даже мимолетного самообмана. Упорно раздумывая об этом, я провел, быть может, около часа полусидя, полулежа и не сводя глаз с портрета. Наконец, поняв, в чем секрет его воздействия, я откинулся на подушки. Я убедился, что очарование картины заключалось в совершенной жизненности выражения, которая в первую минуту поразила меня, а потом смутила, подавила и ужаснула. С глубоким и благоговейным страхом я поставил канделябр на прежнее место. Устранив таким образом причину моего волнения, я торопливо перелистал томик, в котором объяснялись достоинства картин и излагалась их история. Отыскав номер, под которым значился овальный портрет, я прочел следующие странные и загадочные строки:

«Она была девушка редкой красоты и столь же веселая, сколь прекрасная. В недобрый час увидела она художника, полюбила и сделалась его женой. Он — страстный, прилежный, суровый и уже нашедший невесту в своем искусстве; а она — девушка редкой красоты, столь же веселая, сколь прекрасная, вся радость и смех, как молодая лань, полная любви и ласки ко всему, ненавидевшая только свою соперницу — искусство, пугавшаяся только палитры, кистей и других досадных предметов, отнимавших у нее возлюбленного. Ужасным ударом было для новобрачной услышать, что художник желает запечатлеть на холсте свою молодую жену. Но она была кротка и послушна и покорно сидела целые недели в высокой темной башне, где свет только сверху струился на бледный холст. Он же, художник, вложил всю свою душу в это произведение, которое подвигалось вперед с часу на час, со дня на день. Он был страстный, дикий и своенравный человек, поглощенный своими грезами; и не видел он, что свет, зловеще озарявший



Около полчаса я не сводил глаз с портрета.

уединенную башню, губил здоровье и душу его молодой жены,—она таяла на глазах у всех, и только он один не замечал этого. Но она улыбалась и не хотела жаловаться, так как видела, что художник (который пользовался громкой славой) находил лихорадочное и жгучее наслаждение в своей работе и дни и ночи трудился над портретом той, которая так любила его и все-таки теряла силы и чахла со дня на день. И правда, те, кто видел портрет, говорили вполголоса о чудесном сходстве и находили в нем доказательство не только таланта художника, но и его глубокой любви к той, которую писал он с таким изумительным совершенством. Но когда работа уже близилась к концу, в башню перестали пускать посторонних, потому что художник предавался работе с безумным увлечением и почти не отводил глаз от полотна, не глядел даже на лицо жены. И не хотел он видеть, что краски, которые он набрасывал на полотно, сбегали с лица той, которая сидела подле него. И когда прошло много недель и оставалось только довершить картину, тронув кистью рот и глаза, дух молодой женщины снова вспыхнул, как пламя угасающей лампы. И вот сделан последний мазок, последний штрих положен, и на мгновение художник застыл, очарованный своим творением,— но в ту же минуту, еще не отрывая глаз от портрета, затрепетал, побледнел и ужаснулся.

— Да это сама *жизнь!* — воскликнул он и быстро обернулся, чтобы взглянуть на свою возлюбленную.

Она была мертва!»

ОЧКИ¹



В старину обычно смеялись над «любовью с первого взгляда». Но люди, способные глубоко мыслить или чувствовать, всегда отстаивали ее существование. В самом деле, современные открытия в той области, которая может быть названа этическим магнетизмом или магнетическим эстетизмом, позволяют считать самыми естественными и, следовательно, самыми подлинными, сильными человеческими привязанностями те, которые возникают между сердцами, как бы соединяя их симпатией, подобной электрическому току. Словом, наиболее яркие и прочные узы, связывающие людей, рождаются под влиянием зрительных впечатлений. Признание, которое я собираюсь сделать, лишний раз докажет правоту этого положения.

В моем рассказе мне придется остановиться на некоторых подробностях. Я еще очень молод: мне нет и двадцати двух лет. В настоящее время я ношу довольно распространенную и даже несколько плебейскую фами-

¹ Впервые опубликовано в газете «Доллар Ньюспейлер» (март 1844).

лию — Симпсон. Я сказал «в настоящее время», так как эта фамилия стала моей только с недавних пор,— я совершенно официально принял ее в прошлом году, чтобы получить крупное наследство, оставленное мне моим дальним родственником, Адольфом Симпсоном, эсквайром. Для получения наследства необходимо было, согласно воле завещателя, принять его фамилию — только фамилию; имя же у меня осталось прежнее, вернее, два имени: Наполеон Бонапарт.

Я принял фамилию Симпсон довольно неохотно, так как своим родовым именем Фруасар гордился не без основания, считая, что могу проследить свое происхождение от бессмертного автора «Хроник»¹. Кстати, отмечу довольно странное созвучие в фамилиях некоторых моих ближайших родственников. Мой отец — господин Фруасар, парижанин. Мать моя, вышедшая за него замуж пятнадцати лет, была урожденная Круасар, старшая дочь банкира Круасара. Банкир же Круасар в свое время женился на шестнадцатилетней девушке, старшей дочери некоего Виктора Вуасара. Господин Вуасар, по странно-му совпадению, был женат на молодой особе, по фамилии Муасар. Она тоже была совсем девочкой, когда выходила замуж, так же как и ее мать, мадам Муасар, которая венчалась четырнадцати лет. Во Франции столь ранние браки — явление обычное. Итак, мои предки по прямой линии носили фамилии: Муасар, Вуасар, Круасар и Фруасар. Свою же фамилию, как я уже говорил, мне пришлось переменить, хотя и с очень большой неохотой, на фамилию Симпсон, официально это оформив. Правда, была минута, когда я начал колебаться, вступать ли мне в права наследства с таким никому не нужным и очень неприятным условием.

Что же касается моих личных достоинств, то я отнюдь их не лишен. Наоборот, я считаю, что достаточно хорошо сложен и обладаю тем, что девять десятых всего человечества назвали бы красивой наружностью. Мой рост — пять футов одиннадцать дюймов. Волосы черные, вьющиеся. Нос довольно правильной формы. Хотя я очень плохо вижу, но, судя по моим большим серым

¹ .. бессмертный автор «Хроник» — Фруасар Жан (1337—1410), французский поэт и историк.

глазам, вы бы этого не сказали. Плохое зрение всегда мешало мне, и, чтобы его исправить, я прибегал ко всяким средствам, за исключением очков. Я молод и в достаточной степени привлекателен — вполне понятно, что очки мне никогда не нравились и я категорически отказывался носить их. Я не знаю ничего, что бы так портило наружность молодого человека, придавая его лицу чрезмерную серьезность, а иногда даже что-то старческое и ханжеское. С другой стороны, с моноклем в глазу человек кажется фатоватым и жеманным; поэтому я до сих пор обходился без того и другого. Но, кажется, я увлекся подробностями, которые, в конце концов, не имеют большого значения. Добавлю только, что темперамент у меня сангвинический, я горяч, опрометчив, восторжен и всегда был большим поклонником женщин.

Прошлой зимой, как-то вечером, я в обществе моего приятеля мистера Тальбота сидел в ложе П-ского театра. Шла опера; афиши вызвали в городе необычайный интерес, и поэтому зал был переполнен. Однако мы пришли вовремя, успели протиснуться через толпу и занять свои места в первом ряду.

В течение двух часов мой спутник, страстный любитель музыки, отдавал все свое внимание происходящему на сцене, а я тем временем рассматривал публику, которая в основном представляла собой цвет нашего города. Удовлетворив свое любопытство, я уже собирался устремить взгляд на примадонну, как вдруг мое внимание было привлечено особой, сидящей в одной из лож и которой я до этой минуты по странной случайности не заметил.

Если бы я прожил тысячу лет, то и тогда не смог бы забыть того глубокого душевного волнения, с каким я рассматривал ее. Это была самая прелестная женщина из когда-либо виденных мной. Ее лица, обращенного к сцене, я сначала рассмотреть не мог, но фигура женщины была просто божественной; никакое другое слово не может в достаточной мере передать совершенство ее пропорций, и даже слово «божественная» кажется до смешного слабым, когда я пишу эти строки.

Магическая прелесть стройной женской фигуры, волшебство женского изящества всегда были для меня той силой, которой я не мог противостоять, а эта женщина

была воплощенной грацией, идеалом моих самых пылких и безудержных мечтаний. Устройство ложи позволяло видеть ее почти всю. Она была несколько выше среднего роста и даже величава. Округлость ее форм и линия ее стана были просто восхитительны. Голова женщины, хотя мне был виден только ее затылок, красотой своей могла соперничать с головкой греческой Психеи, а изящная накладка из тончайшего газа, который напомнил мне *ventum textilem*¹ Апулея², еще больше подчеркивала ее совершенство. Правая рука, лежавшая на барьере ложи, своими изысканными пропорциями заставляла трепетать каждый мой нерв. Из-под свободного широкого рукава, спускавшегося немного ниже локтя, был виден другой рукав, очень тонкий, плотно облегавший руку и кончавшийся манжетой из дорогих кружев, которые ниспадали на кисть руки и позволяли видеть только изящные пальчики. Я сразу заметил, что на одном из них сверкает чрезвычайно дорогое бриллиантовое кольцо. Изумительную округлость запястья подчеркивал браслет, украшенный эгретом из драгоценных камней, великолепие которых говорило не только о богатстве их владелицы, но и о ее утонченном вкусе.

Словно окаменев, я полчаса не мог оторвать взгляда от этого царственного видения; вот тогда-то я до конца понял всю правдивость и убедительность того, что когда-либо было сказано или пропето о «любви с первого взгляда». До сих пор даже в обществе самых очаровательных женщин я не испытывал ничего подобного. Мой взгляд, мои мысли, мои чувства — все было приковано к прелестной незнакомке, словно какая-то неведомая сила властно влекла к ней мою душу. Я знал, я чувствовал, что глубоко, безумно и беззаветно влюбился — влюбился, даже не увидев ее лица. Страсть, поглотившая меня, была столь сильной и пылкой, что, оказись ее лицо, для меня все еще незримое, совершенно заурядным, — и это, вероятно, не охладило бы моих чувств. Такова сила истинной любви, «любви с первого взгляда»; как мало зависит она в действительности от внешних

¹ Легковейную ткань (лат.).

² Апулей Луций (II в. н. э.) — римский писатель и философ, автор романа «Метаморфозы» («Золотой осел»).

обстоятельств, хотя, казалось бы, именно они создают и поддерживают ее.

Пока я с восторгом рассматривал прелестное создание, легкое оживление в зале заставило ее повернуть голову, и я увидел ее профиль. Красота его превзошла мои ожидания, и все же что-то в нем разочаровало меня, хотя я и не мог бы точно сказать, что именно. Я сказал «разочаровало», но это не то слово. Я чувствовал себя в одно и то же время и успокоенным и взволнованным. Мною овладел не столько бурный восторг, сколько тихая восторженность. Это чувство возникло, быть может, под впечатлением ее лица, черты которого были исполнены божественной кротости мадонны и вместе с тем спокойного достоинства матроны. Но вдруг я понял, что дело не только в этом. Было еще что-то, какая-то тайна, которой я не мог раскрыть, что-то неуловимое в выражении лица, слегка тревожившее меня и возбуждавшее во мне глубокий интерес. Я был в том состоянии, когда впечатлительный молодой человек готов на любое сумасбродство. Будь эта дама одна, я, без сомнения, вошел бы к ней в ложу и рискнул бы заговорить с ней, но, к счастью, она была не одна: ее сопровождал какой-то господин и поразительно красивая женщина, по-видимому, на несколько лет моложе моей знакомки.

Я строил сотни планов, ломая голову над тем, как в будущем добиться чести быть представленным старшей даме, а теперь хоть получше рассмотреть ее красоту. Пересесть поближе к ее ложе я не мог: театр был переполнен, а, согласно строгим законам последней моды, пользоваться биноклем в таких случаях считалось в высшей степени неприличным, да у меня его и не было. Я просто приходил в отчаяние.

Наконец я решил обратиться к моему спутнику.

— Тальбот,—сказал я,— у вас есть бинокль. Дайте его сюда.

— Бинокль? Да зачем он мне? — И он снова нетерпеливо отвернулся к сцене.

— Но, Тальбот,— продолжал я, трогая его за плечо,— я прошу вас, выслушайте меня. Видите вон ту ложу? Там! Да нет, следующую... Вы встречали когда-нибудь такую красавицу?

— Да, она бесспорно очень красива.

— Интересно, кто она?

— Во имя всего святого, неужели вы ее не знаете? «Не зная ее, становишься сам неизвестным». Это знаменитая мадам Лаланд — она сейчас в моде, о ней говорит весь город. Она очень богата, вдова, превосходная партия, только что приехала из Парижа. .

— Вы с ней знакомы?

— Да, имею честь.

— Вы меня представите?

— Конечно, с большим удовольствием. Когда вы хотите?

— Завтра в час дня я зайду за вами к Б...

— Хорошо. А сейчас, прошу вас, помолчите, если можете.

Я был вынужден выполнить эту последнюю просьбу Тальбота, так как он, поглощенный происходившим на сцене, оставался глух ко всем моим дальнейшим вопросам.

Я же был не в силах отвести взгляд от мадам Лаланд, и наконец мне посчастливилось: она повернулась ко мне лицом. Оно было поистине прелестно, как и подсказывало мне мое сердце еще раньше, чем Тальбот полностью удовлетворил мое любопытство; но что-то непонятное все еще продолжало волновать меня. В конце концов я решил, что на мои чувства повлияло строгое и грустное выражение ее лица или, вернее, та печальная усталость, от которой оно казалось менее свежим и молодым; зато эта усталость придавала ее чертам выражение ангельской кротости и величавости, особенно пленявшее меня при моей романтической восторженности, и делала ее в десять раз интереснее.

Я продолжал пожирать даму глазами и вдруг затрепетал, ибо она чуть заметно вздрогнула, почувствовав на себе мой пристальный взгляд. Но я был так очарован, что ни на миг не мог оторвать от нее глаз. Она отвернулась, и мне опять стали видны только изящные очертания ее затылка. Через несколько минут, точно желая проверить, продолжаю ли я смотреть на нее, дама слегка повернула голову и встретилась с моим пылающим взором. Ее глаза тотчас опустились, и яркий румянец залил щеки. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что она не только не отвернулась, но даже

взяла висевший у пояса лорнет, поднесла его к глазам и в течение нескольких минут, не скрывая своего интереса, внимательно рассматривала меня.

Если бы молния ударила у моих ног, я и тогда бы не был так ошеломлен — не задет, не возмущен, а именно ошеломлен, хотя столь же смелый поступок со стороны другой женщины бесспорно возмутил бы меня или оттолкнул; но все это было проделано с таким спокойствием, с такой небрежностью и невозмутимостью, присущими безукоризненно воспитанным людям, что совершенно исключало малейший намек на дерзость и возбудило во мне лишь восторг и удивление.

Она, видимо, осталась довольна беглым осмотром моей особы и уже хотела спрятать лорнет, как вдруг, точно пораженная какой-то новой мыслью, вновь поднесла его к глазам и с удвоенным вниманием в течение по крайней мере пяти минут продолжала смотреть на меня.

Этот из ряда вон выходящий поступок, такой необычный для публики, посещающей американский театр, привлек к нам всеобщее внимание, вызвав в зале движение и перешептывание, что чрезвычайно смутило меня, но, казалось, не произвело ни малейшего впечатления на мадам Лаланд.

Удовлетворив свое любопытство, если это было любопытство, она опустила лорнет и вновь спокойно повернулась к сцене; мне опять стал виден только ее профиль. Я неотступно смотрел на нее, хотя и понимал всю бестактность своего поведения. Наконец она слегка изменила положение головки, и скоро я уже не сомневался в том, что дама, притворяясь, будто смотрит на сцену, в то же время исподтишка внимательно наблюдает за мной. Нет нужды говорить, какое впечатление произвело на мою взволнованную душу столь необычайное поведение очаровательнейшей из женщин.

Понаблюдав за мной таким образом около четверти часа, мадам Лаланд, этот пленительный предмет моей страсти, сказала что-то сопровождавшему ее джентльмену. Судя по их взглядам, я понял, что речь шла обо мне.

После этого она вновь повернулась к сцене и в течение нескольких минут как будто была целиком поглощена спектаклем. Жгучее волнение овладело мной, когда

мадам Лаланд уже в третий раз взяла лорнет и, не обращая внимания на возобновившийся шепот публики, с тем же знакомым мне восхитительным спокойствием опять начала разглядывать меня с головы до ног.

Это странное поведение подняло во мне целую бурю страстей, повергло в безумие любовного бреда и скорее ободрило, а не смутило. В любовном исступлении я помнил только о том, что напротив меня сидит такая величественно прекрасная женщина. Улучив удобную минуту, когда весь зал, казалось, был поглощен спектаклем, я поймал взгляд мадам Лаланд и слегка поклонился ей.

Залившись ярким румянцем, она отвела глаза, осторожно посмотрела вокруг, чтобы узнать, не замечен ли кем-нибудь мой необдуманный поступок, и затем наклонилась к сидевшему рядом с ней джентльмену.

Только теперь я почувствовал все неприличие моего поведения и не ждал ничего, кроме неприятных для себя последствий, живо представив себе пистолеты, один из которых мне, очевидно, придется взять завтра в руки. Признаюсь, я испытал большое облегчение, увидев, что дама протянула своему спутнику программу, не сказав при этом ни слова; но читателю даже трудно себе представить мое замешательство и мое безмерное удивление, когда, украдкой оглянувшись вокруг, она позволила себе прямо и твердо посмотреть мне в глаза своими ясными глазами и затем с легкой улыбкой, чуть обнажившей белую линию ее жемчужных зубов, дважды кивнула головой.

Незачем говорить о той радости, о том безумном восторге, о той любовной лихорадке, которые охватили меня. Если человек когда-либо сходил с ума от избытка счастья, то это был я. Я любил. Это была моя *первая* любовь, всепоглощающая, неземная любовь — «любовь с первого взгляда». И с первого взгляда меня поняли и ответили мне тем же.

Да, ответили. Мог ли я в этом сомневаться? Как еще мог я истолковать подобный поступок светской дамы, такой богатой, знатной и всеми почитаемой, какой была мадам Лаланд? Да, она любила меня. Она ответила на мое чувство с такой силой, так откровенно, с такой прямоотой и самозабвением, которые не уступали моим. Упавший занавес положил конец моим восхитительным

мечтам и размышлениям. Публика начала расходиться, и в зале поднялся обычный шум. Бросив Тальбота, я изо всех сил старался протиснуться поближе к мадам Лаланд, но толпа помешала мне, и пришлось отправиться домой, сожалея о том, что я не мог даже прикоснуться к ее платью; однако меня утешала мысль, что завтра я буду представлен ей Тальботом по всей форме.

Это завтра наконец наступило: то есть на смену длинной томительной ночи пришел рассвет, и вновь черепашным шагом поползли тоскливые часы ожидания, казавшиеся бесконечными. Но, как говорится, даже Стамбул где-нибудь да кончается; пришел конец и моему томлению. Часы пробили час. Не успел еще умолкнуть последний отзыв, как я уже входил к Б... Я спросил Тальбота.

— Нету дома,— ответил мне его лакей.

— Нету дома! — повторил я, отступая.— Позвольте заметить вам, милейший, что этого никак не может быть, это невероятно; мистер Тальбот должен быть дома. Почему вы говорите, что его нет?

— Только потому, сэр, что его действительно нет. Нет, и все. Он уехал верхом в С... сейчас же после завтрака и предупредил, что вернется в город не раньше чем через неделю.

Я стоял, окаменев от ужаса и негодования; язык не повиновался мне. Наконец, бледный от ярости, я круто повернулся и ушел, мысленно посулив роду Тальботов все муки ада. Мне было совершенно ясно, что мой уважаемый друг *il fonatico*¹ забыл о назначенном мне свидании, забыл, едва его назначив. Никогда он не был особенно щепетильным в отношении своих обещаний. Делать было нечего. Кое-как укротив обиду, я уныло брел по улице, расспрашивая о мадам Лаланд всех встречавшихся мне знакомых мужчин. Оказалось, что все о ней слышали, многие видели ее, но лишь немногие были с ней лично знакомы, так как в городе она жила всего две-три недели. Но и эти немногие, зная ее слишком недавно, не могли или не хотели взять на себя смелость представить меня, явившись с утренним визитом. И вот, когда я, уже потеряв всякую надежду на знаком-

¹ Фанатик (итал.).

ство с ней, стоял с тремя приятелями, беседуя все на эту же волнующую меня тему, мимо нас проехала сама мадам Лаланд.

— Честное слово, она! — воскликнул один из моих приятелей.

— Поразительно хороша! — сказал второй.

— Прямо ангел земной! — подхватил третий.

Я повернул голову: в открытой коляске, медленно приближавшейся к нам, сидела она — и моим глазам предстало то же пленительное видение, что и накануне в опере. С ней была та же дама.

— Ее спутница тоже очень привлекательна, — заметил тот приятель, который говорил первым.

— Поразительно, — откликнулся второй. — Она все еще великолепна! Впрочем, искусство делает чудеса. Честное слово, она выглядит лучше, чем пять лет тому назад в Париже. Все еще красивая женщина, не правда ли, Фруасар... простите, Симпсон?

— *Все еще?* — удивился я. — А почему бы ей не быть красивой? Но ее красота меркнет перед красотой ее спутницы, как свеча перед вечерней звездой или светляк перед Антаресом¹.

— Ха-ха-ха! Знаете, Симпсон, у вас удивительные способности делать открытия, и преоригинальные.

С этими словами мы расстались, и я услышал, как один из моих приятелей начал напевать песенку из веселого водевиля:

Ninon, Ninon, Ninon à bas —
A bas Ninon de l'Enclos!²

Во время этой краткой сцены произошло небольшое событие, которое хоть и утешило меня, но еще больше разожгло мою страсть. Когда экипаж мадам Лаланд проезжал мимо нас, я заметил, что она узнала меня и, даже более того, она подарила меня одной из самых ангельских улыбок, которая явно говорила, что я узнан.

Что же касается официального знакомства, то его

¹ Антарес, или Скорпион, — звезда первой величины красного цвета.

² Долой Нинон, Нинон, Нинон,
Долой Нинон Ланкло!

(франц.)

Нинон де Ланкло — французская куртизанка XVII века.

пришлось отложить до тех пор, пока Тальбот не сочтет нужным вернуться в город. А пока я стал усердно посещать всевозможные зрелища и наконец был несказанно счастлив, встретив ее опять в том же оперном театре и обменявшись с ней взглядом. Но это произошло только через две недели. Ежедневно я заходил в отель и спрашивался о Тальботе, и каждый раз мной овладевал тот же гнев, когда я слышал неизменное «еще не вернулся» от его лакея.

В тот вечер, о котором идет речь, я был в состоянии, близком к помешательству. Я знал, что мадам Лаланд — парижанка. Она приехала из Парижа совсем недавно и могла неожиданно уехать обратно — уехать раньше, чем вернется Тальбот; а тогда она будет потеряна для меня навсегда. Такой ужасной мысли я не мог вынести. Мое будущее счастье находилось под угрозой, и я решился на отчаянный поступок. Короче говоря, после спектакля я незаметно последовал за мадам Лаланд до дверей ее дома, записал адрес и на следующее утро послал ей длинное и подробное письмо, в котором излил свое сердце.

Я писал смело и свободно — словом, со страстью. Я не скрыл от нее ничего — даже слабости моего зрения. Я напомнил ей о романтических обстоятельствах нашей первой встречи и даже о том взгляде, которым мы тогда обменялись. Я пошел дальше, высказав уверенность в ее любви ко мне. Эта уверенность, а также сила моего чувства, писал я, должны послужить оправданием моего поведения, которое иначе было бы непростительным. Я писал о своих опасениях, как бы она не покинула город раньше, чем я получу возможность быть ей представленным. Свое послание, одно из самых восторженных, которые когда-либо были написаны, я закончил откровенным рассказом о моем положении в обществе, о моем состоянии и предложил ей руку и сердце.

В ожидании ответа я не находил себе места. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем я получил его.

Да, я действительно получил его. Как все это ни романтично, но письмо от мадам Лаланд пришло, — от прекрасной, богатой и недоступной мадам Лаланд. Ее глаза, ее чудесные глаза говорили мне правду. Как истинная француженка, послушная велениям своего сердца, бла-

городным порывам своей души, она пренебрегла всеми светскими предрассудками. Мадам Лаланд не отнеслась презрительно к моему предложению, не замкнулась в гордом молчании, не возвратила мое послание нераспечатанным. Наоборот, она ответила мне письмом, написанным ее прелестной рукой. Вот оно:

Мосье Симпсон извиняет мне, что я плохо знаю писать язык ваша прекрасный страна. Я приехала сюда недавно и мне не биль возможность l'étudier¹.

После этот извиненья я теперь скажу — увьи! Мосье Симпсон догадался, и даже очень много. Нужно ли мне сказать еще? Увьи! Я, кажется, уже и так много говорила?

Э ж е н и Л а л а н д.

Я покрыл сотнями поцелуев эту бесценную записку и, конечно, совершил еще тысячи всяких чудачеств, которые сейчас исчезли из моей памяти. А Тальбот все не возвращался. Ах, если бы он имел хоть малейшее представление о тех страданиях, которые его отсутствие причиняло другу, неужели он не приехал бы, чтобы облегчить мои муки? Так или иначе, но его не было. Я написал ему. Он ответил, что его задержали важные дела, но он скоро вернется. В своем письме Тальбот советовал мне быть терпеливым, смирять свои восторги, читать серьезные книги, не пить ничего, кроме рейнвейна, и искать утешения в философии. Глупец! Если он не мог приехать сам, неужели ему трудно было вложить в письмо рекомендательную записку к мадам Лаланд? Я написал Тальботу еще раз, умоляя его сделать это как можно скорее. Письмо мое было возвращено мне все тем же лакеем, с карандашной припиской на обороте (негодяй уже успел съездить к своему господину). Приписка гласила:

Уехал из С... вчера, а куда и надолго ли, не сообщил.

Узнав по почерку, что это письмо от вас, я решил вернуть его вам, тем более что мне известно, как вы не любите ждать.

Искренне ваш Стабз

¹ Его изучать (франц.).

Нужно ли говорить, какие проклятия посылал я после этого на головы хозяина и слуги! Но гнев в таких случаях бесполезен, а жалобы не дают успокоения.

Оставалось надеяться только на собственную смелость. Однажды она уже сослужила мне службу, и я решил положиться на нее и довести дело до конца. Кроме того, раз уж мы обменялись письмами, неужели пустое нарушение светских правил могло показаться мадам Лаланд чем-то неприличным? После истории с письмом у меня вошло в привычку наблюдать за ее домом, и вскоре я установил, что каждый вечер она отправлялась на прогулку в парк, который был виден из окон ее особняка; сопровождал ее только негр в ливрее. В этом парке, среди пышных, тенистых деревьев, в сероватых сумерках мягкого летнего вечера, я наконец воспользовался случаем и заговорил с ней.

Чтобы ввести в заблуждение слугу, я уверенным тоном обратился к ней как к старой знакомой. Она не растерялась и ответила на мое приветствие с чисто французским самообладанием, протянув мне навстречу свои очаровательные ручки. Ее слуга тотчас же отстал, и мы, охваченные чувством, долго и откровенно говорили о нашей любви.

Мадам Лаланд говорила по-английски еще хуже, чем писала, поэтому мы объяснялись по-французски. Я дал волю своей пылкой страсти, и на этом пленительном языке, точно созданном для любовных признаний, путив в ход всю силу своего красноречия, стал умолять ее согласиться на немедленный брак со мной.

Мадам Лаланд улыбнулась моему нетерпению. Она напомнила мне о светских правилах — этом пугале, которое стольким не дает завладеть полным счастьем. Потом она заметила, что я поступил крайне опрометчиво, рассказывая направо и налево о своем желании быть ей представленным, показав тем самым, что раньше не знал ее, и теперь у нас нет возможности скрыть, что мы лишь недавно знакомы. Покраснев, она добавила, что знаем мы друг друга еще слишком мало и поэтому венчаться сразу же будет неудобно, неприлично, просто *outré*¹. Все это было сказано с очаровательной наивно-

¹ Вызывающе (франц.).

стью, которая восхитила меня, но в то же время я понял, что она права. Больше того, мадам Лаланд смеясь обвинила меня в излишней поспешности и неосторожности. Она просила меня помнить, что я ведь, в сущности, не знаю, ни кто она, ни каковы ее средства, связи и положение в обществе. С легким вздохом она умоляла меня еще раз обдумать мое предложение, называя мою любовь ослеплением, случайной вспышкой, минутной прихотью и фантазией, ничем не обоснованной кратковременной причудой, продиктованной не столько велением сердца, сколько воображением. Пока она говорила, вокруг нас все сгущались мягкие вечерние сумерки, и вдруг нежным пожатием своей прелестной ручки она в один миг разрушила все те доводы, которые сама же выдвигала.

Я отвечал ей так, как может отвечать человек поистине влюбленный. Я стал рассказывать о моей преданности, о моей страсти, об ее изумительной красоте и моем восхищении. Наконец я с большой убедительностью сослался на те опасности, которые встречает на своем пути развивающаяся любовь — а ведь настоящая любовь никогда не развивается спокойно, — на риск, которому мы подвергаем само наше чувство, искусственно ставя ему преграды.

Последний довод, казалось, смягчил суровость мадам Лаланд. Она заколебалась. Но ее все еще смущало одно препятствие, о котором, сказала она, я, вероятно, не подумал. Она обратила мое внимание на то обстоятельство, которого женщинам трудно касаться, — но для меня она готова была пожертвовать своими чувствами, пожертвовать всем. Мадам Лаланд упомянула о возрасте: отдаю ли я себе отчет — ясный отчет — в той разнице лет, которая существует между нами? Если муж на много старше жены, хотя бы лет на пятнадцать — двадцать, свет это вполне допускает; но самой мадам Лаланд всегда казалось, что жена ни в коем случае не должна быть старше мужа. Увы, из-за такого несоответствия в возрасте супруги бывают несчастны. Мадам Лаланд уверена, что мне не больше двадцати двух лет; я же, очевидно, уверен, что между нами не такая уж большая разница в возрасте.

В ее словах было столько благородства, столько собственного достоинства, что они совершенно очаровали



Мадам Лаланд протянула мне свои очаровательные ручки.

меня и, казалось, сделали навеки ее рабом. Я с трудом мог сдерживать восторг, овладевший мной.

— Моя любимая Эжени,— воскликнул я,— какое все это имеет значение! Вы на несколько лет старше меня, ну и что же? Светские обычаи — это нелепые предрассудки. Для тех, кто любит так, как мы, год мало чем отличается от часа. Мне двадцать два, сказали вы, пусть так. Но вы могли бы дать мне и двадцать три года. А вам, моя милая Эжени, едва ли больше чем, чем, чем...

Здесь я на минуту остановился, ожидая, что мадам Лаланд сама назовет свой настоящий возраст. Но француженки редко отвечают прямо на столь щекотливый вопрос, и каждая из них по-своему выходит из затруднительного положения. Так было и сейчас: несколько мгновений Эжени, казалось, искала что-то у себя на груди, и наконец в траву упала небольшая миниатюра, которую я поспешил поднять и протянуть ей.

— Возьмите ее себе,— сказала она с самой обворожительной улыбкой.— Возьмите ее ради меня — ради той, которой она слишком льстит. Кроме того, на оборотной стороне этой безделушки вы, быть может, найдете ответ на интересующий вас вопрос. Сейчас довольно уже темно, и вы рассмотрите ее на досуге завтра утром. А теперь проводите меня домой. Мои друзья устраивают сегодня небольшой домашний концерт. Могу вам обещать, что вы услышите хорошее пение. Мы, французы, вовсе не так чопорны, как вы, американцы, и мне будет нетрудно ввести вас в дом под видом старого знакомого.

С этими словами она взяла меня под руку, и мы направились к ее особняку. Снаружи он был очень красив, да и меблирован, вероятно, с большим вкусом, хотя об этом мне было трудно судить, так как, когда мы пришли, почти стемнело, а в самых фешенебельных американских домах в жаркие летние вечера не принято зажигать ламп. Только через час после моего прихода в большой гостиной была зажжена одна-единственная лампа под абажуром, и тогда я мог рассмотреть эту комнату, обставленную с необыкновенным вкусом и даже роскошью. Но две другие комнаты, в которых главным образом и сидели гости, оставались в течение всего вечера погруженными в приятную полутьму. Этот хороший обычай дает собравшимся возможность выбора между све-

том и тепью, и нашим французским друзьям следовало бы перенять его.

Это был бесспорно один из самых восхитительных вечеров в моей жизни. Мадам Лаланд не преувеличила музыкального мастерства своих друзей: такое пение на домашних музыкальных вечерах я слышал только в Вене. Среди инструменталистов было немало выдающихся талантов. Вокальные номера исполняли по преимуществу женщины, и все пели хорошо. Наконец я услышал, что называли имя мадам Лаланд. Она без всякого стеснения и жеманства встала с шезлонга, в котором сидела подле меня, и в сопровождении одного-двух джентльменов и своей молодой приятельницы, с которой она была в опере, направилась к роялю в большой гостиной. Я хотел проводить ее сам, но потом решил, что я появился в доме при особых обстоятельствах и мне лучше оставаться незамеченным. Не имея возможности видеть мадам Лаланд, я с восторгом слушал ее пение.

Ее голос точно наэлектризовал всех присутствующих, но впечатление, которое он произвел на меня, было еще во много раз сильнее. Я не нахожу слов, чтобы передать его. Конечно, в этом немаловажную роль сыграла переполнявшая меня любовь, но основной причиной послужила та глубина чувства, с которой она пела. Казалось, нельзя исполнять арии с большей страстностью, чем это делала мадам Лаланд. Ария из «Отелло» и «Sulmio sasso»¹ из оперы «Капулетти» были пропеты так выразительно, что до сих пор живы у меня в памяти. Низкие ноты звучали особенно пленительно. Обладая голосом, охватывающим три полные октавы, от контральтового фа до верхнего фа, она владела им в совершенстве и с удивительной легкостью и точностью исполняла все, даже самые сложные пассажи — восходящие и нисходящие гаммы, каденции и фиоритуры. Особенно эффектно звучал финал из «Сомнамбулы»:

Ah! non giunge uman pensiero
A contento ond'io son piena².

Здесь, подражая знаменитой Малибран³, она не-

¹ «Над моим камнем» (итал.).

² О, не постигнуть уму людскому радости, какой полна я! (итал.).

³ М а л и б р а н Мария-Фелисите (1808—1836) — французская певица.

сколько видоизменила музыкальную фразу Беллини и закончила арию, опустившись до тенорового ля, а потом внезапно перейдя на две октавы вверх.

Кончив петь, она вернулась на свое место, рядом со мной. Я в самых восторженных словах постарался выразить ей свое восхищение. О своем удивлении я умолчал, хотя меня очень удивили ее блестящие голосовые данные, так как обычно, в разговоре, ее голос казался довольно слабым, даже чуть дрожащим, и я никак не ожидал от нее такого вокального мастерства.

Мы долго серьезно, по-дружески беседовали, и никто не прерывал. Она расспрашивала о ранних годах моей жизни и слушала меня затаив дыхание. Видя ее доверчивость, я говорил с ней совершенно откровенно, да и не мог иначе. Поощряемый той прямоотой, с какой она упомянула о своем возрасте, я не скрыл от мадам Лаланд не только ни одного своего морального, но даже физического недостатка, что требует от человека еще большего мужества, но служит в то же время лишним доказательством его любви. Я коснулся всего: моих сумасбродств еще в колледже, моей расточительности, моих кутежей, моих долгов, моих увлечений женщинами. Больше того, я рассказал ей, что у меня хронический ревматизм, что одно время меня мучил грудной кашель, что у меня бывают приступы наследственной подагры, и, наконец, не умолчал о таком неприятном и неудобном, тщательно скрываемом недостатке, как слабость зрения.

— В последнем вы сознались очень неблагоприятно,— рассмеявшись, заметила мадам Лаланд,— ведь без того, ручаясь вам, никто не догадался бы об этой вашей слабости. Между прочим,— продолжала она,— вы не припоминаете,— и несмотря на то что в комнате было довольно темно, я увидел, как вспыхнуло ее лицо,— вы не припоминаете, *mon cher ami*, этой маленькой вещички, которая служит моим глазам?

Произнося эти слова, она все время вертела в руках тот самый лорнет, который так смутил меня в опере.

— Увы, я очень хорошо помню его! — воскликнул я, пылко сжав изящную ручку, протянувшую мне лорнет. Это была замысловатая великолепная безделушка, с богатой филигранной резьбой и сверкавшая драгоценны-

ми камнями, так что даже в полумраке комнаты я не мог ошибиться в ее большой ценности.

— Eh bien, mon ami¹,— продолжала она с поспешностью, удивившей меня.— Eh bien, mon ami, вы искренне молили меня о милости, которую считаете бесценной: вы просили меня завтра же стать вашей женой. Если бы я уступила вашим мольбам и, не скрою, голосу своего сердца, могла бы я потребовать от вас в обмен исполнения одной моей маленькой просьбы?

— Назовите ее!—воскликнул я с горячностью, которая едва не привлекла к нам всеобщее внимание, и только присутствие гостей помешало мне броситься к ее ногам.— Назовите ее, моя любимая, моя единственная, моя дорогая Эжени! Назовите ее, и она будет исполнена раньше, чем вы ее произнесете!

— Тогда, mon ami,— продолжала она,— ради вашей дорогой Эжени преодолейте ту маленькую слабость, скорее моральную, чем физическую, в которой вы мне только что признались; ведь она, уверяю вас, так не подходит к вашей благородной натуре и так противоречит складу вашего характера. Если вы этого не сделаете, то рано или поздно наверняка попадете в какую-нибудь неприятную историю. Ради меня бросьте это жеманство, которое заставляет вас, как вы сами говорите, скрывать ваше слабое зрение. Вы все время это делаете, стараясь не прибегать к обычному в таких случаях средству. Наверное, вы уже догадались о моем желании: я хочу, чтобы вы носили очки. О, молчите, вы уже согласны носить их ради меня. Не откажите же принять в подарок эту безделушку. Стоит она недорого, но вам будет очень полезна. Видите — она складывается и так и этак и может служить очками или лорнетом, который можно носить в жилетном кармане. Правда, это не очень модно, но вы уже дали согласие носить очки ради меня.

Признаться, я был весьма смущен такой просьбой. Но обстоятельства, при каких мадам Лаланд с ней обратилась ко мне, не допускали никаких колебаний.

— Решено! — воскликнул я со всем пылом, на какой только был в данную минуту способен.— Решено! Я согласен! Ради вас я готов пожертвовать чем угодно!

¹ Ну, мой друг... (франц.).

Сегодня я буду носить этот милый лорнет на цепочке, на... сердце, но в тот день, который даст мне величайшее счастье назвать вас моей женой, я с первым проблеском зари оседлаю ими... свой нос и, пусть это не так уж романтично и модно, буду носить очки, как вы того хотите.

Теперь нам оставалось только подробно обсудить наши планы. От моей нареченной я узнал, что Тальбот только что возвратился в город. Мне нужно было немедленно повидаться с ним и достать экипаж. Вечер закончится около двух часов, и к этому времени экипаж будет подан. В сутолоке, вызванной разъездом гостей, мадам Лаланд сможет незаметно сесть в него. После этого мы отправимся к священнику, который будет ждать нас. Он нас повенчает, мы простимся с Тальботом и отправимся на Восток, в небольшое свадебное путешествие, а свет по этому поводу пусть говорит что угодно.

Как только мы обсудили все эти планы, я тотчас отправился разыскивать Тальбота, но по дороге не выдержал и зашел в отель, чтобы посмотреть миниатюру, прибегнув к великой помощи очков. Лицо было удивительно красиво: большие сияющие глаза, гордый греческий нос, роскошные темные локоны. «Да,— сказал я себе радостно,— это действительно портрет моей любимой!» Я перевернул миниатюру и на оборотной стороне ее увидел надпись: «Эжени Лаланд — 27 лет и 7 месяцев».

Тальбота я застал дома и тут же рассказал ему о своем счастье. Он, разумеется, очень удивился, но тем не менее сердечно поздравил меня и пообещал помочь. Словом, наш план был полностью выполнен, и в два часа утра, ровно через десять минут после брачной церемонии, я уже сидел с мадам Лаланд, то есть с миссис Симпсон, в тесном экипаже, уносившем нас из города на северо-восток.

Тальбот советовал нам остановиться в К...— деревушке, расположенной в двадцати милях от города, отдохнуть там после бессонной ночи и позавтракать перед дальнейшим путешествием. Поэтому ровно в четыре часа наш экипаж остановился у дверей лучшей деревенской гостиницы. Я помог своей обожаемой жене выйти и заказал завтрак. Нам предложили подождать в маленькой гостиной.

Было уже почти совсем светло, когда я взглянул на ангельское существо, сидящее рядом со мной, и тут мне вдруг пришла в голову странная мысль, что ведь за все время нашего знакомства я впервые вижу знаменитую красавицу мадам Лаланд так близко и при дневном освещении.

— А теперь, топ аті,— прервала она мои размышления, взяв меня за руку,— а теперь, топ сгег аті, когда мы с вами связаны неразрывными узами, когда я уступила вашим страстным мольбам и выполнила свою часть нашего договора, я надеюсь, что настала и ваша очередь сдержать свое пустяковое обещание. Ах, подождите! Дайте мне вспомнить! Да, я слово в слово помню то обещание, которое вы дали вчера своей Эжени. Слушайте! Вы говорили так: «Решено! Я согласен! Ради вас я готов пожертвовать чем угодно! Сегодня я буду носить этот милый лорнет на цепочке, на... сердце, но в тот день, который даст мне величайшее счастье назвать вас моей женой, я с первым проблеском зари оседлаю ими... свой нос и, пусть это не так уж романтично и модно, буду носить очки, как вы того хотите». Ведь это ваши точные слова, мой дорогой супруг?

— Да,— сказал я,— у вас замечательная память, и уверяю вас, дорогая Эжени, я не собираюсь уклониться от исполнения столь несложного обещания. Посмотрите! Не правда ли, они мне идут?

С этими словами я раскрыл лорнет и осторожно водррузил на нос как очки, меж тем как мадам Симпсон, поправив шляпу и сложив руки на коленях, застыла на стуле в какой-то странной, чопорной и напряженной позе.

— Боже милостивый! — воскликнул я, лишь только дужка очков коснулась моей переносицы.— Боже мой! Что могло произойти с этими очками? — Я быстро снял их, заботливо протер шелковым носовым платком и надел опять.

Но если в первое мгновение я был просто удивлен, то сейчас это удивление уступило место глубокому, беспредельному изумлению, я был просто вне себя от ужаса. Что все это могло значить? Мог ли я верить своим глазам? Мог ли — в этом был весь вопрос! Неужели, неужели это... неужели это румяна? Что это? Неужели... неужели морщины на лице Эжени Лаланд? О Юпитер

и все боги и богини, великие и малые! Что... что случилось с ее зубами? В ярости я вскочил со стула, швырнул очки на пол, остановился, упершись руками в бока, посреди комнаты и уставился на миссис Симпсон; лицо мое искажилось от ярости, и я не в силах был произнести ни слова.

Я уже упоминал о том, что мадам Лаланд, то есть миссис Симпсон, говорила по-английски еще хуже, чем писала; поэтому она обычно очень редко прибегала к этому языку. Но до чего только не может довести даму гнев! И он побудил миссис Симпсон сделать странную попытку заговорить на языке, которого она почти не понимала.

— Ну, мосье,— произнесла она, с видимым удивлением разглядывая меня в течение нескольких минут.— Ну, мосье, что еще? Что случилось сейчас? Ви страдает танцом святой Витт? Если я вам не нравится, зачем вы покупал кота в мешке?

— Ах вы несчастная...— Я с трудом переводил дыхание.— Вы... вы... вы... старая ведьма!

— Старый ведьма? Я не так старей. Мне ни на один день не больше, чем восемьдесят два льет.

— Восемьдесят два! — воскликнул я, попятившись к стене.— Восемьдесят две тысячи чертей! Ведь на миниатюре было написано двадцать семь лет и семь месяцев!

— О да! Это так! Это есть правда! Но этот портрет сделан пятьдесят пять лет назад. Когда я пошел за мой второй муж мосье Лаланд. В тот время я заказал миниатюр для мой второй дочь от первый муж, мосье Муасар!

— Муасар? — переспросил я.

— Да, Муасар,— сказала она, передразнивая мое французское произношение, которое, надо сказать, было не очень хорошим.— И что же? Что ви знает о Муасар?

— Ничего, старое пугало! Я ничего не знаю о нем; знаю только, что у меня был когда-то предок, носивший такую фамилию.

— Этот фамилий! Что ви скажет на этот фамилий? Это очень хороший фамилий, и Вуасар тоже хороший. Мой дочь мадемуазель Муасар женился на мосье Вуасар, и это тоже очень хороший фамилий.

— Муасар?! — воскликнул я. — И Вуасар?! Что вы хотите сказать?

— Что я хотел? Я хотел сказать Муасар и Вуасар, и буду добавлять — Круасар и Фруасар. Дочь мой дочери, мадемуазель Вуасар, женился на мосье Круасар, а внучка моей дочь, Круасар, женился на мосье Фруасар, и я хотел сказать, что этот фамилий уже не очень уважаем.

— Фруасар?! — повторил я, почти теряя сознание. — Не может быть, нет, вы не называли фамилии Муасар, Вуасар, Круасар и Фруасар?!

— Нет, назвал, — ответила она, откидываясь на спинку стула и вытягивая свои длинные тощие ноги. — Да, Муасар, Вуасар, Круасар и Фруасар! Но мосье Фруасар бил очень большой дурак, он бил большой осел, как ви сам. Он оставлял *la belle France*¹ и уезжал в этот глупый Америк. Здесь он родил син, очень глупый син, как я слышал. Но я не имел еще удовольствия встретить его, как и мой спутница мадам Стефания Лаланд. Его называют Наполеон Бонапарт Фруасар, и я думаю, что вы тоже скажет, что это не очень уважаемый имя.

То ли продолжительность, то ли характер этой речи привели миссис Симпсон в неопишемое волнение: кончив говорить с большим трудом, она, словно от прикосновения магической палочки, вскочила со стула, уронив при этом на пол свой роскошный турнюр. Затем заскрежетала своими вставными челюстями, замахала руками, засучила рукава, погрозила кулаком, поднеся его к моему лицу, и закончила свое представление тем, что сорвала с головы шляпу вместе с париком из чудесных черных волос, пронзительно взвизгнув, швырнула на пол и стала топтать все это в какой-то гневной, исступленной пляске, похожей на фанданго.

Тем временем я опустился на стул, с которого она только что встала.

— Муасар и Вуасар, — повторил я, задумчиво глядя на нее. — Круасар и Фруасар. Муасар, и Вуасар, и Круасар, и Наполеон Бонапарт Фруасар! Слышите вы, старая змея? Это я! Слышите? Это я! — И здесь мой голос перешел в истерический вопль: — Это я-а-а-а!!! Я Напо-

¹ Прекрасную Францию (*франц.*).

леон Бонапарт Фруасар! И будь я трижды проклят, если я не женился на собственной прапрабабушке!

Мадам Эжени Лаланд, quasi¹ Симпсон, а в прошлом Муасар, действительно оказалась моей прапрабабушкой. В молодости она славилась красотой и даже к восьми-десяти двум годам сохранила величественную и стройную фигуру, скульптурные линии головы, греческий нос и красивые глаза. С помощью пудры, румян, фальшивых локонов, вставных зубов, турнюра и искусства парижских модисток ей до сих пор удавалось сохранять не последнее место среди красавиц, *un peu passées*², французской столицы. В этом отношении она лишь немногим уступала Нинон де Ланкло.

Овдовев во второй раз и не имея детей, она вспомнила о моем существовании в Америке и решила сделать меня единственным наследником всего ее огромного состояния. С этой целью она и приехала в Соединенные Штаты вместе с дальней родственницей своего мужа — красавицей Стефанией Лаланд.

В опере моя прапрабабушка, заметив то пристальное внимание, с каким я рассматривал ее, невольно устремила на меня свой лорнет. Ее поразили черты некоторого фамильного сходства между нами. Заинтересованная этим, зная, что ее праправнук находится в этом городе, она стала расспрашивать обо мне сопровождавшего ее джентльмена. Он знал меня и сообщил ей, кто я. Это заставило ее вновь взяться за лорнет. Как я уже говорил, ее любопытный взгляд был истолкован мною иначе, что и вызвало мое дальнейшее нелепое поведение. Она ответила на мой поклон, решив, что я по какой-то странной случайности также узнал ее. Тогда-то, обманываясь в отношении ее возраста и красоты из-за своего слабого зрения и совершенства ее туалета, я обратился к Тальботу, горя нетерпением узнать, кто она. Решив, что я, конечно, имею в виду ее молодую спутницу, он сообщил мне, нисколько не погрешив против правды, что это знаменитая красавица — мадам Лаланд.

На следующее утро моя прапрабабушка случайно встретилась с Тальботом, своим давним парижским зна-

¹ Почти, без малого (*лат.*).

² Несколько поблекших (*франц.*).

комым, и разговор, естественно, зашел обо мне. Говорили и о моем слабом зрении — оказывается, мой недостаток был всем хорошо известен, хотя я об этом и не подозревал. Моя дорогая родственница была искренне огорчена тем, что обманулась в своем предположении: итак, я вовсе не узнал ее, а лишь глупо заигрывал в театре с незнакомой пожилой женщиной. Решив наказать меня за мою бестактность, они с Тальботом составили целый заговор. Последний нарочно избегал меня, чтобы не знакомить с мадам Лаланд. Все мои приятели, как вначале и Тальбот, считали, что мои расспросы о «прекрасной вдове мадам Лаланд», конечно, относятся к младшей даме. И только теперь я понял суть разговора с тремя джентльменами, которых встретил, возвращаясь из отеля, где останавливался Тальбот, и ссылку моих собеседников на Нинон де Ланкло. Я ни разу не имел возможности увидеть мадам Лаланд вблизи при дневном освещении, а на вечере я не смог обнаружить ее возраст все из-за той же глупой манеры не носить очков. Когда попросили спеть мадам Лаланд, это относилось к младшей даме, и встала она, а моя прапрабабушка, чтобы оставить меня в заблуждении, поднялась одновременно с ней и проводила ее к роялю, стоявшему в соседней гостиной. Если бы я вознамерился сопровождать ее, она сослалась бы на странность нашего знакомства и попросила бы меня остаться там, где я был; но моя излишняя щепетильность сделала это ненужным. Арии, исполнение которых вызвало мое восхищение и убедило в молодости возлюбленной, пела Стефания Лаланд. Моя прапрабабушка подарила мне лорнет, чтобы ко всей этой мистификации добавить выговор и сделать ее более поучительной. Этот подарок дал возможность отчитать меня за то жеманство, от которого я никак не мог отучиться. Нужно ли говорить, что стекла в своем лорнете она заменила другими, более подходящими к моим глазам. И действительно, они оказались мне как раз впору.

Священник, якобы связавший нас брачными узами, оказался на самом деле просто одним из близких друзей Тальбота. Он же, умея отлично править лошадьми, сменил рясу на платье кучера и после мнимого венчания в наемном экипаже повез «счастливых молодоженов» за город. Рядом с ним, оказывается, сел и Тальбот, и,

таким образом, оба негодяя были свидетелями последнего акта этой драмы и через полуоткрытое окно гостиной наслаждались зрелищем развязки. Вероятно, мне придется вызвать их обоих на дуэль.

Тем не менее, хотя я и не муж моей прапрабабушки — мысль, дарящая мне необыкновенное облегчение, — я все же муж мадам Лаланд — Стефании Лаланд. Моя добрая родственница не только завещала мне все свое состояние после смерти своей, если она когда-нибудь умрет, но и позаботилась о том, чтобы устроить мою судьбу. Добавлю только, что я больше не пишу *billets doux* и вы меня теперь никогда не встретите без *очков*.

РАССКАЗЫ ЭДГАРА ПО

Рассказы Эдгара По, напечатанные в этой книге, читаются с неослабевающим интересом, хотя они написаны более ста лет назад. Покоряют богатство и причудливость воображения автора и одновременно тонкая и острая игра его ума. Э. По — один из самых своеобразных классиков литературы США. Его странная и трагическая судьба вызовет чувство горечи у каждого, кто оценит по достоинству творчество Эдгара По.

Но как ни удивительно, Эдгар Аллан По (1809—1848) не только при жизни, но и долгое время после смерти не был признан своими соотечественниками. И уже когда По считался в Европе блистательным поэтом, на родине его называли второстепенным литератором.

Как могло это произойти? И критикам и читателям очень скоро стало ясно, что Эдгар По с болезненной остротой ощущал, как укрепляется в его стране дух корысти, все покоряющая жажда обогащения, «долларовые интересы»... В своих статьях, сатирических рассказах он с горечью и тревогой говорил о писателях и журналистах, которые считаются прежде всего с интересами выгоды, с низкими вкусами мещанского читателя.

Он зло посмеялся над такой «коммерческой» литературой в своем рассказе «Литературная жизнь Как-вас Тама, эскавира» — «гения», который все свое творчество посвятил «Брильянтину (мазь для волос. — Н. Э.) Тама», изобретению его отца — парикмахера. Без всякого восхищения и уважения Э. По относится к тем, кого буржуазная Америка считала оплотом «расцвета» и обогащения своей страны, — к банкирам, финансистам. В очень занятом и смешном рассказе «Жульничество как одна из точных наук» По приводит множество примеров изобретательного жульничества. И скоро читатель начинает понимать, что по сути своей жулик, любым способом стремящийся

«делать деньги», не слишком отличается от деляги янки. Операции жулика мелкого размера, говорит писатель. «Если он соблазняется какой-нибудь великолепной спекуляцией, то сразу теряет свои отличительные черты и превращается в так называемого финансиста».

Могло ли это нравиться тем издателям и критикам, которые стремились представить США как совсем особую страну, не похожую на европейские, как рай, в котором царит подлинное равенство и где каждый при желании и старании может стать миллионером?

Их смущали и мрачные настроения, которыми проникнуты многие рассказы писателя. Эти настроения как бы нарушали то ощущение прочности и благополучия, которое они хотели бы привить своим читателям.

Эдгар По был по происхождению уроженцем Юга, где в то время негры еще находились в рабстве. И, как ни горько, Э. По были свойственны многие предрассудки рабовладельческого Юга. Ему казалось, что южные рабовладельческие традиции и обычаи во многом чище и здоровее, чем предпринимательский, корыстный дух северных промышленных штатов. Все это, конечно, были иллюзии. Но когда он видел, как разрушаются постепенно традиции Юга, которые он пытался идеализировать, как торжествует ненавидный ему торгашеский дух, иной раз он не мог не испытывать чувства отчаяния.

Да и личная судьба поэта могла углубить его ощущения обреченности и глубоких разочарований. Он в младенчестве потерял родителей и был взят на воспитание в семью богатого южного коммерсанта Аллана. Талантливый и блестящий юноша, Эдгар был избалован своей приемной матерью, роскошью богатой обстановки, в которой он рос. Но чем ярче проявлялись его литературные интересы, тем больше разочаровывался в нем его приемный отец, желавший сделать юношу помощником в своих купеческих делах. Он перестал посылать деньги Эдгару, тогда студенту Ричмондского университета, и тот принужден был бросить ученье. По настоянию отца Эдгар поступил в Военную академию, где он с интересом занимался точными науками, которые увлекали его. Но военным он быть не хотел и не слишком сожалел о своем исключении из академии.

В своем завещании Аллан лишил Эдгара наследства, и будущий знаменитый писатель начал свою скитальческую жизнь профессионального литератора, бывая иной раз на грани нищеты.

Тяжким ударом была для Эдгара По ранняя смерть его совсем молоденькой жены Виргинии, которая всегда верила в талант мужа и с кротостью переносила все жизненные невзгоды.

И умер поэт при каких-то странных обстоятельствах. После лекции, которую он прочитал в городе Балтиморе, его нашли на улице без сознания; он умер в одной из больниц города..

Несмотря на жизнь, полную мучительных переживаний, болезней и лишений, поэт верил в великую очищающую роль искусства, а главное — в силы и возможности человеческой мысли, науки.

Все, что вдохновлено этой верой, нам интересно и дорого в его творчестве.

В его рассказах в причудливом узоре сочетается изощренная, иной раз мрачная, фантазия и необычайно четкое мышление. Сам Э. По, замечательный лирический поэт, увлекся в то же время игрой своей собственной мысли, своей способностью разгадывать явления, которые кажутся на первый взгляд таинственными, загадочными. Так, он

написал в свое время (1836) сенсационную статью, в которой, последовательно, логически рассуждая, доказал, что на шумевший в то время автоматический шахматный игрок — авантюра, обман, фокус. Путем ряда умозаключений он пришел к выводу, что в автомате должен быть спрятан человек, и не ошибся: обман был разоблачен.

В критической статье, посвященной роману Диккенса «Барнаби Редж», который выходил в свет отдельными выпусками, Э. По предсказал, как развернутся дальше очень сложные приключения героев. Э. По увлекался разгадыванием характеров знаменитых людей по их почеркам, расшифровкой тайнописей и т. п.

И вот писатель создает свои детективные рассказы, посвященные раскрытию преступлений. В трех из них герой — сыщик-любитель Дюген. Может удивить тот странный облик, который придал своему герою Эдгар По. Ведь Дюпен раскрывает преступления не из корыстных соображений и большей частью даже не для того, чтобы sprawедливость торжествовала и преступник был наказан по заслугам. Его привлекает прежде всего сам процесс мышления, анализ наблюдений, верность умозаключений. В начале рассказа «Убийство на улице Морг» Дюпен угадывает мысли своего собеседника. Он делает это без всякой практической цели, получая особое удовольствие от аналитической работы своего ума.

Пожалуй, это чувство руководит им и тогда, когда он превращается в добровольного сыщика.

Если вспомнить, как ненавидел Э. По ту «психологию чистогана», корысти, которая все увереннее завоевывала общество буржуазной Америки, быть может, станет понятным его стремление представить работу человеческой мысли или художественное творчество свободными от всяких практических целей. Конечно, это беспомощный вид борьбы с властью доллара, но Э. По не видел иного пути. В этом была его ограниченность и один из глубинных источников его болезненных и мрачных настроений.

Очень заняты рассуждения писателя, или, как он их называет, «случайные соображения по поводу шахмат и шашек», которыми он начинает свой рассказ об убийстве на улице Морг. Шахматисты вряд ли согласятся с тем, что шашки требуют гораздо более сложной работы ума, чем шахматы, которые требуют главным образом внимания.

Это маленькое введение интересно для читателя еще и тем, что выражает точку зрения автора на ум изобретательный и ум аналитический, — а эта точка зрения и положена в основу детективных рассказов Э. По.

Дюпену удается раскрыть страшное и странное убийство. Но ведь рассуждения Дюпена — это ход мыслей самого автора. Как не восхищаться аналитическими способностями его ума! Наблюдательность и тонкая логика Дюпена (а значит, и автора) увлекают нас и в «Украденном письме». В этом рассказе Дюпена не меньше, чем в первом, захватывает сам процесс раскрытия преступления. Но все же он не отказывается от вознаграждения, правда, больше для того, чтобы посмеяться над хвастливым и бесталанным префектом полиции. И кроме того, он хочет защитить честь женщины, которая могла бы пострадать из-за бесстыдного вымогателя — министра. Тем, кто с увлечением занимается математикой, очень интересно будет прочесть в этом рассказе рассуждения Дюпена о математических доказатель-

ствах и аксиомах, и бесспорно их поразят разносторонние познания автора.

Написав три рассказа о Дюпене (третий из них — «Тайна Мари Рожэ»), Э. По стал одним из создателей так называемого детективного жанра, и, читая о знаменитом герое рассказов Конан Дойля — Шерлоке Холмсе, нельзя не вспомнить его предка Дюпена, созданного воображением американского писателя.

Особую романтику далекого американского прошлого, романтику кладоискательства, и своеобразную атмосферу южных штатов можно почувствовать, читая один из самых знаменитых рассказов Э. По «Золотой жук». Наблюдательность, воображение, тонкость и быстрота ассоциаций помогли джентльмену из разорившейся южной семьи, Леграну, найти клад, когда-то зарытый пиратом Киддом.

Но ведь расшифровки запутаннейших условных цифр и знаков, обнаруженных на старом пергаменте, удивительная догадливость — все это не могло бы украсить Леграна, если бы его создатель Э. По не обладал острым умом и изощренным воображением.

В этой книге есть и мрачные, страшные рассказы Эдгара По, как, например, «Колодец и маятник», действие которого происходит в Испании начала XIX века. Но и здесь вместе с ужасом, который мы испытываем, слушая рассказ о страданиях героя, ожидающего скорой гибели в кромешной тьме подземелья, возникает и чувство восхищения перед торжеством воли и мысли над охватившим героя смертельным страхом. А «Низвержение в Мальстрем» — картина неотвратимой, казалось, гибели человека в пучинах гигантского водоворота?! Ведь и в этом рассказе торжествует сила человеческого разума, не подчинившегося страшной стихии.

Эдгар По был не только создателем детективного жанра, но и одним из ранних мастеров научной фантастики. Его интерес к точным наукам, к научно-техническим перспективам человечества, вполне закономерен, раз сила мышления человека так волновала его воображение.

Сейчас, когда в недалеком будущем на дорогах Луны оставят свои следы первые земляне, рассказ Э. По о том, как житель голландского города Роттердама Ганс Пфалль отправился на воздушном шаре на Луну, совсем не покажется нам фантастическим в своей основе («Необыкновенные приключения некоего Ганса Пфалля»). Но мы должны представить себе, насколько богатым было воображение поэта и насколько широкими были его познания в различных областях естествознания, математических наук и пр., если еще 130 лет назад он описал на первый взгляд научно мотивированно и необычайно правдоподобно путешествие на Луну.

Пафос науки и торжества человеческих знаний раскрыты и в рассказе «Небывалый аэростат», где автор предвосхитил установление воздушной трассы между Америкой и Европой. И хотя в маленьком введении сообщение о перелете через океан аэростата «Виктория» представлено как газетная утка, все же дневник путешественника полон особой романтики познания и покорения стихии.

«Не знаю чувства более возвышенного, чем странное ощущение опасности и новизны в таком предприятии, как наше.. Я желаю успеха не ради собственной незначительной особы, а ради торжества человеческих знаний! В такую ночь человек живет! Я не променял бы ее на целое столетие обыденного существования.»

Между прочим, Эдгар По был первым, кто в художественном произведении описал воздушный шар

Иной раз в рассказах По о путешествиях и приключениях героев изображение ужасного и необъяснимого оттесняло жизнеутверждающую тему победы человека над разрушительными силами природы. Какие только ужасы не собраны в его повести «История Артура Гордона Пима», посвященной путешествию на корабле к Южному полюсу! И хотя эту повесть в какой-то мере можно назвать научно-фантастической, в ней заглушен мотив торжества разума и науки. Здесь и нечеловеческие муки голода и жажды, и страх быть съеденным спутниками, обезумевшими от голода, и корабль с мертвецами, и огненное чудовище, и белые призраки.

Научно-фантастические рассказы Э. По произвели сильнейшее впечатление на знаменитого французского мастера этого жанра — Жюль Верна. Его повесть «Пять недель на воздушном шаре», бесспорно, вдохновлена рассказом «Небывалый азростат», «Из пушки на Луну» — «Необыкновенными приключениями Ганса Пфалля»; сюжет романа Ж. Верна «80 дней вокруг света» связан с мотивом рассказа Э. По «Три воскресенья на одной неделе». А в «Ледяном сфинксе» Ж. Верн продолжает «Историю Артура Гордона Пима», причем дает вполне реальное объяснение ряду эпизодов, которые у Э. По были представлены как таинственные, необъяснимые. Белый призрак, например, повергший в ужас Артура Пима, оказывается ледяной глыбой у Ж. Верна...

Удивительно, как совмещались в Э. По его склонность к изображению загадочного и страшного с таким очаровательным юмором, какой вы встретите в «Необыкновенном приключении некоего Ганса Пфалля», в его сатирических рассказах или, например, в рассказе «Очки». Необычайно причудливо и комично недоразумение, жертвой которого стал герой этого рассказа, молодой франт, влюбившийся, как оказалось, в собственную прапрабабушку.

Мастер увлекательного рассказа, Э. По часто оставляет читателя в недоумении уже после того, как повествование пришло к развязке. Как, например, объяснить смерть жены художника, рисовавшего ее портрет? («Овальный портрет»). Что это — великая и таинственная сила искусства, которая перенесла на полотно жизнь молодой женщины и помогла создать ее замечательное изображение? Но автор дает и другое объяснение гибели прелестной женщины, гораздо более простое и реальное. Думайте сами, как будто говорит своим читателям автор. Пусть изощряется ваша мысль и напряженно работает фантазия.

Эдгар По был также очень талантливым лириком: его стихи изящны, музыкальны, они с большой выразительностью передают настроение поэта. Но в большинстве из них раскрыты мрачные стороны его души...

У Э. По есть одно из самых известных его стихотворений, которое он назвал «Эльдорадо». Эльдорадо — в переносном смысле счастливая, богатая страна. Но слово это возникло еще в XVI веке, когда испанцы, завоеватели Южной Америки, пытались найти эту созданную легендами страну, якобы богатую золотом и драгоценными камнями.

Как видно, поэт не верил в то, что когда-нибудь можно отыскать эту страну. Он пишет о рыцаре, который молодым и веселым начал

свои поиски Эльдорадо.. «Но вот уже видна в волосах седина», а он все еще ищет счастье Странник, которого он встретил на пути, ответил рыцарю на его вопрос, где же обетованный край:

Ночью и днем
Млечным Путем
За кущи райского сада
Держи свой путь,—
Но и стоек будь,
Если ищешь ты Эльдорадо.

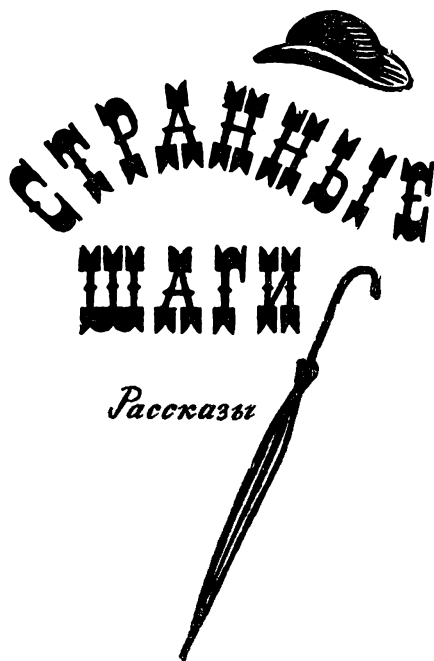
Славу блестящего поэта принесли Э. По его стихотворения «Колокола» и «Ворон».

Эдгар По сложный писатель, и многое в его творчестве пессимистично и болезненно. Но тогда, когда он уверен в том, что любые препятствия могут быть преодолены волей и разумом человека, когда он видит в будущем человечества великие завоевания техники и науки, когда с презрением осуждает делячество и погоню за богатством, мы чувствуем, как ценно его творчество для нас.

К тому же как не восхищаться изощренной фантазией Эдгара По, широкой образованностью, умением создавать неожиданные и увлекательные сюжеты и властно вести читателя за приключениями героев и за движением его смелой и сложной мысли...

Н. Эйшикина

Т. К. Лестермон



Рассказы

П Я Т Е Р К А Ш П А Г



о какому-то странному совпадению именно в то утро два друга — француз и англичанин — поспорили на эту тему. Возможно, впрочем, что философски мыслящему читателю такое совпадение покажется не столь уж странным, если я прибавлю, что они спорили на эту тему каждое утро в течение всего месяца, который проводили, путешествуя пешком по дорогам к югу от Фонтенбло. Они много раз возвращались к одному и тому же предмету, хотя и с самых различных точек зрения, и наконец француз, обладавший умом более логическим и упорным, сказал так:

— Друг мой, вы много раз говорили, что не видите смысла во французской дуэли. Позвольте же заметить вам, что я не вижу смысла в английской нетерпимости к французской дуэли. Вчера, например, вы попрекали меня историей, что была у старого Ле-Мутона с журналистом, который называет себя Валлон. Ее объявили фарсом только потому, что почтенный сенатор отделался легкой царапиной на запястье.

— Да, и вы не можете отрицать, что это фарс, — бесстрастно заметил его собеседник.

— А сейчас,— продолжал француз,— из-за того что нам пришлось идти мимо Шато д'Ораж, вы извлекаете на свет божий труп старого графа, убитого здесь в незапамятные времена каким-то австрийским воякой, и с чисто британским сознанием собственной правоты заявляете, что это трагедия.

— Да, и вы не можете отрицать, что это трагедия,— повторил англичанин.— Говорят, молодая графиня не могла после этого жить здесь. Она продала замок и уехала в Париж.

— Ну, в Париже есть свои религиозные утешения,— саркастически улыбнулся француз.— Но, на мой взгляд, вы рассуждаете нелогично. Нельзя осуждать дуэль за то, что она слишком опасна и одновременно слишком безопасна. Если она обходится без крови, вы называете бедного француза-фехтовальщика дураком. Ну, а если она кончается кровопролитием, как тогда вы его называете?

— Идиотом,— ответил англичанин.

Эти два человека могли бы служить убедительным доказательством того, насколько реальны национальные различия и как мало они связаны с расовой принадлежностью или, во всяком случае, с физическим типом, обычно приписываемым той или иной расе. Поль Форэн был высок, худощав и белокур, и тем не менее он был француз до мозга костей, до кончиков пальцев, до острия бородки, до узких носков ботинок и чисто французской неутолимой любознательности, которая внешне проявлялась в том, что он постоянно поднимал брови и морщил лоб,— можно было видеть, как он думает. А Гарри Монк был плотный, приземистый брюнет и в то же время — типичный англичанин, с подстриженными усиками и в сером шерстяном костюме, отличающийся, как и положено, полным отсутствием любопытства — разумеется, в пределах учтивости. Весь его облик дышал здоровым английским социальным компромиссом, подобно тому как его грубошерстный костюм, казалось, дышал серой английской непогодой даже среди этих солнечных долин и холмов. Оба друга были молоды, оба преподавали в известном французском коллеже; один — юриспруденцию, другой — английский язык. Но юрист Форэн специализировался еще и в криминалистике, и к нему часто обра-

шались за советами. Бесконечный спор возник из-за взглядов Форэна на умышленное и неумышленное убийство.

Друзья, обычно проводившие свой отпуск вместе, только что вышли из деревенской гостиницы «Под семью звездами», где они плотно позавтракали. Солнце взошло над долиной и заливало лучами дорогу, по которой они шли. Долина большими отлогими уступами спускалась к реке, и впереди, на одном из уступов, виднелся запущенный парк и мрачный фасад старинного замка, справа и слева от которого столь же мрачным нескончаемым строем развернулись ели и сосны, точно пики армии, которую поглотила земля. Первые, еще красноватые лучи солнца играли в застекленных рамах парников, самое существование которых указывало на то, что в доме кто-то жил — во всяком случае, до самого недавнего времени, — и отражались в темных старинных окнах, зажигая их то тут, то там ярким рубиновым светом. Но парк, беспорядочно заросший ветвистыми деревьями, напоминавшими гигантские мхи, был угрюм и мрачен, и где-то там, в его сумрачном лабиринте, зловещий полковник Тарнов, австрийский вояка, заподозренный в том, что он — австрийский шпион, вонзил острие своей шпаги в горло Мориса д'Оража, последнего владельца этого замка.

Парк отлого спускался к реке, и вскоре высокая стена, вся увитая плющом и диким виноградом и потому походившая скорее на живую изгородь, скрыла дом от глаз путешественника.

— Я знаю, что вы сами дрались на дуэли, и знаю, что вы отнюдь не злодей, — снова заговорил Монк. — А вот я не представляю себе, как можно убить человека даже при самой лютой ненависти.

— Да я ведь и не хотел убивать, — отозвался Форэн. — Если быть точным, я хотел, чтобы он убил меня. Хотел дать ему возможность меня убить. Как бы это вам объяснить? Мне нужно было показать, как много я готов поставить... Ого! Это еще что такое?

На увитой плющом стене появился человек, поднимающийся черным силуэтом на фоне утреннего неба, так что лица его они разглядеть не могли, но тем отчетливее была его отчаянная поза. Мгновение спустя он соскочил со стены и, протягивая руки, преградил им дорогу.

— Нет ли доктора? — крикнул неизвестный. — Все равно помогите — человека убили!

Теперь они разглядели его. Это был худощавый молодой человек с черными волосами и в черном платье, надо полагать — всегда безупречно одетый, так как сейчас особенно был заметен некоторый беспорядок в его костюме. Длинная прядь прямых черных волос спадала ему на глаза, а одна из светло-желтых перчаток была разорвана.

— Человека убили? — переспросил Монк. — Как убили?

Рука в желтой перчатке горестно взметнулась.

— О, старая история! — воскликнул молодой человек. — Слишком много вина, слишком много слов, а наутро развязка. Но, бог свидетель, мы не думали, что дело пойдет так далеко.

Одним из тех молниеносных движений, которые прятались где-то за его суховатой сдержанностью, Форэн уже вскочил на невысокую стену и теперь стоял наверху; его друг англичанин последовал за ним с неменьшим проворством, хотя и с большей безучастностью. То, что они увидели, сразу все им объяснило: это был жестокий, но очень меткий комментарий к их давнему спору.

Внизу на лужайке стояли трое мужчин в черных фраках и цилиндрах. Четвертый был перепрыгнувший через стену вестник несчастья — его шелковый цилиндр откатился в сторону и валялся у стены. Впрочем, прыгнул он, видимо, в первом порыве ужаса или раскаяния, ибо чуть дальше в стене Форэн заметил калитку, правда заброшенную, запертую на ржавые засовы и покрытую лишайником, но все же это была калитка, и воспользоваться ею было бы гораздо естественнее для человека в нормальном состоянии. Однако прежде всего внимание друзей привлекли к себе две фигуры в белых сорочках, вокруг которых столпились остальные: эти двое, видимо, только что дрались на шпагах. Один из них стоял со шпагой в руке; издалека она казалась безобидной блестящей палочкой, на кончике которой лишь острый взгляд мог бы различить красное пятнышко. Второй лежал на земле, и его сорочка белым пятном выделялась на зеленой лужайке, а шпага какого-то старинного образца поблескивала в траве — там, где она упала, выби-

тая из его руки. Один из секундентов стоял, склонившись над ним, но при появлении путешественников поднял свое мертвенно-бледное лицо, обрамленное черной бородой.

— Поздно,— проговорил он.— Он мертв.

Человек, все еще державший шпагу, отшвырнул ее в сторону, и его короткий нечленораздельный возглас прозвучал страшнее проклятия. Он был высок и даже без фрака сохранял элегантность. Его тонкий орлиный профиль, оттененный ярко-рыжими волосами и бородой, казался особенно бледным. Тот, кто стоял рядом с ним, положил ему на плечо руку и как будто слегка подтолкнул его, словно побуждая спастись бегством. Исполнявший, по правилам французской дуэли, роль «свидетеля», он был высок и дорожен, с длинной черной бородой, которая своей квадратной формой повторяла угловатый покррой его длинного черного фрака. В глазу у него как-то весьма неуместно торчал монокль. Второй секундант рыжего господина стоял в стороне: он был крупнее и гораздо моложе других, а лицо его казалось классически правильным, как у статуи, и, как у статуи, безучастным. Как и все остальные, он, услышав скорбное известие, снял цилиндр и остался, точно на похоронах, с непокрытой головой, представившей для глаз англичанина необычайное зрелище: волосы у него были подстрижены так коротко, что он казался чуть ли не лысым. В те дни во Франции это было в моде, но в сочетании с молодостью и красотой такая стрижка производила странное впечатление: казалось, Аполлона выбрили наголо, как восточного отшельника.

— Господа,— произнес наконец Форэн,— поскольку вы вовлекли меня в это ужасное дело, я должен сразу поставить точки над «и». Не мне быть фарисеем. Я сам едва не убил человека и знаю, что ответный выпад не всегда удастся соразмерить. И я не из тех гуманных людей,— добавил он с горечью,— которые могут троих подвести под нож гильотины из-за того, что один пал от удара шпагой. Я не представитель власти, но я пользуюсь некоторым влиянием в официальных кругах. И, осмелюсь сказать, у меня есть доброе имя, которое я рискую потерять. Вы должны доказать мне, что это дело было таким же чистым и неизбежным, как и мое собственное.

В противном случае я вынужден буду вернуться к моему приятелю, владельцу гостиницы «Под семью звездами», который свяжет меня с другим моим приятелем, начальником местной полиции.

И, не прибавив ни слова, он прошел через лужайку и склонился над распростертым телом. Убитого было особенно жалко, потому что он оказался значительно моложе всех остальных, моложе даже своего секунданта, который призвал их на помощь. На лице его не было и следов растительности, а по тому, как были зачесаны его светлые волосы. Монк с острым чувством жалости узнал в нем англичанина. В том, что юноша мертв, не было ни малейшего сомнения. Беглый осмотр сразу же обнаружил, что шпага пронзила сердце.

Высокий джентльмен с черной бородой первым нарушил молчание.

— Позвольте мне, сэръ, выразить вам признательность за ту прямоту, с какой вы только что высказались, поскольку именно мне принадлежит честь принимать вас при столь печальных обстоятельствах. Я — барон Брюно, владелец этого замка, и у меня за столом было нанесено смертельное оскорбление. В оправдание моего несчастного друга Ле-Карона,— и он жестом представил рыжебородого человека, отшвырнувшего шпагу,— я должен сказать, что оскорбление было действительно смертельным, и за ним последовал формальный вызов. Это было обвинение в нечестной игре, да к тому же еще и в трусости. Я не хотел бы говорить дурно о покойном, но надо и живым отдавать должное.

Монк обратился к секундантам погибшего:

— Вы подтверждаете это?

— Пожалуй,— ответил молодой человек в желтых перчатках.— Признаться, обе стороны виноваты.— И тут же с поспешностью добавил: — Мое имя — Вальдо Лоррен. Мне стыдно признаться, но я тот глупец, который привез его сюда играть в карты. Молодой Крейн был англичанином, я познакомился с ним в Париже и, бог свидетель, хотел, чтобы мой друг весело провел время. Но я немного сумел для него сделать — только был секундантом при кровавой развязке. Вторым секундантом любезно согласился стать доктор Вандам,— он тоже гость в этом доме. Дуэль велась по всем правилам, но

должен сказать вам честно, что ссора...— Он сделал паузу, как бы устыдившись, и смуглое лицо его приобрело еще более печальное выражение.— Должен признаться, что не могу судить об этом,— я почти ничего не помню. Для меня это как смутный страшный сон. Говоря попросту, я слишком много выпил и не понимал, что происходит.

Доктор Вандам, бледный человек в очках, грустно покачал головой, не отводя взгляда от убитого.

— Я тоже ничем не могу вам помочь,— проговорил он.— Я был в гостинице «Под семью звездами» и пришел, когда уже велись приготовления к дуэли.

— Наш второй секундант-свидетель, господин Валанс,— сказал барон, указывая на человека с коротко остриженными волосами,— подтвердит мои слова.

— Были при нем бумаги? — спросил Форэн.— С вашего разрешения я осмотрю тело.

Возражений не последовало, и, тщательно обыскав убитого, а затем вывернув карманы жилета и фрака, валявшихся на траве, Форэн наконец обнаружил письмо, короткое, но как будто бы вполне подтверждающее рассказанную историю. Письмо было подписано отцом убитого: «Абрахам Крейн. Гаддерсфилд». Монк вспомнил, что это имя крупного промышленника в Северной Англии. Содержание письма оказалось чисто деловым — речь шла о поручении, с которым молодой человек был послан в Париж. Ему предстояло, видимо, подписать какой-то контракт с парижским отделением фирмы «Миллер, Мосс и Гартман». Однако суровые отцовские предостережения против удовольствий французской столицы указывали на то, что отцу, вероятно, были известны наклонности сына, приведшие его к гибели. В этом весьма обычном письме все же было одно место, показавшееся криминалисту загадочным. Автор письма сообщал о своем намерении приехать во Францию лично, чтобы закончить дела с компанией «Миллер, Мосс и Гартман», и писал, что, если ему удастся осуществить это намерение, он остановится в гостинице «Под семью звездами» и встретится с сыном в Шато д'Ораж. Казалось странным, что сын сообщил отцу тот адрес, где сам предавался порокам, против которых отец столь решительно его предостерегал. Помимо письма, в карманах убитого был

найден старинный медальон с выцветшим портретом темноволосой женщины.

С минуту Форэн стоял нахмурившись, в раздумье теребя письмо, а затем сказал, обращаясь к барону:

— Вы разрешите пройти к вашему дому, господин барон?

Барон молча поклонился. Секунданты убитого остались нести караул у тела, остальные направились к дому. Они медленно поднимались вверх по склону. Дорожка была крутая, тут и там пересеченная корнями старых сосен, напоминавшими хвосты издыхающих драконов, и скользкая от плесени, которую при некоторой доле воображения можно было принять за зеленую драконову кровь; к тому же Форэн то и дело останавливался и пристально рассматривал эту картину полного запустения. Либо барон только недавно стал хозяином замка, либо он придавал крайне мало значения внешнему виду своих владений.

Там, где раньше был сад, теперь все буйно заросло сорной травой, а когда они проходили мимо парников, Форэн заметил, что они пустые и в одной раме разбито стекло. Он остановился и долго разглядывал звездообразное отверстие.

В дом они вошли через высокую стеклянную дверь и очутились в круглой комнате с круглым картонным столом посредине. Судя по очертаниям комнаты, можно было бы предположить, что они находятся в башне, но все убранство в стиле XVIII века, выдержанное в бело-золотистых тонах, делало комнату похожей на залитую солнечным светом беседку. Впрочем, все здесь давно выцвело и потускнело — белое стало желтым, а позолота — коричневой. Однако теперь эта обветшалость служила лишь фоном для безмолвной, но красноречивой картины трагического беспорядка, произведенного совсем недавно. На полу и на столе были рассыпаны карты, словно брошенные в досаде или выбитые из рук игрока. Повсюду стояли или валялись бутылки из-под шампанского, частью разбитые и почти все пустые; лежало опрокинутое кресло. Легко можно было поверить тому, что рассказывал Лоррен об оргии, представлявшейся теперь ему самому каким-то страшным сном.

— Картина довольно поучительная, — вздохнув, про-

молвил барон.— Думается мне, в ней есть некоторая мораль.

— Как это ни странно с точки зрения нравственности,— отозвался Форэн,— но меня эта картина даже успокаивает. Если уж мы имеем дело с насильственной смертью, то я склонен приветствовать пьянство.

— Пятерка пик,— задумчиво произнес он по-английски, обращаясь к Монку.— «Пятерка шпаг» — как говорили раньше испанцы. Ведь *espada* по-испански — шпага, если я не ошибаюсь? Четверка шпаг... то есть пик, я хотел сказать. Тройка пик. Дво... У вас тут есть телефон?

— Есть. В соседней комнате. Только нужно войти через другие двери,— с некоторым недоумением ответил барон.

— Если позволите, я им воспользуюсь,— сказал Форэн, поспешно выходя из круглой комнаты. Он прошел через длинный, тускло освещенный зал, обставленный в более строгом, старомодном стиле. По стенам были развешаны олени рога. На темных дубовых панелях и старинном штофе обоев мрачно поблескивало оружие, и, направляясь к дальней двери, он успел обратить внимание на одну деталь. Слева у камина висели две скрещенные шпаги, а справа на стене виднелись лишь пустые крюки. Он понял, почему шпаги дуэлянтов показались ему такими старомодными. Под зловещими пустыми крюками стоял шкафчик из черного дерева, украшенный уродливыми резными херувимчиками, походившими скорее на дьяволят. Форэн посмотрел на черных херувимчиков, и ему почудилось, будто они уставились на него с любопытством далеко не ангельским. Он помедлил, скользнув глазами по ящикам, затем шагнул к дверям.

Форэн закрыл за собой дверь; потом где-то в дальнем конце дома, выходящем на дорогу, тоже хлопнула дверь. После этого наступила тишина — никто не слышал ни разговора, ни телефонных звонков.

Барон Брюно вынул из глаза монокль и стал нервно теревить свою длинную черную бороду.

— Надеюсь, сэр,— обратился он к Монку,— ваш друг — человек чести?

— Относительно его чести не может быть ни малей-

ших сомнений,— ответил англичанин с едва заметным ударением на притяжательном местоимении.

Тогда, впервые за все это время, заговорил Ле-Карон — победитель в недавней дуэли.

— Пускай звонит,— грубо сказал он,— все равно ни один французский присяжный не назовет эту печальную историю убийством. Просто несчастный случай.

— Которых следует избегать,— холодно заметил Монк.

Вернулся Форэн. Морщины раздумья на его лбу разгладились.

— Барон,— обратился он к хозяину дома,— мне удалось решить одну задачу. Я готов считать происшедшую трагедию вашим частным делом, но при одном условии: на следующей неделе все мы встретимся в Париже, и вы дадите исчерпывающие объяснения. Скажем, в четверг вечером в кафе «Ронсеваль». Вы согласны? Итак, мы условились? Отлично, тогда вернемся в парк.

Когда они снова вышли из дома, солнце поднялось уже высоко, еще ярче, чем прежде, освещая крутой склон и лужайку внизу. Обогнув купу деревьев, они оказались над тем местом, где утром происходила дуэль, и тут Форэн вдруг остановился, схватил барона за руку повыше локтя и сжал точно клещами.

— Бог мой! — воскликнул он.— Это невозможно. Вам надо немедленно удалиться.

— Что? — изумился барон.

— Быстро сделано! — сказал юрист.— Его отец уже здесь.

Взгляды всех устремились в том направлении, куда смотрел Форэн, и прежде всего они заметили, что старая садовая калитка открыта и видна белая пыльная дорога; затем — что на лужайке находится высокий худой седобородый человек, одетый с ног до головы в черное и всем своим видом напоминающий пуританского священника. Он стоял неподвижно и смотрел на убитого.

Рядом с ним у тела опустилась на колени девушка в сером платье и черной шляпке, а оба секунданта, как бы повинувшись чувству благопристойности, отступили на несколько шагов в сторону и остановились, мрачно глядя себе под ноги. Вся группа напоминала живописную сцену на залитых светом зеленых театральных подмостках.

— Сейчас же возвращайтесь в дом, все трое, — с неожиданной яростью проговорил Форэн. — Выйдете на дорогу через другую дверь. С ним вы не должны встретиться.

Ле-Карон сразу же повернул обратно. Барон после минутного колебания тоже проявил готовность подчиниться и устремился за ним. Последним в дверях скрылся высокий молодой человек с бритой головой, который шагал с такой небрежной медлительностью, что даже движения его длинных ног казались циничными. Он один из всех держался так, будто события этого дня не произвели на него никакого впечатления.

— Мистер Крейн, я полагаю? — обратился Форэн к потрясенному утратой отцу. — Боюсь, вам уже известно все, что мы можем сообщить.

Седобородый человек наклонил голову. Черты его выражали подавленную страстность, и во взгляде было что-то иступленное, противоречившее сдержанной неподвижности лица. Однако, как выяснилось впоследствии, такое выражение глаз, вполне естественное в минуту горя, было присуще этому человеку и в обычном состоянии.

— Сэр, — проговорил он, — я вижу, к чему привели карты и вино, я вижу суд господень за все то, чего я страшился. — И добавил с такой наивностью, которая при всей ее неуместности произвела впечатление скорее трагическое, чем комическое: — И всё фехтование, сэр. Я всегда был против французского помешательства на призах за фехтование. Довольно с нас и футбола со всеми этими пари и разными грубостями. Футбол, по крайней мере, не ведет к такому концу. Вы англичанин? — неожиданно обратился он к Монку. — Что вы можете сказать об этом гнусном убийстве?

— Могу сказать, что это действительно гнусное убийство, — твердо ответил Монк. — Я говорил то же самое моему другу полчаса тому назад.

— Вот как, а вы? — воскликнул старик, подозрительно глядя на Форэна. — Вы, может быть, защищали дуэль?

— Сэр, — мягко заметил Форэн, — сейчас не время защищать что бы то ни было. Если бы ваш сын упал с лошади, я не стал бы защищать лошадей: ваше право было бы сказать о них все самое худшее. Если бы он утонул

при кораблекрушении, я пожелал бы вместе с вами, чтобы все корабли оказались на дне морском.

Девушка смотрела на Форэна открытым пристальным взглядом, полным внимания и боли, но отец ее нетерпеливо повернулся к Монку и сказал:

— Вы хоть, по крайней мере, англичанин; я хотел бы посоветоваться с вами.

И он отошел с ним в сторону.

Но дочь его продолжала глядеть на Форэна, не двигаясь и не произнося ни слова, и он тоже смотрел на нее с каким-то необъяснимым интересом. Она была блондинка, как и ее брат, с золотистыми волосами и бледным лицом, черты которого, хоть и неправильные, поражали какой-то редкой таинственной прелестью, еще более неотразимой, чем сама красота. Ее глаза, прозрачные, как вода, сияли алмазами, и, заглянув в них, француз вдруг понял с возрастающим безотчетным волнением, что он встретился с чем-то гораздо более положительным, нежели бесхарактерность сына или ограниченность отца.

— Позвольте спросить вас, сэр,— ровным голосом сказала она,— кто эти трое, что сейчас были с вами? Убийцы моего брата?

— Мадемуазель,— ответил он, сразу почувствовав, что надобность скрывать и умалчивать отпала,— вы произнесли страшное слово, и, бог свидетель, это понятно. Но я не хочу притворяться перед вами. Я тоже держал однажды в руках такое же оружие и едва не совершил такое же убийство.

— Вы не похожи на убийцу,— спокойно возразила она.— А они похожи. Тот человек с рыжей бородой, он просто волк — хорошо одетый волк, а это еще отвратительнее. А другой — такой большой и важный, с большой черной бородой и стеклом в глазу,— разве он не ужасен?

— Согласитесь,— вежливо возразил Форэн,— что быть хорошо одетым — еще не преступление. И точно так же человек может ходить с бородой и моноклем и при этом даже мухи не обидеть.

— Только не с такой большущей бородой и не с таким маленьким моноклем,— уверенно возразила она.— Правда, я видела их издалека, но убеждена, что не ошибаюсь.

— Я знаю, вы считаете всякого дуэлянта преступником, который должен понести кару,— голос Форэна прозвучал довольно хрипло,— но я сам...

— Вовсе нет,— возразила она.— Я только считаю, что эти дуэлянты должны понести кару, а чтобы вы могли судить о том, что я думаю и чего не думаю, поручаю вам покарать их,— закончила она, и ее бледное лицо вдруг озарилось загадочной и ослепительной улыбкой.

Она помолчала, а потом спокойно добавила:

— Вы и сами что-то заметили. Вы, наверное, уже догадываетесь, как все произошло и что за всем этим кроется. Ведь вы знаете: тут случилось что-то скверное, куда более скверное, чем ссора за карточным столом.

Он поклонился ей, как человек, принявший упрек старого друга:

— Мадемуазель, ваше доверие я почитаю за честь. И ваше поручение тоже.

Затем быстро выпрямился и обратился к ее отцу, который приближался к ним, все еще беседуя с Монком.

— Мистер Крейн,— решительно произнес он.— Я прошу вас довериться мне. Этот джентльмен, а также и другие ваши соотечественники, на которых я могу сослаться, надеюсь, подтвердят, что я заслуживаю вашего доверия. С местными властями я уже связался, и вы можете считать меня их представителем. Я гарантирую вам, что за всеми людьми, принимавшими участие в этом ужасном деле, установлено наблюдение, и ничто не помешает свершиться правосудию. Если вы окажете мне честь и встретитесь со мной в Париже на следующей неделе, после вторника, я смогу, вероятно, дать вам более подробные сведения по интересующему вас вопросу. А покуда я готов заняться всеми необходимыми формальностями, связанными с... погибшим.

Глаза Крейна-старшего все еще враждебно горели, но он поклонился им, и друзья, ответив на поклон, снова направились к дому по крутой тропинке. Как и в предыдущий раз, француз остановился возле парника и указал на разбитое стекло.

— Пока что это — самая большая брешь во всей истории,— сказал он.— Она зияет, как врата ада.

— Это? — удивился Монк.— Да ведь стекло могли разбить когда угодно!

— Его разбили сегодня утром,— ответил Форэн.— Или же... во всяком случае, осколки недавние. И под рамой на земле — свежий след каблука. Один из этих господ, спускаясь к месту дуэли, наступил прямо на стекло. Почему?

— Ну, знаете ли,— заметил Монк,— ведь сказал же Лоррен, что вчера вечером был вдребезги пьян...

— Но не сегодня утром. Допускаю, что вдребезги пьяный человек мог и среди бела дня угодить ногой в стекло парниковой рамы у себя под носом, но сомневаюсь, чтобы он мог так ловко вытащить ногу. Если б он был пьян, он попался бы, как в ловушку,— споткнулся бы и упал, и здесь было бы гораздо больше осколков. На мой взгляд, этот человек был не пьян, а слеп.

— Слеп! — повторил Монк, чувствуя холодок у себя на спине.— Но среди этих людей нет слепых! Нельзя ли найти иное объяснение?

— Можно,— ответил Форэн.— Все происходило в темноте. И это — самая темная сторона дела.

Всякий, кто вздумал бы проследить путь двух друзей в следующий четверг вечером, когда сумерки зажгли многоцветные огни Парижа, подумал бы, что у них нет иного намерения, как бесцельно бродить из кафе в кафе. Однако в действительности их путь, извилистый и запутанный, был точно намечен последовательной стратегией детектива-любителя. Прежде всего Форэн пожелал увидеть графиню — все еще здравствующую вдову вельможи, который пятнадцать лет назад был убит на дуэли на том же самом месте. Он хотел в буквальном смысле слова увидеть ее, а не увидаться с нею. Ибо ограничился тем, что уселся за столиком перед кафе, расположенным напротив ее дома, заказал аперитив и ждал, пока графиня не вышла из дому, направляясь к своей карете. Она оказалась дамой с очень черными бровями и красивым лицом, напоминающим, однако, не живой цветок, а безжизненное произведение искусства — словно портрет с крышки саркофага. Когда она уехала, Форэн быстро заглянул в старинный медальон, который извлек из кармана убитого, одобрительно кивнул и ушел, направляясь на этот раз через Сену в менее аристокра-

тическую, более коммерческую часть города. Быстро пройдя улицу, вдоль которой высились солидные здания банков и прочих учреждений, друзья остановились возле большого отеля — сооружения столь же громоздкого, как и соседнее, с той только разницей, что перед ним на тротуаре были расставлены столики. Их огораживали декоративные кусты, а сверху был натянут большой тент в красную и белую полоску, под которым в дальнем углу, в зеленоватом свете угасавшего заката, они увидели массивную черную фигуру барона Брюно, сидевшего за столиком вместе с обоими своими друзьями. Полосатый тент закрывал от взгляда верх его высокого черного цилиндра, и Монку почудилось, что барон похож на черную ассирийскую кариатиду, поддерживающую все здание: вероятно, на мысль о Древнем Вавилоне наводила большая прямоугольная борода. В глубине души англичанин был готов разделить мнение своей соотечественницы; однако Форэн его, очевидно, не разделял, — он уселся за их столик и стал высказывать неожиданное благодушие, общительность и даже веселость. Он велел подать вина, настойчиво угощал их, потом завязал оживленную беседу: и прошло по меньшей мере полчаса, прежде чем наш вымышленный наблюдатель, идущий по его следу, мог бы видеть, как он поднялся из-за столика, и, как прежде, сдержанно раскланявшись с тремя сотрапезниками, вновь пустился в свое необычайное путешествие.

Его зигзагообразный маршрут по освещенному городу привел друзей вначале к телефонной будке, а затем к дверям какого-то учреждения, куда, как понял Монк, было доставлено на экспертизу тело убитого. Оттуда Форэн вышел очень мрачный, словно удостоверился в какой-то отвратительной истине, но не сказал ни слова и продолжал свой путь, пока не добрался до главного полицейского управления, где провел некоторое время, совещаясь с начальником при закрытых дверях. Затем быстро и молча он вернулся на противоположный берег Сены и, достигнув тихих парижских кварталов, вошел в старые белые ворота, ведущие к зданию, которое некогда было отелем — в старинном и аристократическом значении этого слова — и где теперь также помещался отель — заведение, гораздо более коммерческое, но на редкость спокойное. Пройдя вестибюль и коридоры, он вышел

в сад, настолько отгороженный от внешнего мира, что вечернее небо в золотых и зеленых полосах казалось натянутым тентом, вроде того багряно-белого, под которым восседал угрюмый барон. Под деревьями за столиками кое-где сидели люди в вечерних костюмах, но Форэн, не задерживаясь, прошел мимо них к лестнице, возле которой за столиком увидел золотоволосую девушку в сером. Это была Маргарет Крейн. Она взглянула на него и едва слышно, будто у нее перехватило дыхание, вымолвила:

— Вы узнали что-нибудь новое об убийстве?

Но не успел он ответить, как на лестнице показались се отец, и Форэн невольно подумал, что серое платье девушки удивительно гармонирует с окружающей обстановкой, а черное и подчеркнуто строгое одеяние старого джентльмена как бы выражает протест пуританина, попавшего в сады «кавалеров».

— Да, об убийстве,— подхватил он громким и резким голосом,— вот о чем мы желаем знать. Об убийстве, сэр!

— Мистер Крейн,— ответил ему Форэн,— надеюсь, вам известно, с каким сочувствием я отношусь к вам; однако должен предупредить вас, что в подобных обстоятельствах следует выражаться с крайней осмотрительностью. Если дойдет дело до суда, наш иск отнюдь не станет основательнее оттого, что вы позволяли себе оскорблять этих господ, хотя бы и не публично. Кроме того, я обязан сообщить вам, что дуэль велась в соответствии с правилами и сами эти господа, видимо, вполне добропорядочные.

— Что это значит? — возмутился старый джентльмен.

— Откровенно признаюсь вам, что виделся с ними еще раз,— сказал Форэн.— Мало того, я весело провел в их обществе целый вечер, вернее, намеревался провести его весело. Вынужден заметить, однако, что они расположены веселиться не больше, чем вы бы им того пожелали. Я сказал бы даже, что у них манеры обыкновенных деловых людей, вроде вас например. Честно говоря, я попытался заставить их выпить и пробовал затеять с ними игру в карты, но барон и его друзья холодно отказались, сославшись на дела, и, ограничившись черным кофе, мы расстались после краткого и крайне любопытного разговора.

— О, значит, они еще хуже, чем я думала! — сказала девушка.

— Вы быстро делаете выводы, мадемуазель,— заметил Форэн, восхищаясь ею все больше.— Я тоже попытался подойти к делу с этой стороны, хотя бы ради опыта. И прямо сказал нашему другу барону: «До тех пор, пока я считал, что вы компания игроков и пьяниц, я рассматривал это происшествие как пьяный инцидент. Но, позвольте заметить вам, когда пожилые люди, сами трезвые и равнодушные к игре, заманивают к себе юношу, почти мальчика, и садятся играть с ним в карты, это выглядит не очень красиво. Вы знаете, что говорят в таких случаях: если старый человек берется за карты, значит, он уж очень набил на них руку. И уж вовсе скверно, если он берется за шпагу, чтобы заткнуть противнику рот, словно и на этом набил себе руку».

— И что они вам ответили? — спросила девушка.

— Мне тяжело повторять их слова,— сказал Форэн,— для меня они были крайне неприятной неожиданностью. Когда я как будто совсем припер их к стене, Ле-Карон — тот, рыжебородый, который нанес смертельный удар,— сам набросился на меня, словно оставил всякое притворство. «Я не говорю дурно о мертвых,— заявил он раздраженно и злобно,— но вы вынудили меня объясниться без всяких недомолвок. Могу только сказать, что не мы, пожилые люди, втянули в попойку этого юношу, а он втянул нас. Он явился в замок почти пьяный и настоял на том, чтобы барон послал в гостиницу за шампанским — у нас, людей умеренных и трезвых, в погребке не было ни бутылки. Это он настоял на игре в карты: это он издевался над нами за то, что мы якобы боимся играть, и под конец бросил ни на чем не основанное пагловое и нестерпимое оскорбление: обвинил в мошенничестве».

— Я не верю этому,— сказал Крейн, а дочь его молчала, повернув бледное задумчивое лицо к детективу-любителю, продолжавшему свое повествование.

— «О, я не жду, что вы поверите мне на слово,— так говорил Ле-Карон.— Спросите Лоррена, спросите самого доктора Вандама, который ходил в гостиницу за вином и поэтому не присутствовал в доме, когда произошла ссора. Он задержался там и вряд ли сожалеет теперь,

что не замешан в эту историю. Он, как и я, гордится своими «буржуазными» правилами. Наконец, спросите хозяина гостиницы: он вам скажет, что вино было куплено вечером, значительно позднее, чем приехал молодой человек. Справьтесь на вокзале: вам скажут, когда он приехал. Вы легко можете проверить мои слова».

— Вижу по вашему лицу,— тихо сказала девушка,— что вы все проверили. И все оказалось правдой.

— Вы видите главное — самое сердце событий,— ответил Форэн.

— Но не сердца этих господ,— сказала она.— Там, где у них должно быть сердце, я вижу пустое место.

— Вы по-прежнему считаете их злодеями,— проговорил Форэн,— и можно ли упрекать вас за это?

— «Злодеями»! — воскликнул старый джентльмен.— Разве не они убили моего сына?

— Я могу вам только сочувствовать,— заметил француз.— Я знаю, вы не верите, что дуэлянта можно уважать. Я только говорю, что этих дуэлянтов, по-видимому, все уважают. Я проверил то, что они мне рассказали, и поинтересовался их прошлым. Эти люди занимаются коммерцией, дело у них солидное и весьма крупное. Я имею доступ к полицейским досье, и любой скандал, в котором они могли быть замешаны, был бы мне известен. Простите меня, если я скажу, что, по моему мнению, дуэль иногда бывает оправдана. Эту дуэль я не собираюсь оправдывать. Я только предупреждаю вас, что, возможно, им удастся оправдать ее в глазах французского общества.

— Да, да,— проговорила девушка.— Чем больше вы о них говорите, тем ужаснее они становятся. О, нет страшнее человека, чем тот, кто всегда может оправдаться! Честный человек непременно что-нибудь да недоумотрит, как мой бедный брат, но негодяй всегда во всеоружии. Есть ли на свете что-нибудь более кощунственное, чем суд над заведомым негодяем, когда его дело «чистое», как выражаются адвокаты? Судья с торжественным видом подводит итог, присяжные соглашаются, полиция повинует, и все идет как по маслу... Что может быть отвратительнее, чем запах этого масла! В такие минуты я чувствую, что не в силах ждать, пока судный день взломает их повапленные гробы.

— Именно в такие минуты я дерусь на дуэли,— тихо проговорил Форэн.

— В такие минуты? — вздрогнув, повторила она.

— Да,— ответил француз, поднимая голову.— Мадемуазель, вы сейчас выступили в защиту настоящей дуэли. Вы доказали, что бывают случаи, когда честный человек вправе обнажить шпагу. Да, вот в такие минуты я и совершаю преступный, кровавый поступок, который вызывает у вас и вашего отца столь глубокое отвращение. В такие минуты я становлюсь убийцей. Когда нет ни единой трещинки в побелке их гробов, а у меня нет сил ждать божьего суда. Но позвольте напомнить, что вы еще не выслушали до конца рассказа о людях, повергших вас в траур.

Крейн еще смотрел на него с ледяной подозрительностью, однако его дочь, как заметил Форэн, обладала редким чутьем. Она пристально глядела ему в лицо, и глаза ее светлели.

— Неужели вы...— она замолчала, не окончив фразы.

— Да.— Форэн встал.— И как человек кровожадный, я не имею права оставаться долее в столь уважаемом обществе. Да, мадемуазель, я вызвал на дуэль того, кто убил вашего брата.

— На дуэли! — с возмущением воскликнул мистер Крейн.— Еще одна дуэль... еще одно кровопролитие!

Он задышался от гнева. Но девушка поднялась из-за стола и остановила его царственным движением руки.

— Нет, отец,— сказала она.— Этот джентльмен — наш друг, и он доказал мне, что мы были неправы. Теперь я знаю, что во французском остроумии гораздо больше смысла, чем мы думали. Да, да, и во французской дуэли тоже.

Форэн покраснел и проговорил, понизив голос:

— Мадемуазель, источник моего вдохновения — английский.

И тотчас с коротким поклоном удалился в сопровождении Гарри Монка, поглядывавшего на него с веселым недоумением.

— Не могу надеяться, что это я — английский источник вашего вдохновения,— заметил Монк легкомысленным тоном.

— Вздор.— раздраженно прервал его француз.— Вернемся к делу. Зная, что вы относитесь к дуэли точно так же, как и Крейн-отец, и, стало быть, не сможете представлять мои интересы при поединке, я обратился к секундантам убитого. Мне кажется, молодой Лоррен будет очень полезен — он поможет нам разобраться в этом таинственном деле. Я с ним побеседовал и убедился в его необычайной одаренности.

— А со мной вы беседовали годами,— смеясь, сказал Монк,— и убедились в моей необычайной тупости.

— В вашей необычайной принципиальности,— возразил Форэн.— Вот почему я не обратился к вам за помощью.

Принципы Монка не помешали ему, однако, присутствовать при этом новом поединке, который был подготовлен поспешно и даже с нарушением некоторых правил. Так что прогулки Монка в обществе его странного друга, которые стали под конец казаться каким-то тяжким сном, запутанным и повторяющимся, опять привели его через несколько дней на лужайку перед Шато д'Ораж, на место прежних дуэлей. На этот раз при выборе места исходили, очевидно, из удобства для барона Брюно и его друзей, но в этой усгупке было что-то зловещее, и они это чувствовали. Они были настолько не расположены задерживаться там, где уже раз пировали и сражались, что оставили автомобиль барона у ворот, чтобы немедленно вернуться в Париж. Форэн еще раньше заметил, что барон не питает любви к своему замку; теперь же казалось, что он и его друзья возвратились в эти места, подобно привидениям, не по своей воле. Человек предубежденный, вроде Маргарет Крейн, сказал бы, что они предчувствовали роковую развязку. Однако гораздо правдоподобнее и убедительнее было бы предположить, что их, людей тихих и добропорядочных, вполне естественно угнетало это место единственного, невольно совершенного ими кровопролития. Как бы то ни было, смуглое лицо барона казалось унылым и мрачным, а Ле-Карон, стоявший со шпагой в руке на той же лужайке, был так бледен, что его рыжая борода была похожа на фальшивую или, по крайней мере, крашеную. Монку почудилось, что блестящее острие его шпаги слегка колеблется, словно державшая его рука дрожала.

Старый парк, затененный высокими соснами, стоял заброшенный и почти бесцветный в своем запустении; пройдут столетия, думал Монк, а парк останется все тем же. Белый утренний свет усиливал серые тона, и Монк поймал себя на мысли, что его окружает пепельно-бледная растительность доисторических эпох. Всему виною, видимо, были его натянутые нервы. И неудивительно. Ведь предстояла третья дуэль на том месте, где две предыдущие кончились смертью, и он не мог избавиться от опасения: не суждено ли его другу стать третьей жертвой? Во всяком случае, подготовка дуэли, по его мнению, невыносимо затянулась. Ле-Карон затеял вполголоса продолжительное совещание с угрюмым бароном, и даже секунданты Форэна — молодой Лоррен и доктор — больше были склонны медлить и шептаться, чем переходить к делу. Все это было тем более странно, что сама схватка, когда она, наконец, произошла, завершилась в одно мгновение, словно ловкий цирковой номер.

Едва успели скреститься шпаги противников, как Ле-Карон оказался обезоруженным. Его сверкающая шпага, словно живая, выскользнула у него из пальцев, вращаясь, перелетела через стену — и слышно было, как стальной клинок со звоном ударился о каменистую дорогу. Форэн обезоружил его одним поворотом кисти.

Форэн выпрямился и, отсалютовав шпагой, сказал:

— Господа, если вы удовлетворены, я со своей стороны вполне удовлетворен, тем более что причина ссоры была не столь велика. Можно считать, что честь обеих сторон восстановлена. К тому же, как мне кажется, господа торопятся обратно в Париж?

Монк уже давно понял, что его друг не склонен углублять ссору: он много раз отзывался о своих противниках как о спокойных, солидных торговцах. Вместе с тем у англичанина возникло странное ощущение — видимо, своего рода нервная реакция, — будто люди эти вдруг потеряли свою значительность, стали зауряднее и уродливее. Орлиный нос Ле-Карона напоминал теперь обычный крюк; прекрасный костюм сидел на нем как-то неловко, точно на кукле, наряженной наспех; и даже солидный и важный барон походил теперь скорее на большой манекен из портняжной мастерской. Но самое странное впечатление произвел на него второй секундант Ле-Карона,

бритоголовый Валанс: он стоял позади всех, широко расставив ноги, и невесело ухмылялся. Когда барон в сопровождении побежденного дуэлянта с мрачным видом направился через калитку к ожидавшему их на дороге автомобилю, Форэн подошел к Валансу и (к восторгу удивлению Монка) вступил с ним в быстрый, но негромкий разговор, продолжавшийся несколько минут. Только когда Брюно из-за ограды громко позвал Валанса, тот повернулся и вышел из парка.

— Бандиты уходят со сцены! — неожиданно весело воскликнул Форэн. — А теперь мы, четверо сыщиков, отправимся наверх и осмотрим бандитское логово.

И он стал подниматься вверх по крутому склону к замку, а за ним цепочкой потянулись остальные. На полпути Монк, следовавший сразу же за своим другом, внезапно проговорил:

— Итак, вы все-таки не убили его?

— Я не хотел его убивать, — ответил француз.

— Чего же вы хотели?

— Выяснить, умеет ли он фехтовать, — ответил Форэн. — Оказывается, нет.

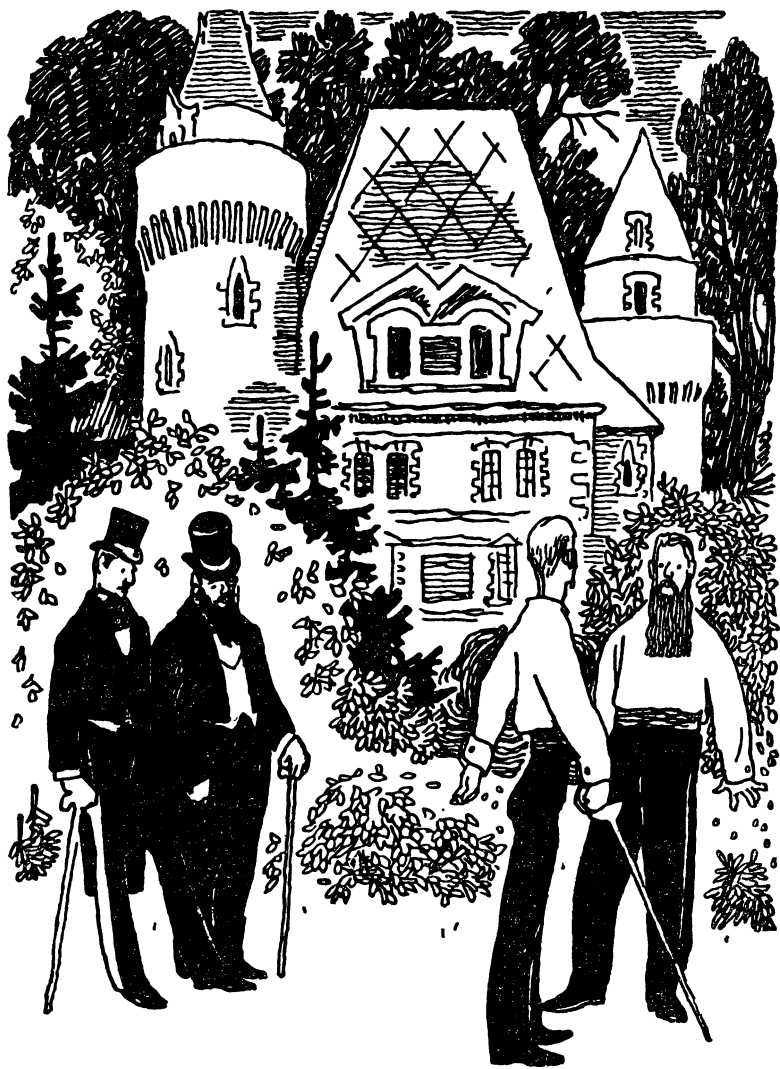
Озадаченный Монк молча разглядывал его прямую высокую спину, затянутую в серый сюртук, пока Форэн не заговорил опять:

— Помните, старый Крейн рассказывал, что его несчастный сын получал призы за фехтование? А рыжебородый Ле-Карон едва умеет держать шпагу в руке. Это вполне естественно: ведь, как я уже говорил, он всего лишь солидный коммерсант и привык иметь дело с золотом, а не со сталью.

— Но постойте, любезнейший! — раздраженно воскликнул Монк, обращаясь к спине своего друга. — Что же, черт побери, все это значит? Убит же Крейн на дуэли?

— Никакой дуэли не было, — не оборачиваясь, проговорил Форэн.

Доктор Вандам, шедший позади Монка, издал короткий возглас изумления. Однако, несмотря на все расспросы, Форэн ничего больше не сказал, пока они не очутились в длинной комнате, где по стенам висело оружие и стоял шкафчик из черного дерева со зловещими херувимами, казавшимися еще чернее, чем прежде. Форэн смутно чувствовал какое-то противоречие между их скраской



Едва успели скреститься шпаги противников, как Ле-Карон оказался обезоруженным.

и формой, оно казалось ему кошунственным. Черные херувимы были как Черная Месса: они олицетворяли мысль о том, что преисподняя — перевернутая копия неба, вроде сада, отраженного в озере.

Страхнув с себя минутное наваждение, он склонился над ящиками шкафчика, и когда он заговорил, тон у него был не очень серьезный.

— Мосье Лоррен, вы знаете этот дом,— сказал он,— полагаю, знаете и этот шкаф, и даже этот ящик. Его, как видно, недавно открывали.

Действительно, ящик был задвинут неплотно, и Форэн рывком вытащил его. Молча он отнес его в круглую комнату, поставил на карточный стол и предложил трем своим спутникам придвинуть стулья и сесть поближе к столу. Ящик был наполнен старинными вещами, какие встречаются в антикварных лавках,— их особенно любил описывать Бальзак: потемневшие монеты, потускневшие драгоценности и разные безделушки, о которых рассказывают столько историй, вымышленных и правдивых.

— Ну и что же дальше? — спросил Монк.— Вы намерены извлечь что-нибудь из ящика?

— Не совсем так,— ответил следователь.— Я, пожалуй, лучше положу в него кое-что.

Он вынул из кармана медальон с потемневшим портретом и в задумчивости подержал его на ладони.

— Теперь мы должны задать себе вопрос,— продолжал детектив, обращаясь к своим помощникам: — Почему молодой Крейн носил с собой медальон с портретом графини?

— В Париже он вел весьма рассеянную жизнь,— мрачно заметил доктор Вандам.

— Но если графиня хорошо его знала,— возразил Форэн,— то странно, почему она осталась равнодушной к его печальной кончине.

— Быть может, она слишком хорошо его знала,— со смешком предположил Лоррен.— Или же, хоть это неприятно говорить, она могла обрадоваться, что избавилась от него. Про нее рассказывают вещи и похуже: когда ее муж, старый граф...

— Вы знаете этот дом, мосье Лоррен? — повторил Форэн, глядя ему прямо в глаза.— Я думаю, медальон был взят отсюда.

И он бросил его в ящик на груду разноцветных диких винок.

Глаза Лоррена, словно два черных алмаза, как зачарованные остановились на этой груде. Казалось, от волнения он не мог говорить.

Форэн продолжал:

— Я думаю, бедняга Крейн нашел медальон здесь. Или кто-то другой нашел его и передал Крейну. Или же кто-то... Кстати, взгляните — итальянская цепочка пятнадцатого века, подлинный Ренессанс, если я не ошибаюсь. О, здесь есть настоящие ценности, мосье Лоррен, — ведь вы, кажется, знаток таких вещей?

— Да, я немного разбираюсь в Ренессансе, — ответил Лоррен, а бедный доктор Вандам метнул на него из-под очков какой-то странный взгляд.

— Мне думается, здесь еще было кольцо, — продолжал Форэн. — Я положил на место медальон. Не соблаговолите ли вы, мосье Лоррен, положить на место кольцо?

Лоррен, все еще улыбаясь, поднялся и двумя пальцами вытащил из жилетного кармана небольшое золотое кольцо с зеленым камнем.

В следующее мгновение Форэн выбросил вперед руку и поймал его запястье. Но это стремительное, как удар шпаги, движение все же запоздало. Еще секунд пять молодой Лоррен, с улыбкой на устах и со старинным кольцом на пальце, неподвижно стоял у стола. Потом ноги его скользнули по гладкому полу, и он повалился, уже мертвый, на стол, рассыпав черные кудри по груде драгоценного хлама. Почти одновременно с этим доктор Вандам отскочил к окну, выпрыгнул из него и, как кошка, бросился вниз по склону.

— Не двигайтесь, — невозмутимо проговорил Форэн. — Полиция сделает свое дело. Я организовал за ними слежку еще в Париже в тот день, когда осмотрел труп Крейна.

— Но ведь вы и раньше видели рану у него на теле! — воскликнул его обескураженный друг.

— Не на теле, а на пальце, — ответил Форэн.

Минуту или две он молча стоял над мертвым Лорреном, глядя на него через стол с жалостью и еще с каким-то чувством, близким к восхищению.

— Странно, — проговорил наконец Форэн, — что он умер именно здесь, уткнувшись головой в этот мусорный

ящик: он был рожден среди таких диковинок и очень ценил их. Вы, конечно, заметили, что он был почти гениален, не хуже вашего молодого Дизраэли. Он тоже мог бы добиться успеха и прославиться на весь мир. Как-нибудь две-три ошибки, вроде разбитой в темноте парниковой рамы,— вот он лежит мертвый среди мертвогохлама, словно в лавке ростовщика, где он появился на свет...

В следующий раз Форэн встретился со своими друзьями в одной из комнат Sûreté¹. Монк немного запоздал; все уже сидели вокруг стола, и он остановился на пороге, пораженный. Разумеется, он не удивился, увидев старого Крейна и его дочь, сидевших напротив Форэна; он также без труда догадался, что председательствующий за столом человек с белой бородой и красной ленточкой в петлице не кто иной, как начальник полиции. Но голова у него пошла кругом при виде широких плеч, коротко стриженных волос и зловеще красивого лица молодого Валанса, второго секунданта Ле-Карона.

Когда Монк вошел, старый Крейн произносил речь, как всегда преисполненную сдержанного негодования и сознания собственной правоты:

— Я посылаю своего сына с деловым поручением к почтенной фирме «Миллер, Мосс и Гартман»,—это одна из солиднейших компаний в цивилизованном мире, сэр, с филиалами в Америке и в колониях, крупная, как Английский банк. И что же происходит? Едва он ступил на вашу землю, как его заманили в круг игроков, пьяниц и дуэлянтов и зарезали в варварской стычке.

— Мистер Крейн,—вежливо обратился к нему Форэн.—Простите, но я должен возразить вам и одновременно принести свои поздравления. Я сообщу вам самые радостные вести, какие только может услышать отец в таком горе. Вы несправедливы к своему сыну. Он не пил, не играл и не дрался на дуэли. Он во всем был послушен вам. Свое время он целиком посвятил переговорам с господами Миллером, Моссом и Гартманом; он умер, оставив ваши интересы, умер, но не предал вас.

Девушка быстро подалась вперед; бледное лицо ее лучилось трепетным светом.

¹ Sûreté — французская охранная полиция.

— Что это значит? — спросила она. — Кто же тогда эти люди со шпагами и такими гнусными лицами? Что они делали? Кто они?

— На это я отвечу вам так, — спокойно проговорил француз, — эти люди — господа Миллер, Мосс и Гартман, хозяева одной из солиднейших фирм в цивилизованном мире, крупной, как Английский банк.

Сидящие за столом молчали. Говорил только Форэн, но теперь его голос звучал по-иному — в нем слышался вызов:

— О, как мало вы, богатые властители современного мира, знаете о современном мире! Что знаете вы о Миллере, Моссе и Гартмане кроме того, что они имеют отделения во всех странах и что фирма их крупная, как Английский банк? Вы знаете, что они добрались до самых отдаленных уголков земли, но разве вы знаете, откуда они сами взялись? Разве кого-нибудь ставят в известность, если у фирмы меняются владельцы или у владельцев меняются имена? Миллер, скорее всего, умер лет двадцать тому назад — если он вообще когда-нибудь жил. В наше время для таких личностей открыт доступ через черный ход в любую фирму, а спрашиваем ли мы, откуда, из какой сточной канавы они вышли? А вы еще думаете, что ваш сын погиб оттого, что посещал мюзик-холлы, и хотите закрыть все таверны, чтобы уберечь его от дурного общества! Поверьте, уж лучше тогда закрыть банки.

Маргарет Крейн, все еще не отрываясь, глядела на него лучистыми глазами.

— Но, бога ради, что же произошло? — воскликнула она.

Следователь слегка повернулся на стуле и сдержанным жестом указал на сидящего за столом Валанса, чье лицо казалось высеченным из цветного камня.

— Среди нас находится человек, — сказал Форэн, — которому эта удивительная история известна во всех подробностях. Относительно его собственной истории нам тревожиться нечего. Из пяти принимавших участие в этом трагическом фарсе он безусловно самый честный, и потому только он сидел в тюрьме. Страсть толкнула на путь преступления того, кто был прежде веселым донжуаном. Это позволило более respectableм негодьям

накинуть ему петлю на шею, и потому он сегодня скорее беглец, чем предатель. В ту ужасную ночь он держал свечу, освещая дорогу дьяволу, но не поклонялся ему. Во всяком случае, тем дьяволам он не поклонялся.

Наступила продолжительная пауза. Наконец, каменные губы бритоголового Аполлона зашевелились, и он заговорил:

— Я не буду досаждать вам подробным рассказом о людях, которым мне пришлось служить. Их настоящие имена не Лоррен, Ле-Карон и так далее, и не Миллер, Мосс и так далее, хотя в обществе они известны под первыми, а в деловом мире — под вторыми. Сейчас нам нет нужды беспокоиться об их именах — сами они, я уверен, никогда о них не беспокоились. Это крупные международные ростовщики; я был в их власти, они держали меня при себе в качестве телохранителя, чтобы разоренные ими люди не могли расправиться с ними по заслугам. Драться на дуэли было им так же мало свойственно, как участвовать в крестовых походах. С графиней я тоже немного знаком. К этому делу она не имеет никакого отношения, я только снял у нее ненадолго Шато д'Ораж. Однажды вечером Лоррену — несмотря на молодость, он был у них главарем, и вообще он самый ловкий негодяй в Европе — вздумалось изучить содержимое ящика, который он вытащил из черного шкафчика и поставил на круглый карточный стол. Среди старинных вещей он нашел там итальянское кольцо и, сказав нам, что оно отравлено, стал объяснять его устройство: в таких игрушках он разбирался неплохо. И вдруг он молниеносным движением руки прикрыл ящик, словно скупщик краденного, услышавший шаги полицейского. Он тут же спохватился и вновь принял обычный спокойный вид — опасности не было. Но это движение говорило о его прошлом. Виной переполюху был человек, который незаметно появился и молча стоял в дверях. Это был стройный светловолосый элегантный юноша в шелковом цилиндре, который он снял, входя в комнату. «Мое имя Крейн», — проговорил он чуть смущенно и, сняв перчатку, протянул руку, которую Лоррен пожал с большой теплотой. Остальные присоединились к его радушному приветствию, и вскоре я понял, что это компаньон какой-то солидной фирмы, с которой им предстояло вести переговоры о слиянии.

В круглом зале все были приветливы и веселы, но когда молодой Крейн, оставив цилиндр и перчатки на столе возле ящика, последовал за старым Брюно во внутренние комнаты, переговоры, видимо, пошли не так-то гладко. Сам я не совсем понимал, в чем дело, но наблюдал за остальными тремя, а они понимали все. И я пришел к выводу, что Брюно от их имени делал новому младшему партнеру предложение, с точки зрения Брюно более чем приемлемое и совершенно неприемлемое с точки зрения юного Крейна. Вначале они не сомневались в успехе, но беседа во внутренних комнатах все продолжалась, и Вандам с Ле-Кароном стали мрачно переглядываться. Потом к нам донесся громкий негодующий голос: «Вы хотите сказать, сэр, что на этом должен пострадать мой отец?» И после неразборчивого ответа: «Ваше доверие, сэр? Я дорожу доверием своего отца. И немедленно доведу до его сведения это поразительное предложение... Нет, сэр, меня подкупить нельзя». Я следил за лицом Лоррена, оно вдруг стало старым, как пожелтевший пергамент, а глаза блеснули, как старинные камни, разбросанные по столу. Он нагнулся вперед и, приблизив губы к уху Вандама, проговорил: «Его нельзя выпустить отсюда. Если он выйдет из этого дома, погибнет все наше дело». — «Но мы не можем задержать его», — прошептал доктор; у него зуб на зуб не попадал. «Не можем!..» — слово за слово заговоренный проговорил Лоррен. — О, все можно сделать. Правда, до сих пор мне не приходилось...»

Он достал из ящика отравленное кольцо. Затем поспешно вынул из цилиндра, оставленного юношей, перчатку. Из-за двери в это время снова послышался громкий возмущенный голос: «Я сообщу ему о том, что вы просто шайка воров!» — и Лоррен быстро сунул кольцо в палец перчатки, а уже в следующее мгновение ее владелец ворвался в комнату. Он с треском расправил свой цилиндр, яростно натянул перчатки и устремился к двери в сад. Широко распахнув стеклянные створки, он шагнул навстречу закату и упал мертвый на траву. Помню, как катился вниз по склону его высокий цилиндр и как ужасно было это зрелище — цилиндр еще катился между кустов, а юноша лежал неподвижный.

— Он умер, как солдат, защищая знамя, — сказал Форэн.

— Вы, наверное, уже сами догадались, что произошло потом,— продолжал Валанс.— В ту ночь сам дьявол вдохновлял Лоррена — ему принадлежит идея всей этой инсценировки, продуманной до мельчайших деталей. В каждом убийстве самое трудное — спрятать труп. И он решил не прятать, а показать его всем. Он решил, так сказать, сделать его центром внимания. Лоррен расхаживал взад и вперед по залу, его подвижное лицо все время менялось, отражая работу мысли, и вдруг он заметил скрещенные шпаги над камином. «Этот человек убит на дуэли,— сказал он.— В Англии он бы погиб на охоте, в России — при взрыве бомбы, а во Франции он убит на дуэли. Если мы все возьмем на себя малую вину, никто не будет доискиваться до большой. Неплохое правило для признаний», — и у него на лице снова заиграла зловещая усмешка. И он инсценировал не только дуэль, но и пьяную ссору, которая должна была ее объяснить. Они не солгали, утверждая, что за шампанским послали уже после появления юноши. За ним действительно послали после приезда Крейна. За ним послали после его смерти. Они старательно разбросали карты, перевернули и кресло, не упустили ничего. Только вот колоду не перетасовали, и мосье Форэн это заметил. Потом с Ле-Карона — у него наружность самая приметная — сняли фрак, то же самое сделали с мертвым юношей, а затем Лоррен спокойно пронзил шпагой сердце, которое уже не билось. Так он совершил второе убийство, еще ужаснее первого. Потом в темноте, незадолго до зари, они перенесли тело вниз, чтобы день застал его уже на месте дуэли. Лоррен предусмотрел множество мелочей: он вынул из шкафчика миниатюрный портрет графини и положил его в карман убитого, чтобы навести на ложный след, — и это отчасти ему удалось. Он не тронул письма мистера Крейна, потому что в нем содержится предостережение против беспутства, лишь подчеркивавшее правдоподобие всей инсценировки. Все было рассчитано и предусмотрено, и если бы Ле-Карон не угодил в темноте ногой в парниковую раму, то, вероятно, даже мосье Форэн не отыскал бы в этой истории неувязки.

Маргарет Крейн твердыми шагами вышла из полиции, но на верхней ступеньке пошатнулась и чуть не упала. Форэн поддержал ее за локоть, и некоторое время

они глядели друг на друга, потом спустились вниз и вместе пошли по улице. В этом трагическом деле она потеряла брата, а что приобрела — это уже выходит за пределы нашего рассказа о пятерке авантюристов или, как она называла его впоследствии, «рассказа о пятерке шпаг». Маргарет задала еще один вопрос по этому делу, а затем беседа их перешла совсем в другую область. Она только спросила: «Что убедило вас окончательно — царапина на пальце?»

— Отчасти меня убедил палец, — согласился Форэн. — Отчасти лицо. Что-то в его лице, таком чистом, подсказало мне, что он не кутила и что он умер с честью. Что-то юное — нет, еще благородней юности и красивей красоты... Потом я увидел все это снова. Собственно, то, что со мной произошло, противоположно тому, что описано у Ростана: «Monsieur de Bergerac, je suis ta cousine»¹.

— Я не поняла, — сказала Маргарет.

— Меня убедило фамильное сходство, — пояснил ее спутник.

¹ Мосье де Бержерак, я твоя кузина (франц.).

САПФИРОВЫЙ КРЕСТ



Между серебряной лентой утреннего неба и зеленой блестящей лентой моря пароход причалил к берегу Англии и выпустил на сушу темный рой людей. Тот, за кем мы последуем, не выделялся из них — он и не хотел выделяться. Ничто в нем не привлекало внимания; разве что праздничное щегольство костюма не совсем вязалось с деловой озабоченностью взгляда. Легкий серый сюртук, белый жилет и серебристая соломенная шляпа с серо-голубой лентой оттеняли смуглоту его лица и черный клинышек эспаньолки, которой больше бы пристали брыжи слизаветинских времен. Приезжий курил сигару с серьезностью бездельника. Никто бы не подумал, что под серым сюртуком кроется заряженный револьвер, под белым жилетом — удостоверение сыщика, а под соломенной шляпой — одна из лучших голов Европы. Это был сам Валантэн, глава парижского сыска, величайший детектив мира. А приехал он из Брюсселя, чтобы изловить величайшего преступника эпохи.

Фламбо был в Англии. Полиция трех стран наконец выследила его, от Гента до Брюсселя, от Брюсселя до

Хук ван Холланда¹, и решила, что он поедет в Лондон — туда съехались в те дни католические священники и легче было затеряться в сутолоке приезжих. Валантэн не знал еще, кем он прикинется — мелкой церковной сошкой или секретарем епископа; никто ничего не знал, когда дело касалось Фламбо.

Прошло много лет с тех пор как этот гений воровства перестал будоражить мир и, как говорили после смерти Роланда, на земле воцарилась тишина. Но в лучшие (то есть в худшие) дни Фламбо был известен не меньше, чем кайзер. Чуть ли не каждое утро газеты сообщали, что он избежал расплаты за преступление, совершив новое, еще похлеще. Он был гасконец, очень высокий, сильный и смелый. О его великаньих шутках рассказывали легенды: однажды он поставил на голову следователя, чтобы «прочистить ему мозги»; другой раз пробежал по Рю де Риволи с двумя полицейскими под мышкой. К его чести, он пользовался своей силой только для таких бескровных, хотя и унижающих жертву дел. Он никогда не убивал — он только крал, изобретательно и с размахом. Каждую из его краж можно было считать новым грехом и сделать темой рассказа. Это он основал в Лондоне знаменитую фирму «Тирольское молоко», у которой не было ни коров, ни доярок, ни бидонов, ни молока, зато были тысячи клиентов; обслуживал он их очень просто: переставлял к их дверям чужие бидоны. Однако большей частью аферы его были обезоруживающе просты. Говорят, он перекрасил ночью номера домов на целой улице, чтобы заманить кого-то в ловушку. Именно он изобрел портативный почтовый ящик, который вешал в тихих предместьях, надеясь, что кто-нибудь забредет туда и бросит в ящик посылку или деньги. Он был великолепным акробатом; несмотря на свой рост, он прыгал как кузнечик и лазал по деревьям не хуже обезьяны. Вот почему, выйдя в погоню за ним, Валантэн прекрасно понимал, что в данном случае найти преступника — еще далеко не все.

Но как его хотя бы найти? Об этом и думал теперь прославленный сыщик.

Как ни ловко маскировался Фламбо, одного он скрыть не мог — своего огромного роста. Если бы меткий взгляд

¹ Хук ван Холланд — порт в Голландии.

Валантэна остановился на высокой зеленщице, бравом гренадере или даже статной герцогине, он задержал бы их немедленно. Но все, кто попадался ему на пути, походили на переодетого Фламбо не больше, чем кошка — на переодетую жирафу. На пароходе он всех изучил; в поезде же с ним ехали только шестеро: коренастый путеец, направлявшийся в Лондон; три невысоких огородника, севших на третьей станции; миниатюрная вдова из эссекского местечка и совсем низенький священник из эссекской деревушки. Дойдя до него, сыщик махнул рукой и чуть не рассмеялся. Маленький священник воплощал самую суть этих скучных мест: глаза его были бесцветны, как Северное море, а при взгляде на его лицо вспоминалось, что жителей Норфолка зовут клецками. Он никак не мог управиться с какими-то пакетами. Конечно, церковный съезд пробудил от сельской спячки немало священников, слепых и беспомощных, как выманенный из земли крот. Валантэн, истый француз, был суровый скептик и не любил попов. Однако он их жалел, а этого пожалел бы всякий. Его большой старый зонт то и дело падал; он явно не знал, что делать с билетом, и простодушно до глупости объяснял всем и каждому, что должен держать ухо востро, потому что везет «настоящую серебряную вещь с синими камушками». Забавная смесь деревенской бесцветности со святой простотой потешала сыщика всю дорогу; когда же священник с грехом пополам собрал пакеты, вышел и тут же вернулся за зонтиком, Валантэн от души посоветовал ему помолчать о серебре, если он хочет его уберечь. Но с кем бы Валантэн ни говорил, он искал взглядом другого человека — в бедном ли платье, в богатом ли, в женском или мужском, только не ниже шести футов. В знаменитом преступнике было шесть футов четыре дюйма¹.

Как бы то ни было, вступая на Ливерпул-стрит, он был уверен, что не упустил вора. Он зашел в Скотленд-Ярд, назвал свое имя и договорился о помощи, если она ему понадобится, потом закурил новую сигару и отправился бродить по Лондону. Плутая по улочкам и площадям к северу от станции Виктория, он вдруг остановился. Площадь — небольшая и чистая — поражала внезапной ти-

¹ 6 футов 4 дюйма — 1 м 93 см.

шиной; есть в Лондоне такие укромные уголки. Строгие дома, окружавшие ее, дышали достатком, но казалось, что в них никто не живет; а в центре — одиноко, словно остров в Тихом океане, — зеленел усаженный кустами газон. С одной стороны дома были выше, словно помост в конце зала, и ровный их ряд, внезапно и очень по-лондонски, разбивала витрина ресторана. Казалось, этот ресторан забрел сюда из Сохо¹; все привлекало в нем — и деревья в кадках, и белые в лимонную полоску шторы. Дом был по-лондонски узкий, вход находился очень высоко, и ступеньки поднимались круто, словно пожарная лестница. Валантэн остановился, закурил и долго глядел на полосатые шторы.

Самое странное в чудесах то, что они случаются. Облачка собираются вместе в неповторимый рисунок человеческого глаза. Дерево изгибается вопросительным знаком как раз тогда, когда вы не знаете, как вам быть. И то и другое я видел на днях. Нельсон гибнет в миг победы, а некий Уильямс убивает случайно Уильямсона (похоже на сыноубийство!). Короче говоря, в жизни, как и в сказках, бывают совпадения, но прозаические люди не принимают их в расчет. Как заметил некогда Эдгар По, мудрость должна полагаться на непредвиденное.

Аристид Валантэн был истый француз, а французский ум — это ум, и ничего больше. Он не был «мыслящей машиной»; ведь эти слова — неумное порождение нашего бескрылого фатализма: машина потому и машина, что не умеет мыслить. Он был мыслящим человеком, и мыслил он здраво и трезво. Своими похожими на колдовство победами он был обязан тяжелому труду, простой и ясной французской мысли. Французы будоражат мир не парадоксами, а общими местами. Они облачают прописные истины в плоть и кровь — вспомним их революцию. Валантэн знал, что такое разум, и потому знал границы разума. Только тот, кто ничего не смыслит в машинах, попытается ехать без бензина; только тот, кто ничего не смыслит в разуме, попытается размышлять без твердой, неоспоримой основы. Сейчас основы не было. Он упустил Фламбо в Норвиче, а здесь, в Лондоне, тот мог принять любую личину и оказаться кем угодно, от верзилы-обо-

¹ Сохо — живописный квартал в центре Лондона.

рванца в Уимблдоне до атлета-кутилы в отеле «Метрополь».

Когда Валантэн ничего не знал, он применял свой метод. Он полагался на непредвиденное. Если он не мог идти разумным путем, он тщательно и скрупулезно действовал вопреки разуму. Он шел не туда, куда следует, — не в банки, полицейские участки, значные места, а туда, куда не следует: стучался в пустые дома, сворачивал в тупики, лез в переулки через горы мусора, огибал любую площадь, петлял. Свои безумные поступки он объяснял весьма разумно. Если у вас есть ключ, говорил он, так делать не стоит; но если ключа нет — делайте только так. Любая странность, зацепившая внимание сыщика, могла зацепить и внимание преступника. С чего-то надо начать; почему же не начать там, где мог остановиться другой? В крутизне ступенек, в тихом уюте ресторана было что-то необычное. Романтическим нюхом сыщика Валантэн почуял, что тут стоит остановиться. Он взбежал по ступенькам, сел у окна и спросил черного кофе.

Было позднее утро, а он еще не завтракал. Остатки чужой еды на столиках напомнили ему, что он проголодался; он заказал яйцо всмятку и рассеянно положил в кофе сахар, думая о Фламбо. Он вспоминал, как тот использовал для побега то ножницы, то пожар, то доплатное письмо без марки, а однажды собрал толпу к телескопу, чтоб смотреть на мнимую комету. Валантэн считал себя не глупее Фламбо и был прав. Но он прекрасно понимал невыгоды своего положения. «Преступник — творец, сыщик — критик», — сказал он, кисло улыбнувшись, поднес чашку к губам и быстро опустил. В кофе была соль.

Он посмотрел на сосуд, из которого брал серебристые крупинки. Это была сахарница, предназначенная для сахара, точно так же как бутылка — для вина. Он удивился, что здесь держат в сахарницах соль, и посмотрел, нет ли где солонки. На столе стояли две, полные доверху. Может, и с ними не все в порядке? Он попробовал; в них был сахар. Тогда он окинул вспыхнувшим взглядом другие столики — не проявился ли в чем-нибудь изысканный вкус шутника, переменившего местами соль и сахар? Все было опрятно и приветливо, если не считать темного пятна на светлых обоях. Валантэн кликнул лакея.

Растрепанный и сонный лакей подошел к столику,

и сыщик (ценивший простую, незамысловатую шутку) предложил ему попробовать сахар и сказать, соответствует ли он репутации заведения. Лакей попробовал, охнул и проснулся.

— Вы всегда шутите так тонко? — спросил Валантэн. — Вам не приелся этот розыгрыш?

Когда ирония дошла до лакея, тот, сильно запинаясь, заверил, что ни у него, ни у хозяина и в мыслях не было ничего подобного. Вероятно, они просто ошиблись. Он взял сахарницу и осмотрел ее; взял солонку и осмотрел ее, удивляясь все больше и больше. Наконец он быстро извинился, убежал и привел хозяина. Тот тоже обследовал сахарницу и солонку и тоже удивился.

Вдруг лакей захлебнулся словами.

— Я вот что думаю, — затараторил он. — Я думаю, это те священники.

— Какие священники?

— Те, двое, — пояснил лакей. — Которые стену супом облили.

— Облили стену супом? — переспросил Валантэн, думая, что это итальянская поговорка.

— Вот, вот, — волновался лакей, указывая на темное пятно. — Взяли и плеснули.

Валантэн взглянул на хозяина, и тот дал более подробный отчет.

— Да, сэр, — сказал он. — Так оно и было, только сахар и соль тут, наверно, ни при чем. Совсем рано, мы только шгоры подняли, сюда зашли два священника и заказали бульон. Люди вроде бы тихие, приличные. Высокий расплатился и ушел, а другой собирал свертки, он какой-то был неповоротливый. Потом он тоже пошел к дверям и вдруг схватил чашку и вылил суп на стену. Я был в задней комнате. Выбегаю — смотрю: пятно, а священника нет. Убыток небольшой, но ведь какая наглость! Я побежал за ними, да не догнал, они свернули на Карстейрс-стрит.

Валантэн уже вскочил, надел шляпу и стиснул трость. Он понял: во тьме неведения надо идти туда, куда направляет вас первый указатель, каким бы странным он ни был. Еще не упали на стол монеты, еще не хлопнула стеклянная дверь, а сыщик уже свернул за угол и бежал по улице.

К счастью, даже в такие отчаянные минуты он не терял холодной зоркости. Пробегая мимо какой-то лавки, он заметил в ней что-то странное и вернулся. Лавка оказалась зеленой; на открытой витрине были разложены овощи и фрукты, а над ними торчали ярлычки с ценами. В самых больших ячейках высилась груда орехов и пирамида мандаринов. Надпись над орехами — синие крупные буквы на картонном поле — гласила: «Лучшие мандарины. Две штуки за пенни»; надпись над мандаринами: «Лучшие бразильские орехи. Четыре пенни фунт». Валантэн прочитал и подумал, что совсем недавно встречался с подобным юмором. Обратившись к краснолицему зеленщику, который довольно угрюмо смотрел вдаль, он привлек его внимание к прискорбной ошибке. Зеленщик не ответил, но тут же переставил ярлычки. Сыщик, небрежно опираясь на трость, продолжал разглядывать витрину. Наконец он спросил:

— Простите за нескромность, сэр, нельзя ли задать вам вопрос из области экспериментальной психологии и ассоциации идей?

Багровый лавочник грозно взглянул на него, но Валантэн продолжал, весело помахивая тростью:

— Почему переставленные ярлычки на витрине зеленщика напоминают нам о священнике, прибывшем на праздники в Лондон? Или — если я выражаюсь недостаточно ясно — почему орехи, поименованные мандаринами, таинственно связаны с двумя духовными лицами, повыше и пониже?

Глаза зеленщика полезли на лоб, как глаза улитки; казалось, он вот-вот кинется на нахала. Но он сердито проворчал:

— А ваше какое дело? Может, вы с ними заодно? Так вы им прямо скажите: попы они там или кто, а рассыплут мне опять яблоки — кости переломаю!

— Правда? — посочувствовал сыщик. — Они рассыпали ваши яблоки?

— Это все тот, коротенький, — разволновался зеленщик. — Прямо по улице покатались. Пока я их подбирал, он и ушел.

— Куда? — спросил Валантэн.

— Налево, за второй угол. Там площадь, — быстро сообщил зеленщик.

— Спасибо,— сказал Валантэн и упорхнул, как фея. За вторым углом налево он пересек площадь и бросил полисмену:

— Срочное дело, констебль. Не видели двух патеров? Полисмен засмеялся басом.

— Видел,— сказал он.— Если хотите знать, сэр, один был пьяный. Он стал посреди дороги и...

— Куда они пошли? — резко спросил сыщик.

— Сели в омнибус,— ответил полицейский.— Из этих, желтых, которые идут в Хэмстед.

Валантэн вынул карточку, быстро сказал: «Пришлите двоих, пусть идут за мной!» — и ринулся вперед так стремительно, что могучий полисмен волей-неволей поспешил выполнить его приказ. Через минуту, когда сыщик стоял на другой стороне площади, к нему присоединились инспектор и человек в штатском.

— Итак, сэр,— важно улыбаясь, начал инспектор,— чем мы можем...

Валантэн выбросил вперед трость.

— Я отвечу вам на империале вон того омнибуса,— сказал он и нырнул в гущу машин и экипажей.

Когда все трое, тяжело дыша, уселись на верхушке желтого омнибуса, инспектор сказал:

— В такси мы бы доехали в четыре раза быстрее.

— Конечно,— согласился предводитель.— Если б мы знали, куда едем.

— А куда мы едем?— ошарашенно спросил инспектор.

Валантэн задумчиво курил; потом, вынув изо рта сигару, произнес:

— Когда вы знаете, что делает преступник, забегайте вперед. Но если вы только гадаете — идите за ним. Блуждайте там, где он; останавливайтесь, где он; не обгоняйте его. Тогда вы увидите то, что он видел, и сделаете то, что он сделал. Нам остается одно: подмечать все странное.

— В каком именно роде? — спросил инспектор.

— В любом,— ответил Валантэн и надолго замолчал.

Желтый омнибус полз по северной части Лондона. Казалось, что прошли часы; великий сыщик ничего не объяснял, помощники его молчали, и в них росло сомнение. Быть может, рос в них и голод — давно прошла пора второго завтрака, а длинные улицы северных кварталов вытягивались одна за другой, словно колена какой-то

жуткой подозрительной трубы. Все мы помним такие поездки— вот-вот покажется край света, но показывается только Тефнел-парк. Лондон исчезал, рассыпался на грязные лачуги, кабачки и хилые пустыри и снова возникал в огнях широких улиц и фешенебельных отелей. Казалось, едешь сквозь тринадцать соседних городов. Впереди сгушался холодный сумрак, но сыщик молчал и не двигался, пристально вглядываясь в улицы, мелькающие мимо. Когда Кэмден-таун остался позади, полицейские уже клевали носом. Вдруг они очнулись: Валантэн вскочил, схватил их за плечи и крикнул кучеру, чтобы тот остановился.

В полном недоумении они скатились по ступенькам и, оглядевшись, увидели, что Валантэн победно указывает на большое окно по левую руку от них. Окно это украшало сверкающий фасад большого, как дворец, отеля; здесь был обеденный зал ресторана, о чем и сообщала вывеска. Все окна в доме были из матового узорного стекла; но в середине этого окна, словно звезда во льду, зияла дырка.

— Наконец! — воскликнул Валантэн, потрясая тростью. — Разбитое окно! Вот он, ключ!

— Какое окно? Какой ключ? — рассердился полицейский. — Чем вы докажете, что это связано с ними?

От злости Валантэн чуть не сломал бамбуковую трость.

— Чем докажу! — вскричал он. — О господи! Он ищет доказательств! Скорей всего, это *никак* не связано. Но что ж нам еще делать? Неужели вы не поняли, что нам надо хвататься за любую, самую невероятную случайность или идти спать?

Он ворвался в ресторан; за ним вошли и полисмены. Все трое уселись за столик и принялись за поздний завтрак, поглядывая то и дело на звезду в стекле. Надо сказать, и сейчас она мало что объясняла.

— Вижу, у вас окно разбито, — сказал Валантэн лакею, расплачиваясь.

— Да, сэр, — ответил лакей, озабоченно подсчитывая деньги. Чаевые были немалые, и, выпрямившись, он явно оживился. — Вот именно, сэр, — сказал он. — Ну и дела, сэр!

— А что такое? — небрежно спросил сыщик.

— Пришли к нам тут двое, священники, — поведал лакей. — Сейчас их много понаехало. Ну, позавтракали они,



Валантэн выбросил вперед трость.

один заплатил и пошел. Другой чего-то возится. Смотрю — завтрак-то был дешевый, а заплатили чуть не вчетверо. Я говорю: «Вы лишнее дали», а он остановился на пороге и так это спокойно говорит: «Правда?» Взял я счет, хотел ему показать и чуть не свалился.

— Почему? — спросил сыщик.

— Я бы чем хотите поклялся, что там было четыре шиллинга. А тут смотрю — четырнадцать, хоть ты тресни.

— Так! — вскричал Валантэн, медленно поднимаясь на ноги. Глаза его горели. — И что же?

— А он стоит себе в дверях и говорит: «Простите, перепутал. Ну, это будет за окно». — «Какое такое окно?» — говорю. «Которое я разобью», — и трах зонтиком!

Слушатели вскрикнули, а инспектор тихо спросил:

— Мы что, гонимся за сумасшедшим?

Лакей продолжал, смакуя смешную историю:

— Я так и сел, ничего не понимаю. А он догнал того, высокого, свернули они за угол и как побегут по Баллок-стрит! Я за ними со всех ног, да куда там — ушли!

— Баллок-стрит! — крикнул сыщик и кинулся по улице так же стремительно, как таинственная пара, за которой он гнался.

Теперь преследователи быстро шли меж голых кирпичных стен, как по туннелю. Здесь было мало фонарей и освещенных окон, казалось, что все на свете повернулось к ним спиной. Сгущались сумерки, и даже лондонскому полисмену нелегко было понять, куда они спешат. Инспектор, однако, не сомневался, что рано или поздно они выйдут к Хэмстедскому Лугу. Вдруг в синем сумраке, словно иллюминатор, сверкнуло выпуклое, освещенное окно, и Валантэн остановился за шаг до лавчонки, где торговали сладостями. Поколебавшись секунду, он нырнул в разноцветный мирок кондитерской, подошел к прилавку и со всей серьезностью отобрал тринадцать шоколадных сигар. Он обдумывал, как перейти к делу, но это ему не понадобилось.

Костлявая женщина — старообразная, хотя и нестарая — смотрела с тупым удивлением на элегантного пришельца; но, увидев в дверях синюю форму инспектора, очнулась и заговорила:

— Вы, наверно, за пакетом? — спросила она. — Я его отослала.

— За пакетом?! — повторил Валантэн; пришел черед ему удивляться.

— Ну, который тот мужчина оставил — священник, что ли.

— Ради бога! — воскликнул Валантэн и подался вперед; его пылкое нетерпение прорвалось наконец наружу. — Ради бога, расскажите подробно!

— Ну, — не совсем уверенно начала женщина, — зашли сюда священники, это уж будет с полчаса. Купили мятных лепешек, поговорили про то про се и пошли к Лугу. Вдруг один бежит: «Я пакета не оставлял?» Я туда, сюда — нигде нету. А он говорит: «Ладно. Найдете — пошлите вот по такому адресу». И дал мне этот адрес и еще шиллинг за труды. Вроде бы все обшарила, а ушел он — глядь! — пакет лежит. Ну, я его и послала, не помню уж куда, где-то в Вестминстере. А сейчас я и подумала: наверное, в этом пакете что-то важное, вот полиция за ним пришла.

— Так и есть, — быстро сказал Валантэн. — Близко тут Луг?

— Прямо идти минут пятнадцать, — сказала женщина. — К самым воротам выйдете.

Валантэн выскочил из лавки и понесся вперед. Полисмены неохотно трусили за ним.

Узкие улицы предместья лежали в тени домов, и, вынырнув на большой пустырь, под открытое небо, преследователи удивились, что сумерки еще так прозрачны и светлы. Круглый купол синевато-зеленого неба отсвечивал золотом меж черных стволов и в темно-лиловой дали. Зеленый светящийся сумрак быстро сгущался, и на небе проступали редкие кристаллики звезд. Последний луч солнца мерцал как золото на вершинах холмов, венчавших излюбленное лондонцами место, что зовется Долиной здоровья. Праздные горожане еще не совсем разбрелись — на скамейках темнели расплывчатые силуэты пар, а где-то вдалеке вскрикивали на качелях девицы. Величие небес осеняло густеющей синью величие человеческой пошлости. И, глядя сверху на Луг, Валантэн увидел, наконец, то, что искал.

Вдалеке чернели и расставались пары; одна из них была чернее всех и держалась вместе. Два человека в черных сутанах уходили вдаль. Они были не крупнее

жуков; но Валантэн увидел, что один много ниже другого. Высокий шел смиренно и чинно, как подобает ученому клирику, но было видно, что в нем больше шести футов. Валантэн сжал зубы и ринулся вниз, рьяно вращая тростью. Когда расстояние сократилось и двое в черном стали видны четко, как в микроскоп, он заметил еще одну странность, которая и удивила его и не удивила. Кем бы ни был высокий, маленького Валантэн узнал: то был его спутник, неуклюжий священник из Эссекса, которому он посоветовал смотреть получше за своими свертками.

Пока что все сходилось. Утром сыщику сказали, что некий Браун из Эссекса везет в Лондон серебряный, украшенный сапфирами крест — драгоценную реликвию, которую покажут иностранному клиру. Это и была, конечно, «серебряная вещь с камушками», а Браун, без сомнения, был тот растяпа из поезда. То, что узнал Валантэн, прекрасно мог узнать и Фламбо — Фламбо обо всем узнавал. Конечно, пронюхав про крест, Фламбо захотел украсть его — это проще простого. И уж совсем естественно, что Фламбо легко обвел вокруг пальца священника со свертками и с зонтиком. Такую овцу кто угодно мог бы затащить хоть на Северный полюс, так что Фламбо — блестящему актеру — ничего не стоило затащить его на этот Луг. Покуда все было ясно; сыщик пожалел беспомощного патера и чуть не презирал Фламбо, опустившегося до такой доверчивой жертвы. Но что означали странные события, приведшие сюда, к победе, его самого? Как ни думал он, как ни бился — смысла в них не было. Где связь между кражей креста и пятном супа на обоях? Перепутанными ярлычками? Платой вперед за разбитое окно? Он пришел к концу пути, но упустил середину. Иногда, хотя и редко, Валантэн упускал преступника; но ключа находил всегда. Сейчас он настиг преступника, но ключа у него не было.

Священники ползли, как черные мухи по зеленому склону холма. Судя по всему, они беседовали и не замечали, куда идут; но шли они в самый дикий и тихий угол Луга. Преследователям пришлось принимать те недостойные позы, которые принимает охотник, отслеживающий дичь: они перебегали от дерева к дереву, крались и даже ползли по густой траве. Благодаря этим неуклюжим ма-

неврам, охотники подкрались совсем близко к дичи и слышали уже голоса, но слов не разбирали, кроме слова «разум», которое повторял то и дело высокий детский голос. Вдруг путь преградили заросли над обрывом; сыщики потеряли след и плутали минут десять, пока, обогнув гребень круглого, как купол, холма, не увидели в лучах заката прелестную и тихую картину. Под деревом стояла ветхая скамья; на ней серьезно беседовали священники. Зеленъ и золото еще сверкали у темнеющего горизонта, сине-зеленый купол неба становился зелено-синим, и звезды сверкали ярко, как крупные бриллианты. Валантэн сделал знак своим помощникам, подкрался к большому ветвистому дереву и, стоя там в полной тишине, услышал наконец, о чем говорили странные священнослужители.

Он слушал минуту-другую, и бес сомнения обуял его. А что, если он зря затащил английских полисменов в дальний угол темнеющего парка? Священники беседовали именно так, как должны беседовать священники,— благочестиво, степенно, учено о самых бестелесных тайнах богословия. Маленький патер из Эссекса говорил проще, обратив круглое лицо к разгорающимся звездам. Высокий сидел, опустив голову, словно считал, что недостойн на них взглянуть. Беседа их была невинней невинного; ничего более возвышенного не услышишь в белой итальянской обители или в черном испанском соборе.

Первым донесся конец фразы отца Брауна:

— ...то, что имели в виду средневековые схоласты, когда говорили о несокрушимости небес.

Высокий священник кивнул склоненной головой.

— Да,— сказал он,— безбожники зывают теперь к разуму. Но кто, глядя на эти мириады миров, не почувствует, что там, над нами, могут быть Вселенные, где разум неразумен?

— Нет,— сказал отец Браун,— разум разумен везде.

Высокий поднял суровое лицо к усеянному звездами небу.

— Кто может знать, есть ли в безграничной Вселенной... — снова начал он.

— У нее нет пространственных границ,— сказал маленький и резко повернулся к нему,— но за границы нравственных законов она не выходит.

Валантэн сидел за деревом и молча грыз ногти. Ему казалось, что английские сыщики хихикают над ним — ведь это он затащил их в такую даль, чтобы послушать философскую чушь двух тихих пожилых священников. От злости он пропустил ответ высокого и услышал только отца Брауна.

— Истина и разум царят на самой далекой, самой пустынной звезде. Посмотрите на звезды. Правда, они как алмазы и сапфиры? Так вот, представьте себе любые растения и камни. Представьте алмазные леса с бриллиантовыми листьями. Представьте, что луна — синяя, сплошной огромный сапфир. Но не думайте, что все это хоть на йоту изменит закон разума и справедливости. На опаловых равнинах, среди жемчужных утесов вы найдете все ту же заповедь: «Не укради».

Валантэн собрался было встать — у него затекло все тело — и уползти потише; в первый раз за свою жизнь он сморозил такую глупость. Но высокий молчал как-то странно, и сыщик прислушался. Наконец тот сказал совсем просто, еще ниже опустив голову и сложив руки на коленях:

— А все же я думаю, что другие миры могут подняться выше нашего разума. Неисповедима тайна небес, и я склоняю голову.— И, не поднимая головы, не меняя интонации, прибавил:— Давайте-ка сюда этот крест. Мы тут одни, и я вас могу распотрошить, как чучело.

Оттого что он не менял ни позы, ни тона, эти слова прозвучали еще страшнее. Но хранитель святыни почти не шевельнулся; его глуповатое лицо было обращено к звездам. Может быть, он не понял или окаменел от страха.

— Да,— все так же тихо сказал высокий,— да, я Фламбо.— Помолчал и прибавил:— Ну, дадите вы крест?

— Нет,— сказал Браун, и односложное слово странно прозвенело в тишине.

И тут с Фламбо слетело напускное смирение. Великий вор откинулся на спинку скамьи и засмеялся негромко, но грубо.

— Не дадите! — сказал он.— Еще бы вы дали! Еще бы вы мне его дали, простак-холостяк! А знаете почему? Потому что он у меня в кармане.

Маленький сельский священник повернул к нему лицо — даже в сумерках было видно, как он растерян, — и спросил взволнованно и робко, словно подчиненный: — Вы... вы уверены?

Фламбо взвыл от восторга.

— Нет, с вами театра не надо! — закричал он. — Да, достопочтенная брюква, уверен! Я догадался сделать фальшивый пакет. Так что теперь у вас бумага, а у меня — камешки. Старый прием, отец Браун, очень старый прием.

— Да, — сказал отец Браун и все так же странно, несмело пригладил волосы, — я о нем слышал.

Король преступников наклонился к нему с внезапным интересом.

— Кто? Вы? — спросил он. — От кого ж это вы могли слышать?

— Я не могу назвать вам его имени, — просто сказал Браун. — Понимаете, он каялся. Он жил этим лет двадцать — подменивал свертки и пакеты. И вот, когда я вас заподозрил, я вспомнил про него, беднягу.

— Заподозрили? — повторил преступник. — Вы что, действительно догадались, что я вас не зря тащу в такую глушь?

— Ну да, — виновато сказал Браун. — Я вас сразу заподозрил. Понимаете, у вас запястье изуродовано — это от наручников.

— А, черт! — заорал Фламбо. — Вы-то откуда знаете про наручники?

— От прихожан, — отвечал Браун, кротко поднимая брови. — Когда я служил в Хартлпуле, там у двоих были такие руки. Вот я вас и заподозрил и решил, понимаете, спасти крест. Вы уж простите, я за вами следил. В конце концов я заметил, что вы подменили пакет. Ну, а я подменил снова и настоящий отослал.

— Отослали? — повторил Фламбо, и в первый раз его голос звучал не только победой.

— Да, отослал, — спокойно продолжал священник. — Я вернулся в лавку и спросил, не оставлял ли я пакета. И дал им адрес, куда его послать, если найдут. Конечно, сначала я не оставлял, я только тогда оставил. А она не побежала за мной и послала прямо в Вестминстер, моему другу. Этому я тоже научился от того бедняги. Он так

делал с сумками, которые крал на вокзалах. Сейчас он в монастыре. Знаете, в жизни многому научишься,— закончил он, виновато почесывая за ухом.— Что ж нам, священникам, делать? Приходят, рассказывают...

Фламбо уже выхватил пакет из внутреннего кармана и рвал его в клочья. Там не было ничего, кроме бумаги и кусочков свинца. Потом он вскочил, взмахнув огромной рукой, и заорал:

— Не верю! Я не верю, что такая тыква может это все обстригать! Крест у вас! Не дадите — отберу! Мы одни.

— Нет,— просто сказал отец Браун и тоже встал.— Вы его не отберете. Во-первых, его действительно нет. А во-вторых, мы не одни.

Фламбо замер на месте.

— За этим деревом,— сказал отец Браун,— два сильных полисмена и лучший в мире сыщик. Вы спросите, зачем они сюда пришли? Я их привел. Как? Что ж, я скажу, если хотите. Господи, нам приходится знать много таких штук, когда работаешь в трущобах! Понимаете, я не был уверен, что вы вор, и не хотел оскорблять своего брата священника. Вот я и стал вас испытывать. Когда человеку дадут соленый кофе, он обычно сердится. Если же он стерпит, значит, он боится себя выдать. Я насыпал в сахарницу соль, а в солонку—сахар, и вы стерпели. Когда счет гораздо больше, чем надо, это, конечно, вызывает недоумение. Если человек платит, значит, он хочет избежать сцены. Я приписал единицу, и вы заплатили.

Казалось, Фламбо вот-вот кинется на него, словно тигр. Но вор стоял как зачарованный — он хотел понять.

— Ну вот,— с тяжеловесной дотошностью объяснял отец Браун.— Вы не оставляли следов — кому-то надо же было их оставлять. Всюду, куда мы заходили, я делал что-нибудь такое, чтобы о нас толковали весь день. Я не причинял большого вреда — облил супом стену, рассыпал яблоки, разбил окно,—но я спас крест. Сейчас он в Вестминстере. Странно, что вы не пустили в ход ослиный свисток.

— Чего я не сделал?

— Как хорошо, что вы о нем не слышали! — просиял священник.— Это плохая штука. Я знал, что вы не опуститесь так низко. Тут бы мне не помогли даже пятна — я слабоват в коленках.

— Что вы несете? — спросил Фламбо.

— Ну уж пятна-то, я думал, вы знаете! — обрадовался Браун. — Значит, вы еще не очень испорчены.

— А вы-то откуда знаете всю эту гадость? — воскликнул Фламбо.

— Наверное, потому, что я проста-холостяк, — сказал Браун. — Вы никогда не думали, что человек, который только и делает, что слушает о грехах, должен хоть немного знать мирское зло? Правда, не только практика, но и теория моего дела помогла мне понять, что вы не священник.

— Какая еще теория? — спросил изнемогающий Фламбо.

— Вы нападали на разум, — ответил Браун. — У священников это не принято.

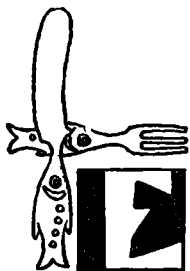
Он повернулся, чтобы взять свои вещи, и три человека вышли в сумерках из-за деревьев. Фламбо был талантлив и знал законы игры: он отступил назад и низко поклонился Валантэну.

— Не мне кланяйтесь, *mon ami*¹, — сказал Валантэн серебряно звонким голосом. — Поклонимся оба тому, кто нас превзошел.

И они стояли, обнажив головы, пока маленький сельский патер шарил в темноте, пытаясь найти зонтик.

¹ Мой друг (*франц.*).

СТРАННЫЕ ШАГИ



Если вы встретите члена привилегированного клуба «Двенадцать верных рыболовов», входящего в Вернон-Отель на свой ежегодный обед, то, когда он снимет пальто, вы заметите, что на нем не черный, а зеленый фрак. Предположим, у вас хватит дерзости обратиться к нему и вы спросите его, чем вызвана эта причуда. Тогда, возможно, он ответит вам, что одевается так, чтобы его не приняли за лакея. Вы отойдете уничтоженный, оставляя неразгаданной тайну, достойную того, чтобы о ней рассказать.

Если (продолжая наши неправдоподобные предположения) вам случится встретить скромного труженика, маленького священника, по имени Браун, и вы спросите, что он считает величайшей удачей своей жизни, он, по всей вероятности, ответит вам, что самым удачным был случай в Вернон-Отеле, где он предотвратил преступление, а возможно, и спас грешную душу только тем, что прислушался к шагам в коридоре. Может быть, он даже слегка гордится своей удивительной догадливостью и, скорее всего, сошлется именно на нее. Но так как вам, конечно, не удастся достигнуть такого положения в высшем свете,

чтобы встретиться с кем-либо из «Двенадцати верных рыболовов» или опуститься до мира трущоб и преступлений, чтобы встретить там отца Брауна, то боюсь, вы никогда не услышите этой истории, если я вам ее не расскажу.

Вернон-Отель, в котором «Двенадцать верных рыболовов» обычно устраивали свои ежегодные обеды, принадлежал к тем заведениям, которые могут существовать лишь в олигархическом обществе, где здравый смысл заменен требованиями хорошего тона. Он был — как это ни абсурдно — «единственным в своем роде», то есть давал прибыль, не привлекая, а, скорее, отпугивая публику. В обществе, подпавшем под власть богачей, торгаши проявили должную смекалку и перехитрили свою клиентуру. Они создали множество препон, чтобы богатые и пресыщенные завсегдатаи могли тратить деньги и время на их преодоление. Если бы существовал в Лондоне такой фешенебельный отель, куда не впускали бы ни одного человека ростом ниже шести футов, высшее общество стало бы покорно устраивать там обеды, собирая на них исключительно великанов. Если бы существовал дорогой ресторан, который, по капризу своего хозяина, был бы открыт только во вторник вечером, каждый вторник он ломился бы от посетителей. Вернон-Отель незаметно притулился на углу площади в Бельгравии¹. Он был не велик и не очень комфортабелен, но самое его неудобство рассматривалось как достоинство, ограждающее избранных посетителей. Из всех неудобств особенно ценилось одно: в отеле одновременно могло обедать не более двадцати четырех человек. Единственный обеденный стол стоял под открытым небом, на веранде, выходившей в один из красивейших старых садов Лондона. Таким образом, даже этими двадцатью четырьмя местами можно было пользоваться только в хорошую погоду, что, еще более затрудняя удовольствие, делало его тем более желанным. Владелец отеля, по имени Левер, заработал почти миллион именно тем, что сделал доступ в него крайне затруднительным. Понятно, он умело соединил недоступность своего предприятия с самой тщательной заботой о его изысканности. Вина и кухня были поистине европейскими,

¹ Б е л ь г р а в и я — квартал в аристократической части Лондона.

а выучка прислуги точно отражала требования английского высшего света. Хозяин знал всех лакеев как свои пять пальцев. Их было всего пятнадцать. Гораздо легче было стать членом парламента, чем лакеем в этом отеле. Каждый из них прошел курс молчания и исполнительности и был вышколен не хуже, чем личный камердинер истого джентльмена. Обычно на каждого обедающего приходилось по одному лакею.

Клуб «Двенадцать верных рыболовов» не согласился бы обедать ни в каком другом месте, так как он требовал полного уединения, и все его члены были бы крайне взволнованы при одной мысли, что другой клуб в тот же день обедает в том же здании. Во время своего ежегодного обеда рыболовы привыкли выставлять все свои сокровища, словно они обедали в частном доме; особенно выделялся знаменитый прибор рыбных ножей и вилок, своего рода реликвия клуба. Серебряные ножи и вилки были отлиты в форме рыб, и ручки их украшали массивные жемчужины. Прибор этот подавали к рыбной перемене, а рыбное блюдо было самым торжественным моментом торжественного пира. Общество соблюдало целый ряд церемоний и ритуалов, но не имело ни цели, ни истории, в чем и заключалась высшая степень его аристократизма. Для того чтобы стать одним из двенадцати рыболовов, особых заслуг не требовалось; но если человек не принадлежал к определенному кругу, он никогда и не услышал бы об этом клубе. Клуб существовал уже целых двенадцать лет. Президентом его был мистер Одли. Вице-президентом — герцог Честерский.

Если я хоть отчасти сумел передать атмосферу неприступного отеля, читатель, естественно, может поинтересоваться, откуда же я знаю все это и каким образом такая заурядная личность, как мой друг — отец Браун, оказался в столь избранной компании. Ответ мой будет прост и даже банален. В мире есть очень древний мятежник и демагог, который врывается в самые сокровенные убежища с ужасным сообщением, что все люди братья, и где бы ни появился этот всадник на коне бледном, дело отца Брауна — следовать за ним. Одного из лакеев, итальянца, хватил паралич в самый день обеда, и хозяин, исполняя волю умирающего, велел послать за католическим священником. Умирающий просил исполнить свою по-

следнюю волю: озаботиться немедленной отправкой письма, которое заключало, должно быть, какое-то признание или заглаживало причиненное кому-то зло. Как бы то ни было, отец Браун — с кроткой настойчивостью, которую, впрочем, он проявил бы и в самом Бэкингемском дворце, — попросил, чтобы ему отвели комнату и дали письменные принадлежности. Мистер Левер раздирался надвое. Он был мягок, но обладал и оборотной стороной этого качества — терпеть не мог всяких сцен и затруднений. А в тот вечер присутствие постороннего было подобно грязному пятну на только что отполированном серебре. В Вернон-Отеле не было ни смежных, ни запасных помещений, ни ожидающихся в холле посетителей или случайных клиентов. Было пятнадцать лакеев. И двенадцать гостей. Встретить в тот вечер чужого было бы не менее потрясающе, чем познакомиться за семейным завтраком со своим собственным братом. К тому же наружность у священника была слишком зауядна, одежда слишком потрепана; один вид его, просто мимолетный взгляд на него, мог привести отель к полному краху. Наконец мистер Левер нашел выход, который если и не уничтожал, то по крайней мере прикрывал позор. Если вы проникнете в Вернон-Отель (что, впрочем, вам никогда не удастся), сперва вам придется пройти короткий коридор, увешанный потемневшими, но, надо полагать, ценными картинами, затем — главный вестибюль, откуда один проход ведет направо, в гостиные, а другой — налево, в контору и кухню. Тут же, у левой стены вестибюля, стоит углом большая стеклянная будка, как бы дом в доме: вероятно, раньше в ней находился бар. Теперь тут контора, где сидит помощник Левера (в этом отеле никто никогда не показывается без особой нужды); а позади, по дороге к помещению прислуги, находится мужская гардеробная, последняя граница господских владений. Но между конторой и гардеробной есть еще одна маленькая комнатка, без выхода в коридор, которой хозяин иногда пользуется для щекотливых и важных дел — например, дает в долг какому-нибудь герцогу тысячу фунтов или отказывается одолжить ему шесть пенсов. Мистер Левер выказал высшую терпимость, позволив простому священнику осквернить это священное место и написать там письмо. То, что писал отец Браун, было, вероятно, много интерес-

нее моего рассказа, но никогда не увидит света. Я могу лишь отметить, что тот рассказ был не короче моего и что две-три последние страницы были, очевидно, скупее прочих.

Дойдя до них, отец Браун позволил своим мыслям отвлечься от работы, а своим чувствам (обычно достаточно острым) пробудиться от оцепенения. Смеркалось. Близилось время обеда. В уединенной комнатке почти стемнело, и, возможно, сгущавшаяся тьма до чрезвычайности обострила его слух. Когда отец Браун дописывал последнюю страницу, он поймал себя на том, что пишет в такт доносившимся из коридора звукам, как иногда в поезде думаешь под стук колес. Когда он понял это и прислушался, он убедился, что шаги — самые обыкновенные, просто кто-то ходит мимо двери, как нередко бывает в гостиницах. Тем не менее он устоял в темнеющий потолок и прислушался снова. Через несколько секунд он поднялся и стал вслушиваться еще внимательней, слегка склонив голову набок. Потом снова сел и, подперев голову, слушал и размышлял.

Шаги в коридоре отеля — дело обычное, но эти шаги казались в высшей степени странными. Больше ничего не было слышно, дом был на редкость тихий — немногочисленные гости немедленно расходились по своим помещениям, а тренированные лакеи были невидимы и неслышимы, пока их не вызывали. В этом отеле меньше всего можно было ожидать чего-нибудь необычного. Однако эти шаги казались настолько странными, что слова «обычный» и «необычный» не подходили к ним. Отец Браун как бы следовал за ними, постукивая пальцами по краю стола, словно пианист, разучивающий фортепьянную пьесу.

Сперва слышались быстрые мелкие шажки, не переходившие, однако, в бег, — так мог бы идти участник состязания по ходьбе. Вдруг они прерывались и становились мерными, степенными, раза в четыре медленнее предыдущих. Едва затихал последний медленный шаг, как снова слышалась частая торопливая дробь, и затем опять замедленный шаг грузной походки. Шагал, безусловно, один и тот же человек — и при медленной ходьбе, и при быстрой одинаково поскрипывала обувь. Отец Браун был из тех, кто постоянно задает себе вопросы, а

от этого, казалось бы, простого вопроса у него чуть не лопалась голова. Он видел, как разбегаются, чтобы прыгнуть; он видел, как разбегаются, чтобы прокатиться по льду. Но зачем разбегаться, чтобы перейти на медленный шаг? Для чего идти, чтобы потом разбежаться? И в то же время именно это проделывали невидимые ноги. Их обладатель очень быстро пробежал половину коридора, чтобы медленно проследовать по другой половине; медленно доходил до половины коридора, с тем чтобы доставить себе удовольствие быстро пробежать другую половину. Оба предположения не имели ни малейшего смысла. В голове отца Брауна, как и в комнате, становилось все темнее и темнее.

Однако, когда он сосредоточился, сама темнота как морки словно окрылила его мысль. Фантастические ноги, шагавшие по коридору, стали представляться ему в самых неестественных или символических положениях. Может быть, это языческий ритуальный танец? Или новое гимнастическое упражнение? Отец Браун упорно обдумывал, что бы могли означать эти шаги. Медленные шаги, безусловно, не принадлежали хозяину. Люди его склада ходят быстро и деловито или не трогаются с места. Это не мог быть также ни лакей, ни посыльный, ожидающий распоряжений. В олигархическом обществе неимущие ходят иной раз вразвалку — особенно когда выпьют, но много чаще, особенно в таких местах, они стоят или сидят в напряженной позе. Нет, тяжелый и в то же время упругий шаг, не особенно громкий, но и не считающийся с тем, какой шум он производит, мог принадлежать лишь одному обитателю земного шара: так ходит западноевропейский джентльмен, который, по всей вероятности, никогда не зарабатывал себе на жизнь.

Как раз когда отец Браун пришел к этому важному заключению, шаг снова изменился и кто-то торопливо, по-крысиному, пробежал мимо двери. Однако, хотя шаги стали гораздо быстрее, шума почти не было, точно человек бежал на цыпочках. Но отцу Брауну не почудилось, что тот хочет скрыть свое присутствие, — для него звуки связывались с чем-то другим, чего он не мог припомнить. Эти воспоминания, от которых можно было сойти с ума, наконец вывели его из равновесия. Он был уверен, что слышал где-то эту странную, быструю по-

ходку, — и не мог припомнить, где именно. Вдруг у него мелькнула новая мысль; он вскочил и подошел к двери. Комната его не сообщалась непосредственно с коридором: одна дверь вела в застекленную контору, другая — в гардеробную. Дверь в контору была заперта. Он посмотрел в окно, светлевшее во мраке резко очерченным четырехугольником, полным сине-багровых облаков, озаренных зловещим светом заката, и на мгновение ему показалось, что он чует зло, как собака чует крысу.

Разумное (не знаю, благоразумное ли) начало победило. Он вспомнил, что хозяин запер дверь, обещав прийти попозже и выпустить его. Он убеждал себя, что двадцать разных причин, которые не пришли ему в голову, могут объяснить эти странные шаги в коридоре. Он напомнил себе о недоконченной работе и о том, что едва успеет дописать письмо засветло. Пересев к окну, поближе к угасавшему свету мятежного заката, он снова углубился в работу. Он писал минут двадцать, все ниже склоняясь к бумаге, по мере того как становилось темнее, потом внезапно выпрямился. Снова послышались странные шаги. На этот раз прибавилась третья особенность. Раньше незнакомец ходил, ходил легко и удивительно быстро, но все же ходил. Теперь он бегал. По коридору слышались частые, быстрые, скачущие шаги, словно прыжки мягких лап несущейся пантеры. Чувствовалось, что бегущий — сильный, энергичный человек, взволнованный, но сдерживающий себя. Но едва лишь, прошелестев, словно смерч, он добежал до конторы, снова послышался медленный, размеренный шаг.

Отец Браун отбросил письмо и, зная, что дверь в контору закрыта, прошел в гардеробную, по другую сторону комнаты. Служитель временно отлучился, должно быть потому, что все гости уже собрались, давно сидели за столом и его присутствие не требовалось. Пробравшись сквозь серый лес пальто, священник заметил, что полутемную гардеробную отделяет от ярко освещенного коридора барьер, вроде прилавка, через который обычно передают пальто и получают номерки. Как раз над аркой этой двери горела лампа. Отец Браун был едва освещен ею и темным силуэтом вырисовывался на фоне озаренного закатом окна. Зато весь свет падал на человека, стоявшего в коридоре.

Это был элегантный мужчина, в изысканно простом вечернем костюме, высокий, но хорошо сложенный и гибкий; казалось, там, где он проскользнул бы как тень, люди меньшего роста были бы заметнее его. Ярко освещенное лицо его было смугло и оживленно, как у иностранца-южанина. Держался он хорошо, непринужденно и уверенно. Строгий критик мог бы отметить разве только, что его фрак не вполне соответствовал стройной фигуре и светским манерам, был несколько мешковат и как-то странно топорщился. Едва увидев на фоне окна черный силуэт отца Брауна, он бросил на прилавок номерок и с дружелюбной снисходительностью сказал:

— Пожалуйста, шляпу и пальто. Я ухожу.

Отец Браун молча взял номерок и пошел отыскивать пальто. Найдя, он принес его и положил на прилавок; незнакомец порывлся в карманах и сказал, улыбаясь:

— У меня нет серебра. Возьмите вот это,— бросил золотой полусовершен и взялся за пальто.

Отец Браун неподвижно стоял в темноте, и вдруг он потерял голову. С ним это случалось; правда, глупей от этого он не становился, скорее наоборот. В такие моменты, сложив два и два, он получал четыре миллиона. Католическая церковь (согласная со здравым смыслом) не всегда одобряла это. Он сам не всегда это одобрял. Но порой на него находило истинное вдохновение, необходимое в отчаянные минуты: ведь потерявший голову свою да обретет ее.

— Мне кажется, сэр,— сказал он вежливо,— в кармане у вас все же есть серебро.

Высокий джентльмен устался на него.

— Что за чушь! — воскликнул он.— Я даю вам золото, чем же вы недовольны?

— Иной раз серебро дороже золота,— скромно сказал священник.— Я хочу сказать — когда его много.

Незнакомец внимательно посмотрел на него. Потом еще внимательней глянул вдоль коридора. Снова перевел глаза на отца Брауна и с минуту смотрел на светлевшее позади него окно. Наконец решившись, он взялся рукой за барьер, перескочил через него с легкостью акробата и, нагнувшись к крохотному Брауну, огромной рукой сгреб его за воротник.

— Тихо! — сказал он отрывистым шепотом. — Я не хочу вам грозить, но...

— А я буду грозить вам, — перебил его отец Браун внезапно окрепшим голосом. — Грозить червем неумирающим и огнем неугасающим.

— Чудак! Вам не место здесь, — сказал незнакомец.

— Я священник, мосье Фламбо, — сказал Браун, — и готов выслушать вашу исповедь.

Высокий человек задохнулся, на мгновение замер и тяжело опустился на стул.

Первые две перемены обеда «Двенадцати верных рыболовов» следовали одна за другой без всяких помех и задержек. Копии меню у меня нет, но если бы она и была, все равно бы вы ничего не поняли. Меню было составлено на ультрафранцузском языке поваров, непонятном для самих французов. По традиции клуба, закуски были разнообразны и сложны до безумия. К ним отнеслись вполне серьезно, потому что они были бесполезным придатком, как и весь обед, как и самый клуб. По той же традиции суп подали легкий и простой — все это было лишь введением к предстоящему рыбному пиру. За обедом шел тот странный, порхающий разговор, который предрешает судьбы Британской империи, столь полный намеков, что рядовой англичанин едва ли понял бы его, даже если бы и подслушал. Министров величали по именам, упоминая их с какой-то вялой благосклонностью. Радикального министра финансов, которого вся партия тори, по слухам, ругала за вымогательство, здесь хвалили за слабые стишки или за посадку в седле на псовой охоте. Вождь тори, которого всем либералам полагалось ненавидеть как тирана, подвергался легкой критике, но о нем отзывались одобрительно, как будто речь шла о либерале. Каким-то образом выходило, что политики — люди значительные, но значительно в них все, что угодно, кроме их политики. Президентом клуба был добродушный пожилой мистер Одли, все еще носивший старомодные воротнички времен Гладстона¹. Он казался

¹ Гладстон Уильям Юарт (1809—1898) — английский политический и государственный деятель



— Тихо! — сказал он отрывистым шепотом — Я не хочу вам
грозить, но ..

символом этого призрачного и в то же время устойчивого общественного уклада. За всю свою жизнь он ровно ничего не сделал — ни хорошего, ни даже дурного; не был ни расточителен, ни особоенно богат. Он просто всегда был «в курсе дела». Ни одна партия не могла обойти его, и если бы он вздумал стать членом кабинета, его безусловно туда ввели бы. Вице-президент, герцог Честерский, был еще молод и подавал большие надежды. Иными словами, это был приятный молодой человек с прилизанными русыми волосами и веснушчатым лицом. Он обладал средними способностями и несметным состоянием. Его публичные выступления были всегда успешны, хотя секрет их был крайне прост. Если ему в голову приходила шутка, он высказывал ее, и его называли остроумным. Если же шутки не подвертывалось, он говорил, что теперь не время шутить, и его называли глубокомысленным. В частной жизни, в клубе, в своем кругу он был радушен, откровенен и наивен, как школьник. Мистер Одли, никогда не занимавшийся политикой, относился к ней несравненно серьезнее. Иногда он даже смущал общество, намекая на то, что существует некоторая разница между либералом и консерватором. Сам он был консерватором даже в частной жизни. Его длинные седые кудри скрывали на затылке старомодный воротничок, точь-в-точь как у бывших государственных мужей, и со спины он выглядел человеком, на которого может положиться империя. А спереди он казался тихим, любящим комфорт холостяком, из тех, что снимают комнаты в Олбэни¹, — таким он и был на самом деле.

Как мы уже упоминали, за столом на веранде было двадцать четыре места, но сидело всего двенадцать членов клуба. Все они весьма удобно разместились по одну сторону стола, и перед ними открывался вид на весь сад, краски которого все еще были яркими, хотя вечер и кончался несколько хмуро для этого времени года. Президент сидел у середины стола, а вице-президент — у правого конца. Когда двенадцать рыбаков подходили к столу, все пятнадцать лакеев должны были (согласно неписаному клубному закону) чинно выстраиваться вдоль

¹ Олбэни — гихий квартал, примыкающий с востока к Риджент-Парку.

стены, как солдаты, встречающие короля. Толстый хозяин должен был стоять тут же, сияя от приятного удивления, и кланяться членам клуба, словно он раньше никогда не слыхивал о них. Но при первом же стуке ножей и вилок вся эта наемная армия исчезала, оставляя одного или двух лакеев, бесшумно скользивших вокруг стола и незаметно убиравших тарелки. Мистер Левер тоже скрывался, весь извиваясь в конвульсиях вежливых поклонов. Было бы не только преувеличением, но даже прямой клеветой сказать, что он может появиться снова. Но когда подавалось главное рыбное блюдо, тогда — как бы мне выразить это получше? — тогда казалось, что где-то парит ожившая тень или отражение хозяина. Священное рыбное блюдо было (конечно, для непосвященного взгляда) огромным пудингом, размером и формой напоминавшим свадебный пирог, в котором несметное количество разных видов рыбы вконец потеряло свои естественные свойства. «Двенадцать верных рыболовов» вооружались знаменитыми ножами и вилками и приступали к пудингу с таким благоговением, словно каждый кусочек стоил столько же, сколько серебро, которым его ели. И, насколько мне известно, так оно и было. С этим блюдом расправлялись молча, жадно и с полным сознанием важности момента. Лишь когда тарелка его опустела, молодой герцог сделал обычное замечание:

— Только здесь умеют как следует готовить это блюдо.

— Только здесь, — отозвался мистер Одли, поворачиваясь к нему и покачивая своей почтенной головой. — Только здесь — и нигде больше. Правда, мне говорили, что в кафе «Англэ»... — Тут он был прерван и на мгновение даже озадачен исчезновением своей тарелки, принятой лакеем. Однако он успел вовремя поймать нить своих ценных мыслей. — Мне говорили, — продолжал он, — что это блюдо могли бы приготовить и в кафе «Англэ». Но не верьте этому, сэр. — Он безжалостно закачал головой, как судья, отказывающий в помиловании осужденному на смерть преступнику. — Нет, не верьте этому, сэр.

— Преувеличенная репутация, — процедил некий полковник Паунд с таким видом, словно он открыл рот впервые за несколько месяцев.

— Ну что вы! — возразил герцог Честерский, по натуре оптимист. — В некоторых отношениях это премилое местечко. Например, нельзя отказать им...

В комнату быстро вошел лакей и вдруг остановился, словно окаменев. Сделал он это совершенно бесшумно, но вялые и благодушные джентльмены привыкли к тому, что невидимая машина, обслуживавшая их и поддерживавшая их существование, работает безукоризненно, и неожиданно остановившийся лакей пугал их, словно фальшивая нота в оркестре. Они чувствовали то же, что почувствовали бы мы с вами, если бы неодушевленный мир проявил непослушание: если бы, например, стул вдруг стал убегать от нашей руки.

Несколько секунд лакей простоял неподвижно, и каждого из присутствующих постепенно охватывала странная неловкость, типичная для нашего времени, когда повсюду твердят о гуманности, а пропасть между богатыми и бедными стала еще глубже. Настоящий родовитый аристократ, наверное, принялся бы швырять в лакея чем попало, начав с пустых бутылок и, весьма вероятно, кончив деньгами. Настоящий демократ спросил бы его чисто товарищеским тоном, какого черта он стоит тут как истукан. Но эти новейшие плутократы не могли переносить возле себя неимущего — ни как раба, ни как товарища. Тот факт, что с лакеем случилось нечто странное, был для них просто скучным и неприятным затруднением. Быть грубыми они не хотели, а в то же время страшились проявить хоть какую-то человечность. Они желали одного: чтобы все это поскорее кончилось. Лакей простоял неподвижно несколько секунд, словно в столбняке, вдруг повернулся и опрометью выбежал с веранды.

Вскоре он снова появился на веранде или, вернее, в дверях в сопровождении другого лакея, что-то шепча ему и жестикулируя с чисто итальянской живостью. Затем первый лакей снова ушел, оставив в дверях второго, и опять появился, уже с третьим. Когда и четвертый лакей присоединился к этому сборищу, мистер Одли почувствовал, что во имя такта необходимо нарушить молчание. За неимением председательского молотка он громко кашлянул и сказал:

— А ведь молодой Мучер прекрасно работает в Бирме. Какая нация в мире могла бы...

Пятый лакей стрелою подлетел к нему и зашептал на ухо:

— Простите, сэр. Важное дело. Может ли хозяин поговорить с вами?

Президент растерянно повернулся и увидел мистера Левера, приближавшегося к нему своей обычной ныряющей походкой. Но лицо почтенного хозяина никто не назвал бы обычным. Всегда сияющее и медно-красное, оно окрасилось болезненной желтизной.

— Простите меня, мистер Одли,— проговорил он задыхаясь,— случилась страшная неприятность. Скажите, ваши тарелки убрали вместе с вилками и ножами?

— Надеюсь,— несколько раздраженно протянул президент:

— Вы видели его? — продолжал хозяин.— Видели вы лакея, который убрал их? Узнали бы вы его?

— Узнать лакея? — негодуя переспросил мистер Одли.— Конечно, нет.

Мистер Левер в отчаянии развел руками.

— Я не посылал его,— простонал он.— Я не знаю, откуда и зачем он явился. А когда я послал своего лакея убрать тарелки, он увидел, что их уже нет.

Решительно, мистер Одли чересчур растерялся для человека, на которого может положиться вся империя. Никто из присутствующих не нашелся, за исключением грубоватого полковника Паунда, внезапно воспрянувшего к жизни. Он поднялся с места и, вставив в глаз монокль, проговорил сипло, словно отвык пользоваться голосом:

— Вы хотите сказать, что кто-то украл наш серебряный рыбный прибор?

Хозяин снова развел руками, и в ту же секунду все присутствующие вскочили на ноги.

— Где лакей? — низким глухим голосом спросил полковник.— Они все тут?

— Да, все, я это заметил,— воскликнул молодой герцог, протискиваясь в центр группы.— Всегда считаю их, когда вхожу. Они так забавно выстраиваются вдоль стены.

— Да, но трудно сказать с уверенностью...— в тяжелом сомнении начал было мистер Одли.

— Говорю вам, я прекрасно помню,— возбужденно повторил герцог,— здесь никогда не было больше

пятнадцати лакеев, и ровно столько же было и сегодня. Ни больше, ни меньше.

Хозяин повернулся к нему, дрожа всем телом, словно и его хватил паралич.

— Вы говорите... вы говорите...— заикался он,— что видели пятнадцать лакеев?

— Как всегда,— подтвердил герцог,— что ж в этом особенного?

— Ничего,— сказал Левер,— только всех вы не могли видеть. Один из них умер и лежит наверху.

На секунду в комнате воцарилась тягостная тишина. Быть может (так сверхъестественно слово «смерть»), каждый из этих праздных людей заглянул в это мгновение в свою душу и увидел, что она маленькая, как сморщенная горошина. Один из них, кажется герцог, сказал с идиотским состраданием богача:

— Не можем ли мы быть чем-нибудь полезны?

— У него был священник,— ответил расстроенный хозяин.

И— словно прозвучала труба страшного суда— они подумали о таинственном посещении. Несколько весьма неприятных секунд присутствующим казалось, что пятнадцатым лакеем был призрак мертвеца. Неприятно им стало потому, что призраки были для них такой же помехой, как и нищие. Но мысль о серебре вывела их из оцепенения. Полковник отбросил ногою стул и направился к двери.

— Если здесь был пятнадцатый лакей, друзья мои.— сказал он,— значит, этот пятнадцатый и был вором. Немедленно закрыть парадный и черный ходы. Тогда мы и поговорим. Двадцать четыре жемчужины клуба стоят того, чтобы из-за них похлопотать.

Мистер Одли снова как будто колебался, пристойно ли джентльмену проявлять торопливость. Но, видя, как герцог кинулся вниз по лестнице с энтузиазмом молодости, он последовал за ним, хотя и с большей солидностью.

В эту минуту на веранду вбежал шестой лакей и заявил, что он нашел груды рыбных тарелок без всяких следов серебра. Вся толпа гостей и прислуги гурьбой скатилась по лестнице и разделилась на два отряда. Большинство рыболовов последовало за хозяином в вестибюль. Полковник Паунд с президентом, вице-президентом и

двумя-тремя членами клуба кинулись в коридор, который вел к лакейской,—вероятнее всего, вор бежал именно так. Проходя мимо полутемной гардеробной, они увидели в глубине ее низенькую черную фигурку, стоявшую в тени.

— Эй, послушайте,—крикнул герцог,—здесь проходил кто-нибудь?

Низенький человек не ответил прямо, но просто сказал:

— Может быть, у меня есть то, что вы ищете, джентльмены?

Они остановились, колеблясь и удивляясь, а он скрылся во мраке гардеробной и появился снова, держа в обеих руках груды блестящего серебра, которое и выложил на прилавок спокойно, как приказчик, показывающий образцы. Серебро оказалось дюжиной ножей и вилок странной формы.

— Вы... Вы...—начал окончательно сбитый с толку полковник. Потом, освоившись с полумраком, он заметил две вещи: во-первых, низенький человек был в черной сутане и мало походил на слугу и, во-вторых, окно гардеробной было разбито, точно кто-то поспешно из него выскочил.

— Слишком ценная вещь, чтобы хранить в гардеробной,—заметил священник.

— Так вы... вы... значит, это вы украли серебро? — запинаясь, спросил мистер Одли, с недоумением глядя на священника.

— Если я и украл, то, как видите, я его возвращаю,—вежливо ответил отец Браун.

— Но украли не вы? — заметил полковник, вглядываясь в разбитое окно.

— По правде сказать, я не крал,—сказал священник несколько юмористическим тоном и спокойно уселся на стул.

— Но вы знаете, кто это сделал? — спросил полковник.

— Настоящего его имени я не знаю,—невозмутимо ответил священник.—Но я знаю кое-что о его силе и очень много о его душевных сомнениях. Силу его я ощутил на себе, когда он пытался меня задушить, а об его моральных качествах я узнал, когда он раскаялся.

— Скажите пожалуйста, раскаялся! — с надменным смехом воскликнул герцог Честерский.

Священник Браун поднялся и заложил руки за спину.

— Не правда ли странно, на ваш взгляд, — сказал он, — что вор и бродяга раскаялся, тогда как много богатых людей закоснели в мирской суете и никому от них нет прока? Если вы сомневаетесь в практической пользе раскаяния, вот вам ваши ножи и вилки. Вы «Двенадцать верных рыболовов», и вот ваши серебряные рыбы. Видите, вы все же выловили их. А я — *ловец человеков*.

— Так вы поймали вора? — хмурясь, спросил полковник.

Отец Браун в упор посмотрел на его недовольное, суровое лицо.

— Да, я поймал его, — сказал он, — поймал невидимым крючком на невидимой леске, такой длинной, что он может уйти на край света и все же вернется, как только я потяну.

Они помолчали. Потом джентльмены удалились обратно на веранду, унося серебро и обсуждая с хозяином странное происшествие. Но суровый полковник по-прежнему сидел боком на барьере, раскачивая длинными ногами и покусывая кончики темных усов. Наконец он спокойно сказал священнику:

— Вор был не глупый малый, но, кажется, я знаю человека поумнее.

— Он умный человек, — ответил отец Браун, — но я не знаю, кого вы считаете умнее.

— Вас, — сказал полковник и коротко рассмеялся. — Будьте спокойны, я не собираюсь сажать вора в тюрьму. Но я дал бы гору серебряных вилок за то, чтобы толком узнать, как вы-то замешались во всю эту кашу и как вам удалось отнять у него серебро. Думаю мне, что вы большой хитрец и проведете любого.

Священнику, по-видимому, понравилась грубоватая прямота военного.

— Конечно, полковник, — сказал он улыбаясь, — я ничего не могу сообщить вам об этом человеке и его частных делах. Но я не вижу причины скрывать от вас внешний ход дела, насколько я сам его понял.

С неожиданной для него легкостью он перепрыгнул через барьер, сел рядом с полковником Паундом и, в свою

очередь, заболтал короткими ножками, словно мальчишка на заборе. Рассказ свой он начал так непринужденно, как если бы беседовал со старым другом у рождественского камелька.

— Видите ли, полковник,— начал он,— меня заперли в той маленькой каморке, и я писал письмо, когда услышал, что пара ног отплясывает по этому коридору такой танец, какого не спляшешь и перед смертью. Сперва слышались забавные мелкие шажки, словно кто-то ходил на цыпочках; за ними следовали шаги медленные, уверенные — словом, шаги солидного человека, разгуливающего с сигарой во рту. Но шагали одни и те же ноги, в этом я готов был поклясться: легко, потом тяжело, потом опять легко. Сперва я прислушивался от нечего делать, а потом чуть с ума не сошел, стараясь понять, для чего понадобилось одному человеку ходить двумя походками. Одну походку я знал, она была вроде вашей, полковник. Это была походка плотно пообедавшего человека, джентльмена, который расхаживает не потому, что взволнован, а скорее потому, что вообще подвижен. Другая походка тоже казалась мне знакомой, только я никак не мог припомнить, где я ее слышал и где раньше встречал странное существо, носящееся на цыпочках подобным образом. Скоро до меня донесся стук тарелок, и ответ представился до глупости очевидным: это была походка лакея, когда, склонившись вперед, опустив глаза, загибая носками сапог, он несется подавать к столу с развешивающимися фалдами и салфеткой. Затем я поразмыслил с минуту. И мне показалось, что я понял замысел преступления так же ясно, как если бы сам собирался украсть.

Полковник внимательно посмотрел на священника, но кроткие серые глаза были безмятежно устремлены в потолок.

— Преступление,— продолжал он медленно,— то же произведение искусства. Не удивляйтесь: преступление далеко не единственное произведение искусства, выходящее из мастерских преисподней. Но каждое подлинное произведение искусства, будь оно небесного или дьявольского происхождения, имеет одну непременную особенность: основа его всегда проста, как бы сложно ни было выполнение. Так, например, в «Гамлете» фигуры могильщиков, цветы сумасшедшей девушки, загробное

обаяние Озрика, бледность духа и усмешка черепа — все сплетено венком для мрачного человека в черном. И то, что я вам рассказываю,— добавил он, улыбаясь и медленно слезая с барьера,— тоже незамысловатая трагедия человека в черном. Да,— продолжал он, видя, что полковник смотрит на него с удивлением,— вся эта история сводится к черному костюму. В ней, как и в «Гамлете», немало всевозможных наслоений, вроде вашего клуба, например. Есть мертвый лакей, который был там, где быть не мог; невидимая рука, собравшая с вашего стола серебро и растаявшая в воздухе. Но каждое умно задуманное преступление основано в конце концов на чем-нибудь вполне заурядном, ничуть не загадочном. Таинственность появляется позже, чтобы увести нас в сторону по ложному следу. Сегодняшнее дело — крупное, тонко задуманное и (на взгляд заурядного вора) весьма выгодное. Оно было построено на том общеизвестном факте, что вечерний костюм джентльмена как две капли воды похож на костюм лакея — оба носят черный фрак. Все остальное была игра, и притом удивительно тонкая.

— И все же,— заметил полковник, слезая с барьера и хмуро разглядывая свои ботинки,— все же я не вполне уверен, что понял вас.

— Полковник,— сказал отец Браун,— вы еще больше удивитесь, когда я скажу вам, что демон наглости, укравший ваши вилки, все время разгуливал у вас на глазах. Он прошел по коридору раз двадцать взад и вперед — и это при полном освещении и на виду у всех. Он не прятался по углам, где его могли бы заподозрить. Напротив, он беспрестанно двигался и, где бы он ни был, везде, казалось, находился по праву. Не спрашивайте меня, как он выглядел, потому что вы сами видели его сегодня шесть или семь раз. Вы вместе с другими высокородными господами дожидались обеда в гостиной, в конце прохода, возле самой веранды. И вот, когда он проходил среди вас, джентльменов, он был лакеем, с опущенной головой, болтающейся салфеткой и развевающимися фалдами. Он вылетал на веранду, поправлял скатерть, переставлял что-нибудь на столе и мчался обратно по направлению к конторе и лакейской. Но едва он попадал в поле зрения конторского клерка и прислуги, как — и видом, и манерами, с головы до ног,— становился другим челове-

ком. Он бродил среди слуг с той рассеянной небрежностью, которую они так привыкли видеть у своих патროнов. Их не должно было удивлять, что гость разгуливает по всему дому, словно зверь, снующий по клетке в зоологическом саду. Они знали: ничто так не выделяет людей высшего круга, как именно привычка расхаживать всюду, где им вздумается. Когда он пресыщался прогулкой по коридору, он поворачивал и снова проходил мимо конторы. В тени гардеробной ниши, он, как по мановению жезла, разом менял свой облик и снова услужливым лакеем мчался к «Двенадцати верным рыбакам». Не пристало джентльменам обращать внимание на какого-то лакея. Как может прислуга заподозрить прогуливающегося джентльмена?.. Раз он выкинул фокус еще почище. У конторы он величественно потребовал сифон содовой воды, сказав, что хочет пить. Он добавил непринужденно, что возьмет сифон с собой. Он так и сделал — быстро и ловко пронес его среди всех вас, джентльменов, лакеем, выполняющим обычное поручение. Конечно, это не могло длиться до бесконечности, но ему ведь нужно было дождаться лишь конца рыбной перемены. Самым опасным для него было начало обеда, когда все лакеи выстраивались в ряд, но и тут ему удалось прислониться к стене как раз за углом, так что лакеи и тут приняли его за джентльмена, а джентльмены — за лакея. Дальше все шло как по маслу. Лакей принимал его за скучающего аристократа, и наоборот. За две минуты до того, как рыбная перемена была закончена, он снова обратился в проворного слугу и быстро собрал тарелки. Посуду он оставил на полке, серебро засунул в боковой карман, отчего тот оттопырился, и, как заяц, помчался по коридору, покуда не добрался до гардеробной. Тут он снова стал джентльменом, внезапно вызванным по делу. Ему оставалось лишь сдать свой номерок гардеробщику и выйти так же непринужденно, как пришел. Только случилось так, что гардеробщиком был я.

— Что вы сделали с ним? — воскликнул полковник с необычным для него жаром. — И что он вам сказал?

— Простите, — невозмутимо ответил отец Браун, — тут мой рассказ кончается.

— И начинается самое интересное,— пробормотал Паунд.— Его профессиональные приемы я еще понимаю. Но как-то не могу понять ваши.

— Мне пора уходить,— проговорил отец Браун.

Вместе они дошли по передней, где увидели свежее веснушчатое лицо герцога Честерского, с веселым видом бежавшего за ними.

— Скорее, скорее, Паунд! — запыхавшись, кричал он.— Скорее идите к нам! Я всюду искал вас. Обед продолжается как ни в чем не бывало, и старый Одли сейчас скажет спич в честь спасенных вилок. Видите ли, мы предполагаем создать новую церемонию, чтобы увековечить это событие. Вы нашли серебро, так что дело за вами. Можете что-нибудь предложить?

— Попробую,— не без сарказма согласился полковник, оглядывая его.— Я предлагаю, чтобы отныне мы носили зеленые фраки вместо черных. Мало ли что может случиться, когда ты одет так же, как лакей.

— Ну, глупости,— сказал герцог,— джентльмен никогда не выглядит лакеем.

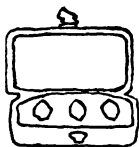
— А лакей не может выглядеть джентльменом? — так же беззвучно смеясь, отозвался полковник Паунд.— Ну, в таком случае и ловок же ваш приятель,— сказал он, обращаясь к Брауну,— если он сумел сойти за джентльмена.

Отец Браун наглухо застегнул свое скромное пальто — ночь была холодная и ветреная — и взял в руки свой скромный зонт.

— Да,— сказал он,— должно быть, очень трудно быть джентльменом. Но, знаете ли, я не раз думал, что почти так же трудно быть лакеем.

И, промолвив «доброй вечер», он толкнул тяжелую дверь дворца наслаждений. Золотые ворота тотчас же хлопнулись за ним, и он быстро зашагал по мокрым темным улицам в поисках омнибуса.

ЛЕТУЧИЕ ЗВЕЗДЫ



Мое самое красивое преступление,— любил рассказывать Фламбо в годы своей добродетельной старости,— было, по странному стечению обстоятельств, последним. Я совершил его на рождество. Как настоящий артист, я всегда старался, чтобы мое преступление гармонировало с временем и местом, и подыскивал для него, словно для скульптурной группы, подходящий сад или обрыв. Так, например, английских сквайров приятнее всего надувать в длинных комнатах, обшитых дубовыми панелями, а богатых евреев лучше оставлять без гроша среди огней и пышных драпировок кафе «Риш». Если, например, в Англии у меня возникало желание избавить настоятеля собора от бремени земных благ (что не так просто, как кажется), мне хотелось видеть свою жертву в обрамлении зеленых газонов и серых колоколен старинного городка. Точно так же во Франции, изымая некоторую сумму у богатого и жадного крестьянина (что почти невозможно), я испытывал удовлетворение, если видел его негодующую физиономию на фоне серого ряда аккуратно подстриженных тополей

или величавых галльских равнин, которые так прекрасно живописал великий Милле¹.

Так вот, моим последним преступлением было рождественское преступление, веселое, уютное английское преступление среднего достатка — преступление в духе Чарльза Диккенса. Я совершил его в одном старинном добротном доме близ Путни, в доме с полукруглым подъездом для экипажей, в доме с конюшней, в доме с поэтическим названием, которое значилось на обоих воротах, в доме с неизменной араукарией в саду... Впрочем, довольно — вы уже, наверное, представляете себе, что это был за дом. Ей-богу, я тогда очень смело и точно воспроизвел диккенсовский стиль. Даже жалко, что в тот же самый вечер я раскаялся».

И Фламбо начинал рассказывать всю эту историю, если можно так выразиться, изнутри, с точки зрения одного из ее героев. Даже с этой точки зрения она казалась по меньшей мере странной. С точки же зрения стороннего наблюдателя она представлялась просто непостижимой, а именно так должен ознакомиться с нею читатель.

Это произошло на второй день рождества. Началом всех событий можно считать тот миг, когда двери дома отворились и молоденькая девушка с куском хлеба в руках вышла в сад, где росла араукария, покормить птиц. У девушки было хорошенкое личико и решительные карие глаза; о фигуре ее судить не представлялось возможным — с ног до головы она была так укутана в коричневый мех, что трудно было сказать, где кончается лохматый воротник и начинаются пушистые волосы. Если б не милое личико, она могла бы сойти за маленького неуклюжего медвежонка.

Приближался вечер, зимнее небо становилось багровым, и рубиновые отсветы на обнаженных клумбах казались призраками увядших роз. С одной стороны к дому примыкала конюшня, с другой — начиналась аллея или, вернее, тоннель из лавровых деревьев, который вел в большой сад. Молодая леди накрошила птицам хлеб (в четвертый или пятый раз за день, потому что его съедала собака) и, чтобы не мешать птичьему пиршеству, пошла по аллее в сад, где мерцали листья вечнозеленых деревь-

¹ Миллэ Жан-Франсуа (1814—1875) — французский художник.

ев. Здесь она вскрикнула с изумлением — искренним или притворным, — ибо, подняв глаза, увидела на высоком заборе, словно наездника на коне, какую-то причудливую фигуру в причудливой позе.

— Ой, только не прыгайте, мистер Крук, — воскликнула девушка в тревоге, — здесь очень высоко!

Человек, оседлавший забор, точно крылатого коня, был молод, долговяз и угловат; темные волосы торчали как щетка, а умное и тонкое лицо было бледным и даже как-то не по-английски бескровным. Бледность его особенно подчеркивал красный, вызывающе яркий галстук — единственная явно обдуманная деталь его костюма; быть может, это был символ. Он не внял мольбе девушки и, рискуя переломать себе ноги, спрыгнул на землю с легкостью кузнечика.

— По-моему, судьба готовила меня во взломщики, — спокойно объявил он. — И я, без сомнения, стал бы взломщиком, если бы не жил по соседству с вами. Впрочем, не вижу ничего дурного в этой профессии.

— Как вы можете так говорить? — с укором воскликнула девушка.

— Что ж, — сказал он, — если ты родился по ту сторону стены, самое правильное — просто перескочить через нее.

— Вот уж никогда не знаешь, что вы скажете или сделаете! — сказала она.

— Я и сам частенько не знаю, — ответил мистер Крук. — Во всяком случае, сейчас я с той стороны, где мне и следует находиться.

— А где, по-вашему, вам следует находиться? — с улыбкой спросила девушка.

— Там, где вы, — сказал юноша, по фамилии Крук.

Гуляя по лавровой аллее, они услышали троекратный автомобильный гудок: элегантный автомобиль светло-зеленого цвета, словно птица, подлетел к подъезду и остановился, вздрагивая.

— Ого, — сказал молодой человек в красном галстуке, — вот уж кто родился там, где надо! Я не знал, мисс Адамс, что вас посещает столь современный Санта Клаус.

— Это мой крестный отец, сэр Леопольд Фишер. Он всегда приезжает к нам на рождество. — Руби Адамс

помолчала и прибавила не слишком пылко: — Он очень добрый.

Журналист Джон Крук был наслышан о крупном делеце из Сити, сэре Леопольде Фишере, и не по его вине крупный делец не был наслышан о нем, неоднократно и весьма непримиримо громившем сэра Леопольда на страницах «Клариона» и «Нового века». Впрочем, сейчас Крук не говорил ни слова и мрачно наблюдал за разгрузкой автомобиля, а это была длительная процедура. Сначала открылась передняя дверца — и из машины вылез высокий проворный шофер в зеленом, затем открылась задняя дверца — и из машины вылез низенький проворный слуга в сером; затем они вдвоем извлекли сэра Леопольда и, вгромоздив его на крыльцо, стали распаковывать, словно ценный, тщательно увязанный узел. Под пледами, которых хватило бы на целый магазин, под шкурами всех лесных зверей и шарфами всех цветов радуги обнаружилось наконец нечто напоминающее человека и оказавшееся довольно приятным, хотя и смахивающим на иностранца стариком с седой козлиной бородкой и сияющей улыбкой, который тут же принялся потирать руки в огромных меховых рукавицах.

Но еще задолго до конца процедуры двери дома отворились, и на крыльцо вышел полковник Адамс (отец молодой леди в шубке), чтобы встретить важного гостя. То был высокий, смуглый и очень молчаливый человек в красном, похожем на феску колпаке, придававшем ему сходство с английским сардаром или египетским пашой. Вместе с ним вышел его шурин, молодой фермер, недавно приехавший из Канады, — крупный и шумливый мужчина со светлой бородкой, по имени Джеймс Блаунт. Их обоих сопровождала еще одна, более скромная личность — католический священник соседнего прихода. Покойная жена полковника была католичкой, и дети, как принято в таких случаях, воспитывались в католичестве. Священник этот был ничем не примечателен, даже фамилию носил заурядную — Браун. Однако полковник находил его общество приятным и часто приглашал его.

В просторном холле было довольно места даже для сэра Леопольда и его многочисленных оболочек. Холл этот был непомерно велик для такого дома; в одном его конце находилась наружная дверь, а в другом — лест-

ница на второй этаж. Здесь, перед камином, над которым висела шпага полковника, церемония завершилась — нового гостя раскутали и представили ему всех присутствующих, в том числе и мрачного Крука. Однако почтенный финансист все еще продолжал сражаться со своим безукоризненно сшитым одеянием. Он долго рылся во внутреннем кармане фрака и наконец, весь светясь от удовольствия, извлек оттуда черный овальный футляр, хранивший, как он пояснил, рождественский подарок для его крестницы. С откровенным и потому обезоруживающим тщеславием он высоко поднял футляр, чтобы все могли видеть, затем слегка нажал пружину — крышка откинулась, и все замерли: фонтан слепящего света брызнул перед ними. На оранжевом бархате, в углублении, словно три яйца в гнезде, лежали три чистых сверкающих бриллианта, и казалось, даже воздух загорелся от их огня. Фишер расплылся в покровительственной улыбке, упоенный изумлением и восторгом крестницы, немногословной благодарностью полковника и удивленными возгласами прочих.

— Пока что я положу их обратно, милочка, — сказал он, засовывая футляр в задний карман фрака. — Мне пришлось вести себя очень осторожно, когда я ехал сюда. Имейте в виду, что это — три знаменитых африканских бриллианта, которые прозвали «летучими звездами», потому что их уже не раз похищали. Все крупные преступники охотятся за ними, но и простые люди на улице и в пивной, разумеется, не отказались бы от них. У меня могли украсть их по дороге. Вполне могли!

— Я бы сказал, что это естественно, — сердито заметил молодой человек в красном галстуке. — И я ничуть бы не винил воров. Когда люди просят хлеба, а вы не даете им даже камня, я думаю, они имеют право сами взять камень.

— Не смейте так говорить! — с забавной запальчивостью воскликнула девушка. — Вы говорите так только с тех пор, как стали этим ужасным... ну, как это называется?.. Как называют человека, который готов обниматься с трубочистом?

— Святой, — сказал отец Браун.

— Я полагаю, — возразил сэр Леопольд со снисходительной усмешкой, — что Руби имеет в виду социалистов.

— Радикал отнюдь не занимается извлечением корней,— заметил Крук с некоторым нетерпением,— а консерватор не консервирует фрукты. Смею вас уверить, социалисты только рифмуются с трубочистами. Социалист хочет, чтобы все трубы были прочищены и чтобы всем трубочистам платили за работу.

— И считает при этом,— тихо добавил священник,— что ваша собственная сажа вам не принадлежит.

Крук взглянул на него с интересом и даже с уважением.

— Кому может понадобится собственная сажа? — спросил он.

— Кое-кому, может, и понадобится,— ответил Браун серьезно.— Говорят, например, что ею пользуются садовники. А сам я однажды на рождество доставил немало радости шестерым ребятишкам, к которым не пришел фокусник, исключительно с помощью сажи, примененной как наружное средство.

— Ой, как хорошо! — вскричала Руби.— Мне бы хотелось, чтобы вы сегодня намазались для нас.

Энергичный канадец, мистер Блаунт, возвысил и без того громкий голос, присоединяясь к предложению племянницы; удивленный финансист тоже возвысил голос, выражая решительное неодобрение, но в это время кто-то постучал в парадную дверь. Священник распахнул ее, и глазам присутствующих вновь представился сад с араукарией и вечнозелеными деревьями, теперь уже темнеющий на фоне великолепного пурпурного заката. Этот вид, вставленный в раму раскрытой двери, был красив и необычен, как декорация, и несколько мгновений никто не замечал человека, остановившегося на пороге. Это был, видимо, обыкновенный посыльный в запыленном поношенном пальто.

— Кто из вас мистер Блаунт, джентльмены? — спросил он, протягивая письмо.

Мистер Блаунт вздрогнул и осекся, не окончив своей восторженной реплики. Недоуменно хмурясь, он надорвал конверт и стал читать письмо; лицо его сначала омрачилось, затем посветлело, и он повернулся к своему зятю и хозяину.

— Вы уж простите за беспокойство, полковник,— начал он весело и без лишних церемоний, как принято

в Новом Свете.— Вас очень расстроит, если сегодня вечером ко мне зайдет по делу старый приятель? Впрочем, вы, наверное, слышали о нем — это Флориан, знаменитый французский акробат и комик. Я с ним познакомился много лет назад на Западе — он по рождению канадец. А теперь у него ко мне дело, хотя, убей, не знаю какое.

— Полноте, полноте, дорогой мой, — любезно ответил полковник. — Вы можете приглашать кого угодно. К тому же это, без сомнения, приятное знакомство.

— Он с удовольствием вымажет себе лицо сажей, если вы это имеете в виду! — смеясь, воскликнул Блаунт. — И всем наставит синяков под глазами. Я лично не возражаю, я человек простой, люблю веселую старую пантомиму, в которой герой садится на цилиндр.

— Только, пожалуйста, не на мой, — с достоинством произнес сэр Леопольд Фишер.

— Ну что за беда, — весело вступился Крук, — не будем ссориться. Сидеть на цилиндре не так уж плохо. Есть и более низкопробные шутки!

Молодой человек в красном галстуке был весьма неприятен Фишеру — и потому, что защищал грабеж, и потому, что явно ухаживал за его хорошенькой крестницей.

— Не сомневаюсь, что вам известны и более грубые шутки, — высокомерно и насмешливо сказал богач. — Не приведете ли нам в пример хоть одну?

— Да вот, если угодно: когда цилиндр сидит на человеке, — отвечал социалист.

— Ну, ну, ну! — воскликнул канадец с благодушием истинного варвара. — Не надо портить праздник. Давайте-ка повеселим сегодня общество. Не будем мазаться сажей и садиться на шляпы; если вам это не по душе — придумаем что-нибудь другое в том же духе. Почему бы нам не разыграть настоящую старую английскую пантомиму — с клоуном, Коломбиной и всем прочим? Я видел одну перед отъездом из Англии, когда мне было лет двенадцать, и воспоминание о ней у меня яркое, как костер. А когда я в прошлом году вернулся, оказалось, что пантомим больше не играют. Ставят одни только плаксивые сказки. Я хочу видеть хорошую потасовку, раскаленную докрасна кочергу, полисмена, которого разделявают на котлеты, а мне преподносят принцесс, разглагольствую-

щих при лунном свете, синих птиц и тому подобную ерунду. Синяя Борода — вот это по мне.

— Я всей душой за то, чтоб разделить полисмена на котлеты, — сказал Джон Крук. — Это ближе к определению социализма. Но спектакль — дело слишком сложное.

— Да что вы! — в увлечении вскричал Блаунт. — Устроить арлекинаду? Ничего нет проще! Во-первых, можно нести любую отсебятину, а во-вторых, для нее нужна только домашняя утварь — столы, вешалки, бельевые корзины и так далее.

— Да, это верно, — оживился Крук и стал расхаживать по комнате. — Только вот боюсь, не удастся раздобыть полицейский мундир. Давно уж я не убивал полисменов.

Блаунт на мгновение задумался и вдруг хлопнул себя по ноге.

— Достанем! — воскликнул он. — Тут в письме есть телефон Флориана, а он знает всех костюмеров в Лондоне. Я позвоню ему и велю захватить с собой костюм полисмена.

И он кинулся к телефону.

— Ах, как чудесно, крестный! — Руби готова была заплакать от радости. — Я буду Коломбиной, а вы — Панталоне.

Миллионер выпрямился и замер надменно, как языческий бог.

— Я полагаю, моя милая, — сухо проговорил он, — вам лучше поискать кого-нибудь другого для этой роли.

— Я могу играть Панталоне, если хочешь, — в первый и последний раз вмешался в разговор полковник Адамс, вынув изо рта сигару.

— Вам за это нужно памятник поставить! — воскликнул канадец, с сияющим лицом вернувшийся от телефона. — Ну вот, значит, все устроено. Мистер Крук будет клоуном — он журналист и знает все лежальные шутки. Я могу быть Арлекином — тут нужны только длинные ноги, чтобы прыгать получше. Мой друг Флориан сказал мне сейчас, что достанет полицейскую форму и переоденется по дороге. Представление можно устроить здесь, в холле, а публику мы посадим на ступеньки. Входные

двери — великолепный задник. Если их закрыть, у нас получится внутренность английского дома, если открыть — освещенный луною сад. Ей-богу, все устраивается точно по волшебству.

И, выхватив из кармана кусок мела, унесенный из бильярдной, он провел на полу черту, отделив воображаемую сцену.

Как им удалось подготовить в такой короткий срок даже это дурацкое представление — остается загадкой. Но они принялись за дело с тем безрассудным рвением, которое рождается, когда в доме живет юность. А в тот вечер в доме жила юность, хотя не все, вероятно, догадывались, в чьих глазах и в чьих сердцах она горела. Как всегда бывает в таких случаях, замысел становился все более и более фантастичным, несмотря на традиционную добропорядочность обычая, породившего его. Коломбина была очаровательна в своей широкой торчащей юбке, до странности напоминавшей большой абажур из гостиной. Клоун и Панталоне набелили себе лица мукой, добытой у повара, и покрасили щеки румянами, позаимствованными у кого-то из домашних, пожелавшего (как и подобает истинному христианину) остаться неизвестным. Арлекин нарядился в костюм из серебряной бумаги, извлеченной из сигарных ящиков, и его едва удалось остановить, когда он покусился на старинную люстру, вздумав украсить хрустальными подвесками. Он бы наверняка осуществил свой замысел, если бы Руби не откопала для него где-то поддельные драгоценности, однажды украшавшие ее маскарадный наряд королевы. Правду сказать, ее дядюшка до того разошелся, что с ним никакого сладу не было; он вел себя как озорной школьник. Он нахлобучил на отца Брауна бумажную ослиную голову, а тот терпеливо снес это и даже измыслил какой-то способ шевелить ушами. Он чуть не прицепил ослиный хвост к фалдам сэра Леопольда Фишера, но на сей раз его выходка была принята куда менее благосклонно.

— Дядя Джеймс слишком уж развеселился, — сказала Руби Круку, с серьезным видом вешая ему на шею гирлянду сосисок. — С чего это он?

— Он Арлекин, а вы Коломбина, — ответил Крук. — Ну, а я только клоун, повторяю лежалые шутки.

— Я бы предпочла, чтобы вы были Арлекином,— сказала она, и сосиски, раскачиваясь, повисли у него на шее.

Отец Браун успел сорвать аплодисменты искусным превращением подушки в младенца и отлично знал все, что творилось за кулисами; тем не менее он присоединился к зрителям и уселся среди них торжественно и просто-душно, словно ребенок, впервые попавший в театр.

Зрителей было немного — родственники, кое-кто из соседей и слуги. Сэр Леопольд занял лучшее место, и его широкая спина почти совсем загородила сцену от маленького священника, сидевшего позади него, но много ли потерял священник, театральным критикам так и не удалось установить. В пантомиме не было ни складу ни ладу, но презирать ее не стоит: все оживляла и пронизывала вдохновенная импровизация клоуна. В обычных условиях Крук был просто умен; в тот вечер он был гениален. Его обуюло безумие, которое мудрее мудрости и является нам в юные годы, когда мы увидим особенное выражение на одном, единственном для нас, лице. Считалось, что он клоун; на самом же деле он был еще и автором (если тут вообще мог быть автор), суфлером, декоратором, рабочим сцены и в довершение всего оркестром. Во время коротких перерывов в этом безумном представлении он в своих клоунских доспехах кидался к роялю и барабанил отрывки из популярных песенок, неуместные, но очень меткие.

И спектакль, и все события достигли апогея, когда двери на заднем плане вдруг распахнулись и зрителям открылся сад, залитый лунным светом, на фоне которого четко темнел силуэт знаменитого гостя — великого Флориана. Клоун забарабанил хор полицейских из оперетты «Пираты из Пензанса», но звуки рояля потонули в оглушительной овации: великий комик удивительно точно и ничуть не переигрывая изображал полисмена. Арлекин подпрыгнул к нему и ударил его по каске, пианист заиграл «Где ты шляпу раздобыл?», а он только озирался вокруг, с потрясающим мастерством играя изумление. Арлекин подпрыгнул и опять ударил его (а пианист сыграл несколько тактов из песенки «А потом еще разок...»). Затем Арлекин бросился ему в объятия и под грохот аплодисментов повалил его на пол. Тогда-то



Арлекин лихо плясал над бесчувственным телом полисмена.

французский комик и показал свой знаменитый номер «Мертвец на полу», память о котором и по сей день живет в окрестностях Путни. Невозможно было поверить, что это живой человек. Здоровяк Арлекин раскачивал его, как мешок, из стороны в сторону, подбрасывал, как резиновую дубинку, а Крук барабанил песенки, одна нелепей другой. Когда Арлекин с натугой оторвал от пола комика-констебля, шут за роялем заиграл «Я восстал ото сна, а снилась мне ты»; когда он взвалил его себе на спину, послышалось «С котомкой за плечами»; а когда, наконец, Арлекин опустил свою ношу на пол и раздался вполне убедительный грохот, пианист, обезумев от восторга, заиграл какой-то бойкий мотивчик на такие — как гласит предание — слова: «Письмо я милой написал и бросил по дороге».

Когда вся эта суматоха дошла до апогея, отец Браун совсем перестал видеть сцену, ибо прямо перед ним почтенный магнат из Сити встал во весь рост и принялся ошалело шарить у себя по карманам. Потом он в волнении уселся, все еще роясь в карманах, потом опять встал и вознамерился было перешагнуть через рампу, однако бросил свирепый взгляд на клоуна за роялем и, не говоря ни слова, пулей вылетел из зала.

Священник только несколько минут следил за безумной, но не лишенной лихости пляской любителя Арлекина над гениально бесчувственным телом его врага. Арлекин хорошо, хотя и грубовато, танцевал теперь в распахнутых дверях, потом стал отступать все дальше и дальше в глубь сада, наполненного тишиной и лунным светом. Его одеяние, наскоро склеенное из серебряной бумаги, резало глаза в огнях рампы, но становилось все сказочней и серебристей, когда он удалялся, танцуя в лунном сиянии. Зрители повскакали с мест и бросились на сцену, и тут отец Браун почувствовал, что кто-то тронул его за рукав и шепотом попросил пройти в кабинет полковника.

Он последовал за слугой, волнуясь все сильнее, и тревогу его не разогнала комическая торжественность того, что он увидел в кабинете. Там сидел полковник Адамс, все еще наряженный в костюм Панталоне; рог из китового уса покачивался у него на лбу, но в старых глазах была такая печаль, которая погасила бы любое ве-

селье. Опершись о камин и тяжело дыша, стоял сэр Леопольд Фишер; вид у него был перепуганный и важный.

— Произошла очень неприятная история, отец Браун,— сказал Адамс.— Дело в том, что бриллианты, которые мы все сегодня видели, исчезли у моего друга из заднего кармана. А так как вы...

— А так как я,— продолжал отец Браун, простодушно улыбнувшись,— сидел позади...

— Ничего подобного,— сказал полковник Адамс, в упор глядя на Фишера, из чего можно было заключить, что подобную мысль уже высказывали.— Я только прошу вас, как и всех мужчин, оказать мне помощь.

— То есть вывернуть свои карманы,— закончил отец Браун, и на свет божий появились семь шиллингов шесть пенсов, обратный билет в Лондон, маленькое серебряное распятие, маленький требник и плитка шоколада.

Полковник долго глядел на него, а затем сказал:

— Признаться, содержимое вашей головы интересует меня гораздо больше, чем содержимое ваших карманов. Ведь моя дочь — ваша воспитанница. Так вот, в последнее время она...— Он не договорил.

— В последнее время,— выкрикнул почтенный Фишер,— она открыла двери отцовского дома головорезу-социалисту! Этот молодчик открыто заявляет, что готов украсть все, что угодно, у тех, кто богаче его. И вот пожалуйста!.. Я богатый человек, куда уж богаче!

— Если вас интересует содержимое моей головы, то я могу вас с ним ознакомить,— устало сказал отец Браун.— Чего оно стоит, вы будете судить потом. Вот что я нахожу в этом старейшем из моих карманов: те, кто собираются красть бриллианты, не проповедуют социализма. Скорее уж,— добавил он мягко,— они его осуждают.

Его собеседники быстро переглянулись, а священник продолжал:

— Видите ли, этих людей мы, в общем-то, знаем. Такой социалист не украдет бриллианты, как не украдет он и египетскую пирамиду. Нам бы лучше заняться другим человеком — тем, кого мы не знаем. Этот актер, Флориан... Хотелось бы мне знать, где он сейчас?

Панталоне вскочил и большими шагами вышел из комнаты. В антракте — то есть пока его не было — миллионер взирал на священника, а священник взирал

на свой требник. Наконец Панталоне вернулся и отрывисто сказал:

— Полисмен лежит на сцене. Занавес поднимали шесть раз, а он все еще лежит.

Отец Браун выронил книгу и устался в пространство, словно вдруг сошел с ума. Мало-помалу его серые глаза снова посветлели, и тогда он спросил, казалось бы, не к месту:

— Простите, полковник, когда умерла ваша жена?

— Жена? — удивленно переспросил старый воин. — Два месяца назад. Ее брат, Джеймс, приехал через неделю после ее смерти.

Маленький священник прыгнул, как подстреленный кролик.

— Живее! — воскликнул он с необычайной для себя горячностью. — Живее! Нужно пойти взглянуть на полисмена!

Они нырнули под занавес, чуть не сбив с ног Коломбину и клоуна (которые шептались о чем-то с весьма довольным видом), и отец Браун нагнулся над распростертым комиком-полисменом.

— Хлороформ, — сказал он, выпрямляясь. — И как я раньше не догадался!

Все молчали в недоумении. Потом полковник медленно произнес:

— Пожалуйста, объясните толком, что все это значит?

Отец Браун вдруг громко расхохотался, затем остановился и проговорил, задыхаясь и с трудом подавляя приступы смеха:

— Джентльмены, сейчас не до разговоров. Мне нужно догнать преступника. Этот великий французский актер, который играл полисмена... этот гениальный мертвец, с которым вальсировал Арлекин... которого он баюкал на руках и швырял во все стороны, — просто... — Он не договорил и пустился бежать.

— Да кто же он? — крикнул ему вдогонку Фишер.

— Настоящий полисмен, — ответил отец Браун и скрылся в темноте.

В дальнем конце сада, на фоне сапфирового неба и серебряной луны, сверкали купы вечнозеленых деревьев, и даже в ту зимнюю ночь цвет их был мягок, как па

юге. Веселая зелень колышущихся лавров, глубокая, отливающая пурпуром синева небес, огромный кристалл луны, а сверху, по веткам деревьев, карабкается кто-то странный — не столько романтический, сколько немислимый. Человек этот весь искрится, как будто он усеян десятью миллионами лун, и при каждом его движении свет настоящей луны загорается на нем новыми вспышками голубого пламени. Но, сверкающий и дерзкий, он ловко перебирается с маленького дерева на высокое развесистое дерево в соседнем саду и задерживается только потому, что под маленьким деревом скользнула чья-то тень и голос окликнул его снизу.

— Ну что ж, Фламбо,— произнес голос,— вы действительно похожи на летучую звезду. Но летучая звезда в конце концов всегда становится звездой падучей.

Наверху, в ветвях лавра, человек, искрящийся серебром, наклоняется вперед и, чувствуя себя в безопасности, прислушивается к словам маленького человека.

— Это ваша лучшая проделка, Фламбо. Приехать из Канады (с билетом от Парижа, надо полагать) через неделю после смерти миссис Адамс, когда всем не до вопросов,— ничего не скажешь, ловко придумано. Еще ловчей вы сумели выследить «летучие звезды» и разведать, когда придет Фишер. Но все остальное — не просто ловко, а поистине гениально. Выкрасть камни для вас, конечно, не составляло труда. При вашей ловкости рук вы могли и не прибегать к ослиному хвосту, который вы пытались прицепить к фалдам фишеровского фрака. Но в остальном вы превзошли самого себя.

Серебряный человек в зеленой листве медлит, точно загипнотизированный, хотя путь к бегству открыт; он смотрит с дерева на того, кто внизу.

— Да, да,— говорит тот, кто внизу,— я знаю вас. Я знаю, вы не просто навязали всем эту пантомиму — вы сумели извлечь из нее двойную пользу. Сначала вы собирались украсть эти камни без лишнего шума, но тут один из сообщников известил вас о том, что на ваш след напали и опытный сыщик должен сегодня застать вас на месте преступления. Заурядный вор удрал бы и благодарил бы судьбу, что его предупредили; но вы — поэт. Вам тотчас же пришлось в голову спрятать бриллианты среди блеска бутафорских драгоценностей. И вы решили: если

на вас будет блестящий наряд Арлекина, появление полисмена покажется вполне естественным. Достойный сыщик вышел из здешнего полицейского участка, чтобы поймать вас, и сам угодил в ловушку, хитрее которой еще никто не выдумал. Когда отворились двери, он вошел и попал прямо в рождественскую пантомиму, где пляшущий Арлекин мог его толкать, колотить ногами, кулаками и дубинкой, оглушить и усыпить под дружный хохот самых респектабельных жителей Путни. Да, лучше этого вам никогда ничего не придумать. А сейчас, кстати говоря, вы можете отдать мне бриллианты.

Зеленая ветка, на которой покачивается сверкающее существо, шелестит, словно удивляется, но голос внизу продолжает:

— Я хочу, чтобы вы их бросили мне, Фламбо, и я хочу, чтобы вы бросили такую жизнь. У вас еще есть молодость, честь и юмор, но при вашей профессии надолго их неостанется. Можно держаться на одном и том же уровне добра, но никому никогда не удавалось удержаться на одном уровне зла. Этот путь ведет вниз. Добрый человек пьет и становится жестоким; правдивый человек убивает и потом должен лгать. Много я знал людей, которые начинали, как вы, благородными разбойниками, веселыми грабителями богатых и кончали в мерзости и в грязи. Морис Блюм начинал как анархист по убеждению, отец бедняков, а кончил грязным шпионом и доносчиком, которого обе стороны использовали и презирали. Гарри Бэрк, организатор движения «деньги для всех», был искренне увлечен своей идеей, — теперь он живет на содержании полунищей сестры и пропивает ее последние деньги. Лорд Эмбер отправился в преступный мир на подвиг, как рыцарь; теперь самые подлые лондонские преступники шантажируют его, и он им платит. А капитан Барийон, некогда знаменитый джентльмен-апаш, умер в сумасшедшем доме, помешавшись от страха перед сыщиками и скупщиками краденого, которые его предали и затравили.

Я знаю, у вас за спиной вольный лес, и он очень заманчив, Фламбо. Я знаю, что в одно мгновение вы можете исчезнуть там, как обезьяна. Но когда-нибудь вы станете старой седой обезьяной, Фламбо. Вы будете сидеть в вашем вольном лесу, и на душе у вас будет хо-

лод, и смерть ваша будет близка, и верхушки деревьев будут совсем голыми.

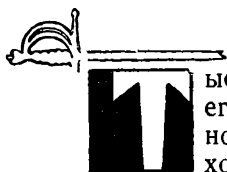
Наверху было по-прежнему тихо; казалось, маленький человек под деревом держал своего собеседника на длинной невидимой привязи. И он продолжал:

— Вы уже сделали первые шаги под гору. Раньше вы хвастались, что никогда не поступаете низко, но сегодня вы совершили низкий поступок. Из-за вас подозрение пало на честного юношу, на которого и так смотрят косо. Вы разлучаете его с девушкой, которую он любит и которая любит его. Но прежде чем умереть, вы совершите еще большие низости.

Три сверкающих бриллианта упали с дерева на землю. Маленький человек нагнулся, чтобы подобрать их, а когда он снова глянул вверх — зеленая клетка была пуста: серебряная птица упорхнула.

Бурным ликованием встретили известие о том, что бриллианты случайно подобраны в саду. И подумать, что на них наткнулся именно отец Браун! А сэр Леопольд с высоты своего благодушия даже сказал священнику, что, хотя сам он и придерживается более широких взглядов, но готов уважать тех, чьи убеждения предписывают им жизнь вдали от суеты, в неведении дел мирских.

СЛОМАННАЯ ШПАГА



Тысячи рук леса были серыми, а миллионы его пальцев — серебряными. В сине-зеленом сланцевом небе, как осколки льда, холодным светом мерцали звезды. Весь этот лесистый и пустынный край был скован жестоким морозом. Черные промежутки между стволами деревьев казались бездонными черными пещерами неумолимого скандинавского ада — ада безмерного холода¹. Даже прямоугольная каменная башня церкви была обращена на север, как языческие постройки, и походила на вышку, сложенную первобытными племенами в прибрежных скалах Исландии. Ничто не располагало в такую ночь к осмотру кладбища. И все-таки, пожалуй, его стоило осмотреть.

Кладбище лежало на холме, который вздымался над пепельными пустынями леса наподобие горба или плеча, покрытого дерном, серым при звездном свете. Большинство могил расположено было по склону; тропа, избежавшая к церкви, крутизною напоминала лестницу. На приплюснутой вершине холма, в самом заметном месте,

¹ По скандинавским поверьям, ад — место, где царствует холод.

стоял памятник, который прославил всю округу. Он резко выделялся среди неприметных могил, ибо создал его один из величайших скульпторов современной Европы; однако слава художника померкла в блеске славы того, чей образ он воссоздал.

Звездный свет очерчивал своим серебряным карандашом массивную металлическую фигуру простертого на земле солдата; сильные руки были сложены в вечной мольбе, а большая голова покоилась на ружье. Исполненное достоинства лицо обрамляла борода, вернее, бакенбарды в старомодном, тяжеловесном вкусе служаки-полковника. Мундир, намеченный несколькими скупыми деталями, был обычной формой современных войск. Справа лежала шпага с отломанным концом, слева — библия. В солнечные летние дни сюда наезжали в переполненных линейках американцы и просвещенные местные жители, чтобы осмотреть памятник. Но даже и в такие дни их угнетала необычайная тишина одинокого круглого холма, заброшенного кладбища и церкви, возвышавшихся над ровными чащами.

В эту темную морозную ночь, казалось, каждый был мог ожидать, что останется наедине со звездами. Но вот в тишине застывших лесов скрипнула деревянная калитка: по тропинке к памятнику солдата поднимались две смутно чернеющие фигуры. При тусклом холодном свете звезд видно было только, что оба путника в черных одеждах и что один из них непомерно велик, а другой (возможно, по контрасту) удивительно мал. Они подошли к надгробью знаменитого воина и несколько минут разглядывали его. Вокруг не было ни единого живого существа; человек с болезненно-мрачной фантазией мог бы даже усомниться, смертны ли они сами. Начало их разговора, во всяком случае, было весьма странным. После минутного молчания маленький путник сказал большому:

— Где умный человек прячет камешек?

И большой тихо ответил:

— На морском берегу.

Маленький кивнул головой и, немного помолчав, снова спросил:

— А где умный человек прячет лист?

И большой ответил:

— В лесу.

Опять наступила тишина, затем большой заговорил снова:

— А когда умному человеку понадобилось спрятать настоящий алмаз, он спрятал его среди поддельных,— вы намекаете на это, не правда ли?

— Нет, нет,— смеясь, возразил маленький,— не будем поминать старое.

Он потопал замерзшими ногами и продолжал:

— Я думаю не об этом, о другом — о совсем необычном. А ну-ка, зажгите спичку.

Большой порылся в кармане, вскоре чиркнула спичка и пламя ее окрасило желтым светом плоскую грань памятника. На ней черными буквами были высечены хорошо известные слова, с благоговением прочитанные толпами американцев:

**В священную память
ГЕНЕРАЛА СЭРА АРТУРА СЕНТ-КЛЭРА,
ГЕРОЯ И МУЧЕНИКА, ВСЕГДА ПОБЕЖДАВШЕГО СВОИХ ВРАГОВ
И ВСЕГДА ШАДИВШЕГО ИХ, НО ПРЕДАТЕЛЬСКИ СРАЖЕННОГО ИМИ.
ДА ВОЗНАГРАДИТ ЕГО ГОСПОДЬ, НА КОТОРОГО ОН УПОВАЛ,
И ДА ОТМСТИТ ЗА ЕГО ПОГИБЕЛЬ.**

Спичка обожгла большому пальцы, почернела и упала. Он хотел зажечь еще одну, но товарищ остановил его:

— Не надо, Фламбо: я видел все, что хотел. Точнее сказать, не видел того, чего не хотел. А теперь нам предстоит пройти полторы мили до ближайшей гостиницы; там я расскажу вам обо всем. Видит бог: только за кружкой эля у камелька осмелишься рассказать такую историю.

Они спустились по обрывистой тропе, заперли ветхую калитку и, звонко топая, зашагали по мерзлой лесной дорожке. Они прошли не меньше четверти мили, прежде чем маленький заговорил снова.

— Умный человек прячет камешек на морском берегу,— сказал он.— Но что ему делать, если берега нет? Знаете ли вы что-нибудь о несчастье, постигшем прославленного Сент-Клэра?

— Об английских генералах я ничего не знаю, отец Браун,— рассмеявшись, ответил большой,— только немного знаком с английскими полицейскими. Зато я от-

лично знаю, какую уйму времени я потратил, таскаясь с вами по всем местам, связанным с именем этого молодца, кто бы он ни был. Можно подумать, его похоронили в шести разных могилах. В Вестминстерском аббатстве я видел памятник генералу Сент-Клэру. На набережной Темзы — статую генерала Сент-Клэра на вздыбленном коне. Один барельеф генерала Сент-Клэра я видел на улице, где он жил, другой — на улице, где он родился, а теперь, в глухую полночь, вы притащили меня на это сельское кладбище. Эта блистательная особа начинает мне чуточку надоедать, тем более что я понятия не имею, кто он такой... Что вы так упорно разыскиваете среди всех этих склепов и изваяний?

— Я ищу одно слово, — сказал отец Браун, — слово, которого здесь нет.

— Может быть, вы что-нибудь расскажете? — спросил Фламбо.

— Свой рассказ мне придется разделить на две части, — заметил священник, — первая часть — это то, что знают все; вторая — то, что знаю только я. Первую можно изложить коротко и ясно. Но она далека от истины.

— Прекрасно, — весело сказал большой человек, которого звали Фламбо. — Давайте начнем с того, что знают все, — с неправды.

— Если это и не совсем ложно, то во всяком случае мало соответствует истине, — продолжал отец Браун. — В сущности, все, что известно широкой публике, сводится к следующему... Ей известно, что Артур Сент-Клэр был выдающимся английским генералом. Известно, что после ряда блестящих, хотя и достаточно осторожных кампаний в Индии и в Африке он был назначен командующим войсками, сражавшимися против бразильцев, когда Оливье, великий бразильский патриот, предъявил свой ультиматум. Известно, что Сент-Клэр незначительными силами атаковал Оливье, у которого были превосходящие силы, и после героического сопротивления был захвачен в плен. Известно также, что после своего пленения генерал, к негодованию всего цивилизованного человечества, был повешен на ближайшем дереве. После ухода бразильцев его нашли в петле, на шее у него висела поломанная шпага.

— И эта версия неверна? — поинтересовался Фламбо.

— Нет,— спокойно сказал его приятель,— все, что я успел рассказать, верно.

— Мне кажется, вы успели рассказать довольно много,— сказал Фламбо.— Если это верно, то в чем же тайна?

Они миновали много сотен серых, похожих на призраки деревьев, прежде чем священник ответил. Задумчиво покусывая палец, он сказал:

— Тайна тут— в психологии, вернее сказать,— в двух психологиях. В этом бразильском деле двое знаменитейших людей современности действовали вопреки своему характеру. Заметьте, оба они, Оливье и Сент-Клэр, были героями— в этом не приходится сомневаться. Это был поединок между Ахиллом и Гектором. Что бы вы сказали о схватке, в которой Ахилл оказался бы нерешительным, а Гектор предателем?

— Продолжайте,— нетерпеливо промолвил Фламбо, когда рассказчик снова начал покусывать палец.

— Сэр Артур Сент-Клэр был солдатом старого религиозного склада, одним из тех, кто спас нас во время Большого бунта¹,— продолжал Браун.— Прёвыше всего для него был долг, а не показная храбрость. При всей своей личной отваге он был безусловно осторожным военачальником и особенно негодовал, узнавая о бесполезных потерях живой силы. Однако в этой последней битве он предпринял действия, нелепость которых очевидна даже ребенку. Не надо быть стратегом, чтобы понять всю безрассудность его затей, как не надо быть стратегом, чтобы не попасть под автобус. Вот первая тайна: что случилось с разумом английского генерала? Вторая загадка: что случилось с сердцем бразильского генерала? Президента Оливье можно называть мечтателем или опасным фанатиком, но даже его враги признавали, что он великодушен, как странствующий рыцарь. Он отпускал на свободу почти всех, кто когда-либо попадал к нему в плен, а многих даже осыпал знаками своей милости. Люди, которые причинили ему бесспорное зло, уходили, тронутые его простотой и добросердечием. Зачем же, черт возьми, решился бы он впервые в своей жизни на такую дьявольскую месть, да еще за нападение, ко-

¹ Имеется в виду индийское национальное восстание 1857 года.

торое не могло ему повредить? Вот в чем тайна. Один из разумнейших людей на свете без всякого основания поступил как идиот. Один из великодушнейших людей на свете без всякого основания поступил как изверг. Вот и все. Об остальном, мой друг, вы можете догадаться сами.

— Э, нет,— ответил его спутник фыркнув.— Я представляю это вам. Расскажите-ка мне обо всем.

— Тогда слушайте,— начал отец Браун.— Было бы несправедливо утверждать, будто все сведения исчерпываются тем, что я рассказал, и обойти молчанием два сравнительно недавних события. Нельзя сказать, чтобы они пролили свет на это дело, ибо никто не может уяснить себе их значения. Но, если так можно выразиться, они еще более затемнили его; обнаружили новые, покрытые мраком обстоятельства. Первое событие. Врач Сент-Клэрв рассорился с этим семейством и начал публиковать целую серию резких статей, в которых доказывает, что покойный генерал был религиозным маньяком; впрочем, поскольку можно судить по его собственным словам, это означает лишь несколько повышенную религиозность. Как бы то ни было, его нападки кончились ничем. Разумеется, все и так знали, что Сент-Клэр был несколько неумерен в своем пуританском благочестии. Второе происшествие заслуживает большего внимания: в злосчастном, лишенном поддержки полку, который совершил отчаянное нападение у Черной реки, служил некий капитан Кейт; в то время он был помолвлен с дочерью генерала и впоследствии на ней женился. Он был среди тех, кто попал в плен к Оливье; надо думать, что с ним, как и со всеми остальными, кроме генерала, обошлись великодушно и вскоре отпустили на свободу. Около двадцати лет спустя Кейт — теперь уже полковник — выпустил в свет нечто вроде автобиографии, озаглавленной «Британский офицер в Бирме и Бразилии». В том месте книги, где читатель жадно ищет сведений о причинах поражения Сент-Клэра, он находит следующие слова: «Везде в своей книге я описывал события точно так, как они происходили в действительности, придерживаясь того устарелого взгляда, что слава Англии не нуждается в прикрасах. Исключение из этого правила я делаю только для поражения при Черной реке.

Для этого у меня есть основания, хотя и личные, но вполне добропорядочные и чрезвычайно веские. Однако, чтобы отдать должное памяти двух выдающихся людей, я добавлю несколько слов. Генерала Сент-Клэра обвиняли в бездарности, которую он якобы проявил в этом сражении; могу засвидетельствовать, что его действия — если только их правильно понимать — едва ли не самые талантливые и дальновидные в его жизни. По тем же донесениям президент Оливье обвиняется в чудовищной несправедливости. Считаю своим долгом восстановить честь врага, заявив, что в данном случае он проявил даже больше добросердечия, чем обычно. Изъясняясь понятнее, хочу заверить своих соотечественников в том, что Сент-Клэр вовсе не был таким глупцом, а Оливье таким злодеем, какими их изображают. Вот все, что я могу сообщить, и никакие земные побуждения не заставят меня прибавить ни слова».

Большая замерзшая луна, похожая на блестящий снежный ком, проглядывала сквозь путаницу ветвей, и при ее свете рассказчик, чтобы освежить память, заглянул в клочок бумаги, вырванный из книги капитана Кейта. Когда он сложил и убрал его в карман, Фламбо вскинул руку — жест, свойственный экспансивным французам.

— Минутку, обождите минутку! — закричал он возбужденно. — Мне кажется, я догадываюсь.

Он шел большими шагами, тяжело дыша, вытянув вперед бычью шею, как спортсмен, участвующий в состязаниях по ходьбе. Священник — повеселевший и заинтересованный — семенил сбоку, едва поспевая за ним. Деревья отступали направо и налево от дороги, сбегавшей вниз по залитой лунным светом поляне и, точно кролик, нырявшей в следующий лес, стоящий сплошной стеной. Издали вход в этот лес казался маленьким и круглым, как черная дыра железнодорожного тоннеля. Но когда Фламбо заговорил снова, дыра была всего в нескольких сотнях ярдов от путников и зияла, как пещера.

— Понял! — вскричал он, ударяя ручищей по бедру. — Четыре минуты размышлений — и теперь я сам могу изложить всю историю.

— Отлично, — согласился его друг, — рассказывайте. Фламбо поднял голову, но понизил голос.

— Генерал Артур Сент-Клэр,—сказал он,— происходит из семьи, страдающей наследственным сумасшествием. Он во что бы то ни стало хотел скрыть это от своей дочери и даже, если возможно, от будущего зятя. Верно или нет, но он думал, что наступает час полного затмения рассудка, и потому решил покончить с собой. Обычное самоубийство привело бы к огласке, которой он так страшился. Когда начались военные действия, разум его помутился, и в приступе безумия он пожертвовал общественным долгом ради своей личной чести. Генерал стремительно бросился в битву, рассчитывая пасть от первого же выстрела. Но когда он обнаружил, что не добился ничего, кроме позора и плена, безумие, как взрыв бомбы, поразило его сознание, он сломал собственную шпагу и повесился.

Фламбо уставился на серую стену леса с единственной черной щелью, похожей на разверстую могилу,—туда ныряла их тропа. Должно быть, в том, что дорогу проглаживал лес, было что-то жуткое; он еще ярче представил себе трагедию и вздрогнул.

— Страшная история,—проговорил он.

— Страшная история,—наклонив голову, подтвердил священник.— Но на самом деле произошло совсем другое.— В отчаянии откинув голову, он воскликнул:— О, если бы все было так, как вы описали!

Фламбо повернулся и посмотрел на него с удивлением.

— В том, что вы рассказали, нет ничего дурного,—глубоко взволнованный, заметил отец Браун.— Это рассказ о хорошем, честном, бескорыстном человеке,—светлый и ясный, как эта луна. Сумасшествие и отчаяние заслуживают снисхождения. Все значительно хуже.

Фламбо бросил испуганный взгляд на луну, которую отец Браун только что упомянул в своем сравнении,—ее пересекал изогнутый черный сук, похожий на рог дьявола.

— Как! — с порывистым жестом вскричал Фламбо и быстрее зашагал вперед.— Даже еще хуже?

— Даже еще хуже,—как эхо, мрачно откликнулся священник.

И они вступили в черную галерею леса, словно задернутую по бокам дымчатым гобеленом стволов,—такие темные переходы могут привидеться разве что в кошмаре.

Вскоре они достигли самых потаенных недр леса; здесь ветвей уже не было видно, путники только чувствовали их прикосновение. И снова раздался голос священника:

— Где умный человек прячет лист? В лесу. Но что ему делать, если леса нет?

— Да, да,— отозвался Фламбо раздраженно,— что ему делать?

— Он сажает лес, чтобы спрятать лист,— сказал священник приглушенным голосом.— Страшный грех!

— Послушайте! — воскликнул его товарищ нетерпеливо, так как темный лес и темные недомолвки стали действовать ему на нервы.— Расскажите вы эту историю или нет? Что вы еще знаете?

— У меня имеются три свидетельских показания,— начал его собеседник,— которые я отыскал с немалым трудом. Я расскажу о них скорее в логической, чем в хронологической последовательности. Прежде всего, о ходе и результате битвы сообщается в донесениях самого Оливье, которые достаточно ясны. Он вместе с двумя-тремя полками окопался на высотах у Черной реки, оба берега которой заболочены. На противоположном берегу, где местность поднималась более отлого, располагался первый английский аванпост. Основные части находились в тылу, на значительном от него расстоянии. Британские войска во много раз превосходили по численности бразильские, но этот передовой полк настолько оторвался от базы, что Оливье уже обдумывал план переправы через реку, чтобы отрезать его. Однако к вечеру он решил остаться на прежней позиции, исключительно выгодной. На рассвете следующего дня он был ошеломлен, увидев, что отбившаяся, лишенная поддержки с тыла горсточка англичан переправляется через реку — частично по мосту, частично вброд — и группируется на болотистом берегу, чуть ниже того места, где находились его войска.

То, что англичане с такими силами решились на атаку, было само по себе невероятным, но Оливье увидел нечто еще более поразительное. Солдаты сумасшедшего полка, своей безрассудной переправой через реку отрезавшие себе путь к отступлению, даже не пытались обратиться на твердую почву: они бездействовали, завязнув

в болоте, как мухи в патоке. Не стоит и говорить, что бразильцы пробили своей артиллерией большие бреши в рядах врагов; англичане могли противопоставить ей лишь оживленный, но слабеющий ружейный огонь. И все-таки они не дрогнули; краткий рапорт Оливье заканчивается горячим восхищением загадочной доблестью этих безумцев. «Затем мы стали продвигаться вперед развернутым строем,— пишет Оливье,— и загнали их в реку; мы взяли в плен самого генерала Сент-Клэра и нескольких других офицеров. Полковник и майор — оба пали в этом сражении. Не могу удержаться, чтобы не отметить, что история видела не много таких прекрасных зрелищ, как последний бой этого доблестного полка; раненые офицеры подбирали ружья убитых солдат, сам генерал сражался на коне, с непокрытой головой, шпага его было сломана». О том, что случилось с генералом позднее, Оливье умалчивает, как и капитан Кейт.

— А теперь,— проворчал Фламбо,— расскажите мне о следующем показании.

— Чтобы разыскать его,— сказал отец Браун,— мне пришлось потратить много времени, но рассказ о нем будет короток. В одной из богаделен в линкольнширских болотах мне удалось найти старого солдата, который был не только ранен у Черной реки, но стоял на коленях перед командиром части, когда тот умирал. Этот последний, некий полковник Кланси, здоровеннейший ирландец, надо думать, умер не столько от ран, сколько от ярости. Он-то, во всяком случае, не несет ответственности за нелепую вылазку — вероятно, она была навязана ему генералом. Солдат передал мне предсмертные слова полковника: «Вот едет проклятый старый осел. Жаль, что он сломал шпагу, а не голову». Обратите внимание, все замечают эту шпагу, хотя большинство людей выражается о ней более почтительно, чем покойный полковник Кланси. Перехожу к последнему показанию...

Тропа, идущая сквозь лесную чащу, стала подниматься вверх, и священник остановился, чтобы передохнуть, прежде чем возобновить рассказ.

Затем он продолжал тем же деловым тоном:

— Всего один или два месяца назад в Англии скончался высокопоставленный бразильский чиновник. Посорившись с Оливье, он уехал из родной страны. Это

была хорошо известная личность как здесь, так и на континенте,— испанец, по фамилии Эспадо, желтолицый крючконосый щеголь; я был с ним лично знаком. По некоторым причинам частного порядка я добился разрешения просмотреть оставшиеся после него бумаги. Разумеется, он был католиком, и я находился с ним до самой кончины. Среди его бумаг не нашлось ничего, что могло бы осветить темные места сентклэрзовского дела, за исключением пяти-шести школьных тетрадей, оказавшихся дневником какого-то английского солдата. Я могу только предположить, что он был найден бразильцами на одном из убитых. К сожалению, записи обрываются накануне стычки.

Но описание последнего дня жизни этого бедного малого несомненно стоит прочесть. Оно при мне, но сейчас так темно, что ничего не разобрать. Перескажу его вкратце. Первая часть наполнена шуточками, которые, как видно, были в ходу у солдат, по адресу одного человека, прозванного Стервятником. Кто он был, сказать трудно, по-видимому, он не принадлежал к их рядам и даже не был англичанином. Не говорят о нем и как о враге. Скорее всего, это был какой-то нейтральный посредник из местных жителей, возможно проводник или журналист. Он о чем-то совещался наедине со старым полковником Кланси, но значительно чаще видели, как он беседует с майором. Этот майор занимает видное место в повествовании моего солдата. По описанию, он был худощавым темноволосым человеком, по фамилии Меррей, пуританином, родом из Северной Ирландии. Во многих остротах суровость этого олстерца¹ противопоставляется общительности полковника Кланси. Встречаются также словечки, высмеивающие яркую и пеструю одежду Стервятника.

Но все это легкомыслие рассеивается при первых признаках тревоги. Позади английского лагеря, почти параллельно реке, проходила одна из немногочисленных больших дорог. На западе она сворачивала к реке, пересекала ее по мосту. К востоку дорога снова углублялась в дикие лесные заросли, а двумя милями дальше стоял следующий английский аванпост. В тот вечер солдаты заметили в этом направлении блеск оружия и услы-

¹ Олстер — область в Северной Ирландии.

шали топот легкой кавалерии; даже неискушенный автор дневника догадался, что едет генерал со своим штабом. Он восседал на большом белом коне, которого мы часто видели в иллюстрированных газетах и на академических полотнах. Можете не сомневаться, что приветствие, которым его встретили солдаты, было не пустой церемонией. Сам он между тем не тратил времени на церемонии: соскочив с седла, он присоединился к группе офицеров и принялся оживленно и конфиденциально беседовать с ними. Наш друг, автор дневника, заметил, что генерал охотнее всего обсуждает дела с майором Мерреем, но такое предпочтение, пока оно не стало подчеркнутым, казалось вполне естественным. Эти люди были словно созданы для взаимного понимания: оба они, как говорится, «читали свои библии», оба были офицерами старого евангелического толка. Во всяком случае, достоверно, что когда генерал снова садился в седло, он продолжал серьезный разговор с Мерреем, а когда пустил лошадь медленным шагом по дороге, высокий олстерец все еще шел у поводу коня, поглощенный беседой. Солдаты наблюдали за ними, пока они не скрылись в небольшой рощице, где дорога поворачивала к реке. Полковник Кланси возвратился к себе в палатку, солдаты отправились на посты, автор дневника задержался еще на несколько минут и увидел изумительное зрелище.

Прямо по направлению к лагерю неся большой белый конь, который только что, словно на параде, медленно выступал по дороге. Он летел стрелой, точно приближаясь на скачках к финишу. Сперва солдаты подумали, что он сбросил седока, но скоро увидели, что это сам генерал — превосходный наездник — гнал его во весь опор. Конь и человек словно вихрь подлетели к солдатам; круто осадив скакуна, генерал повернул к ним лицо, от которого, казалось, исходило пламя, и голосом, подобным звукам трубы в день страшного суда, потребовал к себе полковника.

Замечу кстати, что в головах таких людей, как наш солдат, потрясающие события этой катастрофы громоздятся друг на друга, словно груда бревен. Не успев опомниться после сна, солдаты становятся, едва не падая, в строй и узнают, что должны немедленно переправиться через реку и начать атаку, Им сообщают: генерал

и майор обнаружили что-то у моста, и теперь для спасения жизни остается одно: незамедлительно напасть на врага. Майор срочно отправился в тыл вызвать резервы, стоящие у дороги. Однако сомнительно, чтобы подкрепления подошли вовремя, даже несмотря на спешку. Ночью полк должен форсировать реку и к утру овладеть высотами. Этой тревожной и волнующей картиной романтического ночного марша дневник внезапно заканчивается...

Лесная тропа делалась все уже, круче и извилистей, пока не стала походить на винтовую лестницу. Отец Браун шел впереди, и теперь его голос доносился сверху.

— Там упоминается еще об одной небольшой, но очень важной подробности. Когда генерал призывал их к атаке, он наполовину вытащил шпагу из ножен, но потом, устыдившись своего мелодраматического порыва, вдвинул ее обратно. Как видите, опять эта шпага!

Слабый полусвет прорывался сквозь сплетение сучьев над головами путников и отбрасывал к их ногам призрачную сеть: они снова приближались к тусклому свету открытого неба. Истина окутывала Фламбо, как воздух, но он не мог выразить ее. Он ответил в замешательстве:

— Что же тут особенного? Офицеры обычно носят шпаги, не так ли?

— В современной войне о них не часто упоминают, — бесстрастно произнес рассказчик, — но в этом деле повсюду натыкаешься на проклятую шпагу.

— Ну и что же из этого? — пробурчал Фламбо. — Дешевая сенсация: шпага старого воина ломается в его последней битве. Готов побиться об заклад, что газеты прямо-таки набросились на этот случай. На всех этих гробницах и тому подобных штуках шпагу генерала всегда изображают с отломанным концом. Надеюсь, вы потащили меня в эту полярную экспедицию не только из-за того, что два романтически настроенных человека видели сломанную шпагу Сент-Клэра?

— Нет! — Голос отца Брауна прозвучал резко, как револьверный выстрел. — Но кто видел шпагу целой?

— Что вы хотите сказать? — воскликнул его спутник и остановился как вкопанный.

Они не заметили, как вышли из серых ворот леса на открытое место.

— Я спрашиваю, кто видел его шпагу целой? — настойчиво повторил отец Браун. — Только не тот, кто писал дневник: генерал вовремя убрал ее в ножны.

Освещенный лунным сиянием, Фламбо огляделся вокруг невидящим взглядом — так человек, пораженный слепотой, смотрит на солнце, — а его товарищ, в голосе которого впервые зазвучали страстные нотки, продолжал:

— Даже обыскав все эти могилы, Фламбо, я ничего не могу доказать. Но я уверен в своей правоте. Разрешите мне добавить к своему рассказу одну небольшую подробность, которая переворачивает все вверх дном. По странной случайности одним из первых пуля поразила полковника. Он был ранен задолго до того, как войска вошли в непосредственное соприкосновение. Но он видел уже сломанную шпагу Сент-Клэра. Почему она была сломана? Как она была сломана? Мой друг, она сломалась еще до сражения!

— О, — заметил его товарищ с напускной веселостью. — А где же отломанный кусок?

— Могу вам ответить, — быстро сказал священник, — в северо-восточном углу кладбища при протестантском соборе в Бельфасте.

— В самом деле? — переспросил его собеседник. — Вы уже искали его там?

— Это невозможно, — с искренним сожалением ответил Браун. — Над ним находится большой мраморный памятник — памятник героическому майору Меррею, который пал смертью храбрых в знаменитой битве при Черной реке.

Казалось, по телу Фламбо пробежал гальванический ток.

— Вы хотите сказать, — сиплым голосом воскликнул он, — что генерал Сент-Клэр ненавидел Меррея и убил его на поле сражения, потому что...

— Вы все еще полны чистых, благородных предположений, — сказал священник. — Все было гораздо хуже.

— В таком случае, — сказал большой человек, — запас моего дурного воображения истощился.

Священник, видимо, раздумывал, с чего начать, и наконец сказал:

— Где умный человек прячет лист? В лесу.

Фламбо молчал

— Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес.

Ответа опять не последовало, и священник добавил еще мягче и тише:

— А если ему надо спрятать мертвое тело, он прячет его под грудой мертвых тел.

Фламбо шагал вперед так, словно малейшая задержка во времени или пространстве была ему ненавистна, но отец Браун продолжал говорить, как бы развивая свою последнюю мысль:

— Сэр Артур Сент-Клэр, как я уже сказал, был одним из тех, кто «читает свою библию». Этим сказано все. Когда, наконец, люди поймут, что бесполезно читать только свою библию и не читать при этом библии других людей? Наборщик читает свою библию, чтобы найти опечатки; мормон читает свою библию и находит многобрачие; последователь «христианской науки» читает свою библию и обнаруживает, что наши руки и ноги — только видимость. Сент-Клэр был старым англо-индийским солдатом протестантского склада. Подумайте, что это может означать, и, ради всего святого, отбросьте ханжество! Это может означать, что он был распущенным человеком, жил под тропическим солнцем среди отбросов восточного общества и, никем духовно не руководимый, без всякого разбора впитывал в себя поучения Восточной книги. Без сомнения, он читал Ветхий завет охотнее, чем Новый. Без сомнения, он находил в Ветхом завете все, что хотел найти: похоть, насилие, измену. Осмелюсь сказать, что он был честен в общепринятом смысле слова. Но что толку, если человек честен в своем поклонении бесчестности?

В каждой из таинственных знойных стран, где довелось побывать этому человеку, он заводил гарем, пытал свидетелей, накапливал грязное золото. Конечно, он сказал бы с открытым взором, что делает это во славу господ. Я выражу свои сокровенные убеждения, если спрошу: какого господ? Каждый такой поступок открывает новые двери, ведущие из круга в круг по аду. Не в том беда, что преступник становится необузданней и необузданней, а в том, что он делается подлее и подлее. Вскоре Сент-Клэр запутался во взяточничестве и шантаже, ему требовалось все больше и больше золота. Ко времени

битвы у Черной реки он пал уже так низко, что место ему было лишь в последнем кругу Данте¹.

— Что вы хотите сказать? — спросил его друг.

— А вот что, — решительно вымолвил священник и вдруг указал на лужицу, затянутую ледком, поблескивающим под лунным светом. — Вы помните, кого Данте поместил в последнем, ледяном кругу ада?

— Предателей, — сказал Фламбо и невольно вздрогнул. Он обвел взглядом безжизненные, дразняще-бесстыдные деревья и на миг вообразил себя Данте, а священника с журчащим, как ручеек, голосом — Вергилием, своим проводником в краю вековых грехов.

Голос продолжал:

— Как известно, Оливье отличался донкихотством: он запретил секретную службу и шпионаж. Однако запрещение, как это часто бывает, обходили за его спиной. И нарушителем был не кто иной, как наш старый друг Эспадо, тот самый пестро одетый хлыщ, которого прозвали Стервятником за его крючковатый нос. Напялив на себя маску благотворителя, он прощупывал солдат английской армии, пока не натолкнулся на единственного продажного человека. И, о боже, он оказался тем, кто стоял на самом верху! Генералу Сент-Клэру позарез требовались деньги — целые горы денег. Незадачливый врач Сент-Клэров уже тогда угрожал теми необычайными разоблачениями, с которыми выступил впоследствии, но почему-то они были внезапно прекращены; носились слухи о чудовищных злодеяниях, совершенных некогда английским евангелистом на Парк-Лейн², — преступления ничуть не лучших, чем человеческие жертвоприношения или продажа людей в рабство. К тому же деньги нужны были на приданое дочери: слава, которая сопутствует богатству, была ему так же дорога, как само богатство. Порвав последнюю нить, он шепнул слово бразильцам — и золото потекло к нему от врагов Англии. Но не только он, еще один человек говорил с Эспадо-Стервятником. Каким-то образом угрюмый молодой майор из Олстера сумел догадаться об этой отвратитель-

¹ Данте Алигьери (1265—1321) — великий итальянский поэт. В его поэме «Божественная комедия» предателям отводится место в последнем кругу ада.

² Парк-Лейн — фешенебельная улица в Лондоне.

ной сделке, и, когда они не спеша двигались по дороге к мосту, Меррей заявил генералу, что тот должен немедленно выйти в отставку, иначе он будет судим военнопольным судом и расстрелян.

Генерал оттягивал решительный ответ, пока они не подошли к тропической роще у моста. И здесь, на берегу журчащей реки, у залитых солнцем пальм,— я отчетливо вижу это — генерал выхватил шпагу и заколол майора...

Лютый мороз сковал зимнюю дорогу, окаймленную зловещими черными кустами и деревьями. Путники приближались к тому месту, где дорога переваливала через гребень холма, и Фламбо почудилось, что далеко впереди виднеется неясный ореол, возникший не от лунного или звездного света, а от огня, зажженного человеческой рукой. Рассказ уже близился к концу, а он все не мог оторвать взгляд от далекого огонька.

— Сент-Клэр был исчадием ада, настоящим исчадием ада. Никогда — я готов в этом поклясться! — не проявил он такой ясности ума и такой силы воли, как в ту минуту, когда бездыханное тело бедного Меррея лежало у его ног. Никогда ни в одном из своих триумфов, как правильно отметил капитан Кейт, не был так прозорлив этот одареннейший человек, как в последнем позорном сражении. Он хладнокровно осмотрел свое оружие, чтобы убедиться, что на нем не осталось следов крови, и увидел, что конец шпаги, которой он заколол Меррея, отломался и остался в теле жертвы. Спокойно — так, словно он глядел на происходящее из окна клуба,— Сент-Клэр обдумал все возможные последствия. Он понял, что рано или поздно люди найдут подозрительный труп, извлекут подозрительный обломок, заметят подозрительную сломанную шпагу. Он убил, но не заставил замолчать. Его могучий разум восстал против этого непредвиденного затруднения; оставался еще один выход: сделать труп менее подозрительным, скрыть его под горой трупов! Через двадцать минут восемьсот английских солдат двинулись навстречу гибели...

Теплый свет, мерцающий за черным зимним лесом, стал сильнее и ярче, и Фламбо зашагал быстрее. Отец Браун также ускорил шаг, но казалось, он целиком поглощен своим рассказом.



И здесь, у залитых солнцем пальм, генерал выхватил шпагу и заколол майора...

— Таково было мужество этих английских солдат и таков гений их командира, что, если бы они без промедления атаковали холм, сумасшедший бросок мог бы увенчаться успехом. Но у злой воли, которая играла ими, как пешками, была совсем другая цель. Они должны были торчать в топах у моста до тех пор, пока трупы британских солдат не станут привычным зрелищем. Потом— величественная заключительная сцена: седовласый солдат, непорочный как святой, отдает свою сломанную шпагу, чтобы прекратить дальнейшее кровопролитие. О, для экспромта это было недурно выполнено! Но я предполагаю — не могу этого доказать,— я предполагаю, что, пока они сидели в кровавой трясине, у кого-то зародились сомнения и кто-то угадал правду...— Он замолчал, а потом добавил:— Внутренний голос подсказывает мне, что это был жених его дочери, ее будущий муж.

— Но почему же тогда Оливье повесил Сент-Клэра? — спросил Фламбо.

— Отчасти из рыцарства, отчасти из политических соображений Оливье редко обременял свои войска пленными,— объяснил рассказчик.— В большинстве случаев он всех отпускал. И в тот раз он отпустил всех.

— Всех, кроме генерала,— поправил высокий человек.

— Всех,— повторил священник.

Фламбо нахмурил черные брови.

— Я не совсем понимаю вас,— сказал он.

— А теперь я нарисую вам другую картину, Фламбо,— таинственным полусшепотом начал Браун.— Я ничего не могу доказать, но — и это важнее! — я вижу все. Представьте себе военный лагерь, который снимается утром с голых, выжженных зноем холмов, и мундир-бразильцев, выстроенных в походные колонны. На ветру развеваются красная рубаша и длинная черная борода Оливье, в руке он держит широкополую шляпу. Он прощается со своим врагом и отпускает его на свободу — простого английского ветерана с белой как снег головой, который благодарит его от имени своих солдат. Оставшиеся в живых англичане стоят навтыжку позади генерала, рядом — запасы провианта и повозки для отступления. Рокочут барабаны — бразильцы трогаются в путь, англичане стоят как изваяния. Они не шевелятся до того момента, пока бразильцы не скрываются за тропическим

горизонтом и не затихает топот их ног. Тогда, словно воскресшие мертвецы, они сразу ломают строй; к генералу обращаются пятьдесят лиц — лиц, которые нельзя забыть.

Фламбо подскочил от возбуждения.

— О! — воскликнул он. — Неужели?..

— Да, — сказал отец Браун глубоким взволнованным голосом. — Это рука англичанина накинута петлю на шею Сент-Клэра — думаю, та же рука, которая надела кольцо на палец его дочери. Это руки англичан подтащили его к дереву позора, руки тех самых людей, которые преклонялись перед ним и шли за ним, веря в победу. Это глаза англичан — да простит и укрепит нас господь — смотрели на него, когда он висел в лучах чужеземного солнца на зеленой виселице-пальме! И это англичане молились о том, чтобы душа его провалилась прямо в ад.

Как только путники достигли гребня холма, навстречу им хлынул яркий свет, пробивавшийся сквозь красные занавески гостиничных окон. Гостиница стояла у обочины дороги, маня прохожих своим гостеприимством. Три ее двери были приветливо раскрыты, и даже с того места, где стояли отец Браун и Фламбо, слышались говор и смех людей, которым посчастливилось найти приют в такую ночь.

— Вряд ли нужно рассказывать о том, что случилось дальше, — сказал отец Браун. — Они судили его и там же, на месте, казнили; потом, ради славы Англии и доброго имени его дочери, поклялись молчать о набитом кошельке изменника и сломанной шпаге убийцы. Должно быть — помоги им в этом небо! — они попытались обо всем забыть. Попытаемся забыть и мы. А вот и гостиница.

— Забыть? С удовольствием! — сказал Фламбо. Он уже стоял перед входом в шумный, ярко освещенный бар, как вдруг попятился и чуть не упал. — Посмотрите-ка, что за чертовщина! — закричал он, указывая на прямоугольную деревянную вывеску над входом. На ней красовалась грубо намалеванная шпага с укороченным лезвием и псевдоархаичными буквами было начертано: «Сломанная шпага».

— Что ж тут такого? — пожал плечами отец Браун. — Он — кумир всей округи; добрая половина гостиниц, парков и улиц названа в честь генерала и его подвигов.

— А я-то думал, мы покончили с этим прокаженным! — вскричал Фламбо и сплюнул на дорогу.

— В Англии с ним никогда не покончат, — ответил священник, — до тех пор, пока тверда бронза и не рассыпался камень. Столетиями его мраморные статуи будут вдохновлять души гордых наивных юношей, а его сельская могила станет символом верности, подобно цветку лилии. Миллионы людей, никогда не знавших его, будут как родного отца любить этого человека, с которым поступили как с дерьмом те, кто его знал. Его будут почитать как святого, и никто не узнает правды, — так я решил. В разглашении тайны много и плохих и хороших сторон, — правильность своего решения я проверю на опыте. Все эти газеты исчезнут, антибразильская шумиха уже кончилась, к Оливье повсюду относятся с уважением. Но я дал себе слово: если хоть где-нибудь появится надпись — на металле или на мраморе, долговечном, как пирамиды, — несправедливо обвиняющая в смерти генерала полковника Кланси, капитана Кейта, президента Оливье или другого невинного человека, тогда я заговорю. А если все ограничится незаслуженным восхвалением Сент-Клэра, я буду молчать. И я сдержу свое слово!

Они вошли в таверну, которая оказалась не только уютной, но даже роскошной. На одном из столов стояла серебряная копия памятника с могилы Сент-Клэра — серебряная голова склонена, серебряная шпага сломана. Стены таверны были увешаны цветными фотографиями: одни изображали все ту же гробницу, другие — экипажи, в которых приезжали осматривать ее туристы. Отец Браун и Фламбо уселись в удобные мягкие кресла.

— Ну и холод! — воскликнул отец Браун. — Выпьем вина или пива?

— Лучше бренди, — сказал Фламбо.

НЕВИДИМКА



В прохладных голубых сумерках кондитерская на перекрестке двух крутых улиц Кемден-Тауна светилась, как зажженная сигара. Вернее даже сказать, она сверкала как фейерверк, ибо сияние ее, многоцветное и причудливое, дробилось в зеркалах, играло на разукрашенных тортах и пестрых конфетных обертках. К ярко освещенной витрине прильнуло несколько мальчишечьих носов: шоколадные конфеты были обернуты в красную, зеленую и золотую фольгу, которая привлекала не меньше самих конфет, а огромный белый свадебный торт казался недоступно заманчивым, словно съедобный Северный полюс. Такие радужные соблазны, естественно, притягивали к себе окрестных жителей возрастом до десяти—двенадцати лет. Но, вероятно, этот уголок не лишен был привлекательности и для старших: ту же самую витрину внимательно рассматривал молодой человек лет двадцати четырех. Его тоже влекла к себе ярко освещенная кондитерская; правда, в данном случае ее притягательная сила объяснялась не только шоколадками, которыми он, впрочем, отнюдь не пренебрегал.

Он был высокий, крепкий, рыжеволосый, решительный с виду, однако сейчас он явно робел. Под мышкой он держал папку с рисунками, которые — с переменным успехом — продавал издателям с тех самых пор, как дядя-адмирал лишил его наследства за сочувствие социалистам, проявившееся в том, что он прочел однажды доклад против их экономической теории. Молодого человека звали Джон Террибул Энгюс.

Переступив, наконец, порог, он прошел через кондитерскую в другую комнату, где было кафе, а на ходу приподнял шляпу, здороваясь с девушкой в черном платье, стоявшей за прилавком. Она была темноволосая, проворная, румяная, с живыми темными глазами. Выждав немного, она пошла за ним, чтобы принять заказ.

Заказ, по-видимому, всегда был один и тот же.

— Прошу вас, одну полупенсовую булочку и чашку черного кофе, — педантично сказал он.

Не успела девушка отойти, как он добавил:

— И еще я прошу вас выйти за меня замуж.

Молодая хозяйка кондитерской холодно взглянула на него и сказала:

— Не терплю подобных шуток.

Рыжеволосый юноша поднял на нее серьезные серые глаза.

— Поверьте, — сказал он, — для меня это так же серьезно, как полупенсовая булочка. Так же дорого, так же неудобоваримо и причиняет такие же страдания.

Темноволосая девушка не сводила с него темных глаз, внимательно и напряженно вглядывалась в него. Наконец она слабо улыбнулась и, прервав свои наблюдения, опустилась на стул.

— А вам не кажется, — сказал Энгюс задумчиво, — что просто жестоко есть полупенсовые булочки? Пора перейти на пенсовые. Когда мы поженимся, я брошу эти дикие забавы.

Темноволосая девушка встала и подошла к окну; кажется, она задумалась, хотя хмуриться уже перестала. Когда же она решительно обернулась, то с удивлением увидела, что молодой человек старательно расставляет на столе разные предметы, снятые с витрины. Тут была пирамида конфет в ярких обертках, несколько тарелок с сэндвичами и два графина, наполненные загадоч-

ными винами, украшающими окна кондитерских. В центр искусно сервированного стола он поместил огромный белый торт — главное украшение витрины.

— Господи, что вы делаете? — простонала она.

— То, что нужно, дорогая Лаура... — начал он.

— Ради бога, постойте минутку! — воскликнула она. — И перестаньте так со мной разговаривать! Я вас спрашиваю, что это такое?

— Торжественный ужин, мисс Хоуп.

— А это? — спросила она нетерпеливо, указывая на обсахаренную гору.

— Свадебный торт, миссис Энгюс, — отвечал он.

Девушка направилась к столу, схватила торт и водворила обратно, в витрину. Затем она вернулась и, опершись локотками о стол, посмотрела на молодого человека не то чтобы неблагосклонно, но и не слишком приветливо.

— Вы совершенно не даете мне подумать, — сказала она.

— Я не так глуп, — возразил он. — Не правда ли, я полон христианского смирения?

Она все смотрела на него, губы ее улыбались, но глаза были серьезны.

— Мистер Энгюс, — твердо сказала она, — пока вы еще что-нибудь не натворили, я должна рассказать вам о себе.

— Превосходно, — серьезно отвечал Энгюс. — Если уж на то пошло, вы смогли бы поговорить и обо мне.

— Помолчите, пожалуйста, и послушайте, — сказала она. — Стыдиться мне нечего. Мне даже не в чем особенно каяться. Понимаете, это совершенно не касается меня, а все-таки преследует, как кошмар.

— В таком случае, — серьезно сказал он, — я предложил бы вам принести торт обратно.

— Нет, выслушайте сначала, — настойчиво продолжала Лаура. — Прежде всего должна вам сказать, что мой отец содержал в Лудбери гостиницу «Красная рыба», а я прислуживала в баре.

— Недаром я часто спрашивал себя, — заметил он, — почему у этой кондитерской такой христианский вид? ¹

¹ Рыба была священным знаком в ранней христианской символике.

— Лудбери — сонное, заросшее травой захолустье в одном из восточных графств. В «Красную рыбу» заходили одни коммивояжеры да всякий сброд — вы таких и не видели, наверное. Настоящие хлыщи, лоботрясы — деньги есть, а делать нечего, вот они и слоняются по барам или играют на скачках. Но и они бывали не часто, кроме двоих. Эти двое от нас не выходили. У них были кое-какие деньги, одевались они фатовато и абсолютно ничего не делали. И все-таки я их немножко жалела; мне иногда казалось, что повадились они в наш маленький пустой бар, потому что деревенские зеваки над ними бы смеялись: они были уродцы, нет, лучше сказать, с изъяном. Один из них был очень маленький, почти карлик, не выше жокея. Впрочем, он совсем не казался смешным. У него была круглая голова, черные волосы, аккуратная черная бородка и блестящие птичьи глазки; он позванивал деньгами, позвякивал большой золотой цепочкой от часов, одевался безупречно, и сразу было видно, что он не настоящий джентльмен. Он бил баклуши, но глупым его не назовешь — у него редкие способности ко всяким бесполезным вещам. То он показывал фокусы, то устраивал фейерверк из пятнадцати спичек, загоравшихся одна от другой, то вырезал балерин из банановой кожуры. Звали его Айседор Смайс. Я как сейчас вижу: он подходит к стойке, маленький такой, смуглый, и мастерит скачущего кенгуру из пяти сигар.

Другой был потише и позауряднее, но почему-то беспокоил меня гораздо больше, чем несчастный Смайс. Он был высокий, стройный, белокурый, с орлиным носом — в общем, совсем бы ничего, хоть и похож на привидение, если бы он так не косил. Когда он смотрел прямо на вас, вы не знали, куда он смотрит, и даже как-то переставали понимать, где вы сами находитесь. Оттого он, наверное, и озлобился. Смайс был всегда рад показать свои фокусы, а Джеймс Уэлкин (так звали косоглазого) только потягивал у нас вино да подолгу бродил один по серым окрестным равнинам. Я думаю, и Смайс страдал из-за своего роста, но он переносил несчастье более стойко. И вот однажды оба они удивили меня, и испугали, и огорчили — короче говоря, чуть ли не вместе сделали мне предложение.

Тут я поступила, кажется, довольно глупо. Но ведь,

в конце концов, я дружила с этими уродцами и очень боялась, как бы они не догадались, что отказываю им из-за их внешности. Для отвода глаз я сказала, что всегда хотела выйти за человека, который сам пробил себе дорогу,— мол, не в моих принципах жить на деньги, доставшиеся по наследству. А два дня спустя после этой благонамеренной речи начались неприятности. Я узнала, что оба они отправились искать счастья, совсем как в какой-нибудь глупой сказке.

С тех пор я их больше не видела. Правда, я получила два письма от крошки Смайса, и они меня немного взволновали.

— А о другом вы что-нибудь знаете? — спросил Энгюс.

— Нет, он ни разу не писал,— ответила девушка, помолчав немного.—В первом письме Смайс сообщил только, что отправился с Уэлкином пешком в Лондон, но Уэлкин шел быстро, так что он отстал и присел отдохнуть у дороги. Там его подобрал бродячий цирк. То ли рост ему помог, то ли ловкость, но в цирке он имел успех, и скоро его пригласили в «Аквариум» показывать какие-то фокусы. Это было его первое письмо. Второе я получила на прошлой неделе, и оно поразило меня еще больше.

Человек, по фамилии Энгюс, выпил кофе и посмотрел на девушку кротким, терпеливым взглядом. Слегка улыбнувшись, она продолжала:

— Вы, наверное, видели рекламы «Безмолвной услуги Смайса»? Ну, тогда только вы один их и не видели! Я о них знаю очень мало; это какие-то машины для домашней работы, вроде автоматов: «Нажмите кнопку — и к вашим услугам непьющий дворецкий», «Поверните ручку — и к вашим услугам десять горничных безупречного поведения». Неужели не видели? В общем, они приносят кучу денег, так что мой маленький поклонник из Лудбери очень разбогател. Я, конечно, рада, что бедняга встал на ноги, но мне подумать страшно — вдруг он явится и скажет, что пробил себе дорогу в жизни? А ведь так оно и есть.

— Ну, а другой? — упрямо и спокойно повторил Энгюс.

Лаура Хоуп порывисто встала.

— Друг мой,— сказала она,— вы просто ясновидец.

От другого я не получила ни строчки и ничего о нем не знаю. Но именно его-то я и боюсь. Он все время стоит у меня на пути... Я чуть с ума не сошла. А может, и сошла — я чувствую, что он рядом, когда этого просто не может быть, и слышу его голос, когда знаю, что его нет поблизости.

— Ну что ж, дорогая, — весело сказал молодой человек, — даже если это сам сатана, с ним покончено, раз вы о нем рассказали. С ума сходят только в одиночестве. Однако когда же именно вам померещилось, будто вы встретили или услышали вашего косоглазого друга?

— Я слышала смех Джеймса Уэлкина так же ясно, как слышу сейчас ваш голос, — твердо сказала девушка. — Рядом не было никого, потому что я стояла на углу у самой кондитерской и видела сразу обе улицы. Я уже забыла, как он смеется, хотя смех у него такой же странный, как и взгляд. Почти год я совсем о нем не думала. А через несколько секунд пришло первое письмо от Смайса. Честное слово!

— А ваш призрак говорил, или стонал, или что они там делают? — любопытствовал Энгюс.

Лаура вздрогнула, но твердо сказала:

— Когда я дочитывала второе письмо Айседора Смайса, где он описывал свои успехи, я услышала голос Уэлкина: «И все-таки вы ему не достанетесь». Он сказал это так отчетливо, словно был тут, рядом. Ужасно, правда? Наверное, я сошла с ума.

— Если бы вы сошли с ума, — сказал молодой человек, — вы бы думали, что находитесь в здравом рассудке. Впрочем, с этим невидимкой и правда что-то нечисто. А так как две головы лучше одной — я же человек деловой, упрямый, — то, право, если вы позволите мне взять свадебный торт с витрины...

Он не договорил — на улице раздался скрежет, и к дверям кондитерской на бешеной скорости подлетел маленький автомобиль. В ту же минуту в магазин ворвался человек в блестящем цилиндре.

Энгюс, который до сих пор держался весело, чтобы не бередить себе душу, дал разрядку своему напряжению, поспешив из задней комнаты навстречу пришельцу. Одного взгляда было достаточно, чтобы подтвердить жестокую догадку влюбленного. Щеголеватый малень-

кий человечек с дерзкой острой бородкой, умными беспокойными глазками, тонкими нервными пальцами мог быть только тем, чье описание Энгюс сейчас выслушал,— Айседором Смайсом, мастерившим игрушки из кожуры бананов и спичечных коробков; Айседором Смайсом, нажившим миллионы на непьющих дворецких и металлических горничных безупречного поведения. Догадавшись чутьем о притязаниях противника, они смотрели друг на друга с тем особенным выражением холодного великодушия, которое составляет самую суть соперничества.

Мистер Смайс, однако, ни словом не обмолвился о главной причине их вражды. Он выговорил быстро:

— Видела мисс Хоуп эту штуку на витрине?

— На витрине? — повторил удивленный Энгюс.

— Сейчас не время объясняться,— отрывисто бросил маленький миллионер.— Здесь творится что-то непонятное, и надо в этом разобраться.

Он указал лакированной тростью на витрину, недавно опустошенную свадебными приготовлениями Энгюса, и тот с удивлением увидел наклеенную поперек стекла длинную полосу бумаги, которой безусловно не было, когда незадолго перед тем он рассматривал витрину лавки. Последовав за энергичным Смайсом на улицу, он увидел, что на стекле аккуратнo наклеено ярда полтора гербовой бумаги, а на ней неровными буквами написано: «Если вы выйдете замуж за Смайса, он умрет».

— Лаура,— сказал Энгюс, просунув в кондитерскую большую рыжую голову,— вы не сошли с ума.

— Узнаю почерк Уэлкина,— хрипло проговорил Смайс.— Я не видел его уже несколько лет, но он вечно мне надоедает. За последние две недели он пять раз присылал мне угрожающие письма, и я даже не могу выяснить, кто их приносит, разве что сам Уэлкин. Швейцар клянется, что никого не замечал. Теперь этот тип расписывает чуть ли не всю витрину, пока в кондитерской...

— Вот именно,— скромно вставил Энгюс,— пока в кондитерской люди пьют кофе. Что ж, сэр, ценю ваш здравый смысл. Вы правы, надо действовать. Об остальном поговорим после. Минут десять—пятнадцать назад я подходил к витрине, и ручаюсь, никакой бумаги там не было. Значит, он не мог далеко уйти. Однако он и не близко, мы его не догоним. И вообще мы даже не знаем,

в какую сторону он пошел. Если хотите послушать моего совета, мистер Смайс, сейчас же свяжитесь с каким-нибудь энергичным сыщиком, лучше всего частным. Я знаю одного на редкость толкового; его контора в пяти минутах езды на машине. Зовут его Фламбо. Он провел несколько бурную молодость, но теперь он безукоризненно честен, и голова у него золотая. Живет он в Хэмстеде, в Лакнаусских Домах.

— Странно,— произнес человек, поднимая черные брови.— Я сам живу там рядом, в Гималайских Домах. Хотите поехать со мной? Я найду к себе за этими письмами, а вы сходите за вашим другом-сыщиком.

— Вы очень любезны,— вежливо ответил Энгюс.— Разумеется, чем быстрее мы будем действовать, тем лучше.

В порыве неожиданного великодушия оба церемонно простились с девушкой и вскочили в быстрый маленький автомобиль. Смайс взялся за руль, и, когда они завернули за угол, Энгюс улыбнулся, увидев гигантскую рекламу «Безмолвной прислуги Смайса»: огромная железная кукла без головы несла кастрюлю, а под нею красовалась подпись: «Кухарка, которая никогда не сердится».

— Я и сам пользуюсь их услугами,— сказал, смеясь, чернобородый человек.— Отчасти для рекламы, отчасти ради удобства. По правде говоря, мои большие заводные куклы и в самом деле приносят уголь, кларет и расписание поездов гораздо проворнее любого живого слуги. Надо только знать, какую нажать кнопку. Но, между нами говоря, и у них есть недостатки.

— Вот как! — сказал Энгюс.— Значит, они не все могут?

— Да,— спокойно отвечал Смайс.— Они не могут сказать, кто доставляет мне угрожающие письма.

Автомобиль Смайса был такой же маленький и юркий, как и его хозяин; собственно говоря, хозяин сам его смастерил. Смайс был помешан на рекламе, но, во всяком случае, он верил в свои изделия. Пока, срезая повороты, Смайс и Энгюс мчались по белой ленте дороги в неживом, но ярком свете раннего вечера, автомобиль словно становился все меньше и невесомее. Скоро дорога стала еще извилистей и круче — они поднимались по спирали, как современные мистики. Дорога шла вверх, в ту часть

Лондона, которая расположена так же высоко, хотя и не так живописно, как Эдинбург. Уступы поднимались над уступами, а над ними, в золотых лучах заката, возвышалось огромное, как пирамида, здание, которое и было целью их поездки. Когда они завернули за угол и въехали на изогнутую полукругом улочку, застроенную с одной стороны, все изменилось так резко, словно перед ними внезапно распахнули окно. Они очутились у подножия многоэтажной громады, возвышающейся над Лондоном, над зеленоватым морем кровель. Напротив, по другую сторону усыпанной гравием дуги, тянулся заросший кустарником скверик, похожий не столько на сад, сколько на зеленую стену или живую изгородь. Немного ниже блестела полоска воды, бежавшей по каналу, который наподобие рва окружал эту крепость. Машина пронеслась мимо расположившегося на углу продавца каштанов, а в другом конце дуги Энгюс различил синюю фигуру полисмена, медленно расхаживавшего взад и вперед. Больше никого не было здесь, на тихой окраине, и Энгюсу показалось, что эти двое олицетворяют безмолвную поэзию Лондона. У него вдруг возникло такое чувство, словно они — персонажи какого-то рассказа.

Автомобильчик пулей подлетел к дому и, как бомбу, выбросил на улицу своего хозяина. Смайс тут же принялся расспрашивать рослого раззолоченного посыльного и низенького швейцара в жилете, не разыскивал ли кто-нибудь его. Те заверили, что с минуты, когда он в последний раз их расспрашивал, мимо них никто не проходил, после чего Смайс и слегка озадаченный Энгюс ракетой взлетели в лифте на верхний этаж.

— Зайдите на минутку, — сказал запыхавшийся Смайс. — Я хочу показать вам письма Уэлкина. А потом можете сбежать за вашим другом.

Он нажал спрятанную в косяке кнопку, и дверь сама отворилась.

Дверь вела в длинную просторную переднюю, уставленную большими человекообразными автоматами, стоявшими вдоль обеих стен, словно портновские манекены. Как у манекенов, у них не было голов; как у манекенов, у них были чрезмерно широкие плечи и выпуклая грудь, а в остальном они напоминали человека не больше, чем любой автомат высотой в человеческий рост. Вместо рук

у них было по два больших крюка, а чтобы удобнее было различать, их окрасили в зеленый, ярко-красный и черный цвет. Во всех прочих отношениях они были просто автоматы и вряд ли могли привлечь внимание. По крайней мере, в ту минуту никто на них и не взглянул,— между двумя рядами механических слуг лежало нечто более интересное, чем все машины на свете, вместе взятые. Это был обрывок белой бумаги, исписанный красными чернилами, и, едва успела распахнуться дверь, как проворный изобретатель схватил его. Ни слова не говоря, он передал бумагу Энгюсу. Красные чернила не успели еще высохнуть. Записка гласила: «Если вы сегодня были у нее, я убью вас».

Они помолчали, потом Айседор Смайс спокойно произнес:

— Хотите виски? По-моему, не мешает выпить.

— Благодарю. Я предпочел бы повидать Фламбо,— сказал Энгюс мрачно.— Как видно, дело принимает серьезный оборот. Я немедленно иду за ним.

— Вы правы,— сказал Смайс удивительно бодрым тоном.— Ведите его сюда поскорее.

Однако, закрывая за собой дверь, Энгюс увидел, как Смайс нажал на какую-то кнопку и один из заводных идолов, сойдя с места, двинулся по желобку, неся поднос с графином и сифоном. Было как-то жутко оставлять маленького человечка наедине с неодушевленными слугами, которые ожили, едва закрылась дверь.

Шестью ступеньками ниже все тот же швейцар в жилете возился с ведром. Энгюс остановился и, посулив чаевые, выманил у него обещание оставаться на месте и следить за всеми незнакомцами, которым вздумается войти в дом до того, как он вернется с сыщиком. Затем он бросился вниз и дал такие же распоряжения стоявшему у дверей посыльному, от которого узнал, что в доме, к счастью, нет черного хода. Не удовольствовавшись этим, он остановил полисмена и уговорил его встать напротив дома и наблюдать за подъездом. Наконец, он задержался на минуту, чтобы купить на пенни каштанов и заодно расспросить продавца, долго ли тот намерен пробывать на улице.

Подняв воротник пальто, продавец отвечал, что собирается уходить, так как скоро пойдет снег. Действитель-

но, тьма сгущалась, становилось холодно, но Энгюс, призвав на помощь все свое красноречие, уговаривал его остаться.

— Согревайтесь своими каштанами, — серьезно говорил он. — Можете съесть хоть весь запас — я заплачу. Если дождетесь здесь меня и скажете, не входил ли кто — мужчина, женщина или ребенок — в тот дом, возле которого стоит посыльный, получите соверен.

И Энгюс быстро зашагал дальше, бросив последний взгляд на осажденную крепость.

— Ну, кажется, Смайс в кольце, — сказал он. — Не могут же все четверо оказаться сообщниками Уэлкина.

Лакнаусские Дома стоят как бы ступенькой ниже на той лестнице зданий, которую венчают Дома Гималайские. Фламбо жил и принимал в первом этаже; в его обиталище не было и следа американской техники и уютной гостиничной роскоши, отличавших квартиру с безмолвной прислугой. Сыщик провел друга через контору в свою богемную, веселую берлогу, где красовались сабли, аркебузы, восточные диковинки, бутылки итальянского вина, глиняные кувшины из Африки, пушистый персидский кот и маленький пыльный священник, который, надо сказать, был тут совсем не к месту.

— Это мой друг, отец Браун, — сказал Фламбо. — Я давно хотел вас познакомить. Великолепная погода, правда? Хотя и холодновато для таких южан, как я.

— Да, надеюсь, она удержится, — сказал Энгюс, усаживаясь на полосатую лиловую тахту.

— Нет, — спокойно возразил священник, — уже пошел снег.

И в самом деле — пока он говорил, за окном, в сгущавшейся тьме, закружились первые хлопья снега, предсказанного продавцом каштанов.

— Видите ли, Фламбо... — неловко начал Энгюс. — Я пришел к вам по делу, и дело это срочное. В двух шагах от вас живет человек, которому вы очень нужны. Его неотступно преследует угрозами невидимый враг — какой-то негодяй, которого никто не видел.

Энгюс рассказал ему о Смайсе и Уэлкине, сначала со слов Лауры, потом то, что видел сам. Он упомянул о таинственном смехе на перекрестке пустынных улиц и о странных словах в пустой комнате. Фламбо казался все

более и более озабоченным, а маленький священник оставался безучастен, как стол или стул. Когда Энгюс дошел до исписанной полосы гербовой бумаги, наклеенной на стекло, Фламбо встал, сразу заполнив комнату своими широченными плечами.

— Простите, не лучше ли вам досказать по дороге? — сказал он. — Кажется, тут нельзя терять времени.

— Отлично, — сказал Энгюс, тоже вставая. — Правда, сейчас он в безопасности — я приставил четырех человек сторожить единственный вход в его нору.

Они вышли на улицу. Маленький священник плелся за ними, как послушная собачка. Лишь раз он весело заметил, словно хотел поддержать беседу: «Как быстро земля покрывается снегом!»

Пока они пробирались по крутым, уже посеребренным снегом улочкам, Энгюс закончил свой рассказ, и когда они достигли дуги многоэтажных зданий, он смог заняться своими четырьмя часовыми. Продавец каштанов — и до и после получения соверена — упорно утверждал, что внимательно следил за подъездом и ни один посетитель туда не входил. Полисмен говорил еще категоричней. Он заявил, что на своем веку видывал немало преступников и в цилиндрах и в лохмотьях, — не так уж он зелен, чтоб думать, будто подозрительные типы всегда подозрительны на вид. Поэтому он следил за всеми, но — видит бог — никто не проходил. Когда же все трое окружили расшитого галунами посыльного, который, улыбаясь по-прежнему, стоял в дверях, тот высказался еще решительней.

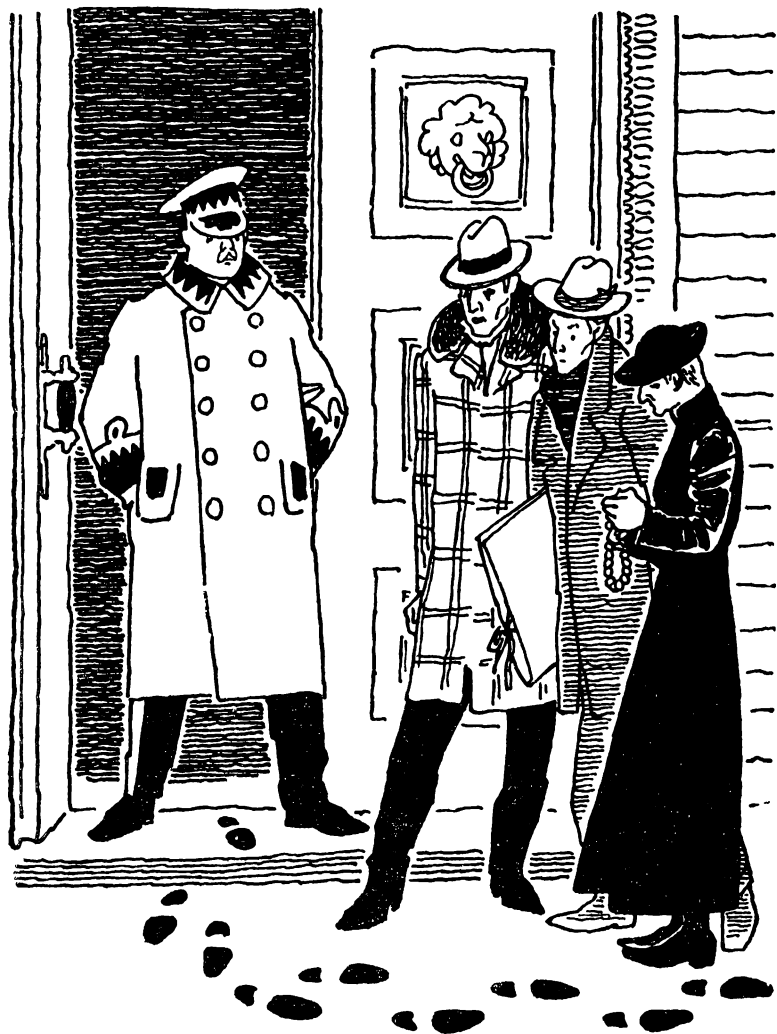
— Мне что герцог, что мусорщик — я кого угодно спрошу, что ему тут надо, — сказал добродушный великан с золотыми галунами. — Но, клянусь, никого не было с тех пор, как ушел этот джентльмен.

Тут невзрачный отец Браун, который все время держался в стороне и скромно смотрел на мостовую, отважился заметить кротко:

— Значит, никто не входил и не выходил с тех пор, как пошел снег? Мы тогда еще были у Фламбо.

— Ни одна душа, сэр, можете мне поверить, — добродушно и важно отвечал блюститель порядка.

— А что же *ЭТО* такое? — спросил священник, уставившись в тротуар безучастным рыбьим взглядом.



*Меж ног раззолоченного великана пролегла цепочка следов,
отпечатанных на белом снегу.*

Остальные тоже посмотрели вниз; Фламбо невольно вскрикнул и взмахнул рукой: от середины порога, меж горделиво расставленных ног раззолоченного великана, пролегла цепочка серых следов, отпечатанных на белом снегу.

— Боже мой! — вырвалось у Энгюса. — Человек-невидимка!..

Не сказав больше ни слова, он повернулся и бросился вверх по лестнице. Фламбо бежал за ним, а Браун остался внизу, безучастно глядя на запорошенную снегом улицу, словно утратил всякий интерес к розыскам.

Фламбо хотел было высадить дверь могучим плечом, но шотландец, повинуясь скорее разуму, чем интуиции, пошарил по косяку двери, нащупал невидимую кнопку, и дверь медленно распахнулась.

За нею показалась все та же тесно уставленная куклами прихожая. Темнота сгустилась, хотя кое-где ее еще прорезали последние багровые лучи заката. Несколько безголовых машин, сдвинутых с мест, стояли тут и там. Полумрак скрадывал их яркие краски, и они еще больше походили на людей. Среди них, на том самом месте, где недавно еще лежал исписанный красными чернилами листок бумаги, виднелось что-то очень похожее на пролитые красные чернила. Но это были не чернила.

Сочетая здравый смысл с экспансивностью француза, Фламбо сказал только: «Убийство» — и, ворвавшись в квартиру, обыскал за пять минут каждый угол и закоулок. Однако трупа он не нашел. Айседора Смайса попросту не было в квартире — ни живого, ни мертвого. Обшарив весь дом, вспотевшие и удивленные друзья сошлись в прихожей.

— Друг мой, — произнес Фламбо от волнения по-французски, — ваш убийца не только невидимка, он и убитого сделал невидимым.

Энгюс оглядел полутемную комнату, полную кукол, и в каком-то уголке его шотландской души шевельнулся ужас. Одна из кукол стояла прямо над кровавым пятном. Быть может, убитый позвал ее за минуту до смерти? Прикрепленный к высокому плечу крюк, служивший кукле рукою, был слегка приподнят, и Энгюсу вдруг представилась жуткая картина: он увидел, как беднягу

Смайса умерщвляет его же собственное железное детище. Материя взбунтовалась, и машины убили своего повелителя. Но даже если это так, куда же они его дели?

«Неужто съели?» — шепнул ему зловещий голос, и на секунду ему стало дурно при мысли о растерзанных человеческих останках, поглощенных и переваренных безголовыми автоматами.

Усилием воли вернув себе ясность мысли, Энгюс проговорил:

— Ну вот и все. Бедняга испарился, как облако, только красная лужица осталась. По-моему, тут замешаны нездешние силы.

— Здешние или нездешние, — сказал сыщик, — нам остается одно: сойти вниз и поговорить с моим другом.

Спускаясь вниз, они миновали швейцара, и тот снова поклялся, что никого постороннего не видел. Внизу они нашли посыльного и медлившего у подъезда торговца, которые еще раз заверили их, что никого не упустили. Однако четвертого стража не было, и Энгюс с беспокойством спросил:

— Где же полицейский?

— Простите, — сказал отец Браун, — это я виноват. Я только что послал его кое-что выяснить. Мне показалось, что это нужно.

— Он сейчас нам понадобится, — резко ответил Энгюс. — Бедняга не только убит — его нет в квартире.

— Как так? — спросил священник.

— Честное слово, отец, — помедлив, сказал Флаambo, — это уж скорее по вашей части, чем по моей. Ни друг, ни недруг не входил в дом, а Смайса нет, словно его феи похитили. Если это не чертовщина, я...

Их разговор был прерван необычным зрелищем: из-за поворота выбежал рослый полисмен в синем. Он подошел прямо к отцу Брауну.

— Вы правы, сэр, — тяжело дыша, проговорил он, — тело бедного мистера Смайса только что нашли внизу, в канале.

Энгюс в ужасе схватился за голову.

— Значит, он выбежал и утопился? — спросил он.

— Могу поклясться, что он не спускался, — отвечал полисмен. — И не топился. Он убит ударом ножа в сердце.

— И все-таки вы не видели, чтобы кто-нибудь входил сюда? — сказал Фламбо очень серьезно.

— Пройдемся немного,— предложил священник.

Когда они дошли до конца улочки, он вдруг воскликнул:

— Ох, до чего же я глуп! Забыл спросить полисмена про светло-коричневый мешок.

— Почему же именно светло-коричневый? — изумленно спросил Энгюс.

— Если мешок другого цвета, все придется начинать сначала,— ответил отец Браун.— А если он светло-коричневый — что ж, тогда дело кончено.

— Рад слышать,— усмехнулся Энгюс.— Насколько мне известно, оно еще не начиналось.

— Вы должны нам все рассказать,— с детской непосредственностью сказал Фламбо.

Они невольно ускорили шаг, когда отец Браун, не отвечая, быстро повел их вдоль длинного изгиба дороги. Наконец он произнес нерешительно и чуть ли не виновато:

— Вы, наверное, скажете, что все это слишком просто. Мы всегда начинаем с обобщения — вот и тут придется.

Приходилось ли вам замечать, что люди никогда не отвечают прямо на вопрос? Они отвечают только на то, что, по их мнению, скрывается за вашим вопросом. Представьте себе, что в усадьбе одна дама спрашивает другую: «У вас сейчас живет кто-нибудь?» Хозяйка никогда не ответит: «Да, дворецкий, три лакея, горничная» и так далее, хотя горничная тут же, в комнате, а дворецкий стоит за креслом. Она ответит: «У нас сейчас никто не живет», подразумевая тех же, кого и вы. Но если во время эпидемии врач спросит ее: «Есть кто-нибудь в доме?», она вспомнит и дворецкого, и горничную, и всех остальных. На этом и строится разговор: вам никогда не ответят буквально, хотя и не солгут. Когда четверо вполне честных людей говорили, что никто не появлялся, они не хотели сказать, что там действительно никого не было. Они имели в виду только таких людей, которые могли бы показаться вам подозрительными. На самом же деле один человек все же вошел в дом и вышел, и никто его не заметил.

— Невидимый человек? — спросил Энгюс, подняв брови.

— Мысленно невидимый, — ответил отец Браун. Он помолчал немного, потом продолжал — так рассеянно, словно думал о своем: — Конечно, вам и в голову не придет мысль о таком человеке, пока вы специально о нем не подумаете. На это он и рассчитывал. Меня навели на след две-три детали в рассказе мистера Энгюса. Во-первых, этот Уэлкин совершал длинные прогулки; во-вторых, на витрине была гербовая бумага. А главное, в рассказе мисс Хоуп есть две детали, которых быть не могло. Не сердитесь! — добавил он поспешно, заметив, что шотландец вскинул голову. — Она думала, что говорит правду, но это не могло быть правдой. Человек никак не может быть совершенно один за секунду до того, как ему вручили письмо. Она не могла быть совершенно одна на улице, распечатывая письмо, которое только что получила. Кто-то несомненно находился поблизости, только для нее он был невидимкой.

— Почему кто-то должен был находиться поблизости? — спросил Энгюс.

— Кто-то ведь должен был принести ей письмо, — отвечал отец Браун. — Разве что почтовый голубь...

— Вы хотите сказать, — энергично вмешался Фламбо, — что Уэлкин носил ей письма своего соперника?

— Да, — сказал священник. — Уэлкин носил письма своего соперника. Понимаете, такое уж у него дело.

— Ну, с меня довольно! — взорвался Фламбо. — Кто этот человек? Каков он из себя? Как вообще выглядит этот «невидимка»?

— Одет он довольно нарядно: в красное и синее с золотом, — не задумываясь, отвечал священник. — И в этом ярком, даже кричащем наряде он явился в дом на глазах у четырех человек, хладнокровно убил Смайса, вышел на улицу и унес труп.

— Отец Браун! — воскликнул Энгюс, останавливаясь как вкопанный. — Кто-то из нас двоих не в своем уме!

— Нет, вы не лишились рассудка, — сказал Браун. — Просто вы не очень наблюдательны и не заметили, например, такого вот человека.

Он быстро сделал три шага вперед и положил руку на плечо обыкновенного почтальона, который незаметно прошмыгнул мимо них в тени деревьев.

— Почему-то никто никогда не замечает почтальонов,— проговорил он задумчиво.— А ведь и они подвержены человеческим страстям и, кроме того, носят большие мешки, в которых свободно поместится маленький труп.

Против ожидания, почтальон не обернулся, а отпрянул в сторону и натолкнулся на садовую изгородь. Это был худощавый светлородый человек самой обыкновенной внешности; но, когда он наконец обернулся, все трое были поражены — так страшно он косил.

Фламбо вернулся к своим саблям, пурпурным коврам и персидскому коту — у него дел хватало. Джон Тернбул Энгюс возвратился в кондитерскую к той, с которой, при всей своей беспечности, рассчитывал жить мирно и счастливо. А Браун долго бродил с убийцей под звездами, по заснеженным уступам, и никто никогда не узнает, что они сказали друг другу.

НЕБЕСНАЯ СТРЕЛА



Сотни детективных рассказов начинаются с убийства американского миллионера, которое почему-то рассматривают как народное бедствие. Рад сообщить, что и этот рассказ начнется с убийства миллионера, даже с убийства трех миллионеров, что кое-кому покажется, пожалуй, *embarras de richesse*¹. Но именно это совпадение или, если хотите, однообразие выдвинуло данное дело из ряда обычных и превратило его в головоломку.

Ходили толки, что все три миллионера пали жертвой вендетты или заклатья, связанного с очень ценным древним сосудом, усыпанным драгоценными камнями,— так называемой «Коптской Чашей». Никто не знал, откуда она взялась, но ее связывали с религиозными обрядами, и кое-кто объяснял гибель ее обладателей фанатизмом восточных христиан, возмущенных тем, что чаша попала в столь материалистические руки. Во всяком случае, в мире сенсаций и сплетен таинственный убийца вызывал огромный интерес, независимо от того, фанатик он или нет. Безымянное существо наделили даже именем

¹ Излишняя роскошь (*франц.*).

или прозвищем. Впрочем, наш рассказ касается лишь третьей жертвы: только в этом случае отец Браун, герой наших очерков, вмешался в дело.

Когда, сойдя с трансатлантического лайнера, Браун впервые ступил на американскую землю, он, подобно многим англичанам, обнаружил, что известен гораздо больше, чем думал. На родине никто бы не заметил в толпе коротенького, близорукого, скромного человека в порыжелой сутане; он выделялся бы разве что незначительностью. Но Америка умеет рекламировать. Участие отца Брауна в расследовании нескольких замысловатых дел и дружба его с Фламбо, бывшим преступником, а ныне детективом, прославили его в Америке, тогда как в Англии о нем только-только заговорили. Его круглое лицо удивленно вытянулось, когда его схватили журналисты, которых можно было принять за шайку гангстеров, и засыпали вопросами о том, в чем он менее всего считал себя компетентным,— о деталях дамского туалета и о статистике преступлений в стране, на которую он только что впервые взглянул. Пожалуй, по контрасту с этой по-военному сплоченной группой бросался в глаза человек, стоявший в стороне, чернея на фоне яркого неба и яркой толпы,— высокий, желтолицый, в больших очках. Переждав журналистов, он обратился к отцу Брауну:

— Простите, не ищите ли вы капитана Уэна?

Не будем винить отца Брауна, хотя сам он искренне готов был винить себя. Не надо забывать, что он только что высадился и никогда не видел очков в черепаховой толстой оправе: мода не дошла еще до Англии. Он было подумал, что перед ним пучеглазое морское чудовище; вспомнился ему и водолазный шлем. Одет был незнакомец прекрасно, и Браун по наивности изумился: зачем элегантному денди так уродовать себя? Приставил бы еще для пущего изящества деревянную ногу! Вопрос тоже смутил его. В длинном списке лиц, которых он рассчитывал повидать в Америке, действительно значился американский авиатор, по фамилии Уэн, друг его друзей во Франции. Но он никак не ожидал, что услышит о нем так скоро.

— Простите,— не совсем уверенно ответил он.— Вы сами капитан Уэн? Или... или знаете его?

— Могу сказать точно, что я не капитан Уэн,— ответил человек в очках; лицо его казалось неподвижным, точно деревянное.— По крайней мере, у меня не было на этот счет сомнений, когда я только что его видел. Он сидит вон там, в автомобиле, поджидает вас. На другой вопрос ответить не так просто. Кажется, я знаю Уэна и его дядюшку, и старика Мертон тоже. Но старый Мертон не знает меня. И думает, что это на руку ему, а я думаю, что мне. Поняли?

Отец Браун не совсем понял. Моргая, смотрел он на сверкание моря, на небоскребы и на мужчину в очках. Не только из-за очков казался тот непроницаемым; в лице его было что-то азиатское, даже китайское, а голос звучал насмешливо и зло. Среди простодушных и общительных американцев попадаются такие загадочные, замкнутые люди.

— Зовут меня Дрэг,— говорил он.— Норман Дрэг. Я американский гражданин, в том-то и дело. В общем, ваш друг Уэн сам объяснит вам остальное, так что четвертое июля мы пока отложим¹.

И он потащил растерянного Брауна к стоявшему неподалеку автомобилю, из которого махал рукой молодой человек с растрепанными светлыми волосами и измученным угрюмым лицом. Молодой человек назвал себя Питером Уэном. Отец Браун и опомниться не успел, как его погрузили в автомобиль, который помчался во весь опор через город. Он не успел еще привыкнуть к стремительности американцев и удивлялся не меньше, чем если бы колесница, запряженная драконами, увлекла его в волшебное царство. Вот в какой неуютной обстановке он в первый раз узнал — из длинных речей Уэна и коротких сентенций Дрэга — о двух преступлениях, связанных с Коптской Чашей.

Оказалось, что у Питера Уэна есть дядюшка, по имени Крэк, а у того — компаньон, по имени Мертон, третий богатый делец, к которому перешла Чаша. Первый из них, Титус П. Трент, медный король, получал в свое время угрожающие письма, подписанные Даниэлем Ро-

¹ Четвертое июля — День независимости. В 1776 году 4 июля была принята «Декларация Независимости», и Соединенные Штаты отделились от Великобритании

ком. Имя было, вероятно, вымышленное, но вскоре оно стало так же известно, как имена Робина Гуда и Джека-Потрошителя, вместе взятые. Ибо очень скоро выяснилось, что автор писем отнюдь не думает ограничиться угрозами. Однажды поутру старика Трента нашли мертвым в его собственном, поросшем кувшинками пруду; следов преступник не оставил. Коптская Чаша, к счастью, была в полной сохранности в банке и со всем остальным имуществом Трента перешла к его кузену Брайану Гордеру, тоже очень богатому человеку. Брайан Гордер, в свою очередь, стал получать угрожающие письма от неизвестного врага, а потом его труп нашли у высокой скалы, недалеко от приморской виллы, которая в ту же ночь была основательно разграблена. И хотя Чаша и на этот раз не попала в руки преступников, исчезло столько обязательств и ценностей, что денежные дела Гордера сильно запутались.

— Вдове пришлось продать почти все драгоценности,— рассказывал Уэн.— Тогда Брандер Мертон приобрел, вероятно, и Чашу — она была уже у него, когда я с ним познакомился. Сами понимаете, владеть такой штукой не очень-то спокойно.

— А мистер Мертон получал уже письма? — спросил отец Браун, помолчав.

— Думаю, что получал,— сказал Дрэг.

Что-то в его тоне насторожило священника, он взгляделся и понял, что тот неслышно смеется, смеется так, что у вновь прибывшего холодок прошел по спине.

— Конечно, получал,— сказал Питер Уэн, нахмурившись.— Я, понятно, не видел писем; только его секретарь читает корреспонденцию, да и то не всю. Мертон очень скрытный, как, впрочем, все крупные дельцы. Но я замечал, что его иногда волновали и расстраивали письма, а некоторые он рвал, даже секретарю не показывал. Секретарь и сам беспокоится — он, кажется, уверен, что старика подкарауливают. Короче говоря, мы были бы очень благодарны вам, если бы вы согласились помочь нам советом. Все знают, какой вы хороший сыщик, отец Браун. В общем, секретарь поручил мне привезти вас прямо к Мертону, если вы согласитесь.

— Понимаю! — сказал Браун, который наконец понял, что означает его похищение.— Право, не думаю, что-

бы я мог вам помочь. Вы все время на месте. Вам в сто раз легче сделать научно-обоснованный вывод, чем мне, случайному посетителю.

— Да,— сухо заметил Дрэг.— Но наши выводы настолько научно обоснованы, что даже маловероятно. А то, что убило такого человека, как Трент, должно было упасть прямо с неба, не выжидая научных объяснений. Так сказать, гром с ясного неба.

— Что вы! — воскликнул Уэн.— Неужели вы думаете, что тут замешаны потусторонние силы?

Но узнать, что именно думает Дрэг, было нелегко, за одним исключением: когда он называл кого-нибудь «гигантом мысли», он обычно подразумевал, что тот — круглый дурак. Больше он не проронил ни слова и восседал неподвижно, как истукан. Немного погодя автомобиль остановился — очевидно, они прибыли. Тут было чему удивиться. Они только что ехали редким перелеском — и вдруг им открылась широкая долина, а прямо перед ними возвышался в небо дом, обнесенный стеной или очень высоким забором. Все вместе взятое напоминало издали аэродром или римский лагерь. Вблизи было видно, что стена не каменная и не деревянная, а металлическая.

Они вышли из машины и долго возились у стены, как возятся возле сейфа; наконец в стене открылся узкий проход. К величайшему изумлению Брауна, человек, именуемый Норманом Дрэгом, не пожелал войти, а распростился с ними, зловеще ухмыляясь.

— Я не пойду,— сказал он.— Столько удовольствий разом старику Мертону не по силам. Он так любит видеть меня, что умер бы от радости.

И он зашагал прочь, а удивленного Брауна пропустили за стальную дверь, которая моментально захлопнулась за ним. Они попали в большой, аккуратный сад, который пестрел веселыми яркими цветами, зато там не было ни деревьев, ни высоких кустарников. Посреди сада стоял дом, очень красивый, но узкий и высокий, как башня. Палящее солнце зажигало то одно, то другое стекло под крышей, но в нижних этажах окон, по-видимому, не было. Чистота стен и сада как нельзя лучше вязалась с чистым воздухом американских полей. Внутри все сверкало мрамором, металлом, изразцами, но лестницы не было тоже, только в углублении между крепкими

стенами ходил лифт, и доступ к нему охраняли два субьекта, могучих, как полисмены в штатском.

— Да, охрана хорошая,— сказал Уэн.— Вам, может быть, смешно, отец Браун, что Мертону приходится жить в такой крепости. Даже в саду нет ни одного дерева, чтобы никто не мог за ними спрятаться. Вы не знаете, какую нам пришлось разрешить трудную задачу. И, вероятно, не знаете, кто такой Брандер Мертон. Человек он с виду тихий, на улице на него и внимания не обратишь. Сейчас, положим, и случая не представится: он выезжает очень редко и то в наглухо закрытой машине. Но если что-нибудь с ним случится, всю страну затрясет, от Аляски до южных островов. Наверное, такой власти над народами не имел ни один король, ни один император! А ведь предложите вам кто-нибудь посетить царя или короля, вы, вероятно, пошли бы из любопытства? Возможно, вы не жалуете царей и миллионеров, но такая сила все-таки вызывает интерес. Надеюсь, вам не приходится поступать своими принципами, навещая современного императора?

— Ничуть,— мягко ответил Браун.— Мой долг навещать заключенных и всех несчастных пленников.

Они помолчали; хмурое, худое лицо молодого человека приняло странное недоброе выражение. Затем он резко сказал:

— Не забывайте, на него ополчились не простые преступники, не какая-нибудь Черная Рука. Даниэль Рок — сам черт. Вспомните, что он расправился с Трентом в его собственном саду, с Гордером — почти у дома, а сам ускользнул.

Верхний этаж, защищенный толщей стен, состоял из двух комнат: проходной, в которую они вошли, и другой, которая и была святилищем миллионера. Они вошли в первую как раз в тот момент, когда из второй выходили два посетителя. Одного из них Питер Уэн представил как своего дядюшку. Он был маленький, но очень крепкий и подвижной, его бритая голова казалась лысой, а при взгляде на его коричневое лицо не верилось, что он белый. Старого Крэка прозвали Ореховым Крэком в память другого героя, а прославился он во времена последних схваток с индейцами. Спутник его был совсем на него не похож. Высокий, елейный, с черными лакированными

ми волосами и с моноклем на широкой черной ленте, Бернард Блэк, поверенный старого Мертонa, только что принимал участие в деловом совещании компаньонов.

Все четверо встретились посреди первой комнаты и, прежде чем разойтись, остановились, чтобы обменяться для приличия несколькими фразами. Они были не одни: в самой глубине, у двери во вторую комнату, виднелась большая неподвижная фигура, слабо освещенная светом, падавшим из фрамуги,— человек с черным лицом и широчайшими плечами. Он был из тех, кого американцы шутки ради смело прозвали головорезами; из тех, кого друзья называют телохранителем, а враги — наемным убийцей.

Человек не двинулся, не шевельнулся, не поздоровался ни с кем. Но Питер Уэн, увидев его здесь, нервно осведомился:

— Остался кто-нибудь с шефом?

— Не поднимай шума, Питер,— ослабился его дя-дюшка.— С ним Уилтон. Полагаю, этого достаточно. Уилтон, кажется, никогда и не спит, все охраняет Мертонa. Он сто́ит двадцати телохранителей, а проворен и невозмутим, как индеец.

— Ну, вам лучше знать,— согласился, смеясь, племянник.— Помню, каким вы учили меня индейским штукам, когда я был мальчуганом и любил читать о краснокожих. В тех рассказах краснокожим всегда солоно приходилось.

— В жизни было не так! — сурово сказал старый пограничник.

— Неужели? — переспросил ласковый мистер Блэк.— Я думаю, им трудно было справиться с нашим огнестрельным оружием.

— Я видел, как индеец стоял под обстрелом сотни ружей,— сказал Крэк.— У него был только нож — и он убил белого, который был на вышке форта.

— Как же это он? — спросил Питер.

— Бросил нож,— пояснил Крэк.— Бросил, раньше чем раздался первый выстрел. Не знаю, где он этому научился.

— Надеюсь, вы не научились у них? — засмеялся племянник.

— Думается мне,— задумчиво проговорил Браун,— что в этом рассказе есть мсраль...

Во время их разговора Уилтон, секретарь, вышел из второй комнаты и остановился, выжидая. Он был бледный, светловолосый, с квадратным подбородком и по-собачьи внимательными глазами. Нетрудно было поверить, что он спит одним глазом, как сторожевой пес.

Он сказал: «Мистер Мертон примет вас минут через десять», но это перебил разговор. Старый Крэк заявил, что ему пора идти; племянник вышел вместе с ним и с его спутником — юристом, а Браун остался наедине с секретарем. Черный великан в счет не шел — так неподвижно он сидел, обратив к ним широкую спину и не сводя глаз с двери.

— Охраняем мы его тщательно, как видите,— сказал секретарь.— Вы, должно быть, слышали о Даниэле Роке. Небезопасно часто и надолго оставлять шефа одного.

— Но сейчас-то ведь он один? — спросил Браун.

Секретарь поднял на него серьезные серые глаза.

— Четверть часа,— сказал он,— только четверть часа из двадцати четырех. Дольше он один не бывает. А эти четверть часа он ни за что не уступит, и не без причины.

— А именно? — заинтересовался посетитель.

Уилтон, секретарь, смотрел все так же внимательно, но губы его сурово сжались.

— Коптская Чаша,— сказал он.— Вы, может быть, забыли о Коптской Чаше, но он никогда о ней не забывает, и ни о чем вообще. Он никому из нас не доверяет ее. Она заперта где-то там, в комнате, он один может ее достать и достает только тогда, когда никого нет рядом. Вот и приходится эти четверть часа рисковать, пока он любит ее. Больше он ничем на свете не любит. Впрочем, риска, в сущности, нет. Я сам устроил тут мышеловку, в которую и черт не заберется, во всяком случае — не выберется. Если бы этот проклятый Рок нанес нам визит, ему пришлось бы остаться к обеду! Четверть часа я сижу здесь, но если я услышу выстрел или шум борьбы — я нажимаю кнопку, электрический ток охватывает стену сада, и всякий, кто вздумает перебраться через нее, обречен на

смерть. Да выстрела и быть не может: единственный вход — вот этот, а единственное окно, у которого он сидит, — на самом верху башни. Стены отвесные, скользкие, как смазанный маслом шест. Конечно, мы все здесь вооружены. Если бы Рок явился сюда, он бы не выбрался живым.

Браун, моргая, смотрел на ковер и думал. Вдруг он сказал, может быть, в шутку:

— Надеюсь, вы не обидитесь? Мне только что пришлось в голову... Это про вас...

— Про меня? — переспросил Уилтон. — Что же именно?

— Мне кажется, — ответил Браун, — вы человек одержимый и ваша цель — не столько спасти Мертона, сколько поймать Рока.

Уилтон едва заметно вздрогнул, не отрывая глаз от собеседника; затем сурово сжатый рот мало-помалу расплылся в странной улыбке.

— Как вы... Почему вы так подумали? — спросил он.

— Вы сказали, что, если услышите выстрел, вы тотчас же пустите ток и отрежете путь врагу, — объяснил священник. — А не пришлось вам в голову, что выстрел может убить вашего патрона раньше, чем ток убьет убийцу? Я не хочу сказать, что вы не станете защищать мистера Мертона, но это у вас как-то на втором плане. Охрана здесь самая тщательная — вы, кажется, все продумали. Но по всему видно: вы больше хотите поймать убийцу, чем спасти жертву.

— Отец Браун, — сказал секретарь своим обычным спокойным тоном, — вы очень наблюдательны, но в вас есть не только это. От вас ничего не хочется скрывать. Надо мною уже подшучивают, называют маньяком за то, что я гоняюсь за ним. Возможно, что я и маньяк. Но открою вам то, чего никто не знает: мое полное имя — Джон Уилтон Гордер.

Отец Браун кивнул, будто это ему все разъяснило, но тот продолжал:

— Человек, который назвался Роком, убил моего отца и моего дядю, разорил мою мать. Когда Мертону понадобился секретарь, я пошел к нему. Я считал: где Чаша, там рано или поздно будет и преступник. Я не знал,

кто он; надо было выждать. Мертону же я хотел служить верой и правдой.

— Понимаю,— мягко сказал Браун,— а кстати, не пора ли нам пройти к нему?

— Да, да! — отозвался Уилтон, будто внезапно очнувшись, и священник решил, что жажда мести снова охватила его.— Войдите, непременно войдите.

Отец Браун направился во вторую комнату. Никто не приветствовал его; не раздалось ни звука; и через несколько секунд он снова появился в дверях.

В тот же миг шевельнулся немой телохранитель у дверей, будто ожил шкаф или стол. Казалось, сама поза Брауна дала ему сигнал: священник стоял спиной к открытой двери, свет падал сзади и лицо оставалось в тени.

— Я думаю, надо нажать ту кнопку,— сказал священник и вздохнул.

Уилтон точно очнулся от сурового раздумья и дернулся вперед.

— Выстрела не было! — крикнул он.

— Как вам сказать... — произнес отец Браун.— Смотря что вы называете выстрелом.

Уилтон пробежал мимо него, и они оба ворвались во вторую комнату — сравнительно небольшую, просто, но изящно обставленную. Прямо против дверей было открытое окно, выходившее в сторону сада и долины. У самого окна стояли кресло и столик. Казалось, в те короткие минуты, когда он разрешал себе роскошь одиночества, пленник хотел как можно больше насладиться светом и воздухом.

На маленьком столике у окна стояла Коптская Чаша — хозяин, видимо, хотел полюбоваться ею в самом выгодном освещении. На нее стоило посмотреть — в белом свете дня камни вспыхивали разноцветным пламенем, как драгоценности святого Грааля¹. Да, на нее стоило посмотреть. Но Брандер Мертон не смотрел на нее: он откинулся головой на спинку кресла, белая грива свесилась вниз, клинышек седой бородки вскинулся вверх, а в горле торчала длинная темная стрела с красными перьями на конце.

¹ Святой Грааль — драгоценная чаша, о которой рассказывают старинные предания о короле Артуре и рыцарях Круглого стола.



В горле торчала длинная стрела с красными перьями на конце.

— Бесшумный выстрел,— вполголоса сказал Браун.— Я только что думал о новых изобретениях. А это изобретение совсем старое и совсем бесшумное.— И прибавил, помолчав: — Боюсь, он умер!.. Что вы хотите делать?

Сильно побледневший секретарь овладел собой и, видимо, принял решение.

— Да, я нажму кнопку,— сказал он.— А не поможет — что ж, я решил преследовать Рока, пока не найду его, хотя бы на краю света.

— Как бы не пострадали наши друзья...— заметил Браун.— Они не могли уйти далеко. Вы бы лучше окликнули их.

— Эта компания знает все устройство,— успокоил его Уилтон.— Никто из них не вздумает перелезть через стену, разве что очень заторопится.

Отец Браун подошел к окну, через которое, очевидно, влетела стрела, и выглянул наружу. Плоский цветник лежал далеко внизу, словно раскрашенная нежными тонами карта мира. Видно было так далеко, и вокруг было так пустынно, а башня вытянулась так высоко в небо, что Брауну вдруг вспомнилась странная фраза.

— «Гром с ясного неба...» — прошептал он.— Кто это говорил: «гром с ясного неба...», «упало прямо с неба...»? Взгляните, как все далеко. Непонятно, как могла залететь сюда стрела, если она не с неба...

Уилтон вернулся, но молчал, и священник как будто рассуждал сам с собой:

— Поневоле вспомнишь авиацию. Надо потолковать с Уэном... об аэропланах.

— Они тут часто кружат,— сказал секретарь.

— Оружие либо очень новое, либо очень старое,— говорил Браун.— Кое-что по этому поводу знает, должно быть, дядюшка. Надо расспросить его о стрелах. Похоже на индейскую стрелу. Не знаю, откуда бы мог пустить ее индеец. Кстати, помните, что рассказывал старик? Я еще сказал, что тут есть мораль.

— Как же! — с готовностью отозвался Уилтон.— Краснокожий может попасть с большего расстояния, чем думают,— вот вам и мораль! Здесь и сравнивать нелепо.

— Не думаю, чтобы вы вполне правильно поняли, в чем тут мораль,— сказал отец Браун.

...Хотя назавтра маленький патер совершенно растворился среди многомиллионного населения Нью-Йорка — стал просто номером на нумерованной улице, — он две недели кряду был поглощен возложенным на него поручением, потому что сильно боялся ошибки следствия. Не подавая вида, что выпытывает их, он при всяком удобном случае беседовал со своими новыми знакомыми, причастными к таинственному делу. Особенно любопытный и интересный разговор был у него со старым Крэком. Они сидели на скамейке в Центральном Парке; ветеран оперся костлявыми руками и острым, как топорик, подбородком на странный набалдашник краснодеревяной палки, скопированный, пожалуй, с томагавка.

— Да, расстояние большое, — говорил он, покачивая головой. — Но я вам не советую судить чересчур категорично, с какого расстояния индеец может попасть в цель. Я видел, как стрелы летели прямо, словно пуля, и попадали в цель с очень большого расстояния. Конечно, сейчас не слышно ни о каких краснокожих, тем более в наших краях. Но если бы случайно кто-нибудь из старых индейских стрелков, со старым индейским луком, скрывался в том перелеске за сотню-другую ярдов от стены, я не поручился бы, что он не сумел бы запустить стрелу поверх стены, в самое верхнее окно, даже в самого Мертона. В былые времена я видывал такие штуки.

— И не только видывали, — сказал Браун, — но и делали?

Старый Крэк ухмыльнулся и проворчал:

— Ну, это старые дела!

— Люди не прочь иногда покопаться в старых делах, — продолжал Браун. — Надеюсь, в вашем послужном списке нет ничего, что могло бы дать повод для неприятных разговоров?

— Что вы хотите сказать? — спросил Крэк. Глаза его забегали, и красное лицо, похожее на томагавк, дрогнуло.

— Ну, раз вам так хорошо знакомы уловки и приемы краснокожих... — медленно начал Браун.

Крэк только что сидел скорчившись и тяжело опирался на свою диковинную рукоятку. Но тут он вскочил и выпрямился во весь рост, воинственно потрясая зажатой в руке костылем.

— Что такое? — сипло закричал он. — Черт возьми! Вы смеете подозревать меня в том, что я убил своего шурина?

Люди, сидевшие на соседних скамейках и на расставленных вдоль дорожки стульях, повернулись и устали на споривших: на лысого, кряжистого старика, который размахивал, как дубинкой, своей заморской палкой, и на маленького неуклюжего человечка в черной сутане, который тихо смотрел на него и моргал. Казалось, старик вот-вот стукнет его по голове с индейской лихостью, и на горизонте уже появилась туша ирландца-полисмена. Но священник сказал самым мирным тоном, будто отвечая на вопрос:

— Я сделал кое-какие выводы, но ничего не скажу, пока не закончу расследования.

Что повлияло — взгляд ли священника или шаги полисмена, трудно сказать, но старый Крэк, ворча, сунул палку под мышку и нахлобучил шляпу. Браун кротко простился с ним, не спеша вышел из парка и направился в холл того отеля, где рассчитывал найти молодого Уэна.

Молодой человек вскочил с места, здороваясь с ним. Вид у него был еще более усталый и угрюмый — казалось, его снедает тревога; а кроме того, Браун заподозрил, что его юный друг только что с успехом нарушил последнее «Добавление к Американской Конституции»¹. Но при упоминании о своем любимом деле Уэн подтянулся и весь обратился в слух. Браун — как бы невзначай, к слову, — спросил, часто ли показываются аэропланы в тех местах, и рассказал, что в первый момент принял за аэродром окруженные стеной владения Мертона.

— Удивительно, что вы их там не видели, — ответил капитан Уэн. — Иной раз они так и носятся, как мухи. Эта долина для них в самый раз. Может, когда-нибудь она станет главным, так сказать, гнездом моих птичек. Я и сам летал в тех краях и знаю почти всех, кто летал во время войны. Но сейчас авиацией занимается куча людей, всех не упомнишь. Скоро, верно, с аэропланами будет то же, что с автомобилями, — у нас, в Штатах, каждый обзаведется своим.

— Создатель дал нам право на жизнь, на свободу, —

¹ Имеется в виду «сухой закон».

улыбнулся отец Браун,— и на автомобиле... не говоря об аэропланах. Значит, над домом мог пролететь чужой аэроплан и его бы не заметили?

— Да,— подтвердил Уэн.— Могли бы не заметить.

— А если бы летчик был свой человек,— продолжал его собеседник,— он мог бы взять чужой аэроплан? Вот вы, например... Если бы вы летали как обычно, мистер Мертон и его друзья могли бы узнать вас. Но стоило бы вам взять аэроплан другого типа, или как это там называется, и вы сумели бы пролететь близко от окна, на таком расстоянии, как нужно...

— Да,— начал молодой человек почти машинально, но вдруг замолчал и уставился на священника, разинув рот.— Господи! — сказал он тихо.— Господи!..— Он вскочил, весь бледный, трясаясь с головы до ног и не сводя глаз с отца Брауна.— Да вы с ума сошли! — воскликнул он.— Вы что, бредите?

И, помолчав, заговорил снова, захлебываясь, свистящим шепотом:

— Вы осмелились явиться сюда, чтобы намереть...

— Нет. Я просто хотел убедиться,— сказал отец Браун, подымаясь.— Я, кажется, сделал кое-какие предварительные выводы, но пока оставлю их при себе.

И, раскланявшись с несколько чопорной учтивостью, он ушел из отеля, чтобы продолжать свои скитания.

В сумерки того же дня они привели его в самую старую и запутанную часть города, где мрачные улочки и лесенки спускаются и скатываются в реку. Под разноцветным фонарем, у входа в довольно низкопробный китайский ресторанчик, он увидел того, кого встречал раньше,— но совсем в ином виде.

Мистер Норман Дрэг по-прежнему бросал вызов миру, как темной стеклянной маской, прикрываясь большими очками. Но если не считать очков, за истекшее после убийства время он сильно изменился. Тогда он был одет с иголочки — отец Браун обратил на это внимание,— одет с той изысканностью, при которой почти стирается грань между денди и манекеном в витрине. Сейчас цилиндр его еще сохранился, но уже потерял форму, костюм разваливался, часовая цепочка и другие украшения исчезли. Тем не менее Браун обратился к нему так, будто они расстались вчера, и, не задумываясь, уселся рядом с ним на

скамью в дешевой харчевне, куда тот направлялся. Первым, однако, заговорил не он:

— Что ж, удалось вам отомстить за святого миллионера? Знаем, знаем, все миллионеры канонизированы. Посмотрите газету на другой день! Там все сказано: как они росли, просвещались, читали семейную библию у мамаша на коленях. Почитали бы они кое-какие штучки из семейной библии — мамаша бы не поверила! Да и миллионеры тоже, полагаю. Ветхий завет кишмя кишит свирепыми идейками, которые сейчас не в ходу. Мудрость каменного века, погребенная под пирамидами... Вот бы кто-нибудь сбросил старика Мертон с этой его башни и отдал на съедение псам! Иезавель ведь сбросили. И раз-ве Ахава не убили стрелой, хоть он был человек тихий? Мертон, черт его дери, был тоже тихий, пока совсем не затих. Стрела божья настигла его точь-в-точь как в библии. Поразила насмерть в собственной башне, народам на удивление!..

— Мне кажется, стрела материальная, — сказал собеседник Дрэга.

— Пирамиды материальней материального, а ничего, фараоны охраняют, — ухмыльнулся человек в очках. — Да, в этих старых религиях что-то есть. На старых камнях высечены боги и императоры с согнутыми луками, а руки у них такие, что, видно, и на самом деле могли сгибать камень. Они тоже материальные, — но что за материал! Вам не случалось глазеть на эти восточные штуки? Смотришь, смотришь, и начинает казаться, будто старый господь бог и теперь правит колесницей — как Аполлон, только потемней, — и рассылает стрелы смерти.

— Если б он так поступал, — ответил отец Браун, — я, скорее, назвал бы его другим именем. Но не думаю, чтобы Мертон убила стрела смерти или хотя бы каменная стрела.

— Наверное, считаете, что он святой Себастьян, пронзенный стрелой? — хихикнул Дрэг. — Миллионера надо непременно возвести в мученики. А почему вы знаете, может, он получил по заслугам? Миллионеры, верно, не по вашей части. Разрешите вам сказать, что он заслуживал во сто раз худшего...

— Так почему же вы не убили его? — мягко спросил Браун.

— Вы спрашиваете почему? — удивился тот. — Однако вы странный священник!

— Ну что вы! — отозвался Браун, как бы отклоняя комплимент.

— Очевидно, вы хотите сказать, что я его убил, — огрызнулся Дрэг. — Что ж, докажите! А вообще-то не велика потеря.

— Нет, велика! — резко сказал Браун. — Для вас — потеря большая. Потому вы его и не убили.

Он ушел, а человек в очках, разинув рот, смотрел ему вслед.

Прошло с месяц, прежде чем отец Браун вторично побывал в доме, где третий миллионер пал жертвой вендетты Даниэля Рока. Собрались на совет наиболее заинтересованные лица. Во главе стола сидел старый Крэк, племянник — по правую его руку, юрист — по левую; огромный негр, по фамилии Гаррис, присутствовал в качестве свидетеля; рыжий остроносый субъект, откликавшийся на имя Диксона, по-видимому, представлял пинкертоновское или какое-то другое детективное агентство. Отец Браун скромно проскользнул на пустое место подле него.

Все газеты земного шара только и занимались гибелью колосса финансов, короля Большого Бизнеса, который вершит судьбы современного мира. Но те, кто был вблизи него в самый момент его смерти, могли сообщить немного. Дядя, племянник и юрист заявляли, что они успели выбраться за наружную стену, когда была поднята тревога. Сторожа, охранявшие оба выхода, сбивались в показаниях, но, в общем, подтверждали это. Лишь одно обстоятельство осложняло дело и требовало расследования. По-видимому, в то самое время, когда произошло убийство, у входа бродил какой-то незнакомец и спрашивал мистера Мертон. Слуги долго не могли понять, чего он хочет, так как выражался он очень уж заковыристо. Но впоследствии показалось подозрительным, что он говорил о негодяе, который будет уничтожен велением небес.

Питер Уэн наклонился вперед, и глаза его загорелись на изможденном лице, когда он сказал:

— Норман Дрэг, чтоб мне треснуть.

-- Что это еще за птица? — спросил дядюшка.

— Я сам не прочь бы узнать, — ответил молодой человек. — Я даже как-то раз прямо его спросил, но он замечательно умеет запутать самый простой вопрос. Уклонился от ответа, как хороший фехтовальщик. Загибал мне что-то насчет будущего авиации. Я вообще не очень-то ему доверял.

— Что он за человек? — снова спросил Крэк.

— Он мистик-любитель, — с наивной готовностью отозвался Браун. — Их сейчас сколько угодно. Знаете, из тех, что сидят в парижском кафе или в кабаре и морочат вам голову, будто сорвали покрывало Изида или открыли тайну Стонхэнджа¹. Для такого случая у них всегда найдется какое-нибудь мистическое объяснение.

Гладкая черная голова Бернарда Блэка учтиво склонилась в сторону говорившего, но его улыбка не была приветливой.

— Я никак не предполагал, сэр, — сказал он, — что вы не одобряете мистических объяснений.

— Вот-вот, — возразил Браун, приветливо моргая, — поэтому я с ними и спору. Всякий юрист-самозванец проведет меня, но не проведет вас, потому что вы сами законник. Всякий дурак, вырядившийся краснокожим, сойдет в моих глазах за Гайавату², но мистер Крэк, наверное, сразу его разоблачит. Плут легко убедил бы меня в том, что он летчик — но не капитана Уэна. Вот и тут то же самое. Я сам не чужд мистики и потому не нуждаюсь в любителях. Подлинный мистик не скрывает тайн, он их разъясняет. Выносит на яркий солнечный свет — а тайна остается тайной. Нынешний мистик-любитель — большой путаник; он бережет свою тайну во мраке, а доберешься до нее — ничего и нет, какая-нибудь пошлость. Но тут я допускаю, что Дрэг имел в виду совсем другое, гораздо более реальное, когда говорил об огне небесном и о громе с ясного неба.

— Что же? — спросил Уэн. — Я думаю, за ним надо последить.

¹ Стонхэндж — доисторические каменные сооружения к северу от Солсбери в Англии

² Гайавата — герой поэмы известного американского поэта Генри Лонгфелло (1807—1882) «Песнь о Гайавате».

— Понимаете,— медленно проговорил священник,— он хотел навести нас на мысль о чуде именно потому... ну, потому что никакого чуда здесь нет, и он это знал.

— А! — выдохнул Уэн.— Я так и думал! Проще говоря, он сам преступник.

— Проще говоря, он преступник, но не убийца,— спокойно поправил Браун.

— Вы полагаете, это значит «говорить проще»? — учтиво осведомился юрист.

— Теперь вы меня ославите путаником,— сказал Браун, широко, хотя и смущенно улыбаясь.— Но это вышло случайно. Дрэг не совершил преступления — я хочу сказать, этого преступления. Единственное его преступление — шантаж, потому он тут и бродил. Он совсем не хотел разглашать тайну и не хотел, чтобы смерть помешала его делишкам. О нем речь пойдет позже. В данный момент я хочу устранить его с пути.

— С какого пути? — спросил юрист.

— С пути истины,— ответил Браун и спокойно, не мигая посмотрел на него.

— А вы полагаете,— запинаясь спросил Блэк,— что знаете истину?

— Полагаю,— скромно ответил Браун.

Все замолчали. Потом Крэк неожиданно крикнул скрипучим голосом:

— Что это? Где же секретарь? Где Уилтон? Ему надо быть здесь.

— Я поддерживаю сношения с мистером Уилтоном,— серьезно сказал Браун.— Я даже просил его позвонить мне сюда. Он скоро должен звонить. В сущности, мы, так сказать, раскопали это дело с ним вдвоем.

— Ну, если вдвоем, все в порядке,— проворчал Крэк.— Он всегда, как гончая, вынюхивал след этого негодяя. Вы хорошо сделали, что с ним объединились. Может, вы действительно узнали правду — но откуда?

— От вас,— мягко ответил Браун, не сводя кроткого взгляда со свирепеющего ветерана.— Понимаете, я начал догадываться, когда вы рассказали о том индейце с ножом.

— Мы много раз об этом говорили,— сказал Уэн,— но я не вижу ничего общего... разве только то, что дом тут похож на форт. Но стрелу ведь не бросили, а выпустили

из лука, вероятно. Конечно, она залетела необычайно далеко, но мы-то не особенно далеко подвинулись!..

— Боюсь, вы не поняли, в чем суть той истории,— довольно спокойно сказал отец Браун.— Дело не в том, что один предмет может пролететь далеко, а другой еще дальше,— дело в том, что всякое оружие можно употребить не по прямому назначению. Люди из форта считали, что нож годится для рукопашного боя, и забывали, что его можно пустить в ход как дротик или копье. Другие знакомые мне люди думали об одном оружии как о метательном снаряде и забыли, что, в конце концов, его можно пустить в ход вручную — как копье. Короче говоря, тут мораль такая: кинжал можно превратить в стрелу, а стрелу — в кинжал.

Все смотрели теперь только на него, но он продолжал тем же ровным будничным тоном:

— Мы, естественно, удивлялись и ломали себе голову. Кто же пустил стрелу в окно? С большого ли расстояния? А правда заключается в том, что стрелы никто не пускал. Она и не влетала в окно...

— Как же она сюда попала? — спросил черноволосый юрист, заметно нахмурившись.

— Кто-то принес ее с собой, полагаю,— ответил отец Браун.— Пронести ее не трудно. Кто-то держал ее в руке, стоя подле Мертона в той комнате. Кто-то вонзил ее в горло Мертона как кинжал. И затем — весьма разумно — разместил все так и под таким углом, что всем нам тотчас пришло в голову, будто стрела влетела в окно, как птичка.

— «Кто-то»! — повторил старый Крэк тяжелым как камень голосом.

Резко, с злобещей настойчивостью зазвонил телефон. Он висел в соседней комнате, и Браун бросился туда так стремительно, что никто и двинуться не успел.

— Что все это значит, черт возьми? — воскликнул Питер Уэн, видимо сильно потрясенный.

— Он говорил, что ждет звонка Уилтона,—ответил дядюшка тем же безжизненным тоном.

— Надо думать, это и звонит Уилтон? — заметил юрист, чтобы что-нибудь сказать.

Никто ему не ответил, все молчали, пока не вернулся отец Браун.

— Джентльмены,— сказал он, усаживаясь на прежнее место,— вы сами просили меня доискаться истины. Я доискался и должен ее огласить, не смягчая удара. Да и вряд ли человек, сунувший нос в подобное дело, может сохранить особое уважение к людям.

— Очевидно,— нарушил Крэк наступившее после этих слов молчание,— из этого следует, что кого-то из нас обвиняют или подозревают.

— Все мы под подозрением,— ответил отец Браун.— И я в том числе — ведь я нашел труп.

— Конечно, мы под подозрением,— выпалил Уэн.— Отец Браун любезно разъяснил мне, что я мог бы крейсировать у башни на аэроплане.

— Нет,— поправил, улыбаясь, Браун,— это не совсем так. Вы сами мне это описывали. В том-то и суть.

— А обо мне он, кажется, думал,— проворчал Крэк,— что я убил Мертонна из индейского лука.

— У меня и в мыслях такого не было,— сказал отец Браун и поморщился.— Вы уж меня простите, но я не мог придумать, как бы еще прощупать почву. Нелепо и предположить, что капитан Уэн в самый момент убийства крейсировал у окна на огромной машине и никто его не заметил. Еще нелепей думать, будто почтенный старый джентльмен станет играть в индейцев, бегать по кустам с луком и стрелами. Убить можно гораздо проще. Но мне надо было выяснить, имели ли капитан Уэн и мистер Крэк отношение к этому делу. Вот мне и пришлось обвинить их, чтобы доказать их невиновность.

— Как же вы ее доказали? — спросил юрист, подавшись вперед.

— Они очень удивились, когда поняли, к чему я веду,— ответил отец Браун.

— Что вы хотите сказать?

— Вы уж меня простите,— терпеливо ответил Браун.— Я считал, что мой долг — подозревать их и вообще всех. Я подозревал мистера Крэка и капитана Уэна — иными словами, я взвешивал, насколько вероятно, чтобы они совершили преступление. Я сказал им, что сделал свои выводы, а сейчас объясню какие. Я убедился, что они невиновны, когда они поняли и рассердились. Пока они не подозревали, что их можно обвинить, они сами давали мне карты в руки. В сущности, они мне разъясняли, как

могли бы совершить убийство. Потом вдруг соображали, что их обвиняют. Тут они пугались, кричали... Будь они виновны, они выдали бы себя задолго до того, как я успел выдвинуть против них обвинение. С настоящим преступником так никогда не бывает. Тот или сразу настораживается и огрызается, или до конца разыгрывает полную невиновность. Он не станет сначала топить себя, а потом бешено опровергать подозрение, которое сам на себя навлек. Сознание убийцы болезненно насторожено, он не может сначала забыть о своем отношении к делу, а затем спохватиться и горячо его отрицать. Так я испытал вас и кое-кого еще — по другим причинам, о которых сейчас нечего говорить. Вот, например, секретарь...

Впрочем, теперь речь не об этом. Я только что говорил с Уилтоном по телефону, и он разрешил мне поделиться с вами. Новости довольно важные. Надеюсь, теперь вы знаете, кто такой Уилтон и зачем он здесь служил.

— Знаем. Он выслеживал Даниэля Рока. Говорил, что не успокоится, пока не доберется до него, — отозвался Питер Уэн. — Я слышал, что он сын старого Гордера, и для него это кровная месть. Надо думать, он и сейчас разыскивает убийцу.

— Понимаете, — сказал отец Браун, — он его нашел.

Питер Уэн в волнении вскочил с места.

— Нашел?! — воскликнул он. — Что же, убийца уже под замком?

— Нет, — серьезно продолжал отец Браун. — Я сказал, что новости важные — они серьезней, чем тюрьма. Боюсь, бедняга Уилтон взял на себя страшную ответственность. Боюсь, теперь он возлагает страшную ответственность на нас. Он выслеживал преступника, а когда припер его наконец к стене, он... — как бы это сказать? — он сам взял на себя отпущение!

— Вы хотите сказать, что Даниэль Рок... — начал юрист.

— Я хочу сказать, что Даниэль Рок умер, — подтвердил отец Браун. — Они боролись, и Уилтон победил его.

— Поделом негодяю, — проворчал Ореховый Крэк.

— Трудно осуждать убийство такого злодея. Тем более, законная месть... — поддержал Уэн. — Все равно что гадюку раздавить.

— Я с вами не согласен, — сказал отец Браун. — Хоро-

шо нам тут романтически защищать линч и беззаконие. Но мы первые, наверное, пожалели бы, если бы пришлось отказаться от наших законов и свобод. Да, кроме того, логично ли оправдывать Уилтона, не справившись даже — не было ли у Рока смягчающих обстоятельств? Сомневаюсь, чтобы Рок был заурядным убийцей. Возможно, он был маньяк, стоявший вне законов, бредил Чашей, требовал ее, грозил и убивал только в борьбе. Обе его жертвы убиты в нескольких шагах от дома. Против Уилтона говорит прежде всего то, что мы никогда не узнаем точки зрения Даниэля Рока.

— Будет вам. Терпенья нет слушать эту сентиментальную защиту отпетого мерзавца! — вскипел Уэн. — Если Уилтон его прикончил, он хорошо сделал, и довольно об этом.

— Вот именно, вот именно, — поддержал его дядюшка, энергично кивая.

Лицо отца Брауна стало еще серьезней. Он медленно обвел глазами собравшихся.

— Вы в самом деле так думаете? — спросил он.

И вдруг почувствовал, что он англичанин, что здесь он — на чужбине, среди чужестранцев, хотя бы и друзей. В них пылает огонь беспокойства, незнакомого его народу, неистовый дух западной нации, которая умеет восставать и линчевать и, прежде всего, сопоставлять. Он понял, что они уже сопоставили.

— Хорошо, — сказал, вздохнув, отец Браун. — Вы, значит, решительно отпускаете этому несчастному его преступление или самосуд — называйте как хотите? В таком случае я могу, не опасаясь за него, сообщить вам кое-какие подробности.

Он неожиданно поднялся на ноги. И, хотя никто не понял, почему он встал, в комнате вдруг похолодало.

— Уилтон убил Рока не совсем обычным способом, — начал он.

— Как же он его убил? — резко бросил Крэк.

— Стрелой, — сказал отец Браун.

Сумерки сгущались. Дневной свет погас, и все темнее становилось большое окно, возле которого был убит великий миллионер. Все глаза машинально повернулись к этому окну, но никто не проронил ни звука. Вдруг Ореховый Крэк крикнул надтреснутым старческим голосом,

прозвучавшим так резко, словно и в самом деле треснул орех:

— Что... что вы говорите? Брандер Мертон убит стрелой? Тот негодяй... тоже стрелой...

— Одной и той же стрелой,— сказал отец Браун,— и в тот же самый момент.

Снова повисло глухое, тревожное молчание; потом молодой Уэн начал:

— Вы хотите сказать...

— Что ваш друг Мертон и Даниэль Рок — одно и то же лицо,— твердо сказал отец Браун.— И другого Даниэля Рока вам никогда не найти. Ваш друг Мертон всегда с ума сходил по Коптской Чаше и, кажется, поклонялся ей, как идолу. В дни своей молодости, очень необузданной, он, чтобы добыть ее, убил двух человек. Впрочем, я все еще думаю, что эти две смерти лишь случайно связаны с грабежом. Как бы то ни было, вся эта история была известна человеку, по имени Дрэг, и тот шантажировал Мертон. Уилтон же преследовал иные цели. Думаю, он открыл правду после того, как попал сюда. Он охотился на Даниэля Рока, и кончилась эта охота здесь, в этом доме, в той комнате, где он убил убийцу своего отца.

Долгое время никто не отзывался.

Старый Крэк вдруг забарабанил пальцами по столу и забормотал:

— Брандер, верно, был сумасшедшим, сумасшедшим...

— Господи! Как же нам быть! — всполошился Питер Уэн.— Что делать? Это все меняет! Что скажут газеты и видные дельцы?! Брандер Мертон был на виду, как президент или папа римский.

— Да, разница большая,— негромко заговорил Бернард Блэк, юрист.— И это заставляет...

Отец Браун ударил по столу так, что стоявшие на нем стаканы зазвенели. И всем показалось, будто слабым эхом ответила таинственная Чаша, которая все еще стояла в соседней комнате у окна.

— Нет! — крикнул он, и крик его был резок, как выстрел.— Никакой разницы не будет! Я дал вам возможность пожалеть убитого, пока вы считали его простым преступником. Вы и слушать меня не хотели. Вы все оправдывали личную месть. Вы говорили, что Рока надо

прикончить, как дикого зверя, без суда и следствия. Вы говорили, что он получил по заслугам. Прекрасно! Если Даниэль Рок получил по заслугам, то и Брандер Мертон получил по заслугам. То, что хорошо для Рока, хорошо и для Мертон. Выбирайте: либо ваше свирепое правосудие, либо наша скучная законность. Но, во имя неба, пусть беззаконие или законность будут одинаковы для всех.

Никто не отвечал, только юрист сказал глухо:

— Что скажет полиция, если узнает, что мы покрываем преступление?

— Что она сказала бы, если бы я сообщил ей, что вы его уже покрыли? — спросил отец Браун. — Что-то вы поздно прониклись уважением к закону, мистер Блэк.

Он помолчал, потом заговорил мягче:

— Я лично готов рассказать все, если ко мне обратятся власти. А вы делайте как знаете. Это ничего не изменит. Уилтон звонил мне и сказал, что я могу открыть вам всю правду, — к тому времени, как вы ее узнаете, он будет вне досягаемости.

Отец Браун не спеша прошел в соседнюю комнату и остановился у столика, подле которого умер миллионер. Коптская Чаша стояла на прежнем месте. Он долго смотрел, как горят ее камни, переливаясь всеми цветами радуги; потом перевел взгляд на голубую бездну неба.

ЗЛОЙ РОК СЕМЬИ ДАРНУЭИ



ва художника-пейзажиста стояли и смотрели на морской пейзаж, и на обоих он производил сильное впечатление, хотя воспринимали они его по-разному. Одному из них, входящему в славу художнику из Лондона, пейзаж был вовсе не знаком и казался странным. Другой — местный художник, пользовавшийся, однако, не только местной известностью, — давно знал его и, может быть, именно поэтому тоже ему дивился.

Если говорить о колорите и очертаниях — а именно это занимало обоих художников, — то видели они полосу песка, а над ней полосу предзакатного неба, которое все окрашивало в мрачные тона: мертвенно-зеленый, свинцовый, коричневый и густо-желтый, в этом освещении, впрочем, не тусклый, а скорее таинственный — более таинственный, чем золото. Только в одном месте нарушались ровные линии: одинокое длинное здание вклинивалось в песчаный берег и подступало к морю так близко, что бурьян и камыш, окаймлявшие дом, почти сливались с протянувшейся вдоль воды полосой водорослей. У дома этого была одна странная особенность — верхняя его часть, наполовину разрушенная, зияла пустыми окнами и, словно чер-

ный остов, вырисовывалась на темном вечернем небе, а в нижнем этаже почти все окна были заложены кирпичами — их контуры чуть намечались в сумеречном свете. Но одно окно было самым настоящим окном, и — удивительное дело — в нем даже светился огонек.

— Ну, скажите на милость, кто может жить в этих развалинах? — воскликнул лондонец, рослый, богемного вида молодой человек с пушистой рыжеватой бородкой, несколько старившей его. В Челси¹ он был известен всем и каждому как Гарри Пейн.

— Вы думаете, призраки? — отвечал его друг, Мартин Вуд. — Ну что ж, люди, живущие там, действительно похожи на призраков.

Как это ни парадоксально, в художнике из Лондона, непосредственном и простодушном, было что-то пасторальное, тогда как местный художник казался более проныцательным и опытным и смотрел на своего друга со снисходительной улыбкой старшего; и правда, черный костюм и квадратное, тщательно выбритое, бесстрастное лицо придавали ему несомненную солидность.

— Разумеется, это только знамение времени, — продолжал он, — или, вернее, знамение конца старых времен и старинных родов. В этом доме живут последние отпрыски прославленного рода Дарнуэев, но в наши дни мало найдется бедняков беднее, чем они. Они даже не могут привести в порядок верхний этаж и ютятся где-то в нижних комнатах этой развалины, словно летучие мыши или совы. А ведь у них есть фамильные портреты, восходящие к временам войны Алой и Белой розы и первым образцам английской портретной живописи. Некоторые очень хороши. Я это знаю, потому что меня просили заняться реставрацией этих полотен. Есть там один портрет, из самых ранних, до того выразительный, что смотришь на него — и мороз подирает по коже.

— Меня мороз по коже подирает, как только я взгляну на дом, — промолвил Пейн.

— По правде сказать, и меня, — откликнулся его друг.

Наступившую тишину внезапно нарушил легкий шорох в тростнике, и оба невольно вздрогнули, когда тем-

¹ Челси — квартал на берегу Темзы, обиталище лондонской богемы.

ная тень быстро, как вспугнутая птица, скользнула вдоль берега. Но мимо них всего-навсего быстро прошел человек с черным чемоданчиком. У него было худое, землистого цвета лицо, а его пронизательные глаза недоверчиво оглядели незнакомца из Лондона.

— Это наш доктор Барнет,— сказал Вуд со вздохом облегчения.— Добрый вечер. Вы в замок? Надеюсь, там никто не болен.

— В таком месте, как это, все всегда больны,— пробурчал доктор.— Иногда серьезней, чем думают. Здесь самый воздух заражен и зачумлен. Не завидую я молодому человеку из Австралии.

— А кто этот молодой человек из Австралии? — как-то рассеянно спросил Пейн.

— Кто? — фыркнул доктор.— Разве ваш друг ничего вам не говорил? А ведь, кстати сказать, он должен приехать именно сегодня. Настоящая мелодрама в старом стиле: наследник возвращается из далеких колоний в свой разрушенный фамильный замок! Все выдержано, вплоть до давнишнего семейного соглашения, по которому он должен жениться на девушке, поджидающей его в башне, увитой плющом. Каков анахронизм, а? Впрочем, такое иногда случается в жизни. У него есть даже немного денег — единственный светлый момент во всей этой истории.

— А что думает о ней сама мисс Дарнуэй в своей башне, увитой плющом? — сухо спросил Мартин Вуд.

— То же, что и обо всем прочем,— отвечал доктор.— В этом заброшенном доме, вместилище старых преданий и предрассудков, вообще не думают, там только грезят и отдаются на волю судьбы. Должно быть, она принимает и семейный договор, и мужа из колоний как одно из проявлений рока, тяготеющего над семьей Дарнуэев. Право, я думаю, если он окажется одноглазым горбатым негром, да еще убийцей вдобавок, она воспримет это как еще один штрих, завершающий мрачную картину.

— Слушая вас, мой лондонский друг составит себе не слишком веселое представление о наших знакомых,— рассмеялся Вуд.— А я-то хотел представить его им. Художнику просто грех не посмотреть семейные портреты Дарнуэев. Но если австралийское вторжение в самом разгаре, нам, видимо, придется отложить визит.

— Нет, нет! Ради бога, навестите их,— сказал доктор Барнет, и в голосе его прозвучали теплые нотки.— Все, что может хоть немного скрасить их безрадостную жизнь, облегчает мою задачу. Очень хорошо, что объявился этот кузен из колоний, но его одного, пожалуй, недостаточно, чтобы оживить здешнюю атмосферу. Чем больше посетителей, тем лучше. Пойдемте, я сам вас представляю.

Подойдя ближе к дому, они увидели, что он стоит как бы на острове — со всех сторон его окружал глубокий ров, наполненный морской водой. По мосту они перешли на довольно широкую каменную площадку, исчерченную большими трещинами, сквозь которые пробивались ростки сорной травы. В сероватом свете сумерек каменный дворик казался голым и пустынным; Пейн никогда бы раньше не поверил, что крохотный кусочек пространства может с такой полнотой передать самый дух запустения. Площадка служила как бы огромным порогом к входной двери, расположенной под низкой, тюдоровской аркой; дверь, открытая настежь, чернела, словно вход в пещеру.

Доктор, не задерживаясь, повел их прямо в дом, и тут еще одно неприятно поразило Пейна. Он ожидал, что придется подниматься по узкой винтовой лестнице в какую-нибудь полуразрушенную башню, но оказалось, что первые же ступеньки ведут не вверх, а куда-то вниз. Они миновали несколько коротких лестничных переходов, потом большие сумрачные комнаты; если бы не потемневшие портреты на стенах и не запыленные книжные полки, можно было бы подумать, что они идут по средневековым подземным темницам. То здесь, то там свеча в старинном подсвечнике вырывала из мрака случайную подробность истлевшей роскоши. Но Пейна угнетало не столько это мрачное искусственное освещение, сколько просачивающийся откуда-то тусклый отблеск дневного света. Пройдя в конец длинного зала, Пейн заметил единственное окно — низкое, овальное, в прихотливом стиле конца XVII века. Это окно обладало удивительной особенностью: через него виднелось не небо, а только его отражение — бледная полоска дневного света, как в зеркале, отражалась в воде рва, под тенью нависшего берега. Пейну пришла на ум легендарная хозяйка шалотского замка, которая видела мир лишь в зеркале. Хозяйке этого замка

мир являлся не только в зеркальном, но к тому же и в перевернутом изображении.

— Так и кажется, — тихо сказал Вуд, — что дом Дарнуэв рушится — и в переносном и в прямом смысле слова. Что его медленно засасывает болото или сыпучий песок и со временем над ним зеленой крышей сомкнется море.

Даже невозмутимый доктор Барнет слегка вздрогнул, когда к ним неслышно приблизился кто-то. Такая тишина царила в комнате, что в первую минуту она показалась им совершенно пустой. Между тем в ней было три человека — три сумрачные неподвижные фигуры в сумрачной комнате, одетые в черное и похожие на темные тени. Когда первый из них подошел ближе, на него упал тусклый свет из окна, и вошедшие различили бескровное старческое лицо, почти такое же белое, как окаймлявшие его седые волосы. Это был старый Уэйн, дворецкий, оставшийся в замке *in loco parentis*¹ после смерти эксцентричного чудака — последнего лорда Дарнуэя. Если бы у него совсем не было зубов, он мог бы сойти за вполне благообразного старика. Но у него сохранился один-единственный зуб, который показывался изо рта всякий раз, как он начинал говорить, и это придавало старику весьма зловещий вид. Встретив доктора и его друзей с изысканной вежливостью, он подвел их к тому месту, где неподвижно сидели двое в черном. Один, на взгляд Пейна, как нельзя лучше соответствовал сумрачной старине замка, хотя бы уже потому, что это был католический священник; он словно вышел из тайника, в каких скрывались в старые, темные времена гонимые католики. Пейн живо представил себе, как он бормочет молитвы, перебирает четки, служит мессу или делает еще что-нибудь унылое в этом унылом доме. Сейчас он, видимо, старался преподать религиозные утешения своей молодой собеседнице, но вряд ли сумел ее утешить или хотя бы ободрить. В остальном священник ничем не привлекал внимания: лицо у него было простое и маловыразительное. Зато лицо его собеседницы никак нельзя было назвать ни простым, ни маловыразительным. В темном обрамлении одежды, волос и кресла оно поражало ужасной бледностью и до ужаса

¹ Вместо отца (лат.).



— Я горжусь, что откопал этот портрет,— сказал Вуд.

живою красотой. Пейн долго, не отрываясь, смотрел на него; еще много раз в жизни суждено было ему смотреть и не насмотреться на это лицо...

Вуд приветливо поздоровался со своими друзьями и после нескольких учтивых фраз перешел к главной цели визита — осмотру фамильных портретов. Он попросил прощения за то, что позволил себе явиться в столь торжественный для семейства день. Впрочем, видно было, что их приходу рады. Поэтому он без дальнейших церемоний провел Пейна через большую гостиную в библиотеку, где находился тот портрет, который он хотел показать ему не просто как картину, но и как своего рода загадку. Маленький священник засеменил вслед за ними — он, по-видимому, разбирался не только в старых молитвах, но и в старых картинах.

— Я горжусь, что откопал портрет, — сказал Вуд. — По-моему, это Гольбейн¹. А если нет, значит, во времена Гольбейна жил другой художник, не менее талантливый.

Портрет, выполненный в жесткой, но искренней и сильной манере того времени, изображал человека, одетого в черное платье с отделкой из меха и золота. У него было тяжелое, полное, бледное лицо, а глаза острые и пронзительные.

— Какая досада, что искусство не остановилось, дойдя до этой ступени! — воскликнул Вуд. — Зачем ему было развиваться дальше? Разве вы не видите, что этот портрет реалистичен как раз в меру? Именно поэтому он и кажется таким живым. Посмотрите на лицо — как оно выделяется на темном, несколько неуверенном фоне! А глаза! Глаза, пожалуй, еще живее, чем лицо. Клянусь богом, они даже слишком живые. Умные, пронзительные — словно смотрят на вас сквозь прорези большой бледной маски.

— Однако скованность чувствуется и в фигуре, — сказал Пейн. — На исходе средневековья художники, по крайней мере на севере, еще не вполне справлялись с анатомией. Обратите внимание на ногу — пропорции тут явно нарушены.

— Я в этом не уверен, — спокойно возразил Вуд. — Мастера, работавшие в те времена, когда реализм только на-

¹ Гольбейн Ганс Младший (1497—1543) — немецкий живописец и график.

чинался и им еще не начали злоупотреблять, писали гораздо реалистичней, чем мы думаем. Они передавали точно те детали, которые мы теперь воспринимаем как условность. Вы, может быть, скажете, что у этого типа брови и глаза посажены не совсем симметрично? Но если бы он вдруг появился здесь, вы бы увидели, что одна бровь у него действительно немного выше другой и что он хром на одну ногу. Я убежден, что эта нога намеренно сделана кривой.

— Да это просто дьявол какой-то! — вырвалось вдруг у Пейна. — Не при вас будь сказано, ваше преподобие...

— Ничего, ничего, я верю в дьявола, — ответил священник и непонятно улыбнулся. — Любопытно, кстати, что по некоторым преданиям черт тоже хромой.

— Помилуйте, — запротестовал Пейн, — не хотите же вы сказать, что это сам черт? Да кто он, наконец, черт его поberi?

— Лорд Дарнуэй, живший во времена короля Генриха Седьмого и короля Генриха Восьмого¹, — отвечал его друг. — Между прочим, о нем тоже сохранились любопытные предания. С одним из них, очевидно, связана надпись на раме. Подробнее об этом можно узнать из заметок, оставленных кем-то в старинной книге, которую я тут случайно нашел. Очень интересная история.

Пейн приблизился к портрету и склонил голову набок, чтобы удобнее было прочесть старинную надпись по краям рамы. Это было, в сущности, четверостишие, и, если отбросить устаревшее написание, оно выглядело примерно так:

В седьмом наследнике возникну вновь,
И в семь часов исчезну без следа.
Не сдержит гнева моего любовь,
Хозяйке сердца моего — беда.

— От этих стихов прямо жуть берет, — сказал Пейн, — может быть, потому, что я их не понимаю.

— Вы еще не то скажете, когда поймете, — тихо промолвил Вуд. — В тех заметках, которые я нашел, подробно рассказывается, как этот красавец умышленно убил

¹ Генрих VII царствовал с 1485 по 1509 год; Генрих VIII — с 1509 по 1547.

себя таким образом, что его жену казнили за убийство. Следующая запись, сделанная много позднее, говорит о другой трагедии, происшедшей через семь поколений. При короле Георге¹ еще один Дарнуэй покончил с собой и оставил для жены яд в бокале с вином. Оба самоубийства произошли вечером в семь часов. Отсюда, очевидно, следует заключить, что этот тип действительно возрождается в каждом седьмом поколении и, как гласят стихи, доставляет немало хлопот той, которая необдуманно решилась выйти за него замуж.

— Н-да, пожалуй, не слишком хорошо должен чувствовать себя очередной седьмой наследник,— заметил Пейн.

Голос Вуда сник до шепота:

— Тот, что сегодня приезжает, как раз седьмой.

Гарри Пейн сделал резкое движение, словно стремясь сбросить с плеч какую-то тяжесть.

— О чем мы говорим? Что за бред! — воскликнул он. — Мы образованные люди и живем, насколько мне известно, в просвещенном веке! До того как я попал сюда и надышался этим проклятым, промозглым воздухом, я никогда бы не поверил, что смогу всерьез разговаривать о таких вещах.

— Вы правы,— сказал Вуд. — Когда поживешь в этом подземном замке, многое начинаешь видеть в ином свете. Мне пришлось немало повозиться с картиной, пока я ее реставрировал, и, знаете, она стала как-то странно действовать на меня. Лицо на холсте иногда кажется мне более живым, чем мертвенные лица здешних обитателей. Оно, словно талисман или магнит, повелевает стихиями, предопределяет события и судьбы. Вы, конечно, скажете — игра воображения?

— Что за шум? — вдруг вскочил Пейн.

Они прислушались, но не услышали ничего, кроме отдаленного глухого рокота моря; затем им стало казаться, что сквозь этот рокот звучит голос, сначала приглушенный, потом все более явственный. Через минуту они были уже уверены: кто-то кричал около замка.

Пейн нагнулся и выглянул в низкое овальное окно, то самое, из которого не было видно ничего, кроме отражен-

¹ По-видимому, речь идет о Георге I (1714—1727).

ного в воде неба и полосы берега. Но теперь перевернутое изображение как-то изменилось. От нависшей тени берега шли еще две темные тени — отражение ног человека, стоявшего высоко на берегу. Сквозь узкое оконное отверстие виднелись только эти ноги, чернеющие на бледном, мертвенном фоне вечернего неба. Головы не было видно — она словно уходила в облака, и голос от этого казался еще страшнее: человек кричал, а что он кричал, они не могли ни расслышать как следует, ни понять. Пейн, изменившись в лице, пристально всмотрелся в сумерки и каким-то не своим голосом сказал:

— Как странно он стоит!

— Нет, нет! — поспешно зашептал Вуд. — В зеркале все выглядит очень странно. Это просто зыбь на воде, а вам кажется...

— Что кажется? — резко спросил священник.

— Что он хром на левую ногу.

Пейн с самого начала воспринял овальное окно как некое волшебное зеркало, и теперь ему почудилось, что он видит в нем таинственные образы судьбы. Помимо человека, в воде обрисовывалось еще что-то непонятное: три тонкие длинные линии на бледном фоне неба, словно рядом с незнакомцем стояло трехногое чудовище — гигантский паук или птица. Затем этот образ сменился другим, более реальным; Пейн подумал о треножнике языческого жертвенника. Но тут странный предмет исчез, а человеческие ноги ушли из поля зрения.

Пейн обернулся и увидел бледное лицо дворецкого; рот его был полуоткрыт, и из него торчал единственный зуб.

— Это он. Пароход из Австралии прибыл сегодня утром.

Возвращаясь из библиотеки в большую гостиную, они слышали шаги незнакомца, который шумно спускался по лестнице; он тащил за собой какие-то вещи, составлявшие его небольшой багаж. Увидев их, Пейн облегченно рассмеялся. Таинственный треножник оказался всего-навсего складным штативом фотоаппарата, да и сам человек выглядел вполне реально и по-земному. Он был одет в свободный темный костюм и серую фланелевую рубашку, а его тяжелые ботинки довольно непочтительно нарушали тишину старинных покоев. Когда он шел

к ним через большой зал, они заметили, что он прихрамывает. Но не это было главным: Пейн и все присутствующие не отрываясь смотрели на его лицо.

Он, должно быть, почувствовал что-то странное и неловкое в том, как его встретили, но явно не понимал, в чем дело. Девушка, помолвленная с ним, была красива и, видимо, ему понравилась, но в то же время как будто испугала его. Дворецкий приветствовал наследника со старинной церемонностью, но при этом смотрел на него точно на привидение. Взгляд священника был непроницаем и уже поэтому действовал угнетающе. Мысли Пейна неожиданно получили новое направление: во всем происходящем ему почудилась какая-то ирония — злоеющая ирония в духе древнегреческих трагедий. Раньше незнакомец представлялся ему дьяволом, но действительность оказалась, пожалуй, еще страшнее: он был воплощением слепого рока. Казалось, он шел к преступлению с чудовищным неведением Эдипа. К своему фамильному замку он приблизился в полной безмятежности и остановился, чтобы сфотографировать его, но даже фотоаппарат приобрел вдруг сходство с треножником трагической пифии.

Однако немного позже, прощаясь, Пейн с удивлением заметил, что австралиец не так уж слеп к окружающей обстановке. Он сказал, понизив голос:

— Не уходите... или хотя бы поскорее приходите снова. Вы похожи на живого человека. От этого дома у меня кровь стынет в жилах.

Когда Пейн выбрался из подземных комнат и вдохнул полной грудью ночной воздух и свежий запах моря, ему представилось, что он оставил позади царство сновидений, где события нагромождаются одно на другое тревожно и неправдоподобно. Приезд странного родственника из Австралии казался слишком неожиданным. В его лице, как в зеркале, повторялось лицо, написанное на портрете, и совпадение пугало Пейна, словно он встретился с двухговым чудовищем. Впрочем, не все в этом доме было кошмаром, и не лицо австралийца глубже всего врезалось ему в память.

— Так вы говорите, — сказал Пейн доктору, когда они вместе шли по песчаному берегу вдоль темнеющего моря, — вы говорите, что есть семейное соглашение, в си-

лу которого молодой человек из Австралии помолвлен с мисс Дарнуэй? Это прямо роман какой-то!

— Исторический роман,— сказал доктор Барнет.— Дарнуэй погрузились в сон несколько столетий тому назад, когда существовали обычаи, о которых мы теперь читаем только в книгах. У них в роду, кажется, и впрямь есть старая семейная традиция: соединять узами брака — дабы не дробить родовое имущество — двоюродных или троюродных братьев и сестер, если они подходят друг другу по возрасту. Очень глупая традиция, кстати сказать. Частые браки внутри одной семьи по закону наследственности неизбежно приводят к вырождению. Может, поэтому род Дарнуэев и пришел в упадок.

— Я бы не сказал, что слово «вырождение» уместно по отношению ко всем членам этой семьи,— сухо ответил Пейн.

— Да, пожалуй,— согласился доктор.— Наследник не похож на выродка, хоть он и хромым.

— Наследник! — воскликнул Пейн, вдруг рассердившись без всякой видимой причины.— Ну, знаете!.. Если, по-вашему, наследница похожа на выродка, то у вас у самого выродился вкус.

Лицо доктора помрачнело.

— Я полагаю, что на этот счет мне известно несколько больше, чем вам,— резко ответил он.

Они расстались, не проронив больше ни слова: каждый чувствовал, что был бессмысленно груб и потому сам напоролся на бессмысленную грубость. Пейн был предоставлен теперь самому себе и своим мыслям, ибо его друг Вуд задержался в замке из-за каких-то дел, связанных с картинами.

Пейн широко воспользовался приглашением немного перепуганного кузена из колоний. За последующие две-три недели он гораздо ближе познакомился с темными покоями замка Дарнуэев; впрочем, нужно сказать, что его старания развлечь обитателей замка были направлены не только на австралийского кузена. Печальная мисс Дарнуэй не меньше нуждалась в развлечении, и он готов был на все лады служить ей. Между тем совесть Пейна была не совсем спокойна, да и неопределенность положения несколько смущала его. Проходили недели, а из поведения нового Дарнуэя так и нельзя было понять,

считает он себя связанным старым соглашением или нет. Он задумчиво бродил по темным галереям и часами простаивал перед зловещей картиной. Старые тени доматюрмы уже начали сгущаться над ним, и от его австралийской жизнерадостности не осталось и следа. А Пейну все не удавалось выведать то, что было для него самым важным. Однажды он попытался открыть сердце Мартину Вуду, возившемуся, по своему обыкновению, с картинами, но разговор не принес ничего нового и обнадеживающего.

— По-моему, вам нечего соваться,— отрезал Вуд,— они ведь помолвлены.

— Я и не стану соваться, если они помолвлены. Но существует ли помолвка? С мисс Дарнуэй я об этом, конечно, не говорил, но я часто вижу ее, и мне ясно, что она не считает себя помолвленной, хотя, может, и допускает мысль, что какой-то уговор существовал. А кузен, тот вообще молчит и делает вид, будто ничего нет и не было. Такая неопределенность жестоко отзывается на всех.

— И в первую очередь на вас,— резко сказал Вуд.— Но если хотите знать, что я думаю об этом, извольте, я скажу: по-моему, он просто боится.

— Боится, что ему откажут? — спросил Пейн.

— Нет, что ответят согласием,— ответил Вуд.— Да не смотрите на меня такими страшными глазами! Я вовсе не хочу сказать, что он боится мисс Дарнуэй,— он боится картины.

— Картины? — переспросил Пейн.

— Проклятия, связанного с картиной. Разве вы не помните надпись, где говорится о роке Дарнуэев?

— Помню, помню. Но согласитесь, даже рок Дарнуэев нельзя толковать двояко. Сначала вы говорили, что я не вправе на что-либо рассчитывать, потому что существует соглашение, а теперь вы говорите, что соглашение не может быть выполнено потому, что существует проклятие. Но если проклятие уничтожает соглашение, то почему она связана им? Если они боятся пожениться, значит, каждый из них свободен в своем выборе — и дело с концом. С какой стати я должен считаться с их семейными обычаями больше, чем они сами? Ваша позиция кажется мне шаткой.

— Что и говорить, тут сам черт ногу сломит,— радужно сказал Вуд и снова застучал молотком по подрамнику.

И вот однажды утром новый наследник нарушил свое долгое и непостижимое молчание. Сделал он это несколько неожиданно, со свойственной ему прямолинейностью, но явно из самых честных побуждений. Он открыто попросил совета, и не у кого-нибудь одного, как Пейн, а сразу у всех. Он обратился ко всему обществу, словно депутат парламента к избирателям, «раскрыл карты», как сказал он сам. К счастью, молодая хозяйка замка при этом не присутствовала, что очень порадовало Пейна. Впрочем, надо сказать, австралиец действовал чисто-сердечно; ему казалось вполне естественным обратиться за помощью. Он собрал нечто вроде семейного совета и положил, вернее, швырнул свои карты на стол с отчаянием человека, который дни и ночи напролет безуспешно бьется над неразрешимой задачей. С тех пор как он приехал сюда, прошло немного времени, но тени замка, низкие окна и темные галереи странным образом изменили его — увеличили сходство, мысль о котором не покидала всех.

Пятеро мужчин, включая доктора, сидели вокруг стола, и Пейн рассеянно подумал, что единственное яркое пятно в комнате — его собственный полосатый пиджак и рыжие волосы, ибо священник и старый слуга были в черном, а Вуд и Дарнуэй всегда носили темно-серые, почти черные костюмы. Должно быть, именно этот контраст и имел в виду молодой Дарнуэй, назвав Пейна единственным в доме живым человеком. Но тут Дарнуэй круто повернулся в кресле, заговорил — и художник сразу понял, что речь идет о самом страшном и важном на свете.

— Есть ли во всем этом хоть крупинка истины? — говорил австралиец. — Вот вопрос, который я все время задаю себе, задаю до тех пор, пока мысли не начинают мешаться у меня в голове. Никогда я не предполагал, что смогу думать о подобных вещах, но я думаю о портрете, и о надписи, и о совпадении, или... называйте это как хотите — и весь холодею. Можно ли в это верить? Существует ли рок Дарнуэев или все это дикая, нелепая случайность? Имею я право жениться или я этим навлеку

на себя и еще на одного человека что-то темное, страшное и неведомое?

Его блуждающий взгляд скользнул по лицам и остановился на спокойном лице священника; казалось, он теперь обращался только к нему. Трезвого и здорового Пейна возмутило, что человек, восставший против суеверий, просит помощи у верного служителя суеверия. Художник сидел рядом с Дарнуэем и вмешался, прежде чем священник успел ответить.

— Совпадения эти, правда, удивительны,— сказал Пейн с нарочитой небрежностью.— Но ведь все мы...— Он вдруг остановился, словно громом пораженный.

Услышав слова художника, Дарнуэй резко обернулся, левая бровь у него вздернулась, и на мгновение Пейн увидел перед собой лицо портрета; зловещее сходство было так поразительно, что все невольно содрогнулись. У старого слуги вырвался глухой стон.

— Нет, это безнадежно,— хрипло сказал он.— Мы столкнулись с чем-то слишком страшным.

— Да,— тихо согласился священник.— Мы действительно столкнулись с чем-то страшным, с самым страшным из всего, что я знаю,— с глупостью.

— Как вы сказали? — спросил Дарнуэй, не сводя с него глаз.

— Я сказал — с глупостью,— повторил священник.— До сих пор я не вмешивался, потому что это не мое дело. Я тут человек посторонний, временно заменяю священника в здешнем приходе и в замке бывал как гость по приглашению мисс Дарнуэй. Но если вы хотите знать мое мнение, что ж, я вам охотно отвечу. Разумеется, никакого рока Дарнуэев нет и ничто не мешает вам жениться по собственному выбору. Ни одному человеку не может быть предопределено совершить даже самый ничтожный грех, не говоря уже о таком страшном, как убийство или самоубийство. Вас нельзя заставить поступать против совести только потому, что ваше имя Дарнуэй. Во всяком случае, не больше, чем меня, потому что мое — Браун. Рок Браунов,— добавил он не без иронии,— или еще лучше: «Зловещий рок Браунов».

— И это вы,— изумленно воскликнул австралиец,— вы советуете мне как думать об этом?

— Я советую вам думать о чем-нибудь другом,—

весело отвечал священник.— Почему вы забросили молодое искусство фотографии? Куда девался ваш аппарат? Здесь внизу, конечно, слишком темно, но на верхнем этаже, под широкими сводами, можно устроить отличную фотостудию. Несколько рабочих в мгновение ока соорудят там стеклянную крышу.

— Помилуйте,— запротестовал Вуд,— уж от вас-то я меньше всего ожидал такого кощунства по отношению к прекрасным готическим сводам! Они едва ли не лучшее из того, что ваша религия дала миру. Казалось бы, вы должны с почтением относиться к зодчеству. И я никак не пойму, откуда у вас такое пристрастие к фотографии?

— У меня пристрастие к дневному свету,— ответил отец Браун.— В особенности здесь, где его так мало. Фотография же связана со светом. А если вы не понимаете, что я готов сровнять с землей все готические своды в мире, чтобы сохранить покой даже одной человеческой души, то вы знаете о моей религии еще меньше, чем вам кажется.

Австралиец вскочил на ноги, словно почувствовал неожиданый прилив сил.

— Вот это я понимаю! Вот это настоящие слова! — воскликнул он.— Хотя, признаться, я никак не ожидал услышать их от вас. Знаете что, дорогой патер, я вот возьму и сделаю одну штуку — докажу, что я еще не совсем потерял присутствие духа.

Старый слуга не сводил с него испуганного, настороженного взгляда, словно в бунтарском порыве молодого человека таилась гибель.

— Боже,— пробормотал он,— что вы хотите сделать?

— Сфотографировать портрет,— отвечал Дарнуэй.

Не прошло, однако, и недели, а грозовые тучи катастрофы снова нависли над замком и, затмив солнце здравомыслия, к которому тщегно взывал священник, вновь погрузили дом в черную тьму рока. Оборудовать студию оказалось очень нетрудно. Она ничем не отличалась от любой другой студии — пустая, просторная и полная дневного света. Но когда человек попадал в нее прямо из сумрака нижних комнат, ему начинало казаться, что он мгновенно перенесся из темного прошлого в блистательное будущее.

По предложению Вуда, который хорошо знал замок и уже отказался от своих эстетических претензий, небольшую комнату, уцелевшую среди развалин второго этажа, превратили в темную лабораторию. Дарнуэй, удалившись от дневного света, подолгу возился здесь при свете красной лампы. Вуд однажды сказал смеясь, что красный свет примирил его с вандализмом — теперь эта комната с кровавыми бликами на стенах стала не менее романтична, чем пещера алхимика.

В день, избранный Дарнуэем для фотографирования таинственного портрета, он встал с восходом солнца и по единственной винтовой лестнице, соединявшей нижний этаж с верхним, перенес портрет из библиотеки в свою студию. Там он установил его на мольберте, а напротив водрузил штатив фотоаппарата. Он сказал, что хочет дать снимок с портрета одному известному антиквару, который писал когда-то о старинных вещах в замке Дарнуэй. Но всем было ясно, что антиквар — только предлог, за которым скрывается нечто более серьезное. Это был своего рода духовный поединок — если не между Дарнуэем и бесовской картиной, то, во всяком случае, между Дарнуэем и его сомнениями. Он хотел столкнуть трезвую реальность фотографии с темной мистикой портрета и посмотреть, не рассеет ли солнечный свет нового искусства ночные тени старого.

Может быть, именно потому Дарнуэй и предпочел делать все сам, без посторонней помощи, хотя из-за этого ему пришлось потратить гораздо больше времени. Во всяком случае, те, кто заходил к нему в комнату, встречали не очень приветливый прием: он суетился около своего аппарата и ни на кого не обращал внимания. Пейн принес ему обед, поскольку Дарнуэй отказался сойти вниз; некоторое время спустя слуга поднялся туда и нашел тарелки пустыми, но когда он их уносил, то вместо благодарности услышал лишь невнятное мычание. Пейн поднялся посмотреть, как идут дела, но вскоре ушел, так как фотограф был явно не расположен к беседе. Заглянул наверх и отец Браун: он хотел вручить Дарнуэю письмо от антиквара, которому предполагалось послать снимок с портрета. Но положил письмо в пустую ванночку для проявления пластинок, а сам спустился вниз; своими же мыслями о большой стеклянной комнате, полной днев-

ного света и страстного упорства,— о мире, который, в известном смысле, был создан им самим,— он не поделился ни с кем. Впрочем, вскоре ему пришлось вспомнить, что он последним сошел по единственной в доме лестнице, соединяющей два этажа, оставив наверху пустую комнату и одинокого человека. Гости и домочадцы собрались в примыкавшей к библиотеке гостиной, у массивных часов черного дерева, похожих на гигантский гроб.

— Ну как там Дарнуэй? — спросил Пейн немного погодя. — Вы ведь недавно были у него?

Священник провел рукой по лбу.

— Со мной творится что-то неладное, — с грустной улыбкой сказал он. — А может быть, меня ослепил яркий свет и я не все видел как следует. Но, честное слово, в фигуре у аппарата мне на мгновение почудилось что-то очень странное.

— Так ведь это его хромая нога, — поспешно ответил Барнет. — Совершенно ясно.

— Что ясно? — спросил Пейн резко, но в то же время понизив голос. — Мне лично далеко не все ясно. Что нам известно? Что у него с ногой? И что было с ногой у его предка?

— Как раз об этом-то и говорится в книге, которую я нашел в семейных архивах, — сказал Вуд. — Подождите, я вам сейчас ее принесу. — И он скрылся в библиотеке.

— Мистер Пейн, думается мне, неспроста задал этот вопрос, — спокойно заметил отец Браун.

— Сейчас я вам все выложу, — проговорил Пейн еще более тихим голосом. — В конце концов, ведь нет ничего на свете, чему нельзя было бы подыскать вполне разумное объяснение; любой человек может загримироваться под портрет. А что мы знаем об этом Дарнуэе! Ведет он себя как-то необычно...

Все изумленно посмотрели на него, и только священник, казалось, был невозмутим.

— Дело в том, что портрет никогда не фотографировали, — сказал он. — Вот Дарнуэй и хочет это сделать. Я не вижу тут ничего необычного.

— Все объясняется очень просто, — сказал Вуд с улыбкой; он только что вернулся и держал в руках книгу.

Но не успел художник договорить, как в больших черных часах что-то щелкнуло — один за другим последовало семь мерных ударов. Одновременно с последним наверху раздался грохот, потрясший дом, точно раскат грома. Отец Браун бросился к винтовой лестнице и взбежал на первые две ступеньки, прежде чем стих этот шум.

— Боже мой! — невольно вырвалось у Пейна. — Он там совсем один!

— Да, мы найдем его там одного, — не оборачиваясь, сказал отец Браун и скрылся наверху.

Все остальные, опомнившись после первого потрясения, сломя голову устремились вверх по лестнице и действительно нашли Дарнуэя одного. Он был распростерт на полу среди обломков рухнувшего аппарата; три длинные ноги штатива смешно и жутко торчали в разные стороны, а черная искривленная нога самого Дарнуэя беспомощно вытянулась на полу. На мгновение эта темная груда показалась им чудовищным пауком, стиснувшим в своих объятиях человека. Достаточно было одного прикосновения, чтобы убедиться: Дарнуэй был мертв. Только портрет стоял невредимый на своем месте, и глаза его светились зловещей улыбкой.

Час спустя отец Браун, пытавшийся водворить порядок в доме, наткнулся на слугу, что-то бормотавшего себе под нос так же монотонно, как отстукивали время часы, пробившие страшный час. Слов священник не слышал, но он и так знал, что повторяет старик:

В седьмом наследнике возникну вновь
И в семь часов исчезну без следа.

Он хотел было сказать что-нибудь утешительное, но старый слуга вдруг опаматовался, лицо его исказилось гневом, бормотание перешло в крик.

— Это все вы! — закричал он. — Вы и ваш дневной свет! Может, вы и теперь скажете, что нет никакого рока Дарнуэев?

— Я скажу то же, что и раньше, — мягко ответил отец Браун. И, помолчав, добавил: — Надеюсь, вы исполните последнее желание бедного Дарнуэя и проследите за тем, чтобы фотография все-таки была отправлена по назначению.

— Фотография! — воскликнул доктор. — А что от нее проку? Да, кстати, как ни странно, а никакой фотографии нет. По-видимому, он так и не сделал ее, хотя целый день провозился с аппаратом.

Отец Браун резко обернулся.

— Тогда сделайте ее сами, — сказал он. — Бедный Дарнуэй был абсолютно прав: портрет необходимо сфотографировать. Это крайне важно.

Когда доктор, священник и оба художника покинули дом и мрачной процессией медленно шли через коричнево-желтые пески, поначалу все хранили молчание, словно оглушенные ударом. И правда, было что-то подобное грому среди ясного неба в том, что старинное пророчество свершилось именно в тот момент, когда о нем меньше всего думали; когда доктор и священник были преисполнены здравомыслия, а комната фотографа наполнена дневным светом. Они могли сколько угодно здраво мыслить и рассуждать, но седьмой наследник вернулся среди бела дня и в семь часов среди бела дня погиб.

— Теперь, пожалуй, никто уже не будет сомневаться в существовании рока Дарнуэев, — сказал Мартин Вуд.

— Я знаю одного человека, который будет, — резко ответил доктор. — С какой стати я должен поддаваться предрассудкам, если кому-то пришлось в голову покончить с собой?

— Так вы считаете, что Дарнуэй совершил самоубийство? — спросил священник.

— Я уверен в этом, — ответил доктор.

— Возможно, что и так.

— Он был один наверху, а рядом в темной комнате имелся целый набор ядов. Вдобавок это свойственно Дарнуэям.

— Значит, вы не верите в семейное проклятие?

— Я верю только в одно семейное проклятие, — сказал доктор, — в их наследственность. Я вам уже говорил. Они все какие-то сумасшедшие. Иначе и быть не может: когда у вас от бесконечных браков внутри одного семейства кровь застаивается в жилах, как вода в болоте, вы неизбежно обречены на вырождение, нравится вам это или нет. Законы наследственности неумолимы, научно доказанные истины не могут быть опровергнуты. Рассудок Дарнуэев распадается, как распадается их родовой за-

мок, изъеденный морем и соленым воздухом. Самоубийство... Разумеется, он покончил с собой. Более того: все в этом роду рано или поздно кончат так же. И это еще лучшее из всего, что они могут сделать.

Пока доктор рассуждал, в памяти Пейна с удивительной ясностью возникло лицо дочери Дарнуэв — выступившая из непроницаемой тьмы маска, бледная, трагическая, но исполненная слепящей, почти бессмертной красоты. Пейн открыл рот, хотел что-то сказать, но почувствовал, что не может произнести ни слова.

— Понятно,— сказал отец Браун доктору.— Так вы, значит, все-таки верите в предопределение?

— То есть как это «верите в предопределение»? Я верю только в то, что самоубийство в данном случае было неизбежно — оно обусловлено научными факторами.

— Признаться, я не вижу, чем ваше научное суеверие лучше суеверия мистического,— отвечал священник.— Оба они превращают человека в паралитика, неспособного пошевелить пальцем, чтобы позаботиться о своей жизни и душе. Надпись гласила, что Дарнуэи обречены на гибель, а ваш научный гороскоп утверждает, что они обречены на самоубийство. И в том и в другом случае они оказываются рабами.

— Помнится, вы говорили, что придерживаетесь рационального взгляда на эти вещи,— сказал доктор Барнет.— Разве вы не верите в наследственность?

— Я говорил, что верю в дневной свет,— ответил священник громко и отчетливо.— И я не намерен выбирать между двумя подземными ходами суеверия — оба они ведут во мрак. Вот вам доказательство: вы все понятия не имеете о том, что действительно произошло в доме.

— Вы имеете в виду самоубийство? — спросил Пейн.

— Я имею в виду убийство,— ответил отец Браун. И хотя он сказал это только чуть-чуть громче, голос его, казалось, прокатился по всему берегу.— Да, это было убийство. Но убийство, совершенное человеческой волей, которую господь бог сделал свободной.

Что на это ответили другие, Пейн так никогда и не узнал, потому что слово, произнесенное священником, очень странно подействовало на него: оно его взбудора-

жило, точно призывный звук фанфар, и пригвоздило к месту. Спутники Пейна ушли далеко вперед, а он все стоял неподвижно — один среди песчаной равнины; кровь забурилась в его жилах, и волосы, что называется, шевелились на голове. В то же время его охватило необъяснимое счастье. Психологический процесс, слишком сложный, чтобы в нем разобраться, привел его к решению, которое еще не поддавалось анализу. Но оно несло с собой освобождение. Постояв еще немного, он повернулся и медленно пошел обратно, через пески, к дому Дарнуэв.

Решительными шагами, от которых задрожал старый мост, он пересек ров, спустился по лестнице, прошел через всю анфиладу темных покоев и наконец достиг той комнаты, где Аделаида Дарнуэй сидела в ореоле бледного света, падавшего из овального окна, словно святая, всеми забытая и покинутая в долине смерти. Она подняла на него глаза, и удивление, засветившееся на ее лице, сделало это лицо еще более удивительным.

— Что случилось? — спросила она. — Почему вы вернулись?

— Я вернулся за спящей красавицей, — ответил он, и в голосе его послышался смех. — Этот старый замок погрузился в сон много лет тому назад, как говорит доктор, но вам не следует притворяться старой. Пойдемте наверх, к свету, и вам откроется правда. Я знаю одно слово, страшное слово, которое разрушит злые чары.

Она ничего не поняла из того, что он сказал. Однако встала, последовала за ним через длинный зал, поднялась по лестнице и вышла из дома под вечернее небо. Заброшенный, опустелый парк спускался к морю; старый фонтан с фигурой тритона еще стоял на своем месте, но весь позеленел от времени, и из высохшего рога в пустой бассейн давно уже не лилась вода. Пейн много раз видел этот печальный силуэт на фоне вечернего неба, и он всегда казался ему воплощением погибшего счастья. Пройдет еще немного времени, думал Пейн, и бассейн снова наполнится водой, но это будет мутно-зеленая горькая вода моря, цветы захлебнутся в ней и погибнут среди густых цепких водорослей. И дочь Дарнуэв обручится — обручится со смертью и роком, глухим и безжалостным, как море. Однако теперь Пейн смело положил

большую руку на бронзового тритона и погряз его так, словно хотел сбросить с пьедестала злое божество мертвого парка.

— О чем вы? — спокойно спросила она. — Что это за слово, которое освободит нас?

— Это слово — «убийство», — отвечал он, — и оно несет с собой освобождение, чистое, как весенние цветы. Нет, нет, не подумайте, что я убил кого-то. Но после страшных снов, мучивших вас, весть, что кто-то может быть убит, уже сама по себе — освобождение. Не понимаете? Весь этот кошмар, в котором вы жили, исходил от вас самих. Рок Дарнуэев был в самих Дарнуэях; он распускался, как страшный ядовитый цветок. Ничто не могло избавить от него, даже счастливая случайность. Он был неотвратим, будь то старые предания Уэйна или новомодные теории Барнета... Но человек, который погиб сегодня, не был жертвой мистического проклятия или наследственного безумия. Его убили. Конечно, это — большое несчастье, *requiescat in pace*¹, но это и счастье, потому что произошло оно извне, как луч дневного света.

Вдруг она улынулась.

— Кажется, я поняла, хотя говорите вы как безумец. Кто же убил его?

— Я не знаю, — ответил он спокойно. — Но отец Браун знает. И он сказал, что убийство совершила воля, свободная, как этот морской ветер.

— Отец Браун — удивительный человек, — промолвила она не сразу. — Только он один как-то скрашивал мою жизнь, до тех пор пока...

— Пока что? — переспросил Пейн, порывисто наклонился к ней и так толкнул бронзовое чудовище, что оно качнулось на своем пьедестале.

— Пока не появились вы, — сказала она и снова улынулась.

Так пробудился старый замок. В нашем рассказе мы не собираемся описывать все стадии этого пробуждения, хотя многое произошло еще до того, как на берег спустилась ночь. Когда Гарри Пейн, наконец, снова отправился домой, он был полон такого счастья, какое только возможно в этом бренном мире. Он шел через темные

¹ Мир праху его (лат.).

пески — те самые, по которым часто бродил в столь тяжелой тоске, но теперь в нем все ликovalo, как море в час полного прилива. Он представлял себе, что замок снова утопает в цветах, бронзовый тритон сверкает, как золотой божок, а бассейн наполнен прозрачной водой или вином. И весь этот блеск, все это цветение раскрылись перед ним благодаря слову «убийство», смысла которого он все еще не понимал. Он просто принял его на веру и поступил мудро — ведь он был одним из тех, кто чуток к голосу правды.

Прошло больше месяца, и Пейн наконец вернулся в свой лондонский дом, где у него была назначена встреча с отцом Брауном: художник привез с собой фотографию портрета. Его сердечные дела подвигались успешно, насколько позволяла тень недавней трагедии, — потому она и не слишком омрачала его душу; впрочем, он все же помнил, что это — тень семейной катастрофы. Последнее время ему пришлось заниматься слишком многими делами, и лишь после того как жизнь в доме Дарнуэв вошла в свою колею, а роковой портрет был водворен на прежнее место в библиотеке, ему удалось сфотографировать его при вспышке магния. Но перед тем как отослать снимок антиквару, как и было договорено, он привез показать его священнику, который настоятельно просил об этом.

— Никак не пойму вас, отец Браун, — сказал Пейн. — У вас такой вид, словно вы давно разгадали эту загадку.

Священник удрученно покачал головой.

— В том-то и дело, что нет, — ответил он. — Должно быть, я непроходимо глуп, так как не понимаю, совершенно не понимаю одной элементарнейшей детали в этой истории. Все ясно до определенного момента, но потом... Дайте-ка мне взглянуть на фотографию. — Он поднес ее к глазам и близорукко прищурился. — Нет ли у вас лупы? — спросил он мгновение спустя.

Пейн дал ему лупу, и священник стал пристально разглядывать фотографию; затем он сказал:

— Посмотрите, вот тут книга, на полке, возле самой рамы портрета... Читайте название: «Жизнь папессы Иоанны». Гм, интересно... Стоп! А вон и другая над ней, что-то про Исландию. Так и есть! Господи! И обнаружить

это таким странным образом! Какой же я осел, что не заметил их раньше, еще там!

— Да что вы такое обнаружили? — нетерпеливо спросил Пейн.

— Последнее звено, — сказал отец Браун. — Теперь мне все ясно, теперь я понял, как разворачивалась вся эта печальная история с самого начала и до самого конца.

— Но как вы это узнали? — настойчиво спросил Пейн.

— Очень просто, — с улыбкой отвечал священник. — В библиотеке Дарнуэв есть книги о папессе Иоанне и об Исландии и еще одна, название которой, как я вижу, начинается словами: «Религия Фридриха...», а как оно кончается — не так уж трудно догадаться. — Затем, заметив нетерпение своего собеседника, священник заговорил уже более серьезно, и улыбка исчезла с его лица: — Собственно говоря, эта подробность не так уж существенна, хотя она и оказалась последним звеном. В этом деле есть детали куда более странные. Начнем с того, что, конечно, очень удивит вас. Дарнуэй умер не в семь часов вечера. Он был мертв с самого утра.

— Удивит — знаете ли, слишком мягко сказано, — мрачно ответил Пейн, — ведь и вы и я видели, как он целый день расхаживал по комнате.

— Нет, этого мы не видели, — спокойно возразил отец Браун. — Мы оба видели или, вернее, предполагали, что видим, как он весь день возился со своим аппаратом. Но разве на голове у него не было темного покрывала, когда вы заходили в комнату? Когда я туда зашел, это было так. И недаром мне показалось что-то странное в его фигуре. Дело тут не в том, что он был хромым, а, скорее, в том, что он хромым не был. Он был одет в такой же темный костюм. Но если вы увидите человека, который пытается принять позу, свойственную другому, то вам обязательно бросится в глаза некоторая напряженность и неестественность всей фигуры.

— Вы хотите сказать, — воскликнул Пейн, содрогнувшись, — что это был не Дарнуэй?

— Это был убийца, — сказал отец Браун. — Он убил Дарнуэя еще на рассвете и спрятал труп в темной комнате, а она — идеальный тайник, потому что туда обычно никто не заглядывает, а если и заглянет, то все равно

немного увидит. Но в семь часов вечера убийца бросил труп на пол, чтобы можно было все объяснить проклятием Дарнуэв.

— Но позвольте,— воскликнул Пейн,— какой ему был смысл целый день стеречь мертвое тело? Почему он не убил его в семь часов вечера?

— Разрешите мне в свою очередь задать вам вопрос,— ответил священник.— Почему портрет так и не был сфотографирован? Да потому, что преступник поспешил убить Дарнуэя до того, как тот успел это сделать. Ему, очевидно, было важно, чтобы фотография не попала к антиквару, хорошо знавшему реликвии дома Дарнуэв.

Наступило молчание; затем священник продолжал более тихим голосом:

— Разве вы не видите, как все это просто? Вы сами в свое время сделали одно предположение, но действительность оказалась еще проще. Вы сказали, что любой человек может придать себе сходство с портретом. Но ведь еще легче придать портрету сходство с человеком. . Короче говоря, никакого рока Дарнуэв не было. Не было старинной картины, не было старинной надписи, не было предания о человеке, лишившем жизни свою жену. Но был другой человек, очень жестокий и очень умный, который хотел лишить жизни своего соперника, чтобы похитить его невесту.— Священник грустно улыбнулся Пейну, словно успокаивая его.— Вы, наверно, сейчас подумали, что я имею в виду вас,— сказал он.— Не только вы посещали этот дом из романтических побуждений. Вы знаете этого человека или, вернее, думаете, что знаете. Но есть темные бездны в душе Мартина Вуда, художника и любителя старины, о которых никто из его знакомых даже не догадывается. Помните, его пригласили в замок, чтобы реставрировать картины? На языке обветшалых аристократов это значит, что он должен был узнать и доложить Дарнуэям, какими сокровищами они располагают. Они ничуть бы не удивились, если бы в замке обнаружился портрет, которого раньше никто не замечал. Но тут требовалось большое искусство, и Вуд его проявил. Пожалуй, он был прав, когда говорил, что если это не Гольбейн, то мастер, не уступающий ему в гениальности.

— Я потрясен,— сказал Пейн,— но очень многое мне еще непонятно. Откуда он узнал, как выглядит Дарнуэй? Каким образом он убил его? Врачи так и не разобрались в причине смерти.

— У мисс Дарнуэй была фотография австралийца, которую он прислал ей еще до своего приезда,— сказал священник.— Ну, а когда стало известно, как выглядит новый наследник, Вуду нетрудно было узнать и все остальное. Мы не знаем многих деталей, но о них можно догадаться. Помните, он часто помогал Дарнуэю в темной комнате, а ведь там легче легкого, скажем, уколоть человека отравленной иглой, когда к тому же под рукой всевозможные яды. Нет, трудность не в этом. Меня мучило другое: как Вуд умудрился быть одновременно в двух местах? Каким образом он сумел вытащить труп из темной комнаты и так прислонить его к аппарату, чтобы он упал через несколько секунд, и в это же самое время разыскивать в библиотеке книгу? И я, старый дурак, не догадался взглянуть повнимательнее на книжные полки! Только сейчас, благодаря счастливой случайности, я обнаружил вот на этой фотографии простейший факт — книгу о папессе Иоанне.

— Вы приберегли под конец самую таинственную из своих загадок,— сказал Пейн.— Какое отношение к этой истории может иметь папесса Иоанна?

— Не забудьте и про книгу об Исландии, а также о религии какого-то Фридриха. Теперь весь вопрос только в том, что за человек был покойный лорд Дарнуэй.

— И только-то? — растерянно спросил Пейн.

— Он был большой оригинал, широко образованный и с чувством юмора. Как человек образованный, он, конечно, знал, что никакой папессы Иоанны никогда не существовало. Как человек с чувством юмора, он вполне мог придумать заглавие: «Змеи Исландии» — их ведь нет в природе. Я осмелюсь восстановить третье заглавие: «Религия Фридриха Великого», которой тоже никогда не было. Так вот, не кажется ли вам, что все эти названия как нельзя лучше подходят к книгам, которые не книги, или, вернее, к книжным полкам, которые не книжные полки.

— Стойте! — воскликнул Пейн.— Я понял. Это потайная лестница...

— ...ведущая наверх, в ту комнату, которую Вуд сам выбрал для лаборатории,—сказал священник.—Да, именно потайная лестница — и ничего тут не поделаешь. Все оказалось весьма банальным и глупым; а глупее всего, что я не разгадал сразу. Мы все попались на удочку старинной романтики — были тут и приходящие в упадок дворянские семейства, и разрушающиеся фамильные замки... Так разве могло обойтись дело без потайного хода? Это был тайник католических священников, и, честное слово, я заслужил, чтобы меня туда запрятали.

ТАИНА ОТЦА БРАУНА



ламбо — один из самых знаменитых преступников Франции, а впоследствии частный сыщик в Англии, давно уже бросил обе эти профессии. Говорили, что преступное прошлое не позволяло ему стать строгим к преступнику. Так или иначе, покинув стезю романтических побегов и сногшибательных приключений, он поселился в Испании, в собственном замке. Замок был весьма солидной постройки, хотя относительно невелик; черные виноградники и зеленые грядки огорода покрывали большую часть бурого холма, на котором он стоял. Несмотря на все пережитые им авантюры, Фламбо обладал свойством, присущим многим представителям латинской расы и незнакомым другим нациям (например, американцам): он умел уйти от суеты. Так владелец крупного отеля мечтает завести на старости маленькую ферму, а лавочник из французского местечка останавливается в тот самый миг, когда может стать мерзавцем-миллионером и скупить все лавки до единой, и проводит остаток дней дома, за домино. Случайно и совершенно внезапно Фламбо влюбился в испанку, женился на ней, приобрел поместье и зажил семейной жизнью, не обнаруживая ни

малейшего желания вновь пуститься в странствия. Но в одно прекрасное утро семья его заметила, что он сильно возбужден и встревожен. Он вышел погулять с мальчиками, но вскоре перегнал их и бросился вниз с холма навстречу какому-то человеку, пересекавшему долину, хотя человек этот был не больше черной точки.

Точка постепенно увеличивалась, почти не меняя, однако, своих очертаний,—она оставалась все такой же черной и круглой. Черная сутана не была тут в диковинку, но сутана приезжего (который оказался священником) выглядела как-то особенно буднично и в то же время приветливо по сравнению с одеждами местного духовенства, изобличая в новоприбывшем жителя британских островов. В руках он держал короткий пухлый зонтик с тяжелым круглым набалдашником, при виде которого Фламбо чуть не расплакался от умиления, ибо этот зонтик фигурировал во многих их совместных приключениях былых времен. Священник был английским другом Фламбо, отцом Брауном, а приехал он с визитом, который давным-давно собирался отдать и давным-давно откладывал. Они постоянно переписывались, но не видались уже много лет.

Вскоре отец Браун очутился в центре семейства, которое было так велико, что казалось целым племенем. Ему представили деревянных позолоченных волхвов, одевающих детей рождественскими подарками (в Испании детские дела занимают видное место в домашней жизни); представили собаку, кошку и обитателей скотного двора; представили и соседа, который, как и сам Браун, был несколько чужд этой мирной долине своими маперами и платьем.

На третий вечер пребывания гостя в маленьком замке туда явился посетитель, засвидетельствовавший испанскому семейству свое почтение с поклонами, которым позавидовал бы любой испанский гранд. То был высокий, худой, седовласый, очень красивый джентльмен с ослепительно сверкающими ногтями, манжетами и запонками. Однако в его длинном лице не было и следа той томности, которая ассоциируется в наших сатирических журналах с белоснежными манжетами и маникюром. Лицо у него, напротив, было удивительно живое и подвижное, а глаза смотрели зорко и вопрошающе, что весьма

редко сочетается с седыми волосами. Это одно могло бы уже определить национальность посетителя, равно как и некоторая изысканная гнусавость и слишком близкое знакомство с европейскими достопримечательностями.

Посетитель был не кто иной, как м-р Грэндисон Чейс из Бостона, американский путешественник; он отдыхал от путешествий в своем поместье — в точно таком же замке на точно таком же холме. Здесь он наслаждался жизнью и рассматривал своего гостеприимного соседа как одну из местных древностей. Ибо Фламбо, как мы уже говорили, умел выглядеть человеком, глубоко пустившем в землю корни. Казалось, он провел здесь века вместе со своими виноградниками и фиговыми деревьями. Он вновь назывался своим настоящим именем — Дюрок, ибо «Фламбо», т. е. «факел», было только псевдонимом, под которым люди, подобные ему, ведут войну с обществом. Он обожал жену и детей, из дому уходил только на охоту, и казался американскому путешественнику воплощением той respectable жизнерадостности, той разумной любви к достатку, которую американцы признают и почитают в средиземноморских народах. Всесветный бродяга с Запада был счастлив отдохнуть у этой обжитой скалы Юга.

М-ру Чейсу довелось слышать о Брауне, и он заговорил с ним особым тоном, к которому прибегал при встрече со знаменитостями. Инстинкт интервьюера — сдержанный, но неукротимый — проснулся в нем. Он вцепился в Брауна, как щипцы в зуб, — надо признать, абсолютно без боли и со всей ловкостью, свойственной американским дантистам.

Они сидели во дворике, под навесом, — в Испании часто входят в дом через такие наполовину крытые внутренние дворики. Смеркалось. После заката в горах сразу становится холодно, и потому прямо на плитах стояла небольшая печка, мигая красным глазом, словно гном, и бросая рдеющие узоры на плоский камень двора. Но ни один отсвет огня не достигал высокой голой кирпичной стены, вздымавшейся за их спиной в темно-синее небо. В полумраке смутно вырисовывались широкие плечи и большие, похожие на сабли, усы Фламбо, который то и дело поднимался, цедил из большой бочки темное вино и разливал его в бокалы. По сравнению с ним священник, склонившийся над печкой, казался совсем малень-

ким. Американец ловко нагнулся вперед, опершись локтем о колено; его тонкое, острое лицо было освещено, глаза по-прежнему сверкали сдержанным любопытством.

— Смею заверить вас, сэр,—говорил он,— что мы считаем ваше участие в расследовании убийства знаменитого Лунатика одним из величайших достижений в истории научного сыска.

Отец Браун пробормотал что-то невнятное, а может быть, застонал.

— Мы знакомы,— продолжал американец,— с достижениями Дюпена, Лекока, Шерлока Холмса, Ника Картера и прочих вымышленных сыщиков. Но мы не можем не отметить, что между вашим методом и методом других детективов — как вымышленных, так и настоящих — есть большая разница. Кое-кто даже высказывал предположение, не кроется ли за этой новизной полное отсутствие метода.

Отец Браун помолчал, потом слегка шевельнулся — или просто подвинулся к печке — и сказал:

— Простите... Да... Отсутствие метода... Боюсь, что и отсутствие разума тоже...

— Я имел в виду строго научный метод,— продолжал его собеседник.— Эдгар По в превосходных диалогах пояснил метод Дюпена, всю прелесть его железной логики. Доктору Уотсону приходилось выслушивать от Холмса весьма точные разъяснения с упоминанием мельчайших деталей. Но вы, отец Браун, кажется, никому не открыли вашей тайны. Мне говорили, что вы отказались читать в Америке лекции на эту тему.

— Да,— ответил священник, хмуро глядя на печку,— отказался.

— Ваш отказ вызвал массу толков! — подхватил Чейс.— Кое-кто у нас говорил, что ваш метод нельзя объяснить, потому что он больше чем метод. Говорили, что вашу тайну нельзя раскрыть, так как она оккультного характера.

— Какого характера? — переспросил отец Браун довольно хмуро.

— Оккультного! — повторил Чейс.— Надо вам сказать, у нас как следует поломали голову над убийством старика Мертона, прогремевшим в Штатах, и над другими делами. А вы всегда случайно попадали в самую гущу

и раскрывали, как все было, но никому не говорили, откуда это вам известно. Естественно, многие решили, что вы все знаете не глядя, так сказать. Карлотта Браунсон иллюстрировала эпизодами из вашей деятельности свою лекцию о телепатии. А «Общество сестер-духовидиц» в Индианополисе...

Отец Браун все еще глядел на печку; наконец он сказал громко, но так, словно его никто не слышал:

— Ох! К чему это?!

— Этому горю не поможешь! — добродушно улыбнулся м-р Чейс. — По-моему, хотите покончить с болтовней — откройте вашу тайну.

Отец Браун шумно вздохнул. Он уронил голову на руки, словно мысли мучили его. Потом поднял голову и глухо сказал:

— Хорошо! Я открою тайну.

Он обвел потемневшими глазами темнеющий дворик — от багровых глаз печки до древней стены, над которой все ярче блистали ослепительные южные звезды.

— Тайна... — начал он и замолчал, точно не мог продолжать. Потом собрался с силами и сказал: — Понимаете, всех этих людей убил я сам.

— Что? — сдавленным голосом спросил Чейс.

— Я сам убил всех этих людей, — кротко повторил отец Браун. — Вот я и знал, как все было.

Грэндисон Чейс выпрямился во весь свой огромный рост, словно подброшенный медленным взрывом. Не сводя глаз с собеседника, он еще раз спросил недоверчиво:

— Что?

— Я тщательно разработал каждое преступление, — продолжал отец Браун. — Я упорно думал над тем, как можно совершить его — в каком состоянии должен быть человек, чтобы его совершить. И когда я знал, что чувствую точно так же, как чувствовал убийца, мне становилось ясно, кто он.

Чейс прерывисто вздохнул.

— Вы напугали меня! — сказал он. — Я на минуту поверил, что вы действительно убийца. Я так и увидел жирные заголовки во всех американских газетах: «Сыщик в рясе — убийца. Сотни жертв отца Брауна». Ну конечно! Это образное выражение... Вы хотите сказать, что каждый раз пытались восстановить психологию...



— Я сам убил всех этих людей, — кратко повторил отец Браун.

Отец Браун сильно ударил по печке своей короткой трубкой, которую только что собирался набить. Лицо его искривилось; это бывало с ним очень редко.

— Нет, нет, нет! — сказал он почти гневно. — Это все не образное выражение. Вот что получается, когда начинаешь говорить о серьезных вещах... Какой смысл в словах?.. Стоит только завести речь о какой-нибудь нравственной истине, и вам сейчас же скажут, что вы говорите образно. Еще раз повторяю — я видел, как я сам, как мое «я» совершало все эти убийства. Разумеется, я не убивал моих жертв физически — но ведь дело не в том. Я думал и думал, как человек доходит до такого состояния, пока не начинал чувствовать, что сам дошел до него, не хватает последнего толчка. Это мне посоветовал один друг; хорошее духовное упражнение.

— Боюсь, — недоверчиво сказал американец, глядя на священника, как на дикого зверя, — что вам придется еще многое объяснить мне, прежде чем я пойму, о чем вы говорите. Наука ссыска...

Отец Браун нетерпеливо щелкнул пальцами.

— Вот оно! — воскликнул он. — Вот где наши пути расходятся. Наука — великая вещь, если это наука. Настоящая наука — одна из величайших вещей в мире. Но какой смысл придают теперь этому слову в девяти случаях из десяти, когда говорят, что сыск — наука, когда говорят, что криминология — наука? Люди хотят сказать, что человека надо изучать снаружи, как испанское насекомое. Они говорят, что это научно, беспристрастно, а это просто бесчеловечно. Они осматривают человека издали, как доисторическое чудище; они разглядывают «преступный череп», как нарост на морде носорога. Когда такой ученый говорит о «типе», он имеет в виду не себя, а своего соседа — обычно беднейшего. Я не отрицаю, что «беспристрастное изучение» иногда приносит пользу, хотя в некотором смысле оно прямо противоположно знанию. Ведь чтобы «изучать беспристрастно», надо отказаться от того небольшого, что мы знаем. В хорошо знакомом человеке нужно видеть незнакомца и считать таинственными хорошо знакомые вещи. Так, можно сказать, что у людей — короткий выступ посреди лица или что люди впадают в беспамятство каждые сутки. То, что вы называете моей тайной, — совсем, совсем другое.

Я не пытаюсь изучать человека снаружи. Я пытаюсь проникнуть внутрь. Это гораздо больше, правда? Я — внутри человека. Я — всегда внутри человека, я двигаю его руками и ногами. Я жду до тех пор, пока я не окажусь внутри убийцы, пока я не начну думать его думы, терзаться его страстями, пока я не проникнусь его горячеей ненавистью, пока я не взгляну на мир его налитыми кровью, злыми глазами и не стану искать, как он, самый короткий и прямой путь к луже крови. Я жду, пока не стану убийцей.

— О! — произнес м-р Чейс, мрачно глядя на него. — И это вы называете духовным упражнением?

— Да, — ответил Браун. — Называю.

Он помолчал, потом заговорил снова:

— Это такое упражнение, что лучше бы мне о нем не рассказывать. Но, понимаете, не могу же я вас так отпустить. Вы еще скажете там, у себя, что я умею колдовать или занимаюсь телепатией. Я плохо объяснил, но все это сушая правда. Человек никогда не будет хорошим, пока не поймет, какой он плохой или каким плохим он мог бы стать; пока он не поймет, как мало права он имеет ухмыляться и надменно болтать о «преступниках», словно они лесные обезьяны и живут на деревьях за десять тысяч миль; пока он не откажется от гнусного самообмана, от глупой болтовни о «низшем типе» и «порочном чрепе»; пока он не выжмет из своей души последней капли фарисейского елеса; пока не перестанет думать, что его цель — загнать преступника и накрыть его своей шляпой.

Фламбо подошел ближе, наполнил большой бокал испанским вином и поставил его перед своим другом; точно такой же бокал стоял перед американцем. Потом Фламбо заговорил — впервые за весь вечер:

— Отец Браун, кажется, привез с собой целый чемодан новых тайн. Мы вчера как раз говорили о них. За то время, что мы с ним не встречались, ему пришлось столкнуться с разным любопытным людям.

— Да, я слышал об этих историях! — сказал Чейс, задумчиво поднимая бокал. — Но у меня нет к ним ключа. Может быть, вы мне кое-что разъясните? Может быть, вы расскажете, как вы проникали в душу преступника?

Отец Браун тоже поднял бокал, и мерцание огня сделало вино прозрачным, как кроваво-алый витраж, изображающий мученика. Алое пламя приковало его взор: он не мог оторвать от него глаз, словно в чаше плескалась, как море, кровь всего человечества, а его душа была пловцом, ныряющим во тьме смирения, к горячечным, чудовищным помыслам, глубже самых уродливых чудищ и древнего ила на дне. В этой чаше, как в алом зеркале, он увидел много событий. Преступления последних лет промелькнули перед ним пурпурными тенями; происшествия, о которых его друзья просили рассказать, заплясали символическими арабесками; перед ним пронеслось все, что рассказано в этой книге.

Вот алое на просвет вино обернулось алым закатом над красчо-бурыми песками, над бурыми фигурками людей; один человек лежал, другой спешил к нему. Вот закат раскололся, и алые фонарики повисли на деревьях сада, алые блики заплясали в пруду. Вот свет фонариков слился снова в огромный прозрачный алый камень, освещающий все вокруг, словно алое солнце, кроме высокого человека в высокой древней митре. Вот блеск угае, и только пламя рыжей бороды плескалось на ветру, над серой бесприютностью болота. Все это можно было увидеть и понять иначе; но сейчас, отвечая на вызов, он вспомнил это так — и разорванные образы стали складываться в связные сюжеты.

— Да,— сказал он, медленно поднося бокал к губам,— я как сейчас помню...

ТАИНА ФЛАМБО



...те убийства, в которых я играл роль убийцы, — сказал отец Браун, ставя бокал с вином на стол.

Красные тени преступлений вереницей пронеслись перед ним.

— Правда, — продолжал он, помолчав, — другие люди совершали преступление раньше и освобождали меня от физического участия. Я был, так сказать, на положении дублера. В любой момент я был готов сыграть роль преступника. По крайней мере, я вменил себе в обязанность знать эту роль назубок. Сейчас я вам поясню: когда я пытался представить себе то душевное состояние, в котором крадут или убивают, я всегда чувствовал, что я сам способен украсть или убить только в определенных психологических условиях — именно таких, а не иных, и притом не всегда наиболее очевидных. Тогда мне, конечно, становилось ясно, кто преступник, и это не всегда был тот, на кого падало подозрение.

Например, легко было решить, что мятежный поэт убил старого судью, который терпеть не мог мятежников¹. Но мятежный поэт не станет убивать за это; вы пой-

¹ Речь идет о событиях, описанных в рассказе «Зеркало судьбы» (опубликован в журнале «Искатель», № 4, 1966).

мете почему, если влезете в его шкуру. Вот я и влез, сознательно стал пессимистом, поборником анархии, одним из тех, для кого мятеж — не торжество справедливости, а разрушение. Я постарался избавиться от крох трезвого здравомыслия, которые мне посчастливилось унаследовать или собрать. Я закрыл и завесил все окошки, через которые светит сверху добрый дневной свет. Я представил себе ум, куда проникает только багровый свет снизу, раскалывающий скалы и разверзающий пропасти в небе. Но самые дикие, жуткие видения не помогли мне понять, зачем тому, кто так видит, губить себя, вступать в конфликт с презренной полицией, убивая одного из тех, кого сам он считает старыми дураками. Он не станет это делать, хотя и призывает к насилию в своих стихах. Он потому и не станет, что пишет стихи и песни. Тому, кто может выразить себя в песне, незачем выражать себя в убийстве. Стихи для него — истинные события, они нужны ему еще и еще. Потом я подумал о другом пессимисте: о том, кто охраняет этот мир, потому что полностью от него зависит. Я подумал, что если бы не благодать, я сам бы стал, быть может, человеком, для которого реален только блеск электрических ламп; мирским, светским человеком, который живет только для этого мира и не верит в другой; тем, кто может вырвать из тьмы крошечной только успех и удовольствия. Вот кто пойдет на все, если встанет под угрозу его единственный мир! Не мятежник, а мещанин способен на любое преступление, чтобы спасти свою мещанскую честь. Представьте себе, что значит разоблачение для преуспевающего судьи. Ведь вышло бы наружу то, чего его мир, его круг действительно не терпит — государственная измена. Если б я оказался на его месте и у меня была бы под рукой только его философия, один бог знает, чего бы я натворил.

— Многие скажут, что ваше упражнение мрачновато, — сказал Чейс.

— Многие думают, — серьезно ответил Браун, — что милосердие и смирение мрачны. Не будем об этом спорить. Я ведь просто отвечаю вам, рассказываю о своей работе. Ваши соотечественники оказали мне честь: им интересно, как мне удалось предотвратить ошибки правосудия. Что ж, скажите им, что мне помогла мрачность. Все ж лучше, чем магия!

Чейс задумчиво хмурился и не спускал глаз со священника. Он был достаточно умен, чтобы понять его, и в то же время слишком разумен, чтобы все это принять. Ему казалось, что он говорит с одним человеком — и с сотней убийц. Было что-то жуткое в маленькой фигурке, скрючившейся, как гном, над крошечной печкой. Страшно было подумать, что в этой круглой голове кроется такая бездна безумия и потенциальных преступлений. Казалось, густой мрак за его спиной населен темными тенями, духами зловещих преступников, не смеющих перешагнуть через магический круг раскаленной печки, но готовых ежеминутно растерзать своего властелина.

— Мрачно, гнилого не поделаешь, — признался Чейс. — Может, это не лучше магии. Одно скажу: вам, наверное, было интересно. — Он помолчал. — Не знаю, какой из вас преступник, но писатель из вас вышел бы очень хороший.

— Я имею дело только с истинными происшествиями, — ответил Браун. — Правда, иногда труднее вообразить истинное происшествие, чем вымышленное.

— В особенности когда это сенсационное преступление, — сказал Чейс.

— Мелкое преступление гораздо труднее вообразить, чем крупное, — ответил священник.

— Не понимаю, — промолвил Чейс.

— Я имею в виду заурядные преступления, вроде кражи драгоценностей, — сказал отец Браун. — Например, изумрудного ожерелья, или рубина, или искусственных золотых рыбок. Трудность тут в том, что нужно ограничить, принизить свой разум. Вдохновенные, искренние шарлатаны, спекулирующие высшими понятиями, не способны на такой простой поступок. Я был уверен, что пророк не крал рубина, а граф не крал золотых рыбок. А вот человек вроде Бэнкса мог украсть ожерелье. Для тех, других, драгоценность — кусок стекла, а они умеют смотреть сквозь стекло. Для пошлого же, мелкого человека драгоценный камень — это рыночная ценность.

Стало быть, вам нужно обкорнать свой разум, стать ограниченным. Это ужасно трудно. Но иногда вам приходят на помощь какие-нибудь мелочи и проливают свет на тайну. Так, например, человек, который хвастает, что он «вывел на чистую воду» профессора черной и белой магии или еще какого-нибудь жалкого фокусника, всегда

ограничен. Он из того сорта людей, которые «видят насквозь» несчастного бродягу и, рассказывая про него небылицы, окончательно губят его. Иногда очень тяжело влезать в такую шкуру. И вот когда я понял, что такое ограниченный ум, я уже знал, где искать его: в том, кто пытался разоблачить «пророка», — это он украл рубин; в том, кто издевался над оккультными фантазиями своей сестры, — это он украл ожерелье. Такие люди всегда равнодушны к драгоценностям; они не могут, как шарлатаны высшей марки, подняться до презрения к ним. Ограниченные, немые преступники всегда рабы всевозможных условностей. Оттого они становятся преступниками.

Правда, нужно очень стараться, чтобы низвести себя до такого низкого уровня. Для того чтобы стать рабом условностей, надо до предела напрягать воображение. Нелегко стремиться к дрянной безделушке, как к величайшему благу. Но это можно... Вы можете сделать так: вообразите себя сначала ребенком-сладкоежкой; думайте о том, как хочется взять в лавке какие-нибудь сласти; о том, что есть одна вкусная вещь, которая вам особенно по душе... Потом отнимите от всего этого ребяческую поэзию; погасите сказочный свет, освещавший в детских грезах эту лавку; вообразите, что вы хорошо знаете мир и рыночную стоимость сластей... Сузьте ваш дух, как фокус камеры... И вот — свершилось!

Он говорил, как человек, которого посетило видение.

Грэндисон Чейс все еще смотрел на него, хмурясь, с недоверием и с интересом. На секунду в его глазах даже зажглась тревога. Казалось, потрясение, испытанное им при первых признаниях священника, еще не улеглось. Он твердил себе, что он, конечно, не понял, что он ошибся, что Браун, разумеется, не может быть чудовищным убийцей, за которого он его на минуту принял. Но все ли ладно с этим человеком, который так спокойно говорит об убийствах и убийцах? А может, все-таки он чуточку помешан?

— Не думаете ли вы, — сказал он отрывисто, — что эти ваши опыты, эти попытки перевоплотиться в преступника, делают вас чрезмерно снисходительным к преступлению?

Отец Браун выпрямился и заговорил более четко:

— Как раз наоборот! Это решает всю проблему времени и греха: вы, так сказать, раскаиваетесь впрок.



*Мосье Дюрок медленно поднялся и сказал:
— Среди нас есть преступник.*

Воцарилось молчание. Американец глядел на высокий навес, простиравшийся до половины двора; хозяин, не шевелясь, глядел в огонь. Вновь раздался голос священника; теперь он звучал иначе — казалось, что он доносится откуда-то снизу.

— Есть два пути борьбы со злом, — сказал он. — И разница между этими двумя путями, быть может, глубочайшая пропасть в современном сознании. Одни боятся зла, потому что оно далеко. Другие — потому что оно близко. И ни одна добродетель, и ни один порок не отдалены так друг от друга, как эти два страха.

Никто не ответил ему, и он продолжал так же весомо, словно ронял слова из расплавленного олова:

— Вы называете преступление ужасным потому, что вы сами не могли бы совершить его. Я называю его ужасным потому, что представляю, как бы мог совершить его. Для вас оно вроде извержения Везувия; но, право же, извержение Везувия не так ужасно, как, скажем, пожар в этом доме. Если бы тут внезапно появился преступник..

— Если бы тут появился преступник, — улыбнулся Чейс, — то вы, я думаю, проявили бы к нему чрезмерную снисходительность. Вы, вероятно, стали бы ему рассказывать, что вы сами преступник, и объяснили, что ничего нет естественней, чем ограбить своего отца или зарезать мать. Честно говоря, это, по-моему, непрактично. От подобных разговоров ни один преступник никогда не исправится. Все эти теории и гипотезы — пустая болтовня. Пока мы сидим здесь, в уютном, милом доме мосье Дюрока, и знаем, как мы все добропорядочны, мы можем себе позволить роскошь поболтать о грабителях, убийцах и тайнах их души. Это щекочет нервы. Но те, кому действительно приходится иметь дело с грабителями и убийцами, ведут себя совершенно иначе. Мы сидим в полной безопасности у печки и знаем, что наш дом не горит. Мы знаем, что среди нас нет преступника.

Мосье Дюрок, чье имя только что было упомянуто, медленно поднялся с кресла; его огромная тень, казалось, покрыла все кругом, и сама тьма стала темнее.

— Среди нас есть преступник, — сказал он. — Это я. Я — Фламбо, и за мной по сей день охотится полиция двух полушарий.

Американец глядел на него сверкающими остановив-

шимися глазами; он не мог ни пошевелинуться, ни заговорить.

— В том, что я говорю, нет ни мистики, ни метафор,— сказал Фламбо.— Двадцать лет я крал этими самыми руками, двадцать лет я удирал от полиции на этих самых ногах. Вы, надеюсь, согласитесь, что это большой стаж. Вы, надеюсь, согласитесь, что мои судьи и преследователи имели дело с настоящим преступником. Как вы считаете, могу я знать, что они думают о преступлении? Сколько проповедей произносили праведники, сколько почтенных людей обливало меня презрением! Сколько поучительных лекций я выслушал! Сколько раз меня спрашивали, как я мог пасть так низко! Сколько раз мне твердили, что ни один мало-мальски достойный человек не способен опуститься в такие бездны греха! Что вызывала во мне эта болтовня, кроме смеха? Только мой друг сказал мне, что он знает, почему я краду. И с тех пор я больше не крал.

Отец Браун поднял руку, словно хотел остановить его. Грэндисон Чейс глубоко, со свистом вздохнул.

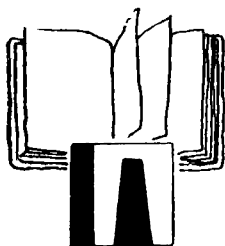
— Все, что я вам сказал, правда! — закончил Фламбо.— Теперь вы можете выдать меня полиции.

Воцарилось мертвое молчание; только из высокого темного дома доносился детский смех да в хлеву хрюкали большие серые свиньи. А потом вдруг звенящий обидой голос нарушил тишину. То, что сказал Чейс, могло бы показаться неожиданным всякому, кто незнаком с американской чуткостью и не знает, как близка она к чисто испанскому рыцарству.

— Мосье Дюрок! — сказал Чейс довольно сухо.— Мы с вами, смею надеяться, друзья, и мне очень больно, что вы сочли меня способным на столь грязный поступок. Я пользовался вашим гостеприимством и вниманием вашей семьи. Неужели я могу сделать такую мерзость только потому, что вы по вашей доброй воле посвятили меня в небольшую часть вашей жизни? К тому же вы защищали друга. Ни один джентльмен не предаст другого при таких обстоятельствах. Лучше уж просто стать доносчиком и продавать за деньги человеческую кровь. Неужели вы себе можете представить подобного Иуду?

— Кажется, я могу,— сказал отец Браун.

ПРОКЛЯТАЯ КНИГА



профессор Опеншоу всегда выходил из себя и громко возмущался, если его называли спиритом или хотя бы подозревали в доверии к спиритизму¹. Однако он громыхал и тогда, когда его подозревали в недоверии к спиритизму. Он гордился тем, что посвятил себя изучению потусторонних явлений; гордился он и тем, что ни разу не дал понять, верит он в них или нет. Больше всего на свете он любил рассказывать кружку убежденных спиритов о том, как разоблачал медиума² за медиумом и раскрывал обман за обманом. Действительно, он был на редкость зорким сыщиком, если что-нибудь казалось ему подозрительным; а медиум всегда казался ему подозрительным и никогда не внушал доверия. Он говорил, что однажды разоблачил шарлатана, выступавшего в обличьях то женщины, то седовласого старца, то шоколадного брамина. От этих его рассказов спиритам становилось не по себе — для того он, в сущности, и рассказывал; но придаться было не к чему — ведь ни один спирит не от-

¹ С п и р и т и з м — мистическая вера в загробную жизнь «духов умерших»

² М е д и у м — по мнению спиритов, посредник между людьми и духами на спиритическом сеансе

рицает существования шарлатанов. Правда, из неторопливых повествований профессора можно было заключить, что все спириты — шарлатаны.

Но горе тому простодушному, доверчивому материалу (а материалисты, как правило, доверчивы и простодушны), который, воспользовавшись опытом Опеншоу, станет утверждать, что привидений не бывает, а спиритизм — суеверие, вздор или, если хотите, чушь. Профессор повернет свои пушки на 180° и сметет его с лица земли канонадой фактов и загадок, о которых незадачливый скептик в жизни не слышал. Он засыплет его градом дат и деталей; он разоблачит все естественные толкования; он расскажет обо всем, кроме одного: верит ли в духов он сам, Джон Оливер Опеншоу. Ни спириты, ни скептики так этого и не узнали.

Профессор Опеншоу — высокий, худой человек со светлой львиной гривой и властными голубыми глазами — разговаривал со своим другом, отцом Брауном, на ступеньках отеля, где оба провели ночь и только что позавтракали. Накануне профессора задержал допоздна один из его опытов, и сейчас он еще не пришел в себя — и борьба со спиритами, и борьба со скептиками всегда выводила его из равновесия.

— Я на вас не сержусь, — смеялся он. — Вы в спиритизм не поверите, даже если вам привести неоспоримые факты. Но меня вечно спрашивают, что я хочу доказать; никто не понимает, что я ученый. Ученый ничего не хочет доказать. Он ищет.

— Но еще не нашел, — сказал отец Браун.

Профессор нахмурился и помолчал.

— Ну, кое-что я уже нащупал, — сказал он наконец. — И выводы мои не так отрицательны, как думают. Мне кажется, ищут не там. Все это чересчур театрально, бьет на эффект — всякие там сияния, трубные звуки, голоса. Вроде старых мелодрам или историй о семейном привидении. Если бы вместо историй они обратились к истории, думаю, они могли бы кое-что доказать. Потусторонние явления...

— Явления... — перебил его отец Браун, — или, скорее, появления...

Рассеянный взгляд профессора внезапно сосредоточился, словно он вставил в глаз увеличительное стекло.

Так смотрел он на подозрительных медиумов; не надо думать, однако, что Браун был хоть немного похож на медиума,— просто профессора поразило, что его друг подумал почти о том же, о чем думал он сам.

— Появления...— пробормотал он.— Как странно, что вы сказали именно это. Чем больше я узнаю, тем больше склонен считать, что появлениями духов занимаются слишком много. Вот если бы присмотрелись к исчезновениям людей...

— Совершенно верно,— сказал отец Браун.— Ведь в сказках не так уж много говорится о появлении фей или духов. Зато немало есть преданий о том, как духи или феи уносили людей. Уж не занялись ли вы Килмени¹ или Томом-Стихоплетом?²

— Я занялся обычными современными людьми — теми, о которых мы читаем в газетах,— отвечал Опеншоу.— Удивляйтесь, если хотите,— да, я увлекаюсь исчезновением людей, и довольно давно. Честно говоря, нетрудно вскрыть обман, когда появляются духи. А вот исчезновение человека я никак не могу объяснить натуральным образом. В газетах часто пишут о людях, исчезнувших без следа. Если б вы знали подробности... Да что там, как раз сегодня я получил еще одно подтверждение. Достоинейший старый миссионер прислал мне прелюбопытное письмо. Сейчас он придет ко мне в контору... Не позавтракаете ли вы со мной сегодня? Я расскажу вам, что из этого вышло,— вам одному.

— Спасибо, с удовольствием,— застенчиво отвечал Браун.— Я непременно приду. Разве что феи меня утащат...

Они расстались. Опеншоу свернул за угол и пошел к себе в контору; он снимал ее неподалеку, главным образом, для того чтобы издавать «Записки», в которых печатались очень сухие и объективные статьи о психологии и спиритизме. Его единственный клерк сидел в первой, проходной, комнате и подбирал какие-то данные. Проходя мимо, профессор спросил его, не звонил ли мистер Прингл. Не отрываясь от бумаг, секретарь отве-

¹ Килмени — героиня предания, которую унесли феи.

² Том-Стихоплет — Томас из Эрселдуна, полупоэтический шотландский поэт XIII века. По преданию, его полюбила и увела за собой королева эльфов.

тил, что не звонил, и профессор прошествовал в свой кабинет.

— Кстати, Бэрридж,— сказал он не оборачиваясь,— если он придет, пошлите его прямо ко мне. Работайте, работайте. Данные нужны мне к вечеру. Уйду — положите их ко мне на стол.

И он вошел в кабинет, размышляя над проблемой, о которой напомнило ему имя Прингла или, точнее, которой это имя даровало жизнь. Даже самый беспристрастный агностик — все же человек; и не исключено, что письмо миссионера казалось ему столь важным, потому что оно подтверждало его собственные гипотезы. Опустившись в глубокое мягкое кресло, против которого висел портрет Монтеня¹, профессор принялся снова за письмо преподобного Прингла. Никто лучше его не разбирался в эпистолярном стиле сумасшедших. Он знал, что их письма дотошны, растянуты, многословны, а почерк — неразборчив и замысловат. Льюк Прингл писал не так. В его послании, напечатанном на машинке, сообщалось деловито и коротко, что он был свидетелем исчезновения, которое, по-видимому, входит в компетенцию профессора, известного своими исследованиями потусторонних явлений. Все это понравилось профессору, и он не разочаровался, когда, подняв глаза, увидел перед собой преподобного Льюка Прингла.

— Ваш секретарь сказал мне, чтобы я шел прямо сюда,— сказал посетитель, улыбаясь широкой, приятной улыбкой. Улыбка эта пряталась в зарослях бакенбард и рыжей с проседью бороды. Столь буйная растительность нередко украшает лица белых, живущих в диких джунглях; но глаза над вздернутым носом нельзя было назвать дикими.

Опеншоу пробуравил вошедшего недоверчивым взглядом и, как ни странно, не увидел в нем ни шарлатана, ни маньяка. Он был абсолютно в этом уверен. Такие бороды бывают у сумасшедших, но таких глаз у сумасшедших не бывает: глаза серьезных обманщиков и серьезных безумцев не смеются так просто и приветливо. Человек с такими глазами может быть насмешливым, веселым жителем предместья; ни один профессиональный

¹ Монтень Мишель (1533—1592) — французский философ-скептик.

шарлатан не позволит себе выглядеть так несолидно. Посетитель был в потертом плаще, застегнутом на все пуговицы, и только мягкая широкополая шляпа выдавала его принадлежность к духовенству. Миссионеры из заброшенных уголков мира не всегда одеты, как духовные лица.

— Вы, наверное, думаете, что вас опять хотят надуть,— весело сказал Прингл.— Вы уж простите, профессор, что я смеюсь. Я понимаю, что вы мне не доверяете. Что ж, все равно я буду об этом рассказывать всем, кто разбирается в таких делах. Ничего не поделаешь—было! Ну ладно, пошутили—и хватит, веселого тут мало. Короче говоря, был я миссионером в Ниа-Ниа. Это в Западной Африке. Дремучий лес, и только двое белых — я и местная военная власть, капитан Уэйлс. Мы с ним дружились, хотя он был — как бы это сказать? — туповат. Такой, знаете, типичный солдат, как говорится, «трезвый человек». Потому-то я и удивляюсь — люди этого типа мало думают и редко во что-нибудь верят. Как-то он вернулся из инспекции и сказал, что с ним случилась странная штука. Помню, мы сидели в палатке, он держал книгу в кожаном переплете, а потом положил ее на стол, рядом с револьвером и старым арабским ятаганом (кажется, очень ценным и древним). Он сказал, что книга принадлежит какому-то человеку с парохода, который он осматривал. Этот человек уверял, что книгу нельзя открывать,— иначе вас утащат черти или что-то в этом роде. Уэйлс, конечно, посмеялся над ним, назвал суеверным трусом — в общем, слово за слово, и тот открыл книгу. Но тут же уронил, двинулся к борту...

— Минутку,— перебил профессор, сделавший в блокноте две-три пометки.— Сначала скажите, говорил ли тот человек, откуда у него книга?

— Да,— совершенно серьезно ответил Прингл.— Если не ошибаюсь, он сказал, что везет ее в Лондон владельцу, некоему Хэнки, востоковеду, который и предупредил его об опасности. Хэнки — настоящий ученый и большой скептик, то-то и странно. Но суть происшествия много проще: человек открыл книгу, перешагнул через борт и исчез.

Профессор не отвечал. Наконец он спросил:

— Вы этому верите?

— Еще бы! — ответил Прингл.— Верю по двум при-

чинам. Во-первых, Уэйлс был туп как пробка, а в его рассказе есть одна деталь, достойная поэта. Он сказал, что тот человек исчез за бортом, но всплеска не было.

Профессор снова углубился в заметки.

— А вторая причина? — спросил он.

— Вторая причина заключается в том, — отвечал преподаватель Льюк Прингл, — что я это видел собственными глазами.

Он помолчал, потом продолжил свой обстоятельный рассказ. В его речи не было и следа того нетерпения, которое проявляет сумасшедший или просто убежденный человек, пытающийся убедить собеседника.

— Итак, он положил книгу на стол, рядом с ятаганом. Я стаял у входа в палатку, спиной к нему, и смотрел в лес. А он стоял у стола и ругался — дескать, стыдно в двадцатом веке бояться каких-то книг. «Какого черта! — говорит. — Возьму и открою». Мне как-то стало не по себе, и я сказал, что лучше б вернуть ее как есть доктору Хэнки. Но он не мог успокоиться: «А что тут плохого?» Я ответил: «Как — что? Вспомните про парокход». Он молчит. Я думал, ему нечего ответить, и пристал к нему из чистого тщеславия: «Как вы это объясните? Что там произошло?» А он молчит и молчит. Я обернулся — и вижу: его нет.

В палатке никого не было. Открытая книга — на столе, переплетом кверху. Ятаган — на полу, а в холсте — дыра, как будто ее проткнули клинком. Через дыру виден только лес. Я подошел, посмотрел, и мне показалось, знаете, что растения не то примяты, не то поломаны. С тех пор я Уэйлса не видел и ничего о нем не слыхал.

Книгу я с опаской взял, завернул и повез в Англию. Сперва я думал отдать ее доктору Хэнки. Но тут я прочитал в вашей газете про такие дела и решил пойти к вам. Говорят, вы человек объективный, вас не проведешь...

Профессор Опеншоу отложил карандаш и пристально посмотрел на человека, сидевшего по другую сторону стола. В этом долгом взгляде он сконцентрировал весь свой опыт общения с самыми разными типами мошенников и даже с наиболее редкими типами честных людей. В любом другом случае он решил бы сразу, что все это —

сплошная ложь. Он хотел решить так и сейчас. Но рассказчик мешал ему — такие люди, если лгут, лгут иначе. В отличие от шарлатанов Прингл совсем не старался казаться честным, и, как ни странно, казалось, что он действительно честен, хотя что-то внешнее, постороннее припуталось тут. Может быть, хороший человек просто помешался невинным образом? Нет, и тут симптомы не те. Он спокоен и как-то безразличен; в сущности, он и не настаивает на своем пункте, если это вообще пункт.

— Мистер Прингл,— сказал профессор резко, как юрист, задающий свидетелю каверзный вопрос.— Где сейчас эта книга?

Из бороды снова вынырнула улыбка и осветила лицо, столь серьезное во время рассказа.

— Я оставил ее в соседней комнате,— сказал Прингл.— Конечно, это опасно. Но я выбрал из двух зол меньшее.

— О чем вы говорите? — спросил профессор.— Почему вы не принесли ее сюда?

— Я боялся, что вы ее откроете,— ответил миссионер.— Я думал, надо вам сперва рассказать.— Он помолчал, потом добавил: — Там был только ваш секретарь. Кажется, он довольно тихий — что-то пишет, считает.

— Ну, за Беббэджа можно не беспокоиться! Ваша книга в полной безопасности. Его фамилия — Бэрридж, но я часто зову его Беббэдж¹. Не такой он человек, чтобы заглядывать в чужие пакеты. Его и человеком не назовешь — настоящая счетная машина. Пойдемте возьмем книгу. Я подумаю, как с ней быть. Скажу вам откровенно,— и он пристально взглянул на собеседника,— я еще не знаю, стоит ли ее открыть или лучше отослать этому доктору Хэнки.

Они вышли в проходную комнату. Но не успела закрыться дверь, как профессор вскрикнул и кинулся к столу секретаря. Стол был на месте — секретаря не было. Среди обрывков оберточной бумаги лежала книга в кожаном переплете; она была закрыта, но почему-то чувствовалось, что закрылась она только что. В широком окне, выходившем на улицу, зияла дыра, словно сквозь

¹ Беббэдж Чарлз (1792—1871) — знаменитый английский математик и механик, изобретатель счетной машины.



Профессор вскрикнул и кинулся к столу секретаря.

нее пролетел человек. Больше ничего не осталось от мистера Бэрриджа.

И Прингл и профессор словно окаменели; наконец профессор очнулся, медленно обернулся к Принглу и протянул ему руку. Сейчас он еще больше походил на судью.

— Мистер Прингл,— сказал он,— простите меня. Простите мне вольные и невольные мысли. Настоящий ученый обязан считаться с такими фактами.

— Мне кажется,— неуверенно сказал Прингл,— нам надо бы кое-что уточнить. Может, вы позвоните ему? А вдруг он дома.

— Я не знаю номера,— рассеянно ответил Опеншоу.— Кажется, он живет где-то в Хэмстед. Если он не вернется, его друзья или родные позвонят сюда.

— А могли бы мы,— спросил Прингл,— описать его приметы для полиции?

— Для полиции! — встрепнулся профессор.— Приметы... Да вроде бы у него нет примет. Вот разве только очки... Знаете, такой бритый молодой человек... Полиция... м-да... Послушайте, что же нам делать? Какая дурацкая история!

— Я знаю, что мне делать,— решительно сказал неподобный Прингл.— Сейчас же отнесу книгу доктору Хэнки и спрошу его обо всем. Он живет недалеко. Потом я вернусь и скажу, что он ответил.

— Хорошо, хорошо...— проговорил профессор, устало опускаясь в кресло; кажется, он был рад, что другой взял на себя ответственность. Шаги беспокойного миссионера простучали по лестнице, а профессор все сидел не двигаясь и смотрел в пустоту, словно впал в транс.

Он еще сидел и смотрел, когда быстрые шаги снова простучали по ступенькам и в контору вошел Прингл. Профессор сразу увидел, что книги с ним нет.

— Хэнки ее взял,— серьезно сказал Прингл.— Обещал ею заняться. Он просит нас прийти через час. Он специально повторил, профессор, что просит вас прийти вместе со мной.

Опеншоу молча смотрел в пространство. Потом спросил:

— Кто этот чертов доктор Хэнки?

— Вы так сказали, как будто он и вправду сам

черт,— улыбнулся Прингл.— Наверное, многие о нем так думают. Он занимается тем же, что и вы. Только он известен в Индии — он изучал там магию и все эти штуки. А здесь его мало знают. Он маленький, желтый, хромой и очень сердитый. Кажется, в Лондоне он просто врач, и ничего плохого о нем не скажешь, разве только что он один знает хоть немного об этом проклятом деле.

Профессор Опеншоу тяжело поднялся и подошел к телефону. Он позвонил Брауну и сказал, что завтрак заменяется обедом, потому что ему надо посетить ученого из Индии. Потом он снова опустился в кресло, закурил сигару и погрузился в неизвестные нам размышления.

Отец Браун ждал профессора в вестибюле ресторана, где они условились пообедать, среди зеркал и пальм. Он знал о сегодняшнем свидании Опеншоу и, когда хмурые сумерки смягчили блеск стекла и зелени, решил, что непредвиденные осложнения задержали его друга. Он уже начал было сомневаться, придет ли профессор. Но профессор пришел, и с первого взгляда стало ясно, что подтвердились худшие подозрения: взор его блуждал, волосы были всклокочены. Опеншоу и Прингл добрались до северных окраин, где жилые кварталы перемежаются пустошами, особенно мрачными в непогоду. Они разыскали дом — он стоял немного в стороне — и прочитали на медной дверной табличке: «Дж. И. Хэнки, доктор медицины, член Королевского научного общества». Но они не увидели Дж. И. Хэнки, доктора медицины. Они увидели только то, о чем им говорило жуткое предчувствие. В самой обычной гостиной лежала на столе проклятая книга — казалось, кто-то только что открыл ее. Дверь в сад была распахнута настежь, и слабый след уходил вверх по крутой садовой дорожке. Трудно было представить себе, что хромой человек взбежал по ней, и все же бежал хромой — отпечаток одной ноги был неправильной формы. Затем шел только неправильный след, словно кто-то прыгал на одной ноге; затем следы обрывались. Больше нечего было узнавать о докторе Хэнки. Несомненно, он занялся книгой. Он нарушил запрет и пал жертвой рока.

Они вошли в ресторан, и Прингл немедленно положил книгу на столик, словно она жгла ему пальцы.

Священник с интересом взглянул на нее; на переплете были вытиснены строки:

Кто в книгу эту заглянуть дерзнет,
Того Крылатый Ужас унесет.

Дальше шло то же самое по-гречески, по-латыни и по-французски.

Принглу и Опеншоу хотелось пить — они еще не успокоились. Профессор кликнул лакея и заказал коктейль.

— Надеюсь, вы с нами пообедаете,— обратился он к миссионеру.

Но Прингл вежливо отказался.

— Вы уж простите,— сказал он.— Я хочу сразиться с этой книгой один на один. Не разрешите ли воспользоваться вашей конторой часа на два?

— Боюсь, что она заперта,— ответил Опеншоу.

— Вы забыли, что там разбито окно.— И преподобный Льюк Прингл, улыбнувшись еще шире, чем обычно, исчез в темноте.

— Станный он все-таки,— сказал профессор, озабоченно хмурясь.

Он обернулся и с удивлением увидел, что Браун беседует с лакеем, который принес коктейль. Насколько он понял, речь шла о сугубо частных делах — священник упоминал о каком-то ребенке и выражал надежду, что опасность миновала. Профессор спросил, откуда он знает лакея. Священник ответил просто:

— Я тут обедаю каждые два-три месяца, и мы иногда разговариваем.

Профессор обедал здесь раз пять в неделю, но ему ни разу и в голову не пришло поговорить с лакеем. Он задумался, но размышления прервал звонок, и его позвали к телефону. Голос был глухой — быть может, в трубку попадала борода. Но слова доказывали ясно, что говорит Прингл.

— Профессор! — сказал голос. — Я больше не могу. Я загляну в нее. Сейчас я у вас в конторе, книга лежит передо мной. Мне хочется с вами попрощаться на всякий случай. Нет, не стоит меня отговаривать. Вы все равно не успеете. Вот я открываю книгу. Я...

Профессору показалось, что он слышит что-то — может быть, резкий, хотя и почти беззвучный толчок.

— Прингл, Прингл! — закричал он в трубку, но никто не ответил.

Он повесил трубку и, обретя снова академическое спокойствие (а может, спокойствие отчаяния), вернулся и тихо сел к столу. Потом — бесстрастно, словно речь шла о провале какого-нибудь дурацкого трюка на спиритическом сеансе, — рассказал во всех подробностях таинственное дело.

— Так исчезло пять человек, — закончил он. — Все эти случаи поразительны. Но поразительней всего случай с Бэрриджем. Он такой тихоня, работага... Как это могло с ним случиться?

— Да, — ответил Браун. — Странно, что он так поступил. Человек он на редкость добросовестный. Шутки для него шутками, а дело делом. Почти никто не знал, как он любит шутки и розыгрыши.

— Бэрридж? — воскликнул профессор. — Ничего не понимаю! Разве вы с ним знакомы?

— Как вам сказать... — беззаботно ответил Браун. — Не больше, чем с этим лакеем. Понимаете, мне часто приходилось дожидаться вас в конторе, и мы с ним, конечно, разговаривали. Он человек занятый. Помню, он как-то говорил, что собирает ненужные вещи. Ну, коллекционеры ведь тоже собирают всякий хлам. Помните старый рассказ о женщине, которая собирала ненужные вещи?

— Я не совсем вас понимаю, — сказал Опеншоу. — Хорошо, пускай он шутник (вот уж никогда бы не подумал!). Но это не объясняет того, что случилось с ним и с другими.

— С какими другими? — спросил Браун.

Профессор уставился на него и сказал отчетливо, как ребенку:

— Дорогой мой отец Браун, исчезло пять человек.

— Дорогой мой профессор Опеншоу, никто не исчез.

Браун смотрел на него приветливо и говорил четко, и все же профессор не понял. Священнику пришлось сказать еще отчетливей:

— Я повторяю: никто не исчез. — Он немного помолчал, потом прибавил: — Мне кажется, самое трудное — убедить человека, что $0 + 0 + 0 = 0$. Люди верят в самые невероятные вещи, если они повторяются. Вот

почему Макбет поверил предсказаниям трех ведьм, хотя первая сказала то, что он и сам знал, а третья — то, что зависело только от него. Но в вашем случае промежуточное звено — самое слабое.

— О чем вы говорите?

— Вы сами ничего не видели. Вы не видели, как человек исчез за бортом. Вы не видели, как человек исчез из палатки. Вы все это знаете со слов Прингла, которые я сейчас обсуждать не буду. Но вы никогда бы ему не поверили, если б не исчез ваш секретарь. Совсем как Макбет: он не поверил бы, что будет королем, если бы не сбылось предсказание и он не стал бы кавдорским таном.

— Возможно, вы правы, — сказал профессор, медленно кивая. — Но когда он исчез, я понял, что Прингл не лжет. Вы говорите, я сам ничего не видел. Это не так, я видел — Бэрридж действительно исчез.

— Бэрридж не исчезал, — сказал отец Браун. — Наоборот.

— Что значит «наоборот»?

— То значит, что он, скорее, появился, — сказал священник. — В вашем кабинете появился рыжий бородатый человек и назвался Принглом. Вы его не узнали потому, что никогда в жизни не удосуживались взглянуть на собственного секретаря. Вас сбил с толку незатейливый маскарад.

— Постойте... — начал профессор.

— Могли бы вы назвать его приметы? — спросил Браун. — Нет, не могли бы. Вы знали, что он гладко выбрит и носит темные очки. Он их снял — и все, даже грима не понадобилось. Вы никогда не видели его глаз и не видели его души. А у него очень хорошие, веселые глаза. Он приготовил дурацкую книгу и всю эту бутафорию, спокойно разбил окно, нацепил бороду, надел плащ и вошел в ваш кабинет. Он знал, что вы на него не взглянули ни разу в жизни.

— Почему же он решил меня разыграть? — спросил Опеншоу.

— Ну, именно потому, что вы на него не смотрели, — сказал Браун, и рука его сжалась, словно он был готов стукнуть кулаком об стол, если бы разрешал себе столь резкие жесты. — Вы его называли счетной ма-

шиной. Ведь вам от него нужны были только подсчеты. Вы не заметили того, что мог заметить случайный посетитель за пять минут: что он умный; что он любит шутки; что у него есть своя точка зрения на вас, и на ваши теории, и на ваше умение видеть человека насквозь. Как вы не понимаете? Ему хотелось доказать, что вы не узнаете даже собственного секретаря! У него было много забавных замыслов. Например, он решил собирать ненужные вещи. Слышали вы когда-нибудь рассказ о женщине, которая купила две самые ненужные вещи — медную табличку врача и деревянную ногу? Из них ваш изобретательный секретарь и создал достопочтенного Хэнки — это было не трудней, чем создать Уэйлса. Он поселил доктора у себя...

— Вы хотите сказать, что он повел меня к себе домой? — спросил Опеншоу.

— А разве вы знали, где он живет? — сказал священник. — Не думайте, я совсем не хочу принижать вас и ваше дело. Вы — настоящий искатель истины, а вы знаете, как я это ценю. Вы разоблачили многих обманщиков. Но не надо присматриваться только к обманщикам. Взгляните, хотя бы между делом, на честных людей — ну, хотя бы на того лакея.

— Где теперь Бэрридж? — спросил профессор не сразу.

— Я уверен, что он вернулся в контору, — ответил Браун. — В сущности, он вернулся, когда Прингл открыл книгу и исчез.

Они опять помолчали. Потом профессор рассмеялся. Так смеются люди, достаточно умные, чтобы не бояться унижений. Наконец он сказал:

— Я это заслужил. Действительно, я не замечал самых близких своих помощников. Но согласитесь — было чего испугаться! Признайтесь, неужели вам ни разу не стало жутко от этой книги?

— Ну что вы! — сказал Браун. — Я ее сразу открыл. Там одни чистые страницы. Понимаете, я не суеверен.

ЛИЦО НА МИШЕНИ



Гарольд Марч, входивший в известность журналист-обозреватель, энергично шагал по вересковым пустошам плоскогорья, окаймленного лесами знаменитого имения «Торвуд-Парк». Это был привлекательный, хорошо одетый человек, с очень светлыми глазами и светло-пепельными вьющимися волосами. Он был еще настолько молод, что даже на этом приволье, солнечным и ветреным днем, помнил о политических делах и даже не старался их забыть. К тому же и в «Торвуд-Парк» он шел ради политики. Здесь назначил ему свидание министр финансов сэр Говард Хорн, проводивший в те дни свой так называемый социалистический бюджет, о котором он и собирался рассказать в интервью с талантливым журналистом. Гарольд Марч принадлежал к тем, кто знает все о политике и ничего о политических деятелях. Он знал довольно много и об искусстве, литературе, философии, культуре — вообще почти обо всем, кроме мира, в котором жил.

Посреди залитых солнцем пустошей, над которыми свободно гулял ветер, Марч неожиданно набрел на узкую ложбину — русло маленького ручья, исчезавшего

в зеленых тоннелях кустарника, словно в зарослях карликового леса. Марч глядел на ложбину сверху, и у него появилось странное ощущение: он показался себе великаном, обзирающим долину пигмеев. Но когда он спустился к ручью, это ощущение исчезло: склоны были невысокие, не выше небольшого дома, но скалистые и обрывистые, с нависающими каменными глыбами. Он брел вдоль ручья, ведóмый праздным, но романтическим любопытством, смотрел на короткие полоски воды, блестящие между большими серыми валунами и кустами, пушистыми и мягкими, как разросшийся зеленый мох, и теперь в его мозгу возник другой образ — ему стало казаться, что земля разверзлась и втянула его в таинственный подземный мир. Когда же он увидел на большом валуне человека, похожего на большую птицу, темным пятном выделявшуюся на фоне серебристого ручья, у него появилось предчувствие, что сейчас завяжется самое необычное знакомство его жизни.

Человек, по-видимому, удил рыбу или, по крайней мере, сидел в позе рыбака, только еще неподвижней, и Марч мог несколько минут разглядывать его, как статую. Незнакомец был светловолос, с очень бледным и апатичным лицом, тяжелыми веками и горбатым носом. Когда его лицо было затенено широкополой белой шляпой, светлые усы и худоба, вероятно, молодили его. Но теперь шляпа лежала рядом, видны были залысины на лбу и запавшие глаза, говорившие о напряженной мысли и, возможно, физическом недомогании. Но самое любопытное было не это: последив за ним, вы замечали, что, хотя он и выглядит рыбаком, он вовсе не удит рыбу.

Вместо удочки незнакомец держал в руках какой-то сачок — им пользуются иногда рыбаки, но этот больше походил на обыкновенную детскую игрушку для ловли бабочек и креветок. Время от времени он погружал свою снасть в воду, затем с серьезным видом разглядывал улов, состоявший из водорослей и ила, и тут же выбрасывал его обратно.

— Нет, ничего не выловил, — сказал он спокойно, как бы отвечая на немой вопрос. — Большей частью я выбрасываю обратно все, что попадется, особенно крупную рыбу. А вот мелкая живность меня интересует — конечно, если удастся ее поймать.

— Наверное, вы ученый? — спросил Марч.

— Боюсь, что только любитель, — ответил странный рыболов. — Я, знаете ли, увлекаюсь фосфоресценцией, в частности светящимися рыбами. Но появиться с таким светильником в обществе было бы, пожалуй, неловко.

— Да, я думаю, — невольно улыбаясь, сказал Марч.

— Довольно эксцентрично войти в гостиную с большой светящейся треской в руках, — продолжал незнакомец так же бесстрастно. — Но очень занятно, должно быть, носить ее вместо фонаря или пользоваться кильками как свечами. Некоторые морские обитатели очень красивы — вроде ярких абажуров; голубая морская улитка мерцает, как звезда, а красные медузы сияют, как настоящие красные звезды. Разумеется, я не их здесь ищу.

Марч хотел было спросить, что же искал незнакомец, но, чувствуя себя неподготовленным к научной беседе на такую глубокую тему, как глубоководные, заговорил о более обычных вещах.

— Живописное местечко, — сказал он, — эта ложбинка и ручеек. Напоминает места, описанные Стивенсоном, где непременно что-то должно случиться.

— Да, — ответил другой. — Я думаю, всё потому, что это место само живет, если можно так выразиться, а не просто существует. Возможно, именно это Пикассо и некоторые кубисты пытаются выразить углами и ломаными линиями. Посмотрите на эти обрывы, крутые у основания. Они выступают под прямым углом к поросшему травой склону, а тот как бы устремляется к ним. Это как немая схватка. Как волна, застывшая на обратном пути.

Марч посмотрел на низкий выступ скалы над зеленым склоном и кивнул. Его заинтересовал человек, только что проявивший познания в науке и с такой легкостью перешедший к искусству; и он спросил, нравятся ли ему художники-кубисты.

— На мой взгляд, в кубистах мало кубизма, — ответил незнакомец. — Я хочу сказать, что их живопись недостаточно объемна. Сводя предметы к математике, они делают их плоскими. Отнимите живые изгибы у этой ложбины, упростите ее до прямого угла, и она делается плоской, как чертеж на бумаге. Чертежи, конечно, кра-

сивы, но красота их — совсем другая. Они воплощают неизменные вещи — спокойные, незыблемые математические истины, — именно это называют белым сиянием...

Прежде чем он успел произнести следующее слово, что-то произошло — так быстро, что они и понять ничего не успели. Из-за нависшей скалы послышался шум, словно сюда мчался поезд, и на самом ее краю появился большой автомобиль. Черный на фоне солнца, он казался боевой колесницей богов, несущейся к гибели. Марч инстинктивно протянул руку, как бы тщетно пытаясь удержать падающую со стола чашку.

Одно короткое мгновение казалось, что автомобиль, как воздушный корабль, летит с обрыва, потом — что само небо описывает круг, словно колесо велосипеда, и вот машина, уже разбитая, лежала в высокой траве, и струйка серого дыма медленно поднималась над нею в затихшем воздухе. Немного ниже, на крутом зеленом склоне, раскинув руки и ноги, запрокинув голову, лежал седой человек.

Чудаковатый рыболов бросил сачок и побежал к месту катастрофы; журналист последовал за ним. Когда они приблизились, мотор еще бился и громыхал, иронически и жутко оттеняя неподвижность тела.

Человек был мертв. Кровь стекала на траву из раны на затылке, но лицо, обращенное к солнцу, осталось нетронутым, и от него нельзя было отвести глаз. Такие лица кажутся неуловимо знакомыми: широкое, квадратное, с большой обезьяньей челюстью; большой рот сжат так крепко, что кажется прямой линией; ноздри короткого носа круто изогнуты, словно с жадностью втягивают воздух. Особенно поражали брови — одна была вскинута значительно выше и под более острым углом, чем другая. Марч подумал, что никогда не видел лица, до такой степени полного жизни, как это, мертвое. Энергичную живость, застывшую на нем, еще больше подчеркивал ореол седых волос. Из кармана торчали какие-то бумаги, и Марч извлек визитную карточку.

— Сэр Хэмфри Тернбул, — прочитал он вслух. — Я уверен, что где-то слышал эту фамилию.

Его спутник вздохнул, помолчал минуту, как бы обдумывая что-то, а затем сказал просто:

— Кончился, бедняга,— и прибавил несколько научных терминов.

Марч снова почувствовал превосходство своего собеседника.

— Учитывая обстоятельства,— продолжал этот необычайно осведомленный человек,— мы поступим лучше всего, если оставим тело как есть, пока не известят полицию. В сущности, я думаю, кроме полиции, никому не следует ничего сообщать. Не удивляйтесь, если вам покажется, что я хочу скрыть это от соседей.— Затем, как бы желая объяснить свою несколько неожиданную откровенность, он сказал: — Я приехал в Торвуд повидаться с двоюродным братом; меня зовут Хорн Фишер. Подходящая фамилия для каламбура, правда?¹

— Сэр Говард Хорн ваш двоюродный брат? — спросил Марч.— Я тоже направляюсь в «Торвуд-Парк», к нему, разумеется, по делу. Он с исключительной твердостью защищает свои принципы. На мой взгляд, бюджет, который он отстаивает,— событие величайшего значения. Если бюджет провалится, это будет самый роковой провал в истории Англии. Вы, вероятно, тоже почитатель вашего великого родственника?

— До некоторой степени,— ответил Фишер.— Он великодушный стрелок.— Затем, словно искренне раскаяваясь в своем равнодушии, добавил чуть живее: — Нет, в самом деле, он замечательный стрелок!

Он вспрыгнул на камень, ухватился за уступ скалы и забрался наверх с ловкостью, которой никак нельзя было ожидать от такого вялого человека. Некоторое время он обзирал окрестность; его орлиный профиль резко вырисовывался на фоне неба. Марч наконец собрался с духом и вскарабкался вслед за ним.

Перед ними лежал сырой торфяной луг, на котором отчетливо выделялись следы колес злосчастной машины. Края обрыва были изломаны и раздроблены, словно их обгрызли гигантские каменные зубы; отбитые валуны всех форм и размеров валялись неподалеку, и трудно было поверить, что кто-нибудь мог среди бела дня намеренно заехать в такую ловушку.

¹ Fisher (англ.) — рыболов

— Ничего не понимаю,— сказал Марч.— Слепой он был, что ли? Или пьян до бесчувствия?

— Судя по виду, ни то, ни другое.

— Тогда это самоубийство.

— Не очень-то остроумно покончить с собой таким способом,— заметил тот, которого звали Фишером.— К тому же я не представляю себе, чтобы бедняга Пагги вообще мог покончить самоубийством.

— Бедняга... кто? — спросил удивленный журналист.— Разве вы его знали?

— Никто не знал его как следует,— несколько туманно ответил Фишер.— Нет, один человек его, конечно, знал... В свое время старик наводил ужас в парламенте и в судах, особенно во время шумихи с иностранцами, которых выслали из Англии. Он требовал, чтобы одного из них повесили за убийство. Эта история так на него подействовала, что он вышел из парламента. С тех пор у него появилась привычка разъезжать в одиночестве на машине; на субботу и воскресенье он нередко приезжал в Торвуд. Не могу понять, почему ему понадобилось сломать себе шею почти у самых ворот. Я думаю, что Боров — то есть мой брат Говард — бывал здесь, чтобы видаться с ним.

— Разве «Торвуд-Парк» не принадлежит вашему двоюродному брату? — спросил Марч.

— Нет, раньше им владели Уинтропы, а теперь его купил один человек из Монреаля, по фамилии Дженкинс. Говарда привлекает сюда охота. Я вам уже говорил, что он прекрасный стрелок.

Эта дважды повторенная похвала по адресу государственного мужа резнула Гарольда Марча, словно Наполеона называли выдающимся игроком в карты. Но не это занимало его теперь; среди множества новых впечатлений одна еще не совсем ясная мысль поразила его, и он поспешил поделиться с Фишером, словно боялся, что она исчезнет.

— Дженкинс... — повторил он.— Вы, конечно, имеете в виду не Джефферсона Дженкинса, общественного деятеля, который борется за новый закон о фермерских наделах? Простите меня, но встретиться с ним не менее интересно, чем с любым министром.

— Да, это Говард посоветовал ему заняться надела-

ми,— сказал Фишер.— Шум по поводу улучшения породы скота надоел, и над этим уже посмеиваются. Ну, а звание пэра все же нужно к чему-то прицепить! Бедняга до сих пор не лорд... Э, да здесь еще кто-то есть!

Они шли по следам, оставленным машиной, все еще жужжавшей под обрывом, словно громадный жук, убивший человека. Следы привели их к перекрестку дорог, одна из которых шла к видневшимся вдали воротам парка. Было ясно, что машина мчалась сначала по длинной прямой дороге, а затем, вместо того чтобы свернуть влево, понеслась по траве к обрыву — к своей гибели. Но не это привлекало внимание Фишера: на повороте дороги неподвижно, как указательный столб, высилась темная одинокая фигура. Это был рослый человек в грубом охотничьем костюме, с непокрытой головой и всклокоченными вьющимися волосами, придававшими ему довольно странный вид. Когда спутники подошли ближе, первое впечатление рассеялось; перед ними стоял обыкновенный джентльмен, который так поспешно вышел из дому, что не успел надеть шляпу и причесать волосы. Как издали, так и вблизи было видно, что он очень силен и красив животной красотой, хотя глубоко посаженные, запавшие глаза несколько облагораживали его внешность. Марч не успел разглядеть его, так как Фишер, к его удивлению, буркнул: «Хелло, Джек» — и, даже не сообщив ему о катастрофе по ту сторону скал, прошел мимо, словно тот действительно был указательным столбом. Сравнительно мелкий этот факт оказался первым звеном в цепи странных поступков нового знакомого.

Человек, мимо которого они прошли, весьма подозрительно посмотрел им вслед, но Фишер продолжал невозмутимо шагать по прямой дороге, ведущей к воротам большого поместья.

— Это Джон Берк, путешественник,— снисходительно объяснил он.— Я полагаю, вы слышали о нем: он охотник на крупного зверя. Жаль, я не мог остановиться и представить вас. Ну, думаю, вы увидите его позже.

— Я читал его книгу,— сказал заинтересованный Марч.— Чудесно описано, как они только тогда обнару-

жили слона, когда он громадной головой загородил им луну.

— Да, молодой Гокетт пишет прекрасно... Как, разве вы не знаете, что книгу Берка написал Гокетт? Берк только ружье умеет держать в руках, а ружьем книгу не напишешь. Но он тоже по-своему талантлив. Отважен, как лев, даже еще отважнее.

— По-видимому, вы неплохо его знаете,— заметил, смеясь, совсем сбитый с толку Марч,— да и не только его.

Фишер наморщил лоб, и взгляд его стал странным.

— Я знаю слишком много,— сказал он.— Вот в чем моя беда. Вот в чем беда всех нас и всей этой ярмарки: мы слишком много знаем. Слишком много друг о друге, слишком много о себе. Потому я сейчас и заинтересован тем, чего не знаю.

— А именно? — спросил Марч.

— Почему умер Пагги.

Они прошли по дороге около мила, перебрасываясь замечаниями, и у Марча появилось странное чувство: ему стало казаться, что весь мир вывернут наизнанку. Мистер Хорн Фишер не старался чернить своих высокородных друзей и родных; о некоторых он говорил даже нежно. И тем не менее все они — и мужчины и женщины — предстали в совершенно новом свете; казалось, что они случайно носят имена, известные всем и каждому и мелькающие в газетах. Самые яростные нападки не показались бы Марчу такими мятежными, как эта холодная фамильярность. Она была подобна лучу дневного света, упавшему на театральную кулису.

Они дошли до ворот парка, но, к удивлению Марча, миновали их, и Фишер повел его дальше по бесконечной прямой дороге. До встречи с министром еще оставалось время, и Марч не прочь был посмотреть, чем кончатся приключения его нового знакомого. Спутники давно оставили позади поросшие вереском луга, и половина белой дороги стала серой от тени торвудских сосен. Деревья громадным серым барьером заслонили солнечный свет, и казалось, в глубине леса ясный день обернулся темной ночью. Однако вскоре между густыми соснами стали появляться просветы, похожие на окна из разноцветных стекол; лес поредел и отступил, и, по мере

того как спутники продвигались дальше, его сменили рожицы, в которых, по словам Фишера, целыми днями охотились гости. Примерно через двести ярдов они подошли к первому повороту дороги.

Здесь стоял ветхий трактир с потускневшей вывеской «Виноградные гроздья». Потемневший от времени, почти черный на фоне лугов и неба, он манил путника не больше, чем виселица. Марч заметил, что здесь, вероятно, вместо вина пьют уксус.

— Хорошо сказано,— ответил Фишер.— Так оно и было бы, если бы кому-нибудь пришло в голову спросить вина. Но пиво и бренди здесь хороши.

Марч с некоторым любопытством последовал за ним. Отвращение, охватившее Марча, отнюдь не рассеялось, когда он увидел длинного костлявого хозяина; молчаливый, с черными усами и беспокойно бегающими глазами, он никак не соответствовал романтическому типу добродушного деревенского кабатчика. Как ни был он скуп на слова, из него все же удалось извлечь кое-какие сведения.

Фишер начал с того, что заказал пиво и завел с ним пространную беседу об автомобилях. Можно было подумать, что он считает хозяина авторитетом, отлично разбирающимся в секретах мотора и в том, как надо и как не надо управлять машиной. Разговаривая, Фишер не спускал с него упорного взгляда блестящих глаз. Из всей этой довольно мудреной беседы можно было в конце концов заключить, что какой-то автомобиль остановился перед гостиницей около часу назад, из него вышел пожилой мужчина и попросил помочь наладить мотор. Кроме того, он наполнил флягу и взял пакет с сэндвичами. Сообщив это, не слишком радужный хозяин поспешно вышел и захлопал дверьми в темной глубине дома.

Скучающий взор Фишера блуждал по пыльной, мрачной комнате и наконец задумчиво остановился на чучеле птицы в стеклянном футляре, над которым на крюках висело ружье.

— Пагги любил пошутить,— заметил он,— правда, в своем, довольно мрачном стиле. Но покупать сэндвичи, перед тем как собираешься покончить жизнь самоубийством,— пожалуй, слишком мрачная шутка.



Он постучал монетой и потребовал коньяку, не замечая Фишера и журналиста, которые сидели у окна.

— Если уж на то пошло,— ответил Марч,— покупать сандвичи у дверей богатого дома тоже не совсем обычно.

— Да... да,— почти механически повторил Фишер, и вдруг глаза его оживились, и он серьезно взглянул на собеседника.— Черт возьми, а ведь правда! Наводит на очень любопытные мысли, а?

Наступило молчание. Вдруг дверь так резко распахнулась, что Марч от неожиданности вздрогнул; в комнату стремительно вошел человек и направился к стойке. Он постучал по ней монетой и потребовал коньяку, не замечая Фишера и журналиста, которые сидели у окна за непокрытым деревянным столом. Когда же он повернулся к ним, у него был несколько озадаченный вид, а Марч с крайним удивлением услышал, что его спутник назвал его Боровом и представил как сэра Говарда Хорна.

Министр выглядел гораздо старше, чем на портретах в иллюстрированных журналах, где политических деятелей всегда омолаживают; его прямые волосы чуть тронула седина, но лицо было до смешного круглое, а римский нос и быстрые блестящие глаза невольно наводили на мысль о попугае. Кепи было сдвинуто на затылок, через плечо висело ружье. Гарольд Марч много раз старался представить себе встречу с известным политическим деятелем, но он никогда не думал, что увидит его в трактире, с ружьем через плечо и рюмкой в руке.

— Ты тоже гостишь у Джинка? — сказал Фишер.— Все как сговорились собраться у него.

— Да,— ответил министр финансов.— Здесь чудесная охота. Во всяком случае, для всех, кроме Джинка. У него самые лучшие угодья, а стреляет он — хуже некуда. Конечно, он славный малый, я ничего против него не имею. Только так и не научился держать ружье, все занимался упаковкой свинины или чем-то таким... Говорят, он сбил кокарду со шляпы своего слуги. Это в его стиле — нацепить кокарды на слуг!.. А еще он подстрелил петуха с флюгера на раззолоченной беседке. Пожалуй, больше он птиц не убивал. Вы туда идете?

Фишер довольно неопределенно ответил, что он придет, как только кое-что уладит, и министр финансов по-

кинул трактир. Марчу показалось, что он был чем-то расстроен или раздражен, когда заказывал выпивку, но, поговорив с ними, успокоился; однако совсем не то ожидал от него услышать представитель прессы. Через несколько минут они не спеша вышли. Фишер стал посреди дороги и принялся смотреть в ту сторону, откуда они начали свою прогулку. Затем они вернулись обратно ярдов на двести и снова остановились.

— Думаю, это и есть то самое место,— сказал он.

— Какое место? — спросил его спутник.

— Место, где его убили, беднягу,— печально ответил Фишер.

— Что вы хотите сказать? — спросил Марч.— Он же разбился о скалы за полторы мили отсюда.

— Нет,— ответил Фишер.— Он не разбился о скалы, он даже не падал на них. Разве вы не заметили, что его выбросило на склон, покрытый мягкой травой? Я сразу понял, что в него всадили пулю.— И, помолчав, добавил: — В трактире он был жив, но умер задолго до того, как доехал до скал. Его застрелили, когда он вел машину вот на этом участке дороги; я полагаю, где-нибудь здесь. Машина покатилась прямо, уже некому было затормозить или свернуть. Все очень хитро и умно придумано. Тело обнаружат далеко от места преступления и станут думать, как подумали и вы, что произошел несчастный случай. Убийца — тонкая бестия.

— Разве выстрела не услышали бы в кабачке или еще где-нибудь? — спросил Марч.

— Ну что ж, и слышали, но не обратили внимания,— продолжал добровольный следователь.— И тут убийца все рассчитал. Весь день здесь охотятся, и выбрать нужный момент совсем не трудно. Конечно, это мог придумать только опытный преступник. Но этим не исчерпываются его таланты.

— Что вы имеете в виду? — спросил Марч, и от недоброго предчувствия по его спине пробежали мурашки.

— Убийца — первоклассный стрелок,— сказал Фишер.

Он круто повернулся и пошел по узкой, поросшей травой тропинке, отделявшей большое поместье от заболоченных, покрытых пестрым вереском лугов. Марч от нечего делать побрел за Фишером. Они остановились

у деревянного крашеного забора, видневшегося через просветы в высоком бурьяне и боярышнике, и Фишер стал внимательно рассматривать доски. За забором поднимался ряд высоких, густых тополей. Они слабо качались на легком ветру; день склонялся к вечеру, и гигантские тени деревьев резко удлинились.

— Вы могли бы стать хорошим преступником? — дружелюбно спросил вдруг Фишер. — Боюсь, что я не мог бы. Но какой-нибудь взломщик четвертого разряда из меня, наверное, вышел бы.

И прежде чем его спутник успел ответить, он легко перемахнул через забор; Марч последовал за ним без особого усилия, но вконец сбитый с толку. Тополя росли так близко к забору, что они оба с трудом проскользнули между ними, а дальше видна была только высокая живая изгородь из лавров, блестящая под заходящим солнцем. Марч пробирался через преграды кустов и деревьев, и ему казалось, что впереди не лужайка, а дом с опущенными шторами. Ему казалось, что он влез в окно или в дверь и путь загородили груды мебели. Наконец они миновали изгородь и очутились на заросшей травой лужайке, которая зеленым уступом переходила в продолговатую площадку, по-видимому крокетную. За ней виднелось небольшое строение — низкая оранжерея, похожая на стеклянный домик из сказки.

Фишер хорошо знал, как одиноки разбросанные службы большого имения. Он понимал, что эти постройки — насмешка над аристократией, гораздо более злая, чем поросшие сорняками развалины. Они не запущены, но заброшены, во всяком случае забыты. Их тщательно прибирают и украшают для хозяина, который никогда сюда не явится.

Однако, глядя с лужайки на площадку, Фишер обнаружил предмет, который, кажется, вовсе не ожидал увидеть: что-то вроде треноги, поддерживавшей большой диск, похожий на крышку круглого стола. Когда они подошли ближе, Марч понял, что это мишень. Она была старая и выцветшая; радужные краски концентрических кругов давно поблекли; вероятно, ее установили здесь в далекие времена королевы Виктории, когда в моде была стрельба из лука. В живом воображении Марча тотчас возникли туманные видения дам в широких легких кри-

нолинах и мужчин в диковинных шляпах, с бакенбардами, некогда посещавших заброшенный теперь сад.

Но тут его испугал Фишер, внимательно разглядававший мишень.

— Взгляните,— закричал он,— кто-то основательно изрешетил ее пулями, и совсем недавно! Скорей всего, здесь тренировался старый Джинк.

— Пожалуй, ему еще долго придется тренироваться,— ответил, смеясь, Марч.— Ни одной пробоины у центра, разбросаны как попало.

— Как попало,— повторил Фишер, внимательно вглядываясь в мишень.

Казалось, он согласился со спутником, но Марч заметил, как заблестели под сонными веками его глаза и с каким трудом распрямил он сутулую спину.

— Извините, я немного задержу вас,— сказал Фишер, ощупывая карманы.— Кажется, у меня с собой кое-какие химикалии. Потом пойдем к дому.

Он снова склонился над мишенью и стал накладывать пальцем на пробоины какое-то снадобье, насколько Марч мог разглядеть, серую мазь. Уже надвигались сумерки, когда они по длинной зеленой аллее подошли к большому дому.

Однако необычный следователь не пожелал войти через парадную дверь. Они обогнули дом, отыскивали открытое окно и влезли в комнату, где, по-видимому, хранилось оружие. Вдоль одной из стен рядами стояли дробовики, а на столе лежали более тяжелые и грозные ружья.

— Это слоновые ружья Берка,— сказал Фишер.— Я и не знал, что он хранит их здесь.

Он поднял одно, быстро осмотрел и, насупившись, положил обратно. Почти в тот же момент в комнату стремительно вошел незнакомый молодой человек, темноволосый, крепкий, с выпуклым лбом и бульдожьей челюстью. Коротко извинившись, он сказал:

— Я оставил здесь ружья майора Берка. Он уезжает вечером, хочет их упаковать.

И он унес оба ружья, даже не взглянув на Марча; из открытого окна они видели, как он шел по тускло освещенному саду. Фишер снова выбрался в сад через окно и постоял, глядя ему вслед.

— Это и есть Гокетт, о котором я вам говорил,— сказал он.— Я знал, что он вроде секретаря у Берка, возится с его бумагами, но не думал, что он возится и с ружьями. Он заботливый домовый, на все руки мастер. Такого можно знать годами и не догадаться, что он чемпион по шахматам.

Они пошли вслед за Гокеттом и вскоре увидели на лужайке оживленно болтающих гостей. Среди них выделялся мощный охотник на крупную дичь.

— Между прочим,— заметил Фишер,— помните, мы говорили о Берке и Гокетте, и я сказал вам, что нельзя писать ружьем? Ну, теперь я не так уверен в этом. Слыхали вы когда-нибудь о художнике, который мог бы рисовать ружьем? Так вот, здесь глохнет такой гений.

Сэр Говард шумно и дружелюбно приветствовал Фишера и журналиста. Последнего представили майору Берку и мистеру Гокетту, а также (между прочим) хозяину, мистеру Дженкинсу, невзрачному человеку в добротном, но кричащем костюме, к которому все относились ласково и снисходительно, словно к ребенку.

Неугомонный министр финансов все еще говорил об охоте, о птицах, которых он убил, и о птицах, по которым промазал Дженкинс. Кажется, тут все помешались на таких шутках.

— Что там крупная дичь! — горячился он, наступая на Берка.— В крупную всякий попадет. Другое дело — мелкая, тут нужен настоящий стрелок.

— Совершенно верно,— вмешался Хорн Фишер.— Вот если бы из-за того куста выпорхнул гиппопотам или в имении разводили бы летающих слонов...

— Ну, тогда и Джинк подстрелил бы такую птичку! — воскликнул сэр Говард, весело хлопая хозяина по спине.— Он попал бы даже в стог сена или в гиппопотама.

— Послушайте, друзья,— сказал Фишер.— Пойдемте постреляем. Только не в гиппопотама. Я нашел очень любопытного зверя. Он всех цветов радуги, о трех ногах и об одном глазе.

— Это еще что такое? — хмуро спросил Берк.

— Пойдем, и увидите,— весело ответил Фишер.

В погоне за новыми впечатлениями люди, подобные

этим, клюнут на любую нелепость. Так случилось и теперь. Гости снова вооружились и с серьезным видом двинулись вслед за гидом. У раззолоченной беседки сэра Говард задержался, с восхищением показывая пальцем на искривленного золотого петуха. Сумерки уже переходили в темноту, когда они добрались, наконец, до отдаленной лужайки, чтобы играть в новую бесцельную игру — стрелять по старым пробоинам.

Когда праздная компания полукругом сгрудилась против мишени, последние отблески света угасли на лужайке и тополя на фоне заката казались громадными черными перьями на пурпурном катафалке.

Сэр Говард похлопал хозяина по плечу, игриво подталкивая его вперед и уговаривая выстрелить первым. Плечо и рука Дженкинса, которых коснулся министр, казались неестественно напряженными и угловатыми. Мистер Дженкинс держал ружье еще более неуклюже, чем могли ожидать его насмешливые друзья.

И вдруг раздался страшный вопль. Он шел неведомо откуда и был так чудовищен, так не соответствовал обстановке, что издать его могло только фантастическое существо, пролетевшее в этот миг над ними или притаившееся неподалеку в темном лесу. Но Фишер знал, что он возник и замер на побелевших губах Джефферсона Дженкинса. И никто, взглянув в этот момент на лицо канадца, не назвал бы его невыразительным.

Как только все увидели, что стоит перед ними, майор Берк разразился потоком грубых, но добродушных ругательств. Мишень возвышалась над потемневшей травой, словно страшный, насмехающийся над ними призрак. У него были горящие, как звезды, глаза, очерченные огненными точками, вывороченные ноздри и большой растянутый рот. Над глазами светящимся пунктиром были обозначены седые брови, и одна из них поднималась вверх почти под прямым углом. Это была талантливая карикатура, выполненная яркими светящимися линиями, и Марч сразу узнал, кого она изображала. Мишень сияла в темноте мерцающим огнем и казалась чудовищем со дна морского, выползшим в окутанный сумерками сад. Но у чудовища была голова убитого человека.

— Да ведь это всего-навсего светящаяся краска,— сказал Берк.— Старина Фишер выкинул трюк со своей фосфоресцирующей мазью.

— Очень похоже на нашего Пагги,— заметил сэр Говард.— Поразительное сходство, ничего не скажешь!

Все, кроме Дженкинса, рассмеялись. Когда смех умолк, он издал несколько странных звуков, какие, вероятно, издал бы зверь, если бы вздумал засмеяться. Хорн Фишер решительно подошел к Дженкинсу и сказал:

— Мистер Дженкинс, я должен немедленно поговорить с вами наедине.

Вскоре после этой странной и нелепой сцены, рассевшей веселых гостей, Марч снова, как было условлено, встретился со своим новым другом у маленького ручья под нависшей скалой.

— Это я придумал такой трюк — намазал мишень фосфором,— мрачно сказал Фишер.— Надо было его напугать внезапно, иначе он не выдал бы себя. Он тренировался на этой мишени и, когда увидел на ней светящееся лицо своей жертвы, не мог сдержаться. Для моего внутреннего удовлетворения этого вполне достаточно.

— Боюсь, что я и сейчас толком не понимаю,— ответил Марч.— Что же он сделал и для чего?

— Вы должны понять,— мрачно улыбаясь, ответил Фишер.— Ведь это вы навели меня на след. Да, да, вы высказали очень тонкую мысль. Вы сказали, что человек, которому предстоит обедать в богатом доме, не станет брать с собой сандвичи. Вполне резонно, и отсюда вывод: хотя он и ехал туда, обедать там он не собирался. Или, по крайней мере, допускал, что не будет обедать. Дальше я подумал: должно быть, он знал, что ему предстоит неприятный визит, или что ему окажут не слишком радушный прием, или что сам он отклонит гостеприимство. Затем я вспомнил, что Тернбул в свое время был грозой людей с темным прошлым,— возможно, он и сюда приехал, чтобы опознать и обвинить одного из них. С самого начала мне казалось вероятным, что таким может быть только хозяин, Дженкинс. А теперь я

вполне убежден, что он и есть тот самый «нежелательный иностранец», над которым Тернбул требовал суда за совсем другие подвиги. Как видите, охотник держал про запас еще один выстрел.

— Но вы сказали, что убийца — первоклассный стрелок.

— Дженкинс отличный стрелок, — ответил Фишер. — Первоклассный стрелок, который притворился плохим. И знаете, что еще, кроме вашей фразы, натолкнуло меня на подозрение? Рассказы моего кузена. Дженкинс сбил кокарду и прострелил флюгер — надо быть первоклассным стрелком, чтобы стрелять так. Надо стрелять очень метко, чтобы попасть в кокарду, а не в голову или в шляпу. Если бы эти промахи были действительно случайными, только один шанс из тысячи, что они поразили бы именно такие заметные мишени. Дженкинс потому их и выбрал. О петухе и кокарде рассказывали все, кому не лень. Потому-то он и не снимает с беседки исковерканный флюгер — хочет увековечить эту сказку, превратить ее в легенду, в броню. А сам сидит с ружьем в засаде и высматривает жертву.

Это еще не все. Посмотрите на беседку. Она тоже стоит внимания. В ней есть все, за что Дженкинса поднимают на смех, — и позолота, и кричащие цвета, вся та вульгарность, которая пристала выскочке. А выскочки, наоборот, всего этого избегают. В обществе их, слава богу, достаточно, и мы хорошо их знаем. Больше всего они боятся походить на выскочек. Обычно они только и думают, как бы усвоить хороший тон и не сделать промаха. Они отдаются на милость декораторов и прочих знатоков, которые все для них делают. Едва ли найдется хоть один миллионер, который отважился бы держать в своем доме стулья с позолоченными вензелями, как в той охотничьей комнате. То же самое с фамилией. Такие фамилии, как Тимкинс или Дженкинс, смешны, но не банальны; я хочу сказать, они банальны, но не распространены. Другими словами, они обыденны, но не обычные. Именно такую фамилию надо выбрать, если хочешь, чтобы она выглядела заурядной, но на самом деле они совсем не заурядны. Много ли вы знаете Томкинсов? Эта фамилия встречается гораздо реже, чем, скажем, Тэлбот... А смешная одежда? Дженкинс одевается, как

персонаж из «Панча»¹. Да он и есть персонаж из «Панча» — вымышленная личность. Он — мифическое животное. Его просто нет.

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что это значит — быть человеком, которого нет? То есть быть персонажем — и никогда не выходить из образа, подавлять свои достоинства, лишать себя радостей, а главное — скрывать свои таланты? Что такое быть лицемером навыворот, прячушим свой дар под личиной ничтожества? Он проявил большую изобретательность, нашел совершенно новую форму лицемерия. Хитрый негодяй может подделаться под блестящего джентльмена, или почтенного коммерсанта, или филантропа, или святошу, но критический клетчатый костюм смешного неотесанного невежды — это действительно ново. Такая маскировка должна очень тяготить человека одаренного. А этот ловкий проходимец поистине разносторонне одарен, он умеет не только стрелять, но и рисовать, и писать красками, и, быть может, даже играть на скрипке. И вот такому человеку нужно скрывать свои таланты, но он не может удержаться, чтобы не использовать их хотя бы тайно, без всякой пользы. Если он умеет рисовать, он будет машинально рисовать на промокательной бумаге. Я подозреваю, что этот подлец часто рисовал лицо несчастного Пагги на промокашке. Возможно, сначала он рисовал его кляксами, а позже — точками или, вернее, дырками. Как-то в уединенном уголке сада он нашел заброшенную мишень и не мог отказать себе в удовольствии тайком пострелять, как некоторые тайком пьют. Вам показалось, что пробоины разбросаны как попало; они разбросаны, но отнюдь не случайно. Между ними нет двух одинаковых расстояний, все точки нанесены как раз там, куда он метил. Ничто не требует такой математической точности, как шарж. Я сам немного рисую, и уверяю вас, поставить точку как раз там, где вы хотите, — нелегкая задача, даже если вы рисуете пером, а бумага лежит перед вами. И это чудо, если точки нанесены из ружья. Человек, способный творить такие чудеса, всегда будет стремиться к ним — хотя бы тайно.

¹ «П а н ч» — английский сатирический журнал.

Фишер замолчал, а Марч глубокомысленно заметил:
— Не мог же он убить его, как птицу, одним из тех дробовиков.

— Вот почему я пошел в охотничью комнату, — ответил Фишер. — Он застрелил его из слонового ружья, и Берку показалось, что он узнал звук, потому-то он и выбежал из дома без шляпы такой растерянный. Он ничего не увидел, кроме быстро промчавшегося автомобиля; некоторое время он смотрел ему вслед, а потом решил, что ему померещилось.

Они снова замолчали. Фишер сидел на большом камне так же неподвижно, как при их первой встрече, и смотрел на серебристо-серый ручей, убегавший под зеленые кусты.

— Теперь он, конечно, знает правду, — резко сказал Марч.

— Никто не знает правды, кроме меня и вас, — ответил Фишер, и мягкие нотки зазвучали в его голосе, — а я не думаю, чтобы мы с вами когда-нибудь поссорились.

— О чем вы? — изменившимся голосом спросил Марч. — Что вы сделали?

Хорн Фишер пристально смотрел на быстрый ручеек. Наконец он проговорил:

— Полиция установила, что произошла автомобильная катастрофа.

— Но вы ведь знаете, что это не так, — настаивал Марч.

— Я вам уже говорил, что знаю слишком много, — ответил Фишер, не сводя глаз с воды. — Я знаю об этом и о многом другом. Я знаю, чем и как живут люди этой среды и как у них все делается. Я знаю, что проходимцу Дженкинсу удалось внушить всем, что он заурядный и смешной человек. Если я скажу Говарду или Гокетту, что старина Джинк убийца, они, пожалуй, лопнут со смеху у меня на глазах. О, я не уверен, что их смех будет вполне безгрешен, хотя по-своему он может быть искренним. Им нужен старый Джинк, они не могут без него обойтись. Я и сам не без греха. Я люблю Говарда и не хочу, чтобы он оказался на мели, а это непременно случится, если Джинк не заплатит за свой титул. На последних выборах они были чертовски близки к провалу, уверяю вас. Но главная причина моего молчания

другая: его разоблачить невозможно. Мне никто не поверит, это слишком немыслимо. Сбитый набок флюгер мигом превратит все в веселую шутку.

— А вы не думаете, что молчать позорно? — спокойно спросил Марч.

— Я многое думаю. Я думаю, например, что, если когда-нибудь взорвут динамитом и пошлют к черту это хорошее, связанное крепким узлом общество, человечество не пострадает. Но не судите меня слишком строго за то, что я знаю это общество. Потому-то я и трачу время так бессмысленно — ловлю вонючую рыбу.

Наступило молчание. Фишер снова уселся на камень, затем добавил:

— Я же говорил вам — крупную рыбу приходится выбрасывать в воду.

НЕУЛОВИМЫЙ ПРИНЦ



Начало этой истории теряется среди множества других, сплетенных вокруг имени хотя и не древнего, но легендарного. Это имя — Майкл О'Нил, которого в народе звали принцем Майклом, отчасти потому, что он провозгласил себя потомком старинного рода принцев-фениев, отчасти потому, что он намеревался, как гласит молва, стать принцем-президентом Ирландии по примеру последнего Наполеона во Франции. Несомненно, он был джентльменом благородного происхождения и обладал многими достоинствами, из коих два были особенно примечательны. Ему было свойственно появляться, когда его никто не ждал, и исчезать, когда его поджидали, в особенности когда его поджидала полиция. Можно добавить, что исчезновения его были гораздо опаснее появлений.

Последние имели обычно сенсационный характер — он срывал правительственные воззвания, расклеивал воззвания мятежные, произносил пламенные речи, подымал запретные флаги. Но, исчезая, он нередко боролся за свою свободу с такой поразительной энергией, что счастлив был тот из его преследователей, кому удавалось отделаться проломленной головой и не сломать себе

на этом шеп. Однако свои самые знаменитые и чудесные побеги он осуществлял благодаря находчивости, а не насилию.

Однажды безоблачным летним утром, весь белый от пыли, он появился на дороге перед крестьянской фермой и с беспечностью светского человека сообщил дочери фермера, что за ним гонятся полицейские. Девушку звали Бриджет Ройс, она была красива, но красота ее была суровой и даже мрачной. Она взглянула на него и спросила с сомнением:

— Ты хочешь, чтобы я спрятала тебя?

В ответ он только рассмеялся, легко перепрыгнул через каменную изгородь и зашагал к ферме, небрежно бросив через плечо:

— Благодарю, обычно я это делаю сам.

Тем самым он проявил пагубное непонимание женского сердца, и на его путь, озаренный солнечным сиянием, легла роковая тень.

Он вошел в дом, а девушка осталась у дверей, глядя на дорогу; через несколько минут к ферме подошли двое мокрых от пота, измученных полицейских. Она ничего им не сказала, хоть все еще и сердилась, и четверть часа спустя полицейские, обшарив дом, уже обыскивали огород и ржаное поле, лежащее за ним. Поддавшись мстительному порыву, она могла бы, пожалуй, не устоять перед искушением и выдать беглеца, если бы не одно пустячное затруднение: как и полицейские, она не представляла себе, куда он мог скрыться.

Сад был обнесен низкой изгородью, а за ним, словно квадратная заплатка на склоне огромного зеленого холма, лежало поле; даже если бы он успел уйти далеко, все равно он был бы виден с фермы, хотя бы как точка на ровном поле.

Все прочно стояло на своих обычных местах; яблоня была слишком мала, чтобы в ее ветвях мог спрятаться человек; единственный сарай с открытой настежь дверью был явно пуст; не слышно было ни звука, только гудела мошара да с шумом взлетела птичка, испуганная с непривычки пугалом, стоявшим в поле; почти нигде не было тени, только от тоненького деревца падало на землю несколько синих полос; каждая мелочь четко, как под микроскопом, выступала в ярком солнечном свете. Поз-

же девушка описала эту картину со страстным реализмом, присущим ее расе. Что же до полицейских, то, если они и не были способны к столь образному восприятию действительности, они, во всяком случае, сумели здраво оценить положение и, отказавшись от погони, удалились со сцены.

Бриджет Ройс стояла неподвижно, как зачарованная, глядя на залитый солнцем сад, в котором только что, словно дух, исчез человек. Тяжелое чувство не оставляло ее, и таинственное исчезновение уже казалось ей чем-то враждебным и страшным, точно этот дух был злым духом.

От того, что все вокруг было залито ярким солнечным светом, на душе у нее было тяжелее, чем если бы кругом стояла крошечная тьма; но она не отрывала взгляда от залитого солнцем поля. Вдруг ей почудилось, что мир лишился рассудка, — она закричала. В солнечном свете пугало тронулось с места. Все это время оно стояло спиной к ней, в бесформенной старой черной шляпе и изодранной одежде, а теперь оно быстро зашагало прочь по косогору — только лохмотья развевались на ветру. Девушка не стала размышлять о дерзкой маскировке, с помощью которой этому человеку удалось использовать тонкое взаимодействие между привычным и очевидным. Она все еще была во власти сложных личных переживаний и запомнила только, что, удаляясь, пугало даже не обернулось, чтобы взглянуть на ферму.

Судьбе, столь неблагоприятной к фантастической борьбе принца Майкла за свободу, было угодно, чтобы следующее его приключение, хотя в одном отношении и увенчавшееся успехом, еще увеличило сложность положения. Среди прочих историй, передаваемых про него, ходит рассказ о том, как несколько дней спустя другая девушка, по имени Мэри Грегган, обнаружила, что он прячется на ферме, где она служила, и, если верить рассказам, она также пережила сильнейшее потрясение. Она работала одна во дворе и вдруг услышала голос из колодца; оказалось, что этот удивительный человек умудрился спрыгнуть в бадью, спущенную в колодец, где было мало воды. На этот раз, однако, ему пришлось обратиться к женщине за помощью — он попросил ее вытянуть бадью. И говорят, что когда весть об этом дошла до Бриджет Ройс, та решила, наконец, на предательство.

Таковы были слухи о его приключениях, ходившие в округе. Их было много. Рассказывают еще, как однажды он с дерзким видом стоял на лестнице большого отеля в роскошном зеленом халате, поджидая полицейских, а затем заставил их гнаться за собой по анфиладе великолепных покоев, заманил их к себе в спальню, а оттуда на балкон, висевший над рекой. В ту минуту, когда преследовавшие его полицейские ступили на балкон, он подломился под их тяжестью, и они посыпались в бурлящие волны; сам же Майкл, успевший сбросить халат, нырнул и ускользнул от погони. Рассказывают, что он заранее подпилил подпорки, чтобы они не выдержали такой нагрузки, как вес полицейских. Однако и в этом побеге он добился лишь кажущегося успеха, ибо один из полицейских утонул, оставив семью, чья непримиримая ненависть нанесла некоторый вред популярности принца.

Эти истории передаются сейчас с такими подробностями не потому, что были самыми удивительными из всех его приключений, но потому, что только на них преданность местных крестьян не наложила запрет молчания. Только эти истории и были изложены в официальных отчетах, и их-то и обсуждали трое местных представителей власти в ту минуту, когда начинается самая замечательная часть нашего рассказа.

Давно уже наступила ночь, но на берегу в окнах домика, где расположились полицейские, горел свет. Здание это было последним в ряду редко разбросанных домов деревни, а за ним начиналась поросшая вереском болотистая пустошь, которая тянулась до самого моря. Ровная линия берега нарушалась лишь одинокой башней старинной архитектуры — такие еще встречаются в Ирландии, — стройной, как колонна, с остроконечным, как у пирамиды, верхом. У окна, перед которым расстилался этот пейзаж, за деревянным столом сидели двое в штатском, сохранившие, впрочем, некоторую военную выправку, как и подобало людям, возглавившим местную сыскную полицию. Старшим по возрасту и по чину был коренастый человек с подстриженной седой бородкой и седыми бровями, нахмуренными скорее озабоченно, чем сурово.

Звали его Мортон, родом он был из Ливерпуля, но давно уже варился в котле ирландских междоусобиц,

выполняя свой долг без особого рвения. Он произнес несколько фраз, обращаясь к своему помощнику Нолану, высокому темноволосому человеку с типичным для ирландца землистым длинным лицом, а затем, очевидно вспомнив о чем-то, нажал звонок, отозвавшийся в соседней комнате. Тотчас же явился подчиненный с папкой бумаг.

— Присядьте, Уилсон,— сказал Мортон.— Что у вас? Показания?

— Да,— ответил тот.— Сдается, я вытянул из них все, что только можно. Я отпустил их.

— А Мэри Греган дала показания? — спросил Мортон, хмурясь несколько больше обычного.

— Нет, зато ее хозяин дал,— ответил тот, кого звали Уилсоном. У него были прямые рыжие волосы и некрасивое бледное лицо, не лишенное, впрочем, известной проницательности.— Должно быть, он сам увивается за нею и потому выболтал все о сопернике. В тех случаях, когда нам говорят правду, на то всегда имеется какая-нибудь такая причина. Зато другая девица рассказывала все, что знала,— тут уж можете быть спокойны.

— Ну что ж, будем надеяться, что от этих показаний будет хоть какой-нибудь толк,— уныло заметил Но-лан, глядяваясь в темноту за окном.

— Любая малость будет нам полезна,— сказал Мортон,— если она поможет нам узнать что-нибудь о нем.

— Мы знаем о нем одно,— сказал Уилсон.— То, чего никто раньше не знал. Мы знаем, где он сейчас.

— Вы в этом уверены? — спросил Мортон, быстро взглянув на него.

— Вполне,— отвечал его помощник.— Сейчас он сидит вон в той башне у моря. Подойдите поближе — вы увидите свечу, горящую в окне.

В эту минуту с дороги донесся автомобильный гудок, а потом и шум затормозившей перед дверью машины. Мортон проворно вскочил на ноги.

— Слава богу, это машина из Дублина,— сказал он.— Без особых полномочий я ничего не могу предпринять, даже если бы он показал нам язык с верхушки этой башни. Но шеф сможет делать все, что сочтет нужным.

И он поспешил к двери навстречу красивому высокому мужчине в меховом пальто, который внес в маленькую

грязную комнату яркий отблеск больших городов и роскоши большого света.

Это был сэр Уолтер Кэри, занимавший такое высокое положение в Дублинском замке, что только дело принца Майкла могло подвигнуть его на это ночное путешествие. Правда, дело это осложнялось не только нарушениями закона, но и самим законом. В последний раз принца Майкла спасла не обычная его дерзость, а хитроумное толкование законов, так что теперь было неясно, подлежит он судебной ответственности или нет. Для того чтобы решить этот вопрос, потребовалась бы, возможно, некоторая вольность в толковании закона; человек же, подобный сэру Уолтеру, мог, конечно, позволить себе любую вольность. Неясно было одно: захочет ли он это делать.

Несмотря на почти вызывающую роскошь мехового пальто сэра Уолтера, все очень скоро поняли, что его большая львиная голова была не только декоративной, но и весьма полезной принадлежностью, ибо он принялся за расследование трезво и вполне разумно. Вокруг простого соснового стола поставили пять стульев; сэр Уолтер привез с собой родственника и секретаря, по имени Хорн Фишер, весьма апатичного молодого человека с бесцветными усами и преждевременно поредевшей шевелюрой. Сэр Уолтер с серьезным вниманием, его секретарь с вежливой скукой выслушали подробное повествование о том, как полицейским удалось проследить весь путь беглеца, от ступенек отеля до одинокой башни на морском берегу. Здесь, между болотом и бушующим морем, он попал наконец в ловушку; посланный Уилсоном разведчик доложил, что он сидит и пишет при свете единственной свечи — должно быть, сочиняет очередное грозное воззвание. Только принц мог выбрать эту башню для последней отчаянной схватки. У него были какие-то одному ему известные основания считать ее своим фамильным замком, и те, кто его знали, совсем не удивились бы, если бы он вздумал подражать древним ирландским вождям, которые погибали, сражаясь с морем.

— В дверях я столкнулся с какими-то подозрительными личностями, — сказал сэр Уолтер. — Это, по-видимому, ваши свидетели. Что они здесь делают в такую позднюю пору?

Мортон мрачно усмехнулся.

— Они приходят ночью, потому что их не было бы в живых, если б они вздумали прийти сюда днем. Их считают преступниками, и преступление их куда тяжелей, чем простая кража или убийство.

— Что это за преступление? — спросил с любопытством сэр Уолтер.

— Они помогают закону, — ответил Мортон.

Наступило молчание. Сэр Уолтер рассеянно смотрел на лежащие перед ним бумаги. Наконец он сказал:

— Отлично, но посудите сами — если таковы чувства местного населения, нам следует о многом поразмыслить. Думаю, что на основании вновь принятого закона я смогу, если будет на то необходимость, арестовать его. Но нужно ли это делать? Серьезные беспорядки повредили бы нашему положению в парламенте, а у правительства много врагов не только в Ирландии, но и в самой Англии. Что пользы, если я поверну дело слишком круто, а потом окажется, что я только вызвал восстание? Ведь это ни к чему хорошему не приведет.

— Напротив, — поспешно возразил человек, которого звали Уилсоном. — Если вы арестуете его, не будет и половины тех волнений, которые произойдут, если вы хоть на три дня оставите его на свободе. Впрочем, в наше время настоящая полиция может справиться с чем угодно.

— Сразу видно, что мистер Уилсон лондонец, — с улыбкой сказал ирландец Нолан.

— Да, я настоящий кокни¹, — отвечал тот, — и, сказать по правде, совсем об этом не жалею. Особенно в данном случае, как ни странно это может показаться.

Сэра Уолтера, казалось, забавляло упорство полицейского, а еще более — легкий акцент, красноречиво говоривший о его происхождении.

— Не хотите ли вы сказать, — спросил он, — что вам легче разобраться в том, что здесь происходит, оттого что вы приехали из Лондона?

— Может, это и смешно, но так оно и есть. Я убежден, что в подобных делах нужны новые методы. И прежде всего здесь нужен свежий глаз.

¹ Кокни — уроженец восточной части Лондона, представитель «низов» общества.

Все рассмеялись, но рыжеволосый полицейский продолжал с некоторой досадой:

— Нет, вы только попробуйте разобраться в фактах. Вспомните, как этот субъект ускользал каждый раз, и вы поймете, что я имею в виду. Почему ему удалось притвориться пугалом и спрятаться от всех под какой-то старой шляпой? Да потому, что полицейский был из здешних: он знал, что на этом месте стоит пугало или, вернее, должно стоять пугало, и потому не обратил на него никакого внимания. Ну, а для меня пугало — вещь необычная, я никогда не видел их на улицах, и стоит мне заметить его в поле, как я смотрю на него во все глаза. Для меня эта штука новая, она привлекает мое внимание. То же самое с колодцем. Для вас колодец в таком месте — вещь обычная, он должен там быть, и потому вы его не замечаете. Я же ничего этого не знаю — и потому вижу его.

— Интересная мысль, — сказал, улыбаясь, сэр Уолтер. — Ну, а как быть с балконами? Балконы ведь изредка попадают и в Лондоне.

— Но они не нависают над водой, словно в Венеции, — отвечал Уилсон.

— Да, мысль интересная, новая, — повторил сэр Уолтер, и в голосе его послышалось что-то похожее на уважение.

Как все представители привилегированных классов, он страдал приверженностью к новым идеям. Но он обладал также и способностью критически мыслить и после некоторого раздумья пришел к выводу, что мысль эта не только нова, но и справедлива.

Близился рассвет, чернота в оконных рамах засерела, и сэр Уолтер решительно поднялся. За ним поднялись и другие, сочтя это движение знаком того, что арест предreshен. Однако их начальник стоял с минуту в глубоком раздумье, словно на перепутье. Внезапно тишину прервал долгий протяжный вопль, донесшийся издалека, с темных болот. Наступившее молчание казалось внезапнее самого крика. Его нарушил Нолан, произнесший сдавленным голосом:

— Это кричит фея смерти. Она пророчит кому-то могилу.

Его длинное, с крупными чертами лицо стало

бледнее луны — и все тут же вспомнили, что среди присутствовавших он один был ирландцем.

— Знаю я эту фею,— весело сказал Уилсон,— хоть вы и считаете, что я ничего не понимаю в таких вещах. Я сам говорил с этой феей с час тому назад и послал ее к башне; это я приказал ей так кричать, если она увидит в окне, что наш друг все еще пишет свое воззвание.

— Вы говорите о той девушке, Бриджет Ройс? — спросил Мортон, хмуря седые брови.— Неужели она решила, что это входит в обязанности свидетельницы обвинения?

— Да,— сказал Уилсон.— Вы утверждаете, что я ничего не смыслю в местных обычаях. Однако, сдается мне, разъяренные женщины всюду ведут себя одинаково.

Нолан все еще был мрачен; ему явно было не по себе.

— Этот крик не к добру,— проговорил он.— Вся эта затея не к добру. Может, это и конец принцу Майклу, но только, должно быть, не ему одному. Если уж на него находит, он дерется как одержимый и вырывается на свободу — хоть по колену в крови и через гору трупов.

— Это и есть настоящая причина ваших суеверных страхов? — спросил с легкой насмешкой Уилсон.

Бледное лицо ирландца потемнело от гнева.

— Я видел больше убийств у себя в графстве Клэр, чем вы пьяных драк на станции Клэфем¹, мистер Кокни,— сказал он.

— Замолчите,— резко сказал Мортон.— Уилсон, вы не имеете права сомневаться в храбрости того, кто выше вас чином. Надеюсь, сами вы окажетесь так же мужественны и достойны доверия, как Нолан.

Бледное лицо рыжеволосого, казалось, побледнело еще больше, однако он сдержался и промолчал. Сэр Уолтер подошел к Нолану и проговорил с подчеркнутой учтивостью:

— Что ж, может, отправимся сейчас же, чтобы поскорее покончить с этим делом?

Светало. Между огромной серой тучей и огромным серым простором равнины появился широкий белый просвет, а за ним на фоне тусклого неба и моря — четкий силуэт башни. Ее простые и строгие очертания наводили

¹ Пригород Лондона.

на мысль о первых днях творения, о тех доисторических временах, когда не было еще красок, — один лишь дневной свет отделял землю от туч. Эти темные тона оживляли единственное пятнышко света — пламя свечи в окне одинокой башни, все еще заметное в разгоравшемся свете дня. Когда сыщики в сопровождении полицейского отряда расположились полукругом перед башней, чтобы отрезать беглецу все пути к отступлению, свет в окне вспыхнул на мгновение, словно кто-то передвинул свечу, и тут же погас. По-видимому, человек, находящийся внутри, заметил, что наступил рассвет, и задул свечу.

— В башне есть еще окна, не так ли? — спросил Мортон. — И, конечно, дверь где-нибудь за углом, — Впрочем, какие же могут быть углы у круглой башни!

— Еще одно доказательство в пользу моей скромной теории, — спокойно заметил Уилсон. — Я сразу же, как приехал, обратил внимание на эту башню. Могу рассказать вам кое-что о ней, во всяком случае, о том, как она выглядит снаружи. Всего в ней четыре окна. Одно перед нами. Другое почти рядом, но его отсюда не видно. Оба эти окна, а также и третье, с прогивоположной стороны, находятся в нижнем этаже, образуя треугольник. Зато четвертое приходится прямо над третьим и, как мне кажется, расположено на верхнем этаже.

— Нет, это что-то вроде хоров, — сказал Нолан, — туда можно влезть по приставной лестнице. Я часто играл там в детстве. Наверху ничего нет...

Его лицо омрачилось. Возможно, он подумал о трагедии своей родины и о той роли, которую он в ней исполнял.

— Во всяком случае, у него там есть стол и стул, — сказал Уилсон. — Конечно, он мог взять их в деревне. С вашего разрешения, сэр, я бы предложил следующее: одновременно подойти ко всем пяти выходам. Один из нас встанет у двери, а остальные — по одному у каждого окна. У полицейского Макбрайда есть лестница, которую можно приставить к верхнему окну.

Мистер Хорн Фишер, апатичный секретарь сэра Уолтера, повернулся к своему знаменитому родственнику.

— Кажется, я становлюсь приверженцем психологической школы «кокни», — сказал он вяло. Это были первые слова, которые он произнес за все это время.

Остальные, по-видимому, думали то же, ибо все стали располагаться по предложенному Уилсоном плану. Мортон направился к окну, находившемуся прямо перед ним, в котором укрывшийся в башне преступник только что задул свечу. Нолан — несколько западнее, ко второму окну, а Уилсон и следовавший за ним Макбрайд с лестницей, обойдя башню сзади, подошли к двум окнам, расположенным на противоположной стороне. Сам же сэр Уолтер Кэри в сопровождении своего секретаря направился к входу, чтобы проникнуть в башню более обычным способом.

— Он вооружен, конечно? — небрежно спросил сэр Уолтер.

— Безусловно, — ответил Хорн Фишер. — Даже если в руках у него только подсвечник, он может сделать им больше, чем другие револьвером. Но у него, конечно, есть и револьвер.

Не успел он договорить, как оглушительный грохот подтвердил его слова.

Мортон только что занял место у ближайшего окна, закрывая его своими широкими плечами. На мгновение окно осветилось изнутри красным пламенем, и под сводами башни прогрехотало эхо. Квадратные плечи Мортон опустились, и его сильное тело рухнуло в высокую траву у подножия башни. Из окна выплыло маленькое облачко дыма. Сэр Уолтер и его секретарь, стоявшие позади Мортон, бросились поднимать его. Он был мертв. Сэр Уолтер выпрямился и крикнул что-то, однако второй выстрел, раздавшийся вслед за первым, заглушил его слова. Это, должно быть, стреляли полицейские из противоположного окна, мстя за смерть своего товарища. В это время Фишер подбежал ко второму окну. Раздался крик изумления, и сэр Уолтер поспешил к своему секретарю. На траве лежало распростертое тело ирландца Нолана, трава вокруг была залита кровью. Когда они подбежали к нему, он еще дышал, но лицо его уже было отмечено печатью смерти. Собрав последние силы, Нолан что-то пробормотал и махнул рукой, как бы давая понять им, что для него уже все кончено, и героическим усилием отсылая их к товарищам, осаждавшим башню. Сэр Уолтер и его спутник, ошелоленные таким внезапным и ужасным поворотом событий, бессознательно повинова-

лись ему. То, что они увидели, было столь же поразительно, хотя и менее трагично: два других полицейских были живы, но Макбрайд лежал со сломанной ногой под упавшей лестницей, которую, очевидно, оттолкнули от верхнего окна, а Уилсон лежал ничком, неподвижно, точно оглушенный, уткнувшись рыжей головой в серебристо-серые шарпки серебрянки. Впрочем, беспамятство его тут же прошло: как только сэр Уолтер и его секретарь показали из-за башни, он зашевелился и попытался встать.

— Черт возьми, точно взрыв! — вскричал сэр Уолтер.

И действительно, трудно было иначе определить ту дьявольскую энергию, с какой один человек, зажатый в треугольник врагов, сломал его, почти одновременно посеяв смерть и разрушение на всех трех сторонах.

Уилсон уже поднялся на ноги и с удивительной энергией бросился к окну, держа револьвер наготове. Он дважды выстрелил в окно и прыгнул в него в дыму своих выстрелов; звук его шагов и стук упавшего стула свидетельствовали о том, что неустрашимый кокни проник, наконец, в башню. Последовала непонятная тишина. Дым рассеивался. Сэр Уолтер, подойдя к окну, заглянул в пустоту древней башни: кроме Уилсона, озиравшегося вокруг, там никого не было.

Внутри башня представляла собой одну пустую комнату, в которой не было ничего, кроме простого деревянного стула и стола. На столе лежали бумаги и перья, стояла чернильница, а рядом с ней подсвечник. На стене, под верхним окном, виднелась грубо сколоченная площадка, похожая, скорее, на большую полку; добраться до нее можно было только по приставной лестнице. Площадка была пуста, как и вся комната с голыми стенами. Оглядев помещение, Уилсон подошел к столу и стал внимательно рассматривать лежавшие на нем вещи. Затем он молча указал тощим пальцем на открытую страницу большой тетради. Человек, который писал в ней, остановился, даже не окончив начатого слова.

— Я говорю, это было похоже на взрыв, — сказал сэр Уолтер. — И сам он будто тоже взорвался. Во всяком случае, он как-то вылетел из башни, ничего не уничтожив при этом. Исчез словно мыльный пузырь, а не как взорвавшаяся бомба!

— Зато он уничтожил кое-что поценнее этой башни,— мрачно сказал Уилсон.

Наступило долгое молчание, затем сэр Уолтер произнес серьезно:

— Что ж, мистер Уилсон, я не сыщик. У нас никого не осталось по вашей части, кроме вас; придется вам взять на себя руководство этой стороной дела. Мы все глубоко сожалеем об этой печальной необходимости, но мне хотелось бы сказать, что в данном случае я полностью полагаюсь на ваши способности. Что, по-вашему, мы должны теперь предпринять?

Уилсон, казалось, стяхнул с себя свое мрачное ощущение и ответил на слова сэра Уолтера с необычным теплом и признательностью. Он подозвал нескольких полицейских и велел им обыскать башню внутри, а остальных послал осмотреть ближайшие окрестности.

— По-моему,— сказал он,— необходимо прежде всего убедиться, не прячется ли он где-нибудь в башне,— ведь выбраться из нее было физически невозможно. Бедняга Нолан, может, вспомнил бы опять о своей фее смерти и стал бы говорить, что на помощь принцу пришли всякие сверхъестественные силы. Ну, а мне всякая чертовщина ни к чему, когда я имею дело с реальностью. А она такова: пустая башня с лестницей, стул и пустой стол.

— Спириты,— произнес сэр Уолтер с улыбкой,— скажи бы, что духи могут многое сделать с помощью простого стола.

— Только в том случае, если на нем стоит хорошая бутылка спиртного,— ответил Уилсон, кривя усмешкой бледный рот.— Здесь верят в духов, особенно когда поднагрузятся ирландским виски. Если хотите знать, этой стране не хватает просвещения, вот чего!

Тяжелые веки Хорна Фишера дрогнули, точно даже его рассердил презрительный тон сыщика.

— Ирландцы слишком верят в духов, чтобы верить в спиритизм,— проговорил он тихо.— Они слишком много о них знают. Если же вам нужна по-детски простая вера в духов, ищите ее в своем любимом Лондоне.

— К чему она мне? — ответил отрывисто Уилсон.— Тут у меня вещи попроще, чем ваша простая вера,— стол, стул и лестница. И вот что я должен сказать о них

для начала. Они сколочены грубо из самого обыкновенного дерева. Стол и стул совсем новые и сравнительно чистые. Лестница покрыта пылью, и под верхней ступенькой видна паутина. А это значит, что стол и стул он взял совсем недавно у кого-нибудь в деревне, как мы и предполагали. Но лестница уже давно стоит здесь, в этой старой норе. Вероятно, это часть оригинальной обстановки в этом великолепном дворце ирландских королей.

Фишер снова взглянул на него из-под тяжелых век, однако на этот раз, одолеваемый, казалось, дремотой, он ничего не сказал. Уилсон продолжал:

— Совершенно очевидно, что здесь только что произошло нечто необычайное. Ставлю десять против одного, что вся история связана именно с этим местом. Может, он выбрал башню потому, что нигде больше его фокус не прошел бы, ни на что другое она, по-моему, не годится. Он знал о ней издавна; ведь, говорят, она принадлежала его роду. По всей вероятности, тайна кроется в конструкции самой башни.

— Ваши доводы кажутся чрезвычайно убедительными,— сказал внимательно слушавший сэр Уолтер.— Но что бы это могло быть?

— Теперь вы понимаете, что я имел в виду, говоря о лестнице,— продолжал сыщик.— Она одна здесь старая, и я сразу же ее заметил своим свежим взглядом горожанина. Но тут есть и еще кое-что. Эта площадка наверху предназначалась для всякого хлама, однако хлама-то там и нет. Насколько я могу судить, она, как и вся башня, совершенно пуста, и непонятно, к чему тогда лестница. Видно, раз внизу ничего нет, стоит заглянуть наверх.

Он живо соскочил со стола, на котором сидел (единственный стул был предоставлен сэру Уолтеру), и вскарабкался вверх по лестнице. За ним последовали остальные. Мистер Фишер поднялся последним с выражением полнейшего безразличия на лице. Однако и тут их ждало разочарование, хоть Уилсон и обнюхал каждый угол, словно терьер, и чуть не распластался на полу, осматривая потолок.

Полчаса спустя они вынуждены были признать, что так и не напали на след. Личному секретарю сэра Уолтера, видно, все труднее было бороться с дремотой, столь

неуместной в данных обстоятельствах. Поднявшись последним по лестнице, он, казалось, не находил в себе сил, чтобы спуститься вниз.

— Идите же, Фишер,— позвал сэр Уолтер снизу, когда все спустились на пол.— Надо решить, стоит ли разносить эту башню на куски, чтобы понять, из чего она сделана.

— Иду,— ответил голос сверху, сопровождаемый сдавленным зевком.

— Чего вы ждете? — спросил сэр Уолтер нетерпеливо.— Вы что-нибудь увидели?

— Пожалуй,— неопределенно ответил тот.— А вот теперь вижу совершенно отчетливо.

— Что вы видите? — резко спросил Уилсон, сидя на столе и нетерпеливо постукивая каблуками.

— Человека,— ответил Хорн Фишер.

Уилсон слетел со стола, будто его толкнули.

— Что? — закричал он.— Как это вы можете видеть человека?

— В окно,— кротко ответил секретарь сэра Уолтера.— Я вижу, что он направляется сюда. Он идет напрямик, по открытому полю, прямо к башне. По-видимому, он хочет нанести нам визит. И, принимая во внимание, кто этот гость, следует, должно быть, нам всем встретить его у дверей.

И он неторопливо спустился с лестницы.

— Кто бы это мог быть? — в изумлении сказал Уилсон.

— По-моему, это тот, кого вы зовете принцем Майклом,— небрежно заметил мистер Фишер.— Я даже уверен, что это он. Я видел его фотографии в полиции.

Воцарилась мертвая тишина, во время которой в ясной голове сэра Уолтера мысли вертелись, словно крылья ветряной мельницы.

— Что за черт! — вскричал он наконец.— Ну хорошо, допустим, что им же подготовленный взрыв выбросил его неизвестно как за полмили отсюда, не причинив ему никакого вреда. Все равно не пойму, какого дьявола ему здесь нужно. Убийца обычно не возвращается так скоро на место своего преступления.

— Откуда ему знать, что это место его преступления? — ответил Хорн Фишер.

— Черт возьми, что вы хотите этим сказать? По-вашему, он так рассеян?

— Дело в том, что это отнюдь не место его преступления,— сказал Фишер, подходя к окну и выглядывая из него.

Опять наступило молчание, а затем сэр Уолтер произнес спокойно:

— Что это вам пришло в голову, Фишер? Я вижу, у вас возникла новая теория относительно того, как этот парень вырвался из кольца.

— Он и не думал вырываться,— ответил Фишер, не отворачиваясь от окна.— Он и не мог вырваться — по той простой причине, что он никогда и не был в этом кольце. И в башне его не было, во всяком случае, когда мы ее окружали.

Он повернулся и встал, прислонясь спиной к косяку окна. Несмотря на обычное для него выражение безразличия, лицо его было бледнее обычного — возможно, от падавшей на него тени.

— Я начал догадываться кое о чем, еще когда мы подходили к башне,— сказал он.— Заметили вы, как затрепетало пламя свечи, перед тем как погаснуть? Я был почти уверен, что это последняя вспышка догоревшей свечи. А войдя в комнату, я увидел вот это...

Он указал на стол; сэр Уолтер глухо проклял собственную слепоту. Свеча в подсвечнике действительно выгорела до конца; однако что из этого следовало, оставалось для сэра Уолтера тайной.

— Затем возникает своеобразный математический вопрос,— продолжал Фишер, снова спокойно прислонясь к окну и всматриваясь в голые стены, как бы разглядывая воображаемые чертежи, развешанные на них.— Из центра треугольника все его три угла не просматриваются. Однако, если ты находишься в одном из углов, увидеть, что происходит в двух других, не составляет особого труда, если к тому же они лежат у основания равнобедренного треугольника. Прошу прощения за эту лекцию по геометрии, но...

— Боюсь, что у нас нет времени на лекции,— холодно проговорил Уилсон.— Если этот человек в самом деле возвращается, я должен немедленно отдать приказ.

— Все же я продолжу свою мысль,— заметил Фишер, с оскорбительным спокойствием глядя в потолок.

— Должен просить вас, мистер Фишер, не мешать мне вести расследование, как я нахожу нужным,— сказал Уилсон решительно.— Сейчас здесь распоряжаюсь я.

— Да,— тихо ответил Хорн Фишер таким тоном, что все присутствующие похолодели.— Да, но почему?

Сэр Уолтер смотрел на Фишера в изумлении — перед ним был совсем не тот медлительный и вялый юноша, которого он так хорошо знал. Фишер поднял веки и смотрел на Уилсона, широко раскрыв глаза; казалось, с них, словно с глаз орла, сползла пленка.

— Почему *вы* распоряжаетесь здесь?—спросил он.— Почему *вы* теперь ведете расследование по своему усмотрению? Как случилось, хотел бы я знать, что здесь нет никого старше вас по чину, чтобы вмешаться в ваши действия?

Все растерянно молчали. В эту минуту снаружи раздался сильный и гулкий удар в дверь башни, словно сама судьба стучала к ним.

Деревянная дверь закрипела на ржавых петлях под чьей-то сильной рукой, и в комнату вошел принц Майкл. Это, конечно, был он. Светлое платье принца, хотя и сильно пострадавшее за время его приключений, было прекрасного, почти щегольского покроя, а острая бородака эспаньолкой словно служила новым напоминанием о Луи-Наполеоне; впрочем, он был гораздо выше и стройнее того, кому стремился подражать. Не успел никто произнести и слова, как он, словно призывая к молчанию, легко, но величаво, как гостеприимный хозяин, повел рукой.

— Господа,— сказал он,— приветствую вас в башне, ставшей теперь столь неприглядной.

Уилсон опомнился первым. Он шагнул к нему и произнес:

— Майкл О'Нил, именем короля я арестую вас за убийство Фрэнсиса Мортонна и Джеймса Нолана. Считаю своим долгом предупредить вас...

— Нет, мистер Уилсон,— внезапно вскричал Фишер,— вам не удастся совершить третье убийство!

Сэр Уолтер Кэри вскочил со стула, который с грохотом повалился на пол.

— Что это значит? — воскликнул он властно.

— Это значит, — ответил Фишер, — что человек, по имени Гукер Уилсон, выстрелом вон из того окна убил двух своих товарищей в минуту, когда они появились в противоположных окнах. Вот что это значит! Если хотите в этом убедиться, сосчитайте, сколько было выстрелов и сколько патронов осталось у него в револьвере.

Уилсон быстрым движением рук схватил револьвер, который лежал на столе. Но тут произошло нечто совсем не предвиденное. Принц Майкл, неподвижно, как статуя, стоявший на пороге, вдруг с ловкостью акробата выхватил револьвер из рук сыщика.

— Собака! — вскричал он. — Ты — воплощение английской справедливости, как я — трагедии ирландцев. Ты пришел сюда, чтобы убить меня рукой, обгаренной кровью твоих же братьев. Если бы они пали жертвой мести, это назвали бы убийством, но тогда твой грех имел бы оправдание. Мне же, невиновному в их убийстве, пришлось бы поплатиться за него жизнью. Это была бы торжественная и пышная церемония с длинными речами, и судьи, терпеливо выслушав все доводы в пользу моей невиновности, признали бы их несостоятельными, пренебрегая моим отчаянием. Да, вот оно, злодейство! Но убийство может и не быть преступлением. В этом револьвере есть еще одна пуля, и я знаю, кто ее заслужил!

Уилсон и повернуться не успел, как Майкл выстрелил. Сыщик скорчился от боли и повалился, как сноп.

Полицейские бросились к нему; сэр Уолтер стоял молча, словно в оцепенении. Наконец Хорн Фишер нарушил молчание.

— Да, вы — подлинное воплощение трагедии ирландцев, — сказал он и как-то странно, устало махнул рукой. — Вы были совершенно правы и сами же погубили себя.

Лицо принца застыло, как мрамор, только в глазах его мелькнуло отчаяние.

Внезапно он рассмеялся и швырнул дымящийся револьвер на пол.

— Да, мне нет оправдания, — сказал он. — Я совершил преступление, за которое не только меня, но и детей моих стоило бы проклясть.



Уилсон и повернуться не успел, как Майкл выстрелил.

Хорн Фишер, казалось, не ожидал такого быстрого раскаяния. Не отводя от Майкла глаз, он тихо спросил:

— О каком преступлении вы говорите?

— Я помог английскому правосудию,—ответил принц Майкл.— Я отомстил за смерть полицейских вашего короля. Я выполнил дело королевского палача. За это меня следовало бы повесить.

И он шагнул к полицейским. Он не сдавался, а, скорее, приказывал им арестовать себя.

Таковы были события, о которых спустя много лет Хорн Фишер рассказывал журналисту Гарольду Марчу, сидя в небольшом, но фешенебельном ресторане недалеко от Пикадилли¹. Он пригласил Марча пообедать с ним вскоре после дела, которое он назвал «Лицо на мишени». Вначале разговор зашел об этом таинственном происшествии, а затем Хорн Фишер предался воспоминаниям о событиях своей молодости, побудивших его заинтересоваться вопросами, подобными делу принца Майкла. С тех пор прошло пятнадцать лет. Волосы Хорна Фишера еще более поредели, на лбу образовались залысины, в движениях его длинных и тонких рук было больше усталости и меньше выразительности. Он рассказывал о своем давнем ирландском приключении, потому что тогда он впервые столкнулся с миром преступлений и понял, что преступление может быть тайным и непостижимым образом связано с законом.

— Гукер Уилсон был первым преступником, которого я встретил, и он служил в полиции,—рассказывал Фишер, вертя в руках бокал.— В жизни всегда так — все смешано, все противоречиво. Это был человек одаренный, возможно, даже талантливый. И как сыщик и как преступник он заслуживает самого тщательного изучения. У него была характерная наружность — бледное лицо и ярко-рыжие волосы. Он был холоден, но его сжигала страсть к славе; он мог подавить свой гнев, но честолюбие его не поддавалось контролю. При первой стычке с начальством он проглотил насмешки, но затаил обиду. Позже, когда в просветах окон появились два

¹ Пикадилли — одна из центральных улиц Лондона.

резко очерченных силуэта, ему представилась прекрасная возможность отомстить — к тому же так он избавлялся сразу от двух людей, стоявших на его пути к продвижению. Он стрелял без промаха и рассчитывал на то, что свидетелей не будет, хоть доказать что-нибудь было бы вообще очень трудно. Правда, Нолан едва не выдал его: умирая, он успел произнести: «Уилсон» — и указал на него. Мы думали, что он просит помочь товарищу, в то время как он назвал убийцу. Что касается лестницы, то опрокинуть ее было совсем нетрудно — тому, кто стоял на ней, не было видно, что происходит внизу, — а затем Уилсон и сам упал на землю, прикинувшись пострадавшим при катастрофе.

Правда, наряду с чудовищным честолюбием он обладал искренней верой не только в свои таланты, но и в свои теории. Он верил в «свежий глаз» и хотел получить возможность попробовать свои новые методы на практике. В теории Уилсона что-то было, хоть его и постигла неудача, обычная в таких случаях, — ведь даже свежему глазу не разглядеть невидимого. Эти теории хороши для простых случаев, как с пугалом или с колодцем, но они бесполезны там, где дело касается самой жизни или человеческого души. И он грубо просчитался в том, как поведет себя такой человек, как принц Майкл, услышав крик женщины о помощи. Тщеславие Майкла и самое его понятие о чести заставили его без промедления поспешить на помощь — за перчаткой дамы он вошел бы хоть в Дублинский замок. Считайте это позой, если угодно, но так бы он, конечно, и поступил. Что произошло, когда он встретил Бриджет, — это уже другая история, которую мы, может быть, никогда не узнаем. Если верить слухам, дошедшим до меня, они помирились. И хотя Уилсон на этот раз и ошибся, все же было что-то верное в мысли о том, что человек новый видит больше всех; он замечает то, что старожилу незаметно, — ведь тот слишком много знает, чтобы действительно знать что-нибудь. Да, кое в чем он был прав. И он был прав относительно меня.

— Относительно вас? — спросил Марч.

— Я слишком много знаю, чтобы действительно знать что-нибудь или, во всяком случае, чтобы сделать что-нибудь, — сказал Хорн Фишер. — Я говорю сейчас

не только об Ирландии. Я говорю об Англии. Я говорю о всей системе нашего управления, хотя, вероятно, она и является единственно для нас возможной. Вы спрашиваете меня, что произошло с теми, кто остался в живых после этой трагедии. Так вот: Уилсон выздоровел, и нам удалось убедить его подать в отставку. Однако этому проклятому убийце пришлось дать такую пенсию, какую едва ли получал самый доблестный герой, когда-либо сражавшийся за Англию. Мне удалось спасти Майкла от самого страшного, однако этого совершенно невинного человека пришлось отправить на каторгу за преступление, которого, как мы хорошо знаем, он не совершал. И только значительно позже нам удалось тайно способствовать его побегу. Сэр Уолтер Кэри сейчас премьер-министр, и, вероятно, он никогда бы им не был, если бы правда о позорном происшествии, случившемся в его ведомстве, стала достоянием гласности. Она могла погубить нас всех, когда мы были в Ирландии. Для него же это наверняка был бы конец. А ведь он старый друг моего отца и всегда был чрезмерно добр ко мне. Как видите, я слишком тесно связан с этим миром и, уж конечно, не мне изменять его. Вы, по-видимому, огорчены, а может быть, даже шокированы, но я и не думаю обижаться на вас. Что ж, если угодно, переменим тему разговора... Как вам нравится это бургундское? Оно — мое открытие, как, впрочем, и сам ресторан...

И он начал пространно, с чувством и со знанием дела говорить о винах, о которых, как скажут некоторые моралисты, он также слишком много знал.

ПРИЧУДА РЫБОЛОВА



Б

ывают случаи настолько необычные, что запомнить их именно поэтому просто невозможно. Если событие совершенно выпадает из общего порядка вещей и не имеет ни причин, ни следствий, ничто в дальнейшем не воскрешает его в памяти; оно остается в подсознании, чтобы потом, долгое время спустя, благодаря какой-нибудь случайности всплыть на поверхность. Оно ускользает, как забытый сон... Однажды ранним утром, едва в Западной Англии забрезжил рассвет, глазам человека, спускавшегося на лодке по реке, представилось поразительное зрелище. Человек этот не грезил; право, он давным-давно освободился от грез, этот преуспевающий журналист Гарольд Марч, который намеревался взять интервью у нескольких политических деятелей в их загородных виллах. Однако случай, свидетелем которого стал Марч, был до того нелеп, что вполне мог пригрезиться; и все же он попросту скользнул мимо сознания, затерявшись среди иных событий, и журналист так и не вспомнил о нем до тех пор, пока некоторое время спустя все не объяснилось.

Белесый утренний туман стлался по полям и камышовым зарослям на одном берегу; вдоль другого, над самой

водой, тянулась темно-красная кирпичная стена. Бросив весла, Марч поплыл по течению и, обернувшись, увидел мост, нарушавший однообразие этой бесконечной стены,— довольно красивый мост в стиле XVIII века, с каменными опорами, некогда белыми, но теперь посеревшими от времени. Вода после разлива стояла еще высоко, и низкорослые деревья совсем затопило, под аркой моста остался лишь узкий белый просвет.

Когда лодка очутилась под темными сводами моста, Марч увидел, что навстречу плывет другая лодка, и в ней тоже только один человек. Гребец сидел спиной к Марчу, но едва лодка приблизилась к мосту, он встал на ноги и обернулся. Однако теперь он уже был у самого пролета, вырисовываясь черным силуэтом на фоне яркого утреннего света, и Марч не разглядел ничего, кроме длинных бакенбард или кончиков усов, придававших его облику что-то зловещее, словно прямо из щек у него росли рога. Марч, разумеется, и на эти подробности не обратил бы внимания, если бы в ту же секунду не произошло нечто необычайное. Поравнявшись с мостом, человек подпрыгнул и повис на нем, дрыгая ногами, а пустая лодка поплыла дальше. Мгновение Марч видел две черные, болтающиеся в воздухе ноги, потом одну и, наконец, ничего, кроме бурной речки и уходящей вдаль стены. Но всякий раз, как Марч вспоминал об этом событии потом, долгое время спустя, когда ему уже стала известна связанная с ним история, оно неизменно облекалось в ту же причудливую форму, словно эти ноги были нелепым украшением моста, вроде химеры. А в то утро Марч преспокойно поплыл дальше, оглядывая реку. На мосту он никого не увидел — должно быть, незнакомец успел скрыться; все же Марч почти бессознательно отметил про себя, что среди деревьев у въезда на мост, со стороны, противоположной стене, маячит у фонарного столба широкая синяя спина ничего не подозревающего полисмена.

Пока Марч, совершая свое политическое паломничество, добирался до святых мест, у него было немало забот, которые отвлекли его от странного происшествия: не так-то легко в одиночку справиться с лодкой даже на этой пустынной реке. Один он поплыл по непредвиденной случайности. Лодку для путешествия они купили вместе с другом, но тому в последнюю минуту пришлось изме-

нить свои планы. Гарольд Марч собирался плыть по реке до Уилловуд-Плейс, где гостил в то время премьер-министр со своим другом Хорном Фишером. Известность Гарольда Марча росла; его блестящие политические статьи открывали перед ним двери самых изысканных салонов, но он ни разу еще не встречался с премьером. Хорн Фишер был совершенно неизвестен, но премьера он всю жизнь знал. Вот почему, если бы совместное путешествие состоялось, Марч, вероятно, поторапливался бы, а Фишер был бы не прочь плыть помедленней. Ведь Фишер принадлежал к тому кругу людей, которые знают премьеров от рождения. Вероятно, они не находят в этом особого удовольствия, а Фишер к тому же словно родился усталым. У этого высокого, бледного, бесстрастного человека с лысеющим лбом и светлыми волосами досада редко выражалась в какой-нибудь иной форме, кроме скуки. И все же он был несомненно раздосадован, когда, укладывая в саквояж рыболовные снасти и сигары, получил телеграмму из Уилловуда с просьбой немедленно выехать туда поездом, так как премьер-министр должен отбыть в тот же вечер. Фишер знал, что Марч не сможет тронуться в путь раньше следующего дня; он любил Марча и заранее предвкушал удовольствие, которое доставит им совместная прогулка по реке. К премьер-министру Фишер не испытывал ни особой любви, ни отвращения, а часы, которые предстояло провести в поезде, заранее были ему отвратительны. Тем не менее он терпел премьер-министров, как терпел железные дороги, считая их составной частью того порядка, разрушение которого отнюдь не входило в его планы. Поэтому он позвонил Марчу, извинился и, пересыпая свои слова сдержанными проклятиями, предложил ему спуститься одному вниз по реке, как условились, а встретиться в Уилловуде. Затем он вышел на улицу и, подозвав такси, поехал на вокзал. В вокзальном киоске он пополнил свой легкий багаж сборниками детективных рассказов, которые с удовольствием прочел в дороге, не подозревая, что ему самому предстоит вскоре стать действующим лицом куда более загадочной истории.

Незадолго перед закатом Фишер подошел к воротам парка, раскинувшегося на берегу реки; это и был «Уилловуд-Плейс», одна из небольших усадеб сэра Айзека Гука, крупного судовладельца и газетного магната. Во-

рота выходили на дорогу со стороны, противоположной реке, но что-то в пейзаже постоянно напоминало, что река близко. Сверкающие полосы воды, словно шпаги или копья, неожиданно мелькали среди зеленых зарослей, и даже в самом парке, на лужайках, окаймленных живой изгородью из кустов и деревьев, воздух словно пронизывало журчание воды. Первая лужайка, на которой очутился Фишер, была запущенным крокетным полем, а по нему гонял шары какой-то молодой человек. Играл этот человек без всякого увлечения, видимо, просто так, для практики; его красивое болезненное лицо казалось скорее угрюмым, чем оживленным. Он был из тех молодых людей, которые не могут сидеть без дела — совесть не позволяет, а всякое дело превращается для них в какую-нибудь игру. Фишер сразу узнал в темноволосом молодом человеке Джеймса Буллена, неизвестно почему прозванного Бункером. Он был племянником сэра Айзека Гука и — что гораздо существенней — личным секретарем премьер-министра.

— Хелло, Бункер! — приветствовал его Хорн Фишер. — Вас-то мне и нужно. Что, ваш патрон еще здесь?

— Только до вечера, — ответил Буллен, следя глазами за желтым шаром. — Завтра в Бирмингеме ему надо выступить с большой речью, так что он сегодня же двинет прямо туда. Сам повезет себя. То есть, я хочу сказать, сам поведет машину. Он только этим и гордится.

— Значит, вы останетесь здесь, у дядюшки, как паймальчик? — заметил Фишер. — Что же будет делать премьер в Бирмингеме без острот, которые подсказывает ему на ухо его блестящий секретарь?

— Бросьте шуточки, — сказал молодой человек, по прозвищу Бункер. — Я только рад, что не придется тащиться вместе с ним. Он ведь ни бельмеса не смыслит в дорожных делах — расходах, гостиницах и прочем, вот я и вынужден носиться повсюду, точно мальчик на побегушках. Ну, а насчет дяди... Что ж, поскольку мне предстоит унаследовать усадьбу, приличие требует, чтобы я по временам бывал здесь.

— Ваша правда, — согласился Фишер. — Ну, мы еще увидимся. — И, миновав площадку, он двинулся дальше через проход в изгороди.

Он шел по траве к лодочной пристани, а вокруг него,

в парке, где царила река, под золотым вечерним небосводом, витал неуловимый аромат старины. Следующая лужайка сперва показалась ему совершенно пустой, но потом, в темном уголке, под деревьями, он увидел гамак; в гамаке лежал человек и читал газету; он свесил одну ногу и тихонько ею покачивал. Фишер и его окликнул по имени, и тот встал и подошел к нему. Как нарочно, отовсюду веяло прошлым; перед Фишером словно возник призрак викторианских времен, явившийся проведать старинные крокетные площадки. Этот пожилой человек с несуразно длинными бакенбардами был в воротничке и галстуке причудливого, щегольского покроя. Сорок лет назад он блистал в свете и ухитрился сохранить прежний лоск, пренебрегая при этом модами. В гамаке рядом с «Морнинг пост» лежал белый цилиндр.

Это был герцог Уэстморленд, последний отпрыск рода, древность которого подтверждалась историей, а не только ухищрениями геральдики. Фишер лучше чем кто бы то ни было знал, как редко встречаются в жизни подобные аристократы, столь часто изображаемые в романах. Но, пожалуй, куда интереснее было бы спросить у Фишера, чему обязан герцог всеобщим уважением — своей безукоризненной родословной или весьма крупному состоянию.

— Вы тут так удобно устроились, — заметил Фишер, — что я принял вас за одного из слуг. Ищу, кому бы отдать саквояж. Понимаете, уезжал в такой спешке, что не взял с собой камердинера.

— Представьте, я тоже, — не без гордости сказал герцог. — Это не в моих привычках. Камердинер — единственный представитель рода человеческого, которого я терпеть не могу: с детства привык одеваться сам и, кажется, неплохо справляюсь. Быть может, на старости лет я снова впал в детство, но не до такой степени, чтобы меня одевали.

— Премьер тоже не привез камердинера, зато привез секретаря, — заметил Фишер. — А ведь эта должность куда хуже... Верно ли, что Гаркер здесь?

— Он на пристани, — равнодушно обронил герцог и снова уткнулся в газету.

Фишер миновал последнюю зеленую изгородь и вышел к реке — туда, откуда был виден лесистый островок

напротив пристани. Там действительно сидел ссутулившийся худощавый человек, чем-то похожий на стервятника. Во всех судах хорошо знали эту позу — так всегда сидел генеральный прокурор, сэр Джон Гаркер. Лицо его хранило следы напряженной умственной работы, — из троих бездельников, собравшихся в парке, он один самостоятельно проложил себе дорогу в жизни; к облысевшему лбу и впалым вискам липли блеклые рыжие волосы, прямые, словно полоски меди.

— Я еще не видел хозяина, — сказал Хорн Фишер чуть-чуть серьезнее, чем раньше. — Надеюсь повидаться с ним за обедом.

— Увидеть его можете хоть сейчас, а вот повидаться — нет, — ответил Гаркер.

Он кивнул в сторону острова, и Фишер, взглянув туда, увидел на фоне реки выпуклую лысину и кончик удилища, одинаково неподвижно застывшие над высоким курстарником. Рыболов сидел, прислонившись к пню, спиной к пристани, и хотя лица не было видно, форма головы исключала всякие сомнения.

— Он не любит, чтобы его беспокоили, когда он удит рыбу, — продолжал Гаркер. — Просто помешался — не ест ничего, кроме рыбы, и гордится, что ловит ее сам! Разумеется, он ярый поборник простой жизни, как многие из этих миллионеров. Ему нравится хвастать, что он сам заработал насущный хлеб, как всякий труженик.

— Интересно, когда это он успевает изготовить столько посуды и обивку на всю свою мебель? — осведомился Фишер. — Да еще делать серебряные вилки, выращивать виноград и персики, ткать ковры?.. Говорят, он очень занят.

— Не припомню, чтобы он упоминал об этом, — ответил юрист. — Но как понимать эту вашу социальную сатиру?

— Признаться, мне осточертела «простая трудовая жизнь», которой живут в нашем маленьком мирке, — сказал Фишер. — Ведь мы почти во всем беспомощны, зато какой поднимаем шум, когда удастся хоть что-то сделать самим. Премьер гордится тем, что обходится без шофера, но не может обойтись без мальчика на побегушках, и бедному Бункеру приходится быть вездесущим, хотя, видит бог, это ему не под силу. Герцог гордится тем, что обхо-

дится без камердинера, однако он доставляет чертову пропасть хлопот многим людям, которые добывают для него допотопную одежду. Должно быть, обкрадывают Британский музей или раскапывают могилы... За одним только белым цилиндром пришлось, наверное, снарядить целую экспедицию, как на Северный полюс. А тут еще старикашка Гук хвастает, что обеспечивает себя рыбой, хотя не в состоянии обеспечить себя вилок, чтобы ее съесть. Он прост, пока речь идет о простых вещах, вроде еды, но, будьте уверены, роскошествует, когда доходит до настоящей роскоши, и особенно — до мелочей. О вас я не говорю: вы достаточно поработали на своем веку и можете теперь только притворяться, будто работаете.

— Порой мне кажется,— заметил Гаркер,— что вы скрываете от нас ужасную тайну: вы иногда умеете быть полезным. Не затем ли вы явились, чтобы повидать «самого» до его отъезда в Бирмингем?

— Да,— ответил Хорн Фишер, понизив голос.— Надеюсь, мне удастся поймать его до обеда. А потом он собирается о чем-то говорить с сэром Айзеком.

— Глядите! — воскликнул Гаркер.— Сэр Айзек кончил удить. Он ведь гордится, что встает на заре и возвращается на закате.

И действительно, старик на острове встал, повернулся, и они увидели густую седую бороду и маленькое лицо со впалыми щеками, свирепо насупленными бровями и злыми, колючими глазками. Бережно придерживая снасти, он перешел реку вброд по плоским камням чуть ниже пристани. Потом он подошел к гостям и учтиво поздоровался с ними. В корзинке у него лежало несколько рыб, и он был в отличном расположении духа.

— Да,— сказал он, заметив на лице Фишера вежливое удивление.— Я встаю раньше всех. Ранняя птичка червяка съедает.

— На свою беду,— сказал Гаркер,— червяка съедает ранняя рыбка.

— А ранний рыболов съедает рыбку,— угрюмо сказал старик.

— Насколько мне известно, сэр Айзек, вы не только встаете рано, но и ложитесь поздно,— вставил Фишер.— По-видимому, вы очень мало спите.

— Мне всегда не хватало времени для сна,— подтвер-

дил Гук,— а сегодня придется лечь особенно поздно. Премьер-министр сказал, что желает со мной побеседовать. А сейчас, пожалуй, пора одеваться к обеду.

В тот вечер за обедом не было сказано ни слова о политике — отпусkaliсь, главным образом, светские любезности. Премьер-министр лорд Меривейл — высокий, худощавый, с седыми волнистыми волосами — всерьез восхищался рыболовным искусством хозяина, его ловкостью и терпением; беседа мирно журчала, точно мелкая речка меж камнями.

— Конечно, тут нужно терпение, приходится ждать, пока рыба клюнет,— говорил сэр Айзек.— И ловкость нужна, чтобы вовремя подсечь. Но вообще-то мне везет.

— А может крупная рыба оборвать леску и уйти? — спросил политический деятель с почтительным интересом.

— Таковую, как у меня,— никогда,— самодовольно ответил Гук.— Поверьте, я знаю толк в снастях. У рыбы скорей хватит сил стащить меня в реку, чем оборвать леску.

— Какая это была бы утрата для общества! — сказал премьер-министр, наклоня голову.

Фишер слушал весь этот вздор с затаенным нетерпением, ожидая случая заговорить с премьером, и, как только хозяин поднялся из-за стола, он тоже вскочил с завидным проворством. Ему удалось поймать лорда Меривейла, прежде чем сэр Айзек успел увести его. Фишер намеревался сказать всего несколько слов, но сделать это было необходимо.

Распахивая дверь перед премьером, он тихо произнес:

— Я виделся с Монтмирейлом. Он говорит, что, если мы не заявим немедленно протест и не поддержим Данию, Швеция захватит порты.

Лорд Меривейл кивнул.

— Я как раз собираюсь выслушать мнение Гука по этому поводу.

— Мне кажется,— сказал Фишер с легкой усмешкой,— его нетрудно предугадать.

Меривейл ничего не ответил и непринужденно проследовал к дверям библиотеки, куда уже удалился хозяин. Остальные направились в бильярдную; Фишер коротко заметил юристу:

— Эта беседа не займет много времени. В сущности они уже пришли к соглашению.

— Гук целиком поддерживает премьеру, — согласился Гаркер.

— Или премьер целиком поддерживает Гука, — возразил Хорн Фишер и принялся бесцельно гонять шары по бильярдному полю.

На следующее утро Хорн Фишер по своей давней скверной привычке проснулся поздно и не торопился сойти вниз; должно быть, у него не было охоты полакомиться червяком. Видимо, такого желания не было и у остальных гостей, которые еще только завтракали, хотя время уже близилось к полудню. Первая сенсация этого необычайного дня не заставила себя ждать. Она явилась в виде светловолосого молодого человека с простым, открытым лицом, который приплыл на лодке вниз по реке и причалил к маленькой пристани. Это был не кто иной, как журналист Гарольд Марч, друг мистера Фишера, отплывший на рассвете в то самое утро. Он остановился в городе, выпил там чаю, а потом прибыл в усадьбу; из кармана у него торчала вечерняя газета. В прибрежный парк он явился смирно и благовоспитанно, но его появление было как гром с ясного неба, хотя сам он об этом даже не подозревал.

Все поздоровались с гостем любезно, как всегда, и, как всегда, извинились за странные привычки хозяина. Он, разумеется, снова ушел с утра ловить рыбу, и его нельзя беспокоить до вечера, хотя остров, где он сидит, буквально в двух шагах.

— Видите ли, это его единственная страсть, — виновато объяснил Гаркер. — В конце концов, он ведь у себя дома. Во всем остальном он очень гостеприимный хозяин.

— Боюсь, — заметил Фишер, понизив голос, — что это уже скорее мания, а не страсть. Знаю, как бывает, когда человек в таком возрасте начинает увлекаться какими-то паршивыми рыбешками. Вспомните, как дядюшка Тэлбота собирал зубочистки, а старый Баззи, бедняга, — образцы табачного пепла. В свое время Гук сделал массу серьезных дел — вложил немало сил в лесоторговлю со Швецией и в Чикагскую мирную конференцию, — но теперь мелкие рыбешки интересуют его куда больше, чем крупные дела.

— Ну, полно вам, в самом деле,— запротестовал генеральный прокурор.— Эдак мистер Марч, чего доброго, подумает, что попал в дом к сумасшедшему. Поверьте, мистер Гук занимается рыбной ловлей для развлечения, как спортом. Просто характер у него такой, что развлекается он несколько мрачно. Но держу пари, если бы сейчас пришли важные новости о лесе или торговом судоходстве, он тут же бросил бы свои развлечения и своих рыбок.

— Право, не знаю,— отозвался Хорн Фишер, лениво поглядывая на остров.

— Кстати, что новенького? — спросил Гаркер у Гарольда Марча.— Я вижу, у вас свежая газета из тех предприимчивых вечерних газет, которые выходят по утрам.

— Здесь начало речи лорда Меривейла в Бирмингеме,— ответил Марч, протягивая ему газету.— Напечатан только небольшой отрывок, но, мне кажется, речь хорошая.

Гаркер взял газету, развернул ее и заглянул в отдел последних новостей. Как и сказал Марч, там был напечатан лишь небольшой отрывок. Но отрывок этот произвел на сэра Джона Гаркера необычайное впечатление. Его насупленные брови вздернулись и задрожали, глаза прищурились, а жесткая челюсть на секунду отвисла. Он мгновенно постарел на много лет. Затем придал голосу твердость и, спокойно передавая газету Фишеру, сказал просто:

— Что ж, теперь можно держать пари. Вот важная новость, которая дает вам право побеспокоить старика.

Хорн Фишер заглянул в газету, и его бесстрастное, невыразительное лицо тоже переменялось. Даже в этом небольшом отрывке было несколько крупных заголовков, и в глаза ему бросилось: «Сенсационное предостережение правительству Швеции» и «Мы протестуем».

— Что за черт...— начал он, и голос его перешел в шепот, а потом в свист.

— Нужно немедленно сообщить Гуку, иначе он не простит нам,— сказал Гаркер.— Должно быть, он сразу же захочет видеть премьера. Хотя теперь, вероятно, уже поздно. Я иду к нему сию же минуту, и, держу пари, он тут же забудет о рыбах.— И он торопливо зашагал вдоль берега к плоским камням, по которым переходили реку.

Марч глядел на Фишера, удивленный тем переполохом, который произвела его газета.

— А что, собственно, случилось? — вскричал он.— Я всегда считал, что мы должны заявить протест в защиту датских портов,— это ведь в наших общих интересах. Что за дело до них сэру Айзеку и всем остальным? По-вашему, это плохая новость?

— Плохая новость! — повторил Фишер тихо и как-то странно.

— Неужели это так скверно? — спросил Марч.

— Так скверно! — повторил Фишер.— Нет, почему же, это великолепно. Это грандиозная новость. Превосходная новость. В том-то вся и штука. Она восхитительна. Она бесподобна. И вместе с тем она совершенно невероятна.— Он снова посмотрел на серо-зеленый остров, на реку, хмурым взглядом обвел изгороди и лужайки.— Этот парк мне словно снится,— проговорил Фишер,— и кажется, я действительно сплю. Трава зеленеет, вода журчит,— а случилось то, чего быть не может.

Едва он произнес это, из кустов, прямо над его головой, вынырнул темный сутулый человек, похожий на стервятника.

— Вы выиграли пари,— сказал Гаркер каким-то резким, каркающим голосом.— Старый дурак ни о чем не хочет слышать, кроме рыбы. Он выругался и заявил, что ему не до политики.

— Я так и думал,— скромно заметил Фишер.— Что же вы намерены делать?

— Воспользуюсь, по крайней мере, телефоном этого старого осла,— ответил юрист.— Надо точно узнать, что случилось. Завтра мне самому предстоит делать доклад правительству.— И он торопливо направился к дому.

Наступило молчание, которое смущенный Марч не решался нарушить, а затем в глубине парка показались нелепые бакенбарды и неизменный белый цилиндр герцога Уэстморленда. Фишер поспешил ему навстречу с газетой в руке и в нескольких словах рассказал о сенсации. Герцог, который неторопливо брел по парку, вдруг остановился как вкопанный и несколько секунд был похож на манекен, стоящий у двери какой-нибудь лавки древностей. Затем Марч услышал его голос, высокий, почти истерический:

— Нужно показать ему это! Он должен понять! Я уверен, что ему не объяснили как следует! — Затем более ровным и даже несколько напыщенным тоном герцог произнес: — Я пойду и скажу ему сам.

В числе необычайных событий этого дня Марч надолго запомнил, как смешно пожилой джентльмен в своем редкостном белом цилиндре переходил реку, словно Пикадилли, осторожно переступая с камня на камень. Когда он добрался до острова и исчез за деревьями, Марч с Фишером обернулись и увидели генерального прокурора, который вышел из дому с мрачным и решительным видом.

— Все говорят, — сообщил он, — что премьер-министр произнес лучшую речь в своей жизни. Бурные аплодисменты... Продажные финансисты и доблестные крестьяне... На этот раз мы не оставим Данию без защиты...

Фишер кивнул и поглядел в сторону реки, откуда уже возвращался несколько озадаченный герцог. В ответ на расспросы он доверительно сообщил чуть осипшим голосом:

— Право, я боюсь, что наш бедный друг не в себе. Он отказался слушать. Он... э-э... сказал, что я распугаю рыбу.

Человек с острым слухом мог бы расслышать, как мистер Фишер пробормотал что-то по поводу белого цилиндра, но сэр Джон Гаркер вмешался в разговор более решительно:

— Фишер был прав. Я глазам своим не поверил, но факт остается фактом: старик поглощен рыбной ловлей. Даже если дом загорится у него за спиной, он не сдвинется с места до самого заката.

Фишер тем временем взобрался на невысокий пригорок и долго пристально смотрел, но не на остров, а на отдаленные лесистые холмы, окаймлявшие долину. Вечернее небо, безоблачное, как и накануне, простиралось над ними, но на западе оно отливало уже не золотом, а медью. Было тихо, только журчала река. Вдруг у Хорна Фишера вырвалось сдавленное восклицание, и Марч просительно поглядел на него.

— Вы говорили о скверных вестях, — сказал Фишер. — Что ж, вот действительно скверная весть. И, боюсь, скверное дело.

— О какой вести вы говорите? — спросил Марч, почувствовав в его тоне что-то странное и зловещее.

— Солнце село, — отозвался Фишер. И продолжал мрачно, как человек, который произнес роковое слово: — Надо послать туда кого-нибудь, кого он все-таки выслушает. Быть может, он безумец, но в его безумии есть логика. В безумии почти всегда есть логика. Собственно, она и сводит человека с ума. А Гук никогда не остается там после заката — в парке быстро темнеет. Где его племянник? Мне кажется, племянника он действительно любит.

— Глядите! — воскликнул внезапно Марч. — Он уже там. Вон он возвращается.

Взглянув на реку, они увидели Джеймса Буллена, темного на фоне заката; он торопливо и неловко перебирался с камня на камень. Один раз он поскользнулся, и все услышали негромкий всплеск. Когда он подошел к стоявшему на берегу, его смуглое лицо было неестественно бледным.

Все четверо, собравшиеся на прежнем месте, воскликнули почти в один голос:

— Ну, что он говорит?

— Ничего. Он не говорит... ничего.

Фишер пристально поглядел на молодого человека, затем словно стяхнул оцепенение и, сделав Марчу знак, начал перебираться по камням. Вскоре они вступили на проторенную тропинку, которая вела к тому месту, где сидел рыболов. Здесь они остановились и молча стали глядеть на него.

Сэр Айзек Гук все еще сидел, прислонившись к пню. И не мудрено: кусок его прекрасной прочной лески был скручен и дважды обмотан вокруг шеи, а затем дважды вокруг пня за его спиной. Горн Фишер кинулся к рыболову и притронулся к его руке; она была холодна, как рыба.

— Солнце село, — произнес Фишер тем же зловещим тоном, — и он никогда больше не увидит восхода.

Десять минут спустя все пятеро, глубоко потрясенные, и бледные, снова собрались в парке. Прокурор первый пришел в себя; он сказал спокойно, хотя и несколько отрывисто:

— Надо сообщить полиции. Тело остается на месте. Я считаю, что могу собственной властью допросить слуг

и посмотреть, нет ли каких улик в бумагах покойного. Само собой, джентльмены, никто из вас не должен покидать усадьбы.

Вероятно, быстрые и суровые распоряжения прокурора вызвали у остальных такое чувство, словно захлопнулась ловушка или западня. Во всяком случае, Буллен вдруг вспыхнул или, вернее, взорвался, потому что голос его прогремел в тишине парка.

— Я даже не дотронулся до него! — закричал он. — Клянусь, я к этому не причастен!

— А кто говорит, что вы причастны? — спросил Гаркер, зорко взглянув на него. — Что вы раскричались? Вас никто не трогает.

— А что вы так смотрите на меня? — злобно выкрикнул молодой человек. — Думаете, я не знаю? Мои проклятые долги и виды на наследство вечно у вас на языке!

К удивлению Марча, Фишер не принял участия в стычке. Он отвел в сторону герцога и, когда они отошли подальше, сказал ему просто и спокойно:

— Уэстморленд, я перейду прямо к делу.

— Ну, — сказал тот, бесстрастно глядя ему в лицо.

— У вас были причины убить его.

Герцог продолжал глядеть на Фишера, но, казалось, лишился дара речи.

— Надеюсь, что у вас были причины убить его, — продолжал Фишер мягко. — Дело в том, что положение не совсем обычное. Если у вас были причины, вы, по всей вероятности, не виновны. Если же у вас их не было, то вы, по всей вероятности, виновны.

— Что за чушь вы несете! — рассвирепел герцог.

— Все очень просто, — продолжал Фишер. — Когда вы пошли на остров, Гук был либо жив, либо мертв. Если он был жив, его, по-видимому, убили вы. В противном случае непонятно, что заставило вас молчать. Но если он был мертв, а у вас были причины его убить, вы могли промолчать из страха, что вас заподозрят... — Он помолчал, потом рассеянно заметил: — На Кипре очень красиво, правда? Романтический пейзаж, романтические люди. У молодого человека вполне может голова закружиться.

Герцог вдруг стиснул руки и хрипло сказал:

— Да, у меня была причина.



— Он больше никогда не увидит восхода солнца,— сказал Фишер.

— Тогда все в порядке,— заметил Фишер, протянул ему руку и облегченно вздохнул.— Я так и знал, что это не вы. Конечно, вы перепугались, когда увидели. Словно сбывлся дурной сон, верно?

Тем временем Гаркер, не обращая внимания на выходку оскорбленного Буллена, вошел в дом и тотчас же возвратился очень оживленный, с пачкой бумаг в руке.

— Я позвонил в полицию,— сказал он, обращаясь к Фишеру.— Но кажется, мне уже удалось проделать за них большую часть работы. По-моему, все ясно. Тут есть один документ...

Он осекся под странным взглядом Фишера, который заговорил, в свою очередь:

— Ну, а как насчет тех документов, которых тут нет? Я хочу сказать — уже нет.— Помолчав, он добавил: — Карты на стол, Гаркер. Вы слишком поспешили просмотреть бумаги. Может, вы искали что-то, чтобы... ну, чтобы другие этого не нашли?

Гаркер и бровью не повел, только косо взглянул на Фишера.

— Мне кажется,— мягко продолжал тот,— потому вы и солгали нам, будто Гук жив. Вы знали, что вас могут заподозрить, и не осмелились сообщить об убийстве. Поверьте мне, теперь гораздо лучше сказать правду.

Бледное лицо Гаркера внезапно покраснело, словно озаренное адским пламенем.

— Правду! — вскричал он.— Вашему брату легко говорить правду! Вы все родились в сорочке и хвалитесь незапятнанной добродетелью потому, что вам не пришлось красть эту сорочку у другого. А я родился в меблированных комнатах! Я должен был сам добывать себе сорочку! И если, пробивая себе дорогу, нарушишь в юности мелкий и, кстати, весьма сомнительный закон, всегда найдется старый вампир, который будет всю жизнь сосать из тебя кровь.

— Копи в Гватемале, верно? — сочувственно заметил Фишер.

Гаркер вздрогнул. Помолчав, он сказал:

— Очевидно, вы знаете все, как господь всеведущий.

— Я знаю даже слишком много,— ответил Хорн Фишер,— но, к сожалению, совсем не то, что нужно.

Трое остальных подошли к ним, но, прежде чем они

приблизились, Гаркер сказал голосом, который снова обрел твердость:

— Да, я уничтожил одну бумагу, но зато нашел другую, которая, как мне кажется, снимает подозрение со всех нас.

— Прекрасно! — сказал Фишер весело и громко. — Посмотрим.

— Поверх бумаг сэра Айзека, — пояснил Гаркер, — я нашел письмо от человека, по имени Гуго. Он грозил убить нашего несчастного хозяина именно таким образом. Это нелепое письмо, одни издевки — можете взглянуть сами, — но в нем упоминается, что Гук всегда удит рыбу на острове. И главное, он сам признает, что пишет письмо в лодке. А так как, кроме нас, на остров никто не ходил, — тут губы его скривились в улыбке, — преступление мог совершить только тот, кто приплыл на лодке.

— Постойте-ка! — вскричал герцог, и в лице его появилось что-то похожее на оживление. — Да ведь я хорошо помню этого Гуго. Он был не то камердинер, не то телохранитель. Ведь сэр Айзек все-таки опасался покушения. Его... Его не все любили. После какого-то скандала Гуго уволили, но я хорошо его помню. Такой рослый венгерец с длинными усами. Они торчали по обе стороны лица...

Словно луч света блеснул в памяти Марча, и он вспомнил утреннее видение, как вспоминают сон. Река, затопленные луга, низенькие деревья, темный пролет моста. И на мгновение он снова увидел: человек с темными, торчащими, как рога, усами прыгнул на мост и скрылся.

— Боже мой! — воскликнул он. — Да ведь я видел убийцу сегодня утром!

В конце концов Хорн Фишер и Гарольд Марч все-таки провели день вдвоем на реке, так как вскоре после прибытия полиции маленькое общество распалось. Было объявлено, что показания Марча снимают подозрение со всех присутствующих и подтверждают вину бежавшего Гуго. Хорн Фишер сомневался, что венгерца поймают, и, видимо, не особенно стремился распутывать это дело, — облокотившись на борт лодки, он, покуривая, смотрел, как колышутся камыши, медленно уплывая назад.

— Это он хорошо придумал — прыгнуть на мост, — заметил Фишер. — Пустая лодка мало о чем говорит.

Никто не видел, как он причаливал к берегу, а с моста он сошел, если можно так выразиться, и не входя туда. Он опередил преследователей на двадцать четыре часа, а теперь сбреет усы и скроется. По-моему, есть все основания надеяться, что ему удастся уйти.

— Надеяться? — повторил Марч и опустил весла.

— Да, надеяться, — повторил Фишер. — Я вовсе не хочу ввязываться в вендетту только потому, что кто-то прикончил Гука. Вы, вероятно, уже догадались, что он был за птица. Подлый кровопийца, вымогатель — вот кто такой ваш простой, энергичный промышленный магнат! Почти о каждом он знал какую-нибудь тайну. Он знал, что бедняга Уэстморленд в юности женился на Кипре, а это могло скомпрометировать герцогиню. Знал, что Гаркер рискнул деньгами клиента в самом начале карьеры. Поэтому-то они и перепугались, когда увидели, что он мертв. Они чувствовали себя так, словно сами совершили это убийство во сне. Но, признаться, есть еще одна причина, но которой я не хочу, чтобы нашего венгерца повесили.

— Что ж это за причина? — спросил Марч.

— Дело в том, что он никого не убивал, — ответил Фишер.

Гарольд Марч бросил весла, и некоторое время лодка плыла сама по себе.

— Знаете, я почти ожидал чего-нибудь такого, — сказал он. — Это неразумно, конечно, но в воздухе что-то было, как перед грозой.

— Напротив, неразумно обвинять Гуго, — возразил Фишер. — Разве вы не видите, что они осуждают его на том же основании, на котором оправдали всех остальных? Гаркер и Уэстморленд молчали потому, что нашли Гука убитым и знали, что есть документы, которые могут навлечь на них подозрение. Гуго тоже нашел его убитым и тоже знал, что есть письмо, которое может навлечь на него подозрение. Это письмо он сам написал накануне.

— В таком случае, — нахмурился Марч, — когда же совершено убийство? Я встретил Гуго на рассвете, а ведь от острова до моста путь не близкий.

— Все очень просто, — сказал Фишер. — Его убили не утром. И не на острове.

Марч глядел в искрящуюся воду и молчал, но Фишер продолжал так, словно отвечал на вопрос:

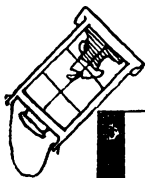
— Умный убийца непременно использует необычные стороны обычной ситуации. В данном случае было важно, что Гук встает раньше всех, удит рыбу на острове и очень недоволен, когда его беспокоят. Убийца задушил его в доме вчера ночью, а затем, в темноте, перетащил труп вместе со снастями на остров, привязал его к дереву и оставил там. Весь день рыбу удил мертвец. А убийца вернулся в дом или, вероятнее всего, пошел прямо в гараж и укатил в своем автомобиле. Убийца сам водит машину.— Фишер взглянул в лицо другу и продолжал: — Вы ужасаетесь, и в самом деле все это ужасно. Но не менее ужасно и другое. Представьте себе человека, которого вконец извел вымогатель, разрушил его семью. Если этот человек убьет негодяя, вы ведь не откажете ему в снисхождении! А разве не заслуживает снисхождения тот, кто избавил от вымогателя не семью, а целый народ?

Предостережение, сделанное Швеции, вероятно, предотвратит войну, а не развяжет ее, и спасет много тысяч жизней, куда более ценных, чем жизнь этой старой змеи. Поймите, это не казуистика — я не оправдываю убийцу, но рабство, в которое попал его народ, оправдать в сотни раз труднее. Будь я поумней, я догадался бы обо всем еще за обедом по его затаенной жесткой усмешке. Помните, я пересказывал вам дурацкий разговор о том, что старому Айзеку всегда удастся подсечь рыбу? В определенном смысле этот мерзавец ловил на свою удочку не рыб, а людей.

Гарольд Марч взялся за весла и снова начал грести.

— Да, помню,— ответил он.— И еще речь шла о том, что крупная рыба может оборвать леску и уйти.

«БЕЛАЯ ВОРОНА»



арольд Марч и те немногие, кто поддерживал знакомство с Хорном Фишером, замечали, что при всей своей общительности он довольно одинок. Они встречали его родных, но ни разу не видели членов его семьи. Его родственники и свойственники пронизывали весь правящий класс Великобритании, и казалось, что почти со всеми он дружит или хотя бы ладит. Он отлично знал вице-королей, министров и важных персон и мог потолковать с каждым из них о том, к чему собеседник относился серьезно. Так, он беседовал с военным министром о шелковичных червях, с министром просвещения — о сыщиках, с министром труда — о лиможских эмалях, с министром религиозных миссий и нравственного совершенства (надеюсь, я не спутал?) — о прославленных мимах последних четырех десятилетий. А поскольку первый был ему кузеном, второй — троюродным братом, третий — зятем, а четвертый — мужем тетки, эта гибкость способствовала, бесспорно, укреплению семейных уз. Однако Гарольд Марч считал, что у Фишера нет ни братьев, ни сестер, ни родителей, и очень удивился, когда узнал его брата — очень богатого и влиятельного, хотя, на взгляд Марча, гораздо менее ин-

тересного. Сэр Генри Гарленд Фишер (после его фамилии шла еще длинная вереница имен) занимал в министерстве иностранных дел какой-то пост, куда более важный, чем пост министра. Держался он очень вежливо; тем не менее Марчу показалось, что он смотрит сверху вниз не только на него, но и на собственного брата. Последний, надо сказать, чужьем угадывал чужие мысли и сам завел об этом речь, когда они вышли из высокого дома на одной из фешенебельных улиц.

— Как, разве вы не знаете, что в нашей семье я дурак? — спокойно промолвил он.

— Должно быть, у вас очень умная семья, — с улыбкой заметил Марч.

— Вот она, истинная любезность! — отозвался Фишер. — Полезно получить литературное образование. Что ж, пожалуй, «дурак» слишком сильно сказано. Я в нашей семье банкрот, неудачник, «белая ворона».

— Не могу себе представить, — сказал журналист. — На чем же вы срезались, как говорят в школе?

— На политике, — ответил Фишер. — В ранней молодости я выставил свою кандидатуру и прошел в парламент «на ура», огромным большинством. Разумеется, с тех пор я жил в безвестности.

— Боюсь, я не совсем понял, при чем тут «разумеется», — засмеялся Марч.

— Это и понимать не стоит, — сказал Фишер. — Интересно другое. События разворачивались, как в детективном рассказе. К тому же тогда я впервые узнал, как делается современная политика. Если хотите, расскажу.

Дальше вы прочитаете то, что он рассказал, — правда, здесь это меньше похоже на притчу и на беседу.

Те, кому в последние годы довелось встречаться с сэром Генри Гарлендом Фишером, не поверили бы, что когда-то его звали Гарри. На самом же деле в юности он был очень ребячлив, а присущая ему толстокожесть, принявшая ныне форму важности, проявлялась тогда в неумной веселости. Друзья сказали бы, что он стал таким непробиваемо взрослым, потому что смолodu был настоящим молод. Враги сказали бы, что он сохранил былую легкость в мыслях, но утратил добродушие. Как

бы то ни было, история, поведенная Хорном Фишером, началась тогда, когда юный Гарри стал личным секретарем лорда Солтауна. Дальнейшая связь с министерством иностранных дел перешла к нему как бы по наследству от этого великого человека, вершившего судьбы империи. В Англии было три или четыре таких государственных деятеля; огромная его работа оставалась почти неведомой, а из него можно было выудить только грубые и довольно циничные шутки. Тем не менее, если бы лорд Солтаун не обедал как-то у Фишеров и не сказал там одной фразы, простая застольная острота не породила бы детективного рассказа.

Кроме лорда Солтауна, в гостиной были только Фишеры — второй гость, Эрик Хьюз, удалился сразу после обеда, покинув своих сотрапезников за кофе и сигарами. Он очень серьезно и красноречиво говорил за столом, но, отобедав, немедленно ушел на какое-то деловое свидание. Это было весьма для него характерно. Редкая добросовестность уживалась в нем с позерством. Он не пил вина, но слегка пьянел от слов. Портреты его и слова красовались в то время на первых страницах всех газет: он оспаривал на дополнительных выборах место, прочно забронированное за сэром Франсисом Вернером. Все говорили о его громовой речи против засилья помещиков; даже у Фишеров все говорили о ней — кроме Хорна, который, притулившись в углу, мешал кочергой в камине. Тогда, в молодости, он был не вялым, а скорее угрюмым. Определенных занятий он не имел, рылся в старинных книгах и — один из всей семьи — не претендовал на политическую карьеру.

— Мы здорово ему обязаны, — говорил Эштон Фишер. — Он вдохнул новую жизнь в нашу старую партию. Эта кампания против помещиков бьет в больное место. Она расшевелила остатки нашей демократии. Актом о расширении полномочий местного совета мы, в сущности, обязаны ему. Он, можно сказать, диктует законы раньше, чем попал в парламент.

— Ну, это и впрямь легче, — беспечно сказал Гарри. — Держу пари, что лорд в этом графстве большая шишка, поважнее совета. Вернер сидит крепко. Все эти сельские местности, что называется, реакционны. Тут ничего не напишешь, сколько ни ругай аристократов.

— А ругает он их мастерски,— заметил Эштон.— У нас никогда не было такого удачного митинга, как в Бармингтоне, хотя там всегда проходили конституционалисты. Когда он сказал: «Сэр Франсис кичится голубой кровью — так покажем ему, что у нас красная кровь!» — и повел речь о мужестве и свободе, его чуть не вынесли на руках.

— Говорит он хорошо,— пробурчал лорд Солтаун, впервые проявляя интерес к беседе.

И тут заговорил столь же молчаливый Хорн, не отводя задумчивых глаз от пламени в камине.

— Я одного не понимаю,— сказал он.— Почему людей не ругают за то, что следует?

— Эге,— насмешливо откликнулся Гарри,— значит, и тебя пробрало?

— Возьмите Вернера,— продолжал Хорн.— Если мы хотим напасть на него, почему не напасть прямо? Зачем присваивать ему романтический титул реакционного аристократа? Кто он такой? Откуда он взялся? Фамилия у него как будто старинная, но что-то я о ней не слышал. К чему говорить о его голубой крови? Да будь она хоть желтая с прозеленью — какое нам дело? Мы знаем одно: прежний владелец земли, Гокер, каким-то образом промотал свои деньги и, наверное, деньги второй жены и продал поместье человеку, по фамилии Вернер. На чем же тот разбогател? На керосине? На поставках для армии?

— Не знаю,— сказал Солтаун, задумчиво глядя на Хорна.

— В первый раз слышу, что вы чего-то не знаете! — воскликнул пылкий Гарри.

— И это еще не все,— продолжал Хорн, внезапно обретший дар слова.— Если мы хотим, чтобы деревня голосовала за нас, почему мы не выдвинем кого-нибудь хоть немного знакомого с деревней? Горожанам мы вечно долбим о репе и свинарниках. А с крестьянами почему-то говорим исключительно о городском благоустройстве. Почему не раздать землю арендаторам? Зачем припутывать сюда совет графства?

— Три акра и корову! — выкрикнул Гарри (точнее, издал то самое, что называют в парламентских отчетах ироническим возгласом).

— Да,— упрямо ответил его брат.— Ты думаешь, земледельцы и батраки не предпочтут три акра земли и корову трем акрам бумаги с советом в придачу? Почему не учредить крестьянскую партию? Ведь старая Англия славилась йоменами — мелкими землевладельцами. И почему не преследовать таких, как Вернер, за их настоящие пороки? Ведь он так же чужд Англии, как американский нефтяной трест!

— Вот сам и возглавил бы этих йоменов,— засмеялся Гарри.— Ну и потеха!.. Вы не находите, лорд Солтаун? Хотел бы я посмотреть, как мой братец поведет в Сомерсет веселых молодцов с самострелами! Конечно, все будет в зеленом сукне, а не в шляпах и пиджаках.

— Нет,— ответил старик Солтаун.— Это не потеха. По-моему, это чрезвычайно серьезная и разумная мысль.

— Ах ты черт! — воскликнул Гарри и удивленно взглянул на него.— Я только что сказал, что вы в первый раз чего-то не знаете. А теперь скажу, что вы впервые не поняли шутки.

— Я за свою жизнь навиделся всякого,— довольно сухо сказал старик.— Столько раз я говорил неправду, что она мне порядком надоела. И все-таки должен сказать, что неправда неправде рознь. Дворяне лгут, как школьники, потому что держатся друг за друга и в какой-то мере друг друга выгораживают. Но убей меня бог, если я понимаю, зачем нам лгать ради каких-то проходимцев, которые пекутся только о себе. Они нас не выгораживают, а просто-напросто выпирают. Если такой человек, как ваш брат, захочет пройти в парламент от йоменов, дворян, якобитов или староангличан, я скажу, что это великолепно!

Секунду все молчали. Вдруг Хорн вскочил, вся его вялость исчезла.

— Я готов хоть завтра! — воскликнул он.— Вероятно, никто из вас меня не поддержит?

Тут Генри Фишер показал, что в его экспансивности есть и хорошие стороны. Он повернулся к брату и протянул ему руку.

— Ты молодчина,— сказал он.— И я тебя поддержу, даже если другие не поддержат... Поддержим его, а? Я понимаю, куда клонит лорд Солтаун. Разумеется, он прав. Он всегда прав.

— Значит, я еду в Сомерсет,— сказал Хорн Фишер.

— Это по пути в Вестминстер,— улыбнулся лорд Солтаун.

И вот через несколько дней Хорн Фишер прибыл в городок одного из западных графств и сошел на маленькой станции. С собой он вез легкий чемоданчик и легкомысленного брата. Не надо думать, что брат только и умел что зубоскалить,— он поддерживал нового кандидата не просто весело, но и с толком. Сквозь его шутливую фамильярность просвечивало горячее сочувствие. Он всегда любил своего спокойного и чудаковатого брата, а теперь, по-видимому, стал его уважать. По мере того как кампания развертывалась, уважение перерастало в пламенное восхищение. Гарри был молод и еще мог обожать застрельщика в предвыборной игре, как обожает школьник лучшего игрока в крикет.

Надо сказать, восхищаться было чем. Трехсторонний спор разгорался — и не только родным, но и чужим открывались неведомые дотоле достоинства младшего Фишера. У семейного очага просто вырвалось на волю то, о чем он долго размышлял: он давно лелеял мысль выставить новое крестьянство против новой плутократии. Всегда — и в те дни, и позже — он изучал не только нужную тему, но и все, что попадалось под руку. Обращения его к толпе блистали красноречием, ответы на каверзный вопрос блистали юмором. Природа с избытком наделила его этими двумя насущными для политика талантами. Разумеется, он знал о деревне гораздо больше, чем кандидат реформистов Хьюз или кандидат конституционалистов сэр Франсис Вернер. Он изучал ее так пылко и основательно, как им и не снилось. Вскоре он стал глашатаем народных чаяний, никогда еще не выходивших в мир газет и речей. Он умел увидеть проблему с неожиданной точки зрения; он приводил доказательства и доводы, привычные не в устах джентльмена, а за кружкой, в захолустном кабаке; воскрешал полузабытые надежды; мановением руки или словом переносил людей в далекие века, когда деды их были свободными. Такого еще не видали, и страсти накалялись.

Людей просвещенных его мысли поражали новизной

и фантастичностью. Люди невежественные узнавали то, что давно думали сами, но никогда не надеялись услышать. Все увидели вещи в новом свете и никак не могли понять, закат это или заря нового дня.

Успеху способствовали и обиды, которых крестьяне натерпелись от Вернера. Разъезжая по фермам и постоянным дворам, Фишер убедился, что сэр Франсис очень дурной помещик. Как он и предполагал, тот воцарился тут недавно и не совсем достойным способом. Историю его воцарения хорошо знали в графстве, и казалось бы, она была вполне ясна. Прежний помещик Гокер — человек распутный и темный — не ладил с первой женой и, по слухам, свел ее в могилу. Потом он женился на красивой и богатой даме из Южной Америки. Должно быть, ему удалось в кратчайший срок спустить и ее состояние, так как он продал землю Вернеру и переселился в Америку, вероятно, в поместье жены. Фишер подметил, что распушенность Гокера вызывала гораздо меньше злобы, чем деловитость Вернера. Насколько он понял, новый помещик занимался, в основном, сделками и махинациями, успешно лишая ближних спокойствия и денег. Фишер наслушался про него всякого; только одного не знал никто, даже сам Солтаун. Никак не удавалось выяснить, откуда Вернер взял деньги на покупку земли.

«Должно быть, он особенно тщательно это скрывает, — думал Хорн Фишер. — Наверное, очень стыдится. Черт! Чего же в наши дни может стыдиться человек?»

Он перебирал подлости, одна страшней и чудовищней другой; древние, гнусные формы рабства и вдовства мерещились ему, а за ними — не менее мерзкие, хотя и более модные пороки. Образ Вернера преображался, чернел все гуще на фоне чудовищных сцен и чужих небес.

Погрузившись в размышления, он шел по улице и вдруг увидел соперника, столь непохожего на него. Эрик Хьюз садился в машину, договаривая что-то на ходу своему агенту; белокурые волосы развевались, лицо у него было возбужденное, как у студента-старшекурсника. Завидев Фишера, Хьюз дружески помахал рукой. Но агент — коренастый, мрачный человек, по фамилии Грайс, — взглянул на него недружелюбно. Хьюз был молод, искренне увлекался политикой и знал к тому же, что с противником можно встретиться на званом обеде. Но

Грайс был угрюмый сельский радикал, ревностный нон-конформист, один из тех немногих счастливых, у которых совпали дело и хобби. Когда машина тронулась, он повернулся спиной и зашагал, насвистывая, по крутой улочке. Из кармана у него торчали газеты.

Фишер задумчиво поглядел ему вслед и вдруг, словно повинувшись порыву, двинулся за ним. Они прошли сквозь суету базара, меж корзин и тележек, миновали деревянную вывеску «Зеленого Дракона», свернули в темный переулок, вынырнули из-под арки и снова нырнули в лабиринт мощенных булыжником улиц. Решительный, коренастый Грайс важно выступал впереди, а тощий Фишер скользил за ним словно тень в ярком солнечном свете. Наконец они подошли к буро-кирпичному дому; медная табличка у дверей извещала, что в нем живет м-р Грайс. Хозяин дома обернулся и с удивлением увидел своего преследователя.

— Не разрешите ли побеседовать с вами, сэръ? — вежливо осведомился Фишер.

Агент удивился еще больше, но кивнул и любезно провел гостя в кабинет, заваленный листовками и увешанный пестрыми плакатами, сочетавшими имя Хьюза с высшим благом человечества.

— Мистер Хорн Фишер, если не ошибаюсь, — сказал Грайс. — Ваш визит, конечно, большая честь для меня. Однако не буду лукавить: меня совсем не радует, что вы вступили в спор. Да вы и сами знаете. Мы здесь храним верность старому знамени свободы, а вы являетесь и ломаете наши боевые ряды.

М-р Элайджа Грайс не любил милитаризма, но питал пристрастие к военным метафорам. У него была квадратная челюсть, грубое лицо и драчливо взлохмаченные брови. В политику он ввязался чуть не мальчиком, знал все и вся и отдал политической борьбе свое сердце.

— Вероятно, вы думаете, что меня гложет честолюбие, — сказал Хорн Фишер, как всегда, с расстановкой. — Мечу, так сказать, в диктаторы. Что ж, сниму с себя это подозрение. Просто я хочу кое-чего добиться. Но сам делать ничего не хочу. Я очень редко хочу что-нибудь делать. И я пришел сюда, чтобы сказать: я готов немедленно прекратить борьбу, если вы мне докажете, что мы оба добиваемся одного и того же.

Агент реформистов растерянно взглянул на него, но Фишер не дал ему ответить и продолжал так же медленно:

— Как ни трудно в это поверить, я еще не потерял совести и меня терзают сомнения. Например, мы оба хотим провалить Вернера,— но как? Я слышал о нем пропасть сплетен,— но можно ли пользоваться сплетнями? Я хочу вести себя честно и с вами и с ним. Если хоть часть слухов верна, перед ним надо закрыть дверь парламента, как закрыли бы дверь любого клуба. Но если они неверны, я не хочу ему вредить.

Тут боевой огонек вспыхнул в глазах Грайса, и он заговорил пылко, если не сказать — гневно. Он-то не сомневался, что все рассказы верны, и подкрепил их собственными. Вернер не только жесток, но и подл, он разбойник и кровопийца, он дерет с крестьян три шкуры, и всякий порядочный человек вправе от него отвернуться. Он выжил старика Уилкинса с земли подло, как карманный вор; он довел до богадельни тетку Биддл; а когда он вел тяжку с Длинным Адамом, браконьером, судьи краснели за него.

— Так что, если вы встанете под старое знамя,— бодро закончил Грайс,— и свалите такого мерзавца, вы об этом не пожалеете!

— Но раз все это правда,— сказал Фишер,— вы расскажете ее?

— То есть как это? Сказать правду? — удивился Грайс.

— Сказали же вы мне,— ответил Фишер.— Расклейте по городу плакаты про старика Уилкинса. Заполните газеты гнусной историей с тетушкой Биддл. Изобличите Вернера публично, призовите его к ответу, расскажите про браконьера, которого он преследовал. А кроме того, разузнайте, как он добыл деньги, чтобы купить землю, и открыто расскажите об этом. Тогда я стану под старое знамя и спущу свой маленький выпел.

Агент смотрел на него кисло, хотя и дружелюбно.

— Ну, знаете!.. — протянул он.— Такие вещи придется делать по правилам, как положено, а то никто ничего не поймет. У меня очень большой опыт, и я боюсь, что ваш способ не годится. Люди понимают, когда мы

обличаем помещиков вообще; но личные выпады делать непорядочно. Это — удар ниже пояса.

— У старого Уилкинса, наверное, пояса нет и в помине, — сказал Фишер. — Вернер может бить его куда попало, никто и слова не скажет. Очевидно, главное — иметь пояс. А пояса бывают только у важных персон. Может быть, — задумчиво прибавил он, — так и надо толковать старинное выражение «препоясанный граф», смысл которого всегда ускользал от меня.

— Я хочу сказать, что нельзя переходить на личности, — хмуро сказал Грайс.

— А тетушка Биддл и Адам-браконьер не личности, — сказал Фишер. — Что ж, видимо, не приходится спрашивать, каким образом Вернер сколотил деньги и стал... личностью.

Грайс по-прежнему смотрел на него из-под нависших бровей, но странный огонек в его глазах стал светлее. Наконец он заговорил другим, более спокойным тоном:

— Послушайте, а вы мне нравитесь. Я думаю, вы действительно человек честный и стоите за народ. Может быть, вы гораздо честнее, чем сами думаете. Тут нельзя действовать напролом, так что лучше не вставляйте под наше знамя, играйте на свой страх и риск. Но я уважаю вас и вашу смелость и окажу вам на прощанье хорошую услугу. Я не хочу, чтобы вы ломились в открытую дверь. Вы спрашиваете, каким образом новый помещик добыл деньги и как разорился старый? Отлично. Я скажу вам кое-что ценное. Очень немногие об этом знают.

— Спасибо, — серьезно сказал Фишер. — Что же это такое?

— Буду краток, — ответил Грайс. — Новый помещик был очень беден, когда получил земли. Старый помещик был очень богат, когда их потерял.

Фишер в раздумье глядел на него, а он резко отвернулся и принялся перебирать бумаги на письменном столе. Кандидат снова поблагодарил его, простился и вышел на улицу, по-прежнему в большой задумчивости.

Раздумья его, по-видимому, привели к какому-то решению, и, ускорив шаг, он вышел на дорогу, ведущую к воротам огромного парка, принадлежавшего сэру Франсису. День был солнечный, и ранняя зима походила на позднюю осень, а в темных лесах еще пестрели кое-где

красные и золотые листья, словно последние клочки заката. Путь пролегал через пригорок, и Фишер увидел сверху, у самых своих ног, длинный классический фасад, усеянный окнами. Но когда дорога спустилась к ограде поместья, за которой высились деревья, он сообразил, что до ворот усадьбы добрых полмили. Он пошел вдоль ограды и через несколько минут увидел, что в одном месте в стене образовалась брешь и ее, по-видимому, чинят. В серой каменной кладке, будто темная пещера, зиял большой пролом, но, приглядевшись, Фишер рассмотрел за ним шелестящие в полутьме деревья. Этот неожиданный пролом был словно заколдованный вход из какой-нибудь сказки.

Он прошел через этот темный и незаконный ход так же свободно, как входят в собственный дом, думая, что это укоротит путь. Довольно долго он не без труда пробирался по темному лесу; наконец внизу, сквозь деревья, замерцали непонятные серебряные полосы. Тут он вышел на свет и очутился на крутом обрыве. Внизу, по краю красивого озера, вилась тропинка. Пелена воды, мерцавшая сквозь деревья, была довольно широка и длинна, а со всех сторон ее окружала стена леса — не только темного, но и жуткого. На одном конце тропинки стояла статуя безголовой нимфы, на другом — две классические урны; мрамор был изъеден непогодой и испещрен зелеными и серыми пятнами. Сотня признаков — мелких, но красноречивых — говорила о том, что Фишер забрел в дальний, заброшенный уголок парка. Посреди озера виднелся остров, а на острове — павильон, задуманный, видимо, в стиле античного храма, хотя дорические колонны соединяла глухая стена. Нужно сказать, что остров только казался островом: от берега к нему шла перемычка из плоских камней, превращавшая его в полуостров. И разумеется, храм только казался храмом: Фишер прекрасно знал, что никакой бог не обитал никогда под его сенью.

«Вот почему все эти классические украшения садов так унылы, — подумал он. — Унылее Стоунхенджа и пирамид. Мы не верим в египетских богов, но египтяне верили, и, я думаю, даже друиды верили в друидизм. Но дворянин восемнадцатого столетия, построивший эти храмы, верил в Венеру или Меркурия не больше нашего. Отра-

жение в озере этих бледных колонн поистине только тень тени. В век разума сады заселяли каменными нимфами, но за всю историю не было людей, которые так мало надеялись бы встретить живую нимфу в лесу».

Монолог его был прерван грохотом, похожим на удар грома. Эхо мрачно гудело вокруг печального озера, и Фишер понял, что кто-то выстрелил из ружья. Станные мысли закружились в его мозгу, но он тут же засмеялся: невдалеке, на тропинке, лежала убитая птица.

В ту же минуту он увидел и нечто другое, куда более загадочное. Храм окружало кольцо густых деревьев с темной листвой, и Фишер заметил, что листья как будто зашевелились. Он был прав: довольно оборванный человек выступил из тени храма и зашагал к берегу по плоским камням. Даже сверху он казался на удивление высоким, и Фишер увидел, что под мышкой он держит ружье. В памяти сразу всплыли слова: «Длинный Адам, браконьер».

Мгновенно сообразив, что делать, Фишер спрыгнул с сбрыва и побежал вокруг озера к началу перешейка. Он понимал: если браконьер дойдет до суши, он может мгновенно скрыться в чаще. Фишер вступил на плоские камни, и Адам оказался в ловушке; ему оставалось одно — вернуться к храму. Так он и сделал. Прислонившись к стене широкой спиной, он ждал, приготовившись к защите. Он был довольно молод; над тонким худым лицом пламенили лохматые волосы, а выражение его глаз испугало бы всякого, кто очутился бы с ним наедине на пустынном острове.

— Здравствуйте,— приветливо сказал Фишер.— Я было принял вас за убийцу. Но вряд ли эта куропатка кинулась между нами из любви ко мне, как романтическая героиня. Так что вы, вероятно, браконьер?

— Не сомневаюсь, что вы назовете меня браконьером,— ответил незнакомец, и Фишера удивило, что такое пугало говорит изысканно и резко, как те, кто блюдет свою утонченность среди необразованных людей.— Я имею полное право стрелять тут дичь. Но я прекрасно знаю, что люди вашего сорта считают меня вором. Полагаю, вы постараетесь упечь меня в тюрьму.

— Тут есть небольшие осложнения,— ответил Фишер.— Начать с того, что вы мне польстили: я не егерь,

и уж никак не три егеря, а только они справились бы с вами. Есть у меня еще одна причина не тащить вас в тюрьму.

— Какая? — спросил Адам.

— Да просто я с вами согласен, — ответил Фишер. — Не знаю, какие у вас права, но мне всегда казалось, что браконьер совсем не то, что вор. Трудно понять, что человек получает в собственность любую птицу, которая пролетит над его садом. С таким же основанием можно сказать, что он владеет ветром или может расписаться на утреннем облаке. И еще одно: если мы хотим, чтобы бедные уважали собственность, мы должны дать им свою собственность. Вам следовало бы иметь хоть клочок собственной земли, и я вам его дам, если смогу.

— Дадите мне клочок земли!.. — повторил Длинный Адам.

— Простите, что я говорю с вами, как на митинге, — сказал Фишер, — но я политический деятель совершенно нового типа и говорю одно и то же публично и в частной беседе. Я повторял это сотням людей по всему графству и повторяю вам на этом странном островке, среди унылого пруда. Это поместье я разделил бы на мелкие участки и роздал бы их всем, даже браконьерам. Человек вроде вас должен иметь свой уголок, чтобы разводить там... не фазанов, конечно, а хотя бы цыплят.

Адам внезапно выпрямился. Он побледнел и вспыхнул сразу, словно его оскорбили.

— «Цыплят»! — презрительно и гневно повторил он.

— А что ж? — спросил невозмутимый кандидат. — Разве куроводство слишком скромный удел для браконьера?

— Я не браконьер! — закричал Адам, и его гневный голос раскатился по пустынному лесу, как эхо выстрела. — Эта мертвая куропатка — моя. Земля, на которой вы стоите, — моя. У меня отнял землю преступник куда похуже браконьеров. Сотни лет тут было только одно поместье, и если вы или всякие там нахалы попытаетесь разрезать его, как пирог... если я услышу еще раз о вас и ваших идиотских планах...

— Довольно бурный митинг у нас получается, — заметил Хорн Фишер. — Ладно, говорите. Что же случится,

если я попытаюсь честно распределить это поместье между честными людьми?

Браконьер ответил спокойно и зло:

— Тогда между нами не будет куропатки.

С этими словами он повернулся спиной, показывая, видимо, что разговор окончен, прошел мимо храма в дальний конец островка, остановился и стал смотреть в воду. Фишер последовал за ним, заговорил снова, но ответа не получил и пошел к берегу. Проходя мимо храма, он подметил в нем кое-какие странности. Обычно такие строения хрупки, как декорация, и он думал, что этот классический храм только декорация, пустая скорлупа. Но оказалось, что за путаницей серых сучьев, похожих на каменных змей, под зелеными куполами листьев стоит весьма основательная постройка. Особенно удивился Фишер, что в плотной, серовато-белой стене — всего одна дверь с большим ржавым засовом, который, однако, не задвинут. Он обошел храм кругом и не нашел никаких отверстий, кроме маленькой отдушины под самой крышей.

Он задумчиво вернулся по камням на берег озера и сел на каменные ступеньки между двумя погребальными урнами. Потом достал сигарету и задумчиво закурил; вынув записную книжку, он стал что-то писать и переписывать, пока не получилось следующее:

- «1) Гокер не любил свою первую жену;
- 2) На второй жене он женился из-за денег;
- 3) Длинный Адам говорит, что поместье, в сущности, принадлежит ему;
- 4) Длинный Адам бродит на острове вокруг храма, похожего на тюрьму;
- 5) Гокер не был беден, когда потерял поместье;
- 6) Вернер был беден, когда его приобрел».

Он серьезно смотрел на эти заметки, потом горько улыбнулся, бросил сигарету и пошел напрямик к усадьбе. Вскоре он напал на тропинку, и та, извиваясь между клумбами и подстриженными кустами, привела его к длинному классическому фасаду. Дом походил не на жилище, а на общественное здание, сосланное в глушь.

Прежде всего Фишер увидел дворецкого, казавшегося гораздо старше здания, ибо дом был построен в XVIII веке, а лицо под неестественным бурым париком бороздили морщины тысячелетней давности. Только глаза навывате

блестели живо и даже гневно Фишер взглянул на дворцового, остановился и сказал:

— Простите, не служили ли вы при покойном мистере Гокере?

— Да, сэр,— серьезно ответил слуга.— Моя фамилия Эшер. Чем могу служить?

— Проводите меня к сэру Франсису,— ответил гость.

Сэр Франсис Вернер сидел в удобном кресле у маленького столика в большой, украшенной шпалерами комнате. На столике стояла бутылка, рюмка с остатками зеленого ликера и чашка черного кофе. Помещик был одет в удобный серый костюм, к которому не очень шел тускло-красный галстук; но, взглянув на завитки его усов и на прилизанные волосы, Фишер понял, что сэра зовут Франц Вернер.

— Мистер Хорн Фишер? — спросил хозяин.— Прошу вас, присядьте.

— Нет, благодарю,— ответил Фишер.— Боюсь, что визит мой не дружеский, так что я лучше постою, если вы меня не выставите. Вероятно, вам известно, что я-то уже выставил... свою кандидатуру.

— Я знаю, что мы политические противники,— ответил Вернер, поднимая брови.— Но я думаю, будет лучше, если мы поведем борьбу по всем правилам — в старом, честном английском духе.

— Гораздо лучше,— согласился Фишер.— Это было бы очень хорошо, будь вы англичанин, и еще того прекрасней, если бы вы хоть раз в жизни играли честно. Буду краток. Мне не совсем известно, как смотрит закон на ту старую историю, но главная моя цель — не допустить, чтобы Англией правили такие, как вы. И потому, что бы ни говорил закон, лично я не скажу больше ни слова, если вы сейчас же снимете свою кандидатуру.

— Вы, очевидно, сумасшедший,— сказал Вернер.

— Может быть, я не совсем нормален,— печально сказал Фишер.— Я часто вижу сны, даже наяву. Иногда события как-то двоятся для меня, словно это уже было когда-то. Вам никогда так не казалось?

— Надеюсь, вы не буйнопомешанный? — осведомился Вернер.

Но Фишер рассеянно глядел на гигантские золотые

фигуры и коричнево-красный узор, испещрявший стены. Потом снова взглянул на Вернера и сказал:

— Мне все кажется, что это уже было, в этой самой украшенной шпалерами комнате, и мы с вами — два зрителя, вернувшиеся на старое место. Только там, где сидите вы, сидел помещик Гокер, а там, где стою я, стояли вы. — Он помолчал секунду, потом прибавил просто: — И еще мне кажется, что я шантажист.

— Если вы шантажист, — сказал сэр Франсис, — обещаю вам, что вы попадете в тюрьму.

Но на лицо его легла тень, словно отблеск зеленого напитка, мерцавшего в бокале. Фишер пристально посмотрел на него и сказал спокойно:

— Шантажисты не всегда попадают в тюрьму. Иногда они попадают в парламент. Но, хотя парламент и без того гниет, вы в него не попадете. Я не так преступен, как были вы, когда торговались с преступником. Вы принудили помещика отказаться от поместья. Я же прошу вас отказаться только от места в парламенте.

Сэр Франсис Вернер вскочил и окинул взглядом старинные шпалеры в поисках звонка.

— Где Эшер? — крикнул он, побледнев.

— А кто такой Эшер? — кротко спросил Хорн. — Интересно, много ли он знает?

Рука Вернера выпустила шнур сонетки, глаза его налились кровью, и, постояв минуту, он выскочил из комнаты. Фишер удалился так же, как вошел; не найдя Эшера, он сам открыл парадную дверь и направился в город.

Вечером того же дня, прихватив с собою фонарь, он вернулся один в темный парк, чтобы прибавить последние звенья к цепи своих обвинений. Он многого еще не знал, но думал, что знает, где найти недостающие сведения. Надвигалась темная и бурная ночь, и дыра в стене была чернее черного, а чаща деревьев стала еще гуще и мрачнее. Пустынное озеро, серые урны и статуи наводили уныние даже днем; ночью же, перед бурей, казалось, что ты пришел к Ахерону¹ в стране погибших душ. Осторожно ступая по камням, Фишер все дальше и дальше углублялся в бездны тьмы, откуда уже не докри-

¹ Ахерон — в греческой мифологии «река вечных страданий», через которую должны переплывать души умерших.

чишься до страны живых. Озеро стало больше моря; черная густая, вязкая вода дремала жутко и спокойно, словно смыла весь мир. Все двоилось, как в кошмаре, и Фишер очень обрадовался, что наконец дошел до заброшенного островка. Он узнал его по нависшему над ним сверхъестественному безмолвию; ему показалось, что шел он туда несколько лет.

Он взял себя в руки и, успокоившись, остановился под темным драконовым деревом, чтобы зажечь фонарь, а потом направился к двери храма. Засовы не были заложены, и ему почудилось, что дверь приоткрыта. Однако, присмотревшись, он понял, что это просто обман зрения: свет падал теперь под другим углом. Он стал внимательно исследовать ржавые болты и петли, как вдруг почувствовал, что очень близко, над самой головой, что-то есть. Что-то свисало с дерева — но то была не обломанная ветка. Он замер и похолодел как камень: то были человеческие ноги, может быть ноги мертвеца; но почти сразу понял, что ошибся. Человек — безусловно живой — взмахнул ногами, spryгнул и шагнул к непрошеному гостю. В ту же секунду ожили еще три или четыре дерева. Пять или шесть существ вывалились из странных гнезд. Ему показалось, что остров кишит обезьянами, но они бросились на него, схватили — и он понял, что это люди.

Он ударил переднего фонарем по лицу — тот упал и покатился по скользкой траве, но фонарь разбился, погас, и стало совсем темно. Второго человека Фишер швырнул о стену, и тот тоже упал. Третий и четвертый схватили Фишера за ноги и, как он ни отбивался, понесли к двери. Даже в суматохе драки он заметил, что дверь открыта. Кто-то руководил бандитами изнутри.

Войдя в дом, они швырнули его не то на скамью, не то на кровать, но он не ушибся, а упал на мягкие подушки. Бандиты обращались с ним очень грубо, вероятно в спешке, и не успел он приподняться, как они кинулись к двери. Кто бы ни были эти люди, они бесчинствовали с явной неохотой и хотели поскорей отделаться. У Фишера мелькнула мысль, что настоящие преступники вряд ли впали бы в такую панику. Тяжелая дверь захлопнулась, закрипели засовы, и застучали по камням быстрые шаги. И все-таки Фишер успел сделать то, что хотел. Подняться он не мог, но он вытянул ногу и зацепил ею, как крюком,



Фишер ударил переднего нападающего фонарем по лицу.

за лодыжку последнего из выбегавших. Тот споткнулся, опрокинулся навзничь на пол тюрьмы, и тут захлопнулась дверь. Его сообщники не сообразили в спешке, что потеряли одного из своих.

Человек вскочил и отчаянно забарабанил в дверь руками и ногами. К Фишеру вернулось чувство юмора; он сел на диване небрежно, как всегда, и, слушая, как узник дубасит в дверь тюрьмы, задумался над новой загадкой.

Если человек хочет позвать товарищей, он не только колотит в дверь, но и кричит. Этот же барабанил вдовсю руками и ногами, но из горла его не вылетело ни единого звука. В чем тут дело? Сначала Фишер подумал, что ему заткнули рот, но это было нелепо. Потом ему пришла в голову гнусная мысль: а может, с ним немой? Он не мог понять, почему это так гнусно, но ему стало совсем не по себе. Ему было как-то жутко остаться взаперти с глухим, словно эта болезнь постыдна, связана с другими ужасными уродствами. Словно тот, кого он не видел в темноте, слишком страшен, чтобы выйти на свет.

И тут его озарила здравая мысль. Все очень просто и довольно занятно. Человек молчит, потому что боится, как бы его не узнали по голосу. Он надеется уйти из этого темного места раньше, чем Фишер разгадает, кто он. Так кто же он? Несомненно одно: он — один из четырех или пяти человек, с которыми Фишер имел дело в этих местах в связи с последними странными событиями.

— Интересно, кто же вы такой... — сказал он вслух, лениво и любезно, как всегда. — Вряд ли стоит вас душить, чтобы узнать это: не так уж приятно провести ночь с трупом. К тому же трупом могу оказаться и я. Спичек у меня нет, фонарь я разбил... что ж, остается гадать. Кто же вы такой? Подумаем.

Тот, к кому он так любезно обращался, перестал барабанить в дверь и уныло забился в угол. Фишер тем временем продолжал:

— Может быть, вы браконьер, не признающий себя браконьером. Длинный Адам говорил, что он помещик. Надеюсь, он не посетует, если я ему скажу, что он прежде всего дурак. Можно ли рассчитывать, что Англия станет страной свободных крестьян, когда сами крестьяне заразились чванством и возомнили себя господами? Как установить демократию, если нет демократов? Вы хотите быть

помещиком; вы согласны стать преступником. Знаете, в этом вы сходитесь с другим известным мне лицом. Вот я и думаю: а вдруг вы и есть это самое «лицо»?

Он замолчал. В углу сопел незнакомец; отдаленный рокот проникал в отдушину над его головой. Наконец Хорн заговорил снова:

— Может, вы только слуга — скажем, тот зловещий тип, что служил и Гокеру и Вернеру... Если это так, вы единственный мост между ними. Зачем вы унижаетесь? Зачем вы служите подлому чужеземцу, когда видели последнего из нашей знати? Такие, как вы, обычно любят Англию. Разве вы ее не любите, Эшер? Наверное, мое красноречие ни к чему — вы совсем не Эшер. Скорее, вы сам Вернер. Да, на вас не стоит тратить красноречия. Вас все равно не пристыдишь. Бесполезно бранить вас за то, что вы губите Англию, да и не вас надо бранить. Это нас, англичан, надо ругать за то, что мы пустили таких гадов на стольные места наших королей и героев. Нет, лучше не буду думать, что вы — Вернер, а то без драки не обойтись. Кем же вы еще можете быть? Неужели вы из реформистов? Никогда не поверю, что вы — Грайс. Хотя есть у него во взгляде что-то такое одержимое... а люди идут на многое в этих подлых политических сварах. А если вы не прислужник, значит, вы... Нет, не верю. Это не красная кровь свободы и мужества. Это не знамя демократии.

Он вскочил — и в ту же секунду над решеткой прогремел гром. Началась гроза, и его сознание озарилось новым светом. Он знал, что сейчас случится.

— Понимаете, что это значит? — крикнул он. — Сам господь подержит мне свечку, чтоб я увидел ваше чертовое лицо!

Оглушительно ударил гром. Но за миг до него белый свет озарил комнату на ничтожную долю секунды.

Фишер увидел две вещи: черный узор решетки на белом небе и лицо в углу. То было лицо его брата.

Он выговорил имя, и воцарилась тишина, более жуткая, чем мрак. Потом Гарри Фишер встал, и голос его прозвучал наконец в этой ужасной комнате.

— Ты меня видел, — сказал он, — так что можно зажечь свет. Ты мог зажечь его и раньше, вот выключатель.

Он нажал кнопку, и все вещи в комнате стали четче,

чем днем. Вещи эти, надо сказать, так поразили узника, что он забыл на минуту о своем открытии. Здесь была не камера, а, скорей, гостиная или даже будуар, если б не сигареты и вино на журнальном столике. Хорн пригляделся и понял, что вино и сигареты принесли недавно, а мебель стоит тут давно. Он заметил выцветший узор драпировки — и удивился окончательно.

— Эти вещи — из того дома? — сказал он.

— Правильно, — ответил Гарри. — Я думаю, ты понял, в чем тут дело.

— Да, — сказал Хорн. — И прежде чем перейти к более важному, скажу, что же я понял. Гокер был подлец и двоеженец. Его первая жена не умерла, когда он женился на второй. Он просто запер ее тут, на острове. Здесь она родила сына; теперь он бродит вокруг и зовется Длинным Адамом. Разсрившийся делец Вернер пронюхал об этом и шантажом вынудил Гокера отдать ему поместье. Все это проще простого. Теперь перейдем к трудному. Какого черта ты напал на родного брата?

Генри Фишер ответил не сразу.

— Ты, наверное, не думал, что это я. Но, по совести, чего же ты мог ожидать?

— Боюсь, что я не понимаю, — сказал Хорн.

— Чего ты мог ожидать, когда наломал столько дров? — заволновался Генри. — Мы все думали, что ты умный. Откуда нам знать, что ты... ну, что ты так провалишься?

— Странно, — нахмурился кандидат. — Не буду хвастать, но мне кажется, я совсем не провалился. Все митинги прошли «на ура», и мне обещали массу голосов.

— Еще бы! — мрачно сказал Генри. — Твои дурацкие акры и коровы произвели переворот. Вернеру не получить и голоса. Все пропало!

— О чем ты?

— О чем? Нет, ты правда не в себе! — искренне и звонко крикнул Генри. — Ты что думал, тебя и впрямь прочат в парламент? Ты же взрослый, в конце концов! Пройти должен Вернер. Кому ж еще? В следующую сессию он должен получить финансы, а потом провернуть египетский заем и еще разные штуки. Мы просто хотели, чтоб ты на всякий случай расколол реформистов. Понимаешь, Хьюзу слишком повезло в Баркингтоне.

— Так... — сказал Хорн. — А ты, насколько мне известно, столп и надежда реформистов. Да, я действительно дурак.

Воззвание к партийной совести не имело успеха — столп реформистов думал о другом. Наконец он сказал не без волнения:

— Мне не хотелось тебе попадаться. Я знал, что ты расстроишься. Ты никогда бы меня не поймал, если б я не пришел присмотреть, чтоб тебя не обидели. Думал устроить все поудобней... — И голос его дрогнул, когда он сказал: — Я нарочно купил твои любимые сигареты.

Чувства — странная штука. Нелепость этой заботы растрогала Хорна Фишера.

— Ладно, — сказал он. — Не будем об этом говорить. Ты — самый добрый подлец и ханжа из всех, кто продавал совесть ради гибели Англии. Лучше сказать не могу. Спасибо за сигареты. Я закурю, если позволишь.

К концу рассказа Марч и Фишер вошли в один из лондонских парков, сели на скамью и увидели с пригорка зеленую даль под светлым, серым небом. Могло показаться, что последние фразы не совсем вытекают из вышеизложенных событий.

— С тех пор я так и жил в этой комнате. Я и теперь в ней живу. На выборах я победил, но не попал в парламент. Я остался там, на острове. У меня есть книги, сигареты, комфорт; я много знаю и многим занимаюсь, но ни один отзвук не долетает из склепа до внешнего мира. Там я, наверное, и умру.

И он улыбнулся, глядя на серый горизонт поверх зеленой громады парка.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАПИТАНА ГЭХЕГЕНА



Необходимо признать, что многие считали мистера Понда скучным человеком. Он питал пристрастие к длинным речам — не от самонадеянности, а от старомодности литературных вкусов. Он бессознательно унаследовал манеру Гиббона ¹, Батлера ² и Берка ³. Даже его парадоксы нельзя было назвать хлесткими. Правда, за хлесткость и блеск критики спуску не дают. Но мистеру Понду не грозило столь страшное обвинение. Сказав (как это ни прискорбно, о большей части женщин, по крайней мере — современных): «Они так спешат, что не двигаются с места», он не претендовал на остроумие. Эта фраза и не казалась остроумной; она просто была странной и невразумительной. Женщины, к которым он обращался — в первую очередь леди Вайолет Варни, — не находили в ней никакого смысла. Они считали, что когда

¹ Гиббон Эдуард (1737—1794) — английский историк.

² Батлер Джозеф (1692—1752) — английский епископ, писатель и церковный сратор.

³ Берк Эдмунд (1727—1797) — английский писатель, политический деятель и оратор.

мистер Понд перестает быть скучным, он становится непонятным.

Как бы то ни было, мистер Понд любил поговорить. И слава тому, кому удавалось прервать его. В данном случае лавры по праву увенчали чело мисс Артемис Эйза-Смит из Пентаполиса, штат Пенсильвания. Эта юная журналистка пришла брать у него интервью для газеты «Живой телеграф» по поводу таинственного дела Хэггиса, но не дала ему сказать ни слова.

— Насколько я понял,— начал мистер Понд несколько нервно,— вашу газету интересует то, что многие называют «личным правосудием», а я называю убийством, хотя, принимая во внимание...

— Бросьте,— прервала его юная леди.— Просто чудо... сидишь вот так, а рядом ваши государственные тайны... — Продолжая свой монолог в том же телеграфном стиле, она ни разу не дала мистеру Понду перебить ее, зато постоянно перебивала себя сама. Казалось, она никогда не кончит. И ни одна из ее фраз так и не была окончена.

Все мы слышали об американских репортерах, которые силой вырывают семейные тайны, взламывают двери спален и добывают сведения бандитскими методами. Такие репортеры бывают. Но бывают и другие. Существует (или существовало, насколько помнится автору) немало умных людей, способных обсуждать умные проблемы. Мисс Эйза-Смит не принадлежала ни к тем, ни к другим. Она была маленькая, темноволосая и хорошенькая — ее можно было бы назвать даже очень хорошенькой, если бы оттенок ее губной помады не наводил на мысль о землетрясении или о затмении солнца. Ее ногти, покрытые лаком пяти разных цветов, напоминали краски в детском наборе акварели. И сама она была как ребенок — так же наивна и так же болтлива.

Она сразу почувствовала к мистеру Понду дочернюю привязанность и рассказала все о себе. Ему же ничего не удалось ей рассказать. Не выплыли на поверхность мрачные тайны семейства Понд; остались нераскрытыми преступления, совершенные за дверью его спальни. Основной темой беседы было детство мисс Артемис в штате Пенсильвания; ее первые честолюбивые мечты и первые идеалы (как многие ее соотечественники, она, по-види-

мому, отождествляла эти понятия). Она была феминисткой и вместе с Адой П. Тьюк боролась против клубов, пивных и мужского эгоизма. Она написала пьесу, и ей не терпелось прочитать ее мистеру Понду.

— Что касается вопроса о «личном правосудии»,— вежливо вставил мистер Понд,— мне думается, все мы испытывали искушение в отчаянные минуты жизни...

— Вот-вот, мне отчаянно хочется прочитать вам пьесу и, знаете... Дело в том, что она ужасно, ужасно современная... Но даже самые современные авторы еще не додумались, понимаете, начать действие в воде, и потом...

— Начать действие в воде? — удивился мистер Понд.

— Ну да... ведь это самое... ах, вы понимаете! Я думаю, скоро все актеры будут выходить на сцену в купальных костюмах — кто из правой кулисы, кто из левой... Представляете? Не то, что эта старая чепуха... А вот у меня они появляются сверху и сразу ныряют в воду... Эффектно, а? В общем, начинается так.— И она стала читать очень быстро:

Сцена. Море у Лидо.

Голос Тома Токсина (*над сценой*). Внимание, ныряю.

Токсин (*в ярко-зеленом купальном костюме, ныряет сверху на сцену*). Плюх.

Голос герцогини (*над сценой*). Ну, от вас, кроме плюх, ничего не дождешься, разве что...

Герцогиня, в ярко-красном купальном костюме, ныряет сверху на сцену.

Токсин (*отфыркиваясь*). Я хоть плюхнулся, а вы... И вообще.. Герцогиня. Вот что, дед!..

Она зовет его дедом, понимаете, как в той смешной песенке,— ну, вы знаете... Но они совсем молодые, конечно, и довольно... Вы понимаете... Только...

Мистер Понд перебил ее мягко, но решительно:

— Не будете ли вы так добры и не оставите ли мне рукопись, мисс Эйза-Смит? Или, может быть, пришлете, чтобы я мог насладиться ею на досуге? На мой старомодный вкус, действие развивается несколько стремительно, и, мне кажется, никто не кончает реплик. Вы ду-

маете, вам удастся убедить наших ведущих актеров нырять на сцену с большой высоты?

— Конечно, старики упрутся! — ответила она. — Потому что... Ну, не станет же прыгать ваша великая Оливия! Хотя она не так уж стара... и еще прелесть... только уж очень шекспировская!! Но я уговорила Вайолет Варни... она мне обещала, я дружна с ее сестрой... понятно, не то чтоб... и куча любителей пойдет... Этот самый Гэхеген хорошо плавает, и он уже играл... Он-то согласится, если Джоан будет!

Лицо мистера Понда, до сих пор хранившее терпеливое и стическое выражение, внезапно оживилось; он насторожился, и тон его стал серьезен.

— Капитан Гэхеген — мой близкий друг. Он представил меня мисс Джоан Варни. Что касается ее сестры, которая играет на сцене...

— Джоан она и в подметки не годится, правда? Хотя... — завела было опять мисс Эйза-Смит.

Мистер Понд пришел к определенным выводам. Ему понравилась мисс Эйза-Смит. Она ему очень понравилась. А вспомнив о Вайолет Варни, английской аристократке, он почувствовал, что американка нравится ему еще больше. Леди Вайолет принадлежала к числу богатых дам, которые платят за право плохо играть, отнимая тем самым у бедных актеров возможность зарабатывать деньги хорошей игрой. Несомненно, она была вполне способна нырять на сцену в купальном костюме, и в любом другом костюме, и даже вообще без всякого костюма, только бы попасть на сцену и увидеть перед собой огни рампы. Она была вполне способна участвовать в нелепой пьесе мисс Эйза-Смит и нести такой же вздор о современной женщине, независимой от эгоиста мужчины. Но между ними существовала разница, и не в пользу высокородной Вайолет. Бедная Артемис следовала дурацкой моде потому, что была журналисткой и добывала средства к жизни тяжелым трудом, а Вайолет Варни лишала заработка других. Обе говорили в одной манере — нанизывая незаконченные фразы. Как полагал мистер Понд, именно такой язык, и только такой, мог быть по праву назван ломаным. Но Вайолет обрывала фразу, словно изнемогая от усталости; Артемис — от избытка энергии, торопясь начать следующую. Да, было в ней что-то — наверное, вкус к

жизни, который отличает американцев при всех их недостатках.

— Джоан Варни — душечка, — продолжала Артемис, — и, бюсь об заклад, ваш друг Гэхеген тоже так думает. Как вы считаете, выйдет у них что-нибудь? Он странный парень, знаете ли...

Мистер Понд не отрицал. Капитан Гэхеген, блестящий, неутомимый и нередко невыносимый светский щеголь, был странным во многих отношениях. И самой странной его чертой была привязанность к столь непохожему на него, педантичному и прозаическому мистеру Понду.

— Говорят, он прохвост, — заявила простодушная американка. — Не думаю... Но, конечно, он — темная лошадка. И обхаживает Джоан Варни, правда? А впрочем, говорят, он влюблен в великую Оливию — вашу единственную трагическую актрису. Только уж очень она трагична!

— Дай бог, чтобы ей не пришлось участвовать в настоящей трагедии, — сказал Понд.

Он знал, о чем говорит. Но у него не было и отдаленного предчувствия той ужасной трагедии, в которой Оливии Февершем предстояло участвовать не далее как через сутки.

Просто он хорошо знал своего друга-ирландца. И потому ему нетрудно было представить себе даже то, чего он не знал. Питер Патрик Гэхеген жил современной жизнью, может быть, слишком современной; он увлекался ночными клубами и автомобильными гонками; он был еще молод; и все же он словно явился из прошлого. Он принадлежал к тем временам, когда увлекались байроническими героями. Уильям Батлер Йитс¹ писал: «Романтики ирландской больше нет. Она в могиле, где лежит О'Лири²»; но он не встречал Гэхегена, который еще не ушел в могилу. Питер был связан со стариной сотнями нитей. Когда-то он служил в кавалерии; однажды был избран в парламент и выступал там, как старые ирландские ораторы, говорившие длинными, закругленными пе-

¹ Йитс Уильям Батлер (1865—1939) — известный ирландский поэт.

² О'Лири Джон (1830—1907) — ирландский журналист и историк.

риодами. Как все они, он почему-то любил Шекспира. Исаак Бетт¹ уснащал свои речи отрывками из шекспировских пьес. Когда говорил Тим Хили², шекспировские строки казались частью застольной беседы. Рассел³ из Килоуэна никогда не брал в руки других книг. Подобно им, Гэхеген поклонялся Шекспиру в духе XVIII века, в духе Гаррика⁴. Но в его понимании Шекспира было немало языческого. Понд считал вполне возможным, что у Гэхегена роман с Оливией (как и с любой другой женщиной). В этом случае катастрофа казалась неизбежной. Оливия была замужем, и муж ее не принадлежал к числу покладистых людей.

Фредерик Февершем был актером-неудачником. Хуже того: некогда он был удачлив. Теперь театральная публика забыла его; зато его отчетливо помнили в судах. Он был еще довольно красив, хотя изрядно потрепан — темноволосый угрюмый человек, прославившийся постоянными тяжбами. Февершем подавал жалобы на своих соперников по сцене, и на антрепренеров, и на всех других, припоминая им чрезвычайно спорные давнишние обиды и мелкие несправедливости. С женой, которая была много моложе его и много талантливей, он еще не вел тяжбы. Впрочем, его отношения с ней были гораздо более далекими, чем отношения с поверенным.

Февершем слонялся по судам, защищая свои права, а за ним как тень следовал его поверенный — некий мистер Льюк из адвокатской конторы «Мастерс, Льюк и Мастерс», молодой человек со светлыми прилизанными волосами и застывшим, деревянным лицом. По этому застывшему лицу никак нельзя было узнать, что думает он о распрях своего клиента и удастся ли ему хоть в чем-то его сдержать. Во всяком случае, он хорошо защищал интересы Февершема и сделался его собратом по оружию. Понд был уверен в одном: ни Февершем, ни Льюк не пощадили бы Гэхегена, если бы этот легкомысленный

¹ Бетт Исаак (1813—1879) — ирландский юрист и общественный деятель

² Хили Тимоти Майкл (1855—1931) — ирландский политический деятель.

³ Рассел Чарльз (1832—1900) — английский юрист и политический деятель.

⁴ Гаррик Давид (1717—1779) — английский актер и театральный деятель.

джентльмен оказался в чем-либо виновным. Однако развязка была еще хуже, чем он предполагал. Через двадцать четыре часа после беседы с журналисткой мистер Понд узнал, что Фредерик Февершем скончался.

Как многие любители тяжб, мистер Февершем оставил в наследство сложный юридический казус, который смог бы прокормить многих юристов. Не о плохо составленном завещании шла речь и не о сомнительной подписи, а об окоченевшем, мертвом теле, пригвожденном к земле, у самой калитки, рапирой с отломанным наконечником. Фредерик Февершем, ревнитель законности, пал жертвой величайшего, непоправимого беззакония. Он был убит у входа в собственный дом.

Задолго до того, как собранные постепенно факты дошли до полиции, они стали известны мистеру Понду. Это может показаться странным, но были тому причины. Понд, как многие государственные чиновники, пользовался тайным влиянием в самых неожиданных сферах; его общественное значение основывалось на частных связях. Многие люди — моложе его и куда более видные — иногда относились к нему с благоговейным трепетом. Но, чтобы объяснить все это, нужно было бы провести читателя по лабиринту самого противозаконного свода законов. Первая весть о несчастье облеклась в будничную форму официального письма от известной адвокатской конторы «Мастерс, Льюк и Мастерс», авторы которого выражали надежду, что мистер Понд разрешит мистеру Льюку обсудить с ним некоторые вопросы, до того как дело попадет в полицию или в газеты. Мистер Понд ответил в том же официальном тоне, что будет счастлив принять мистера Льюка на следующий день, в таком-то часу. Потом сел и уставился в пространство, вытаращив глаза; некоторые из его друзей полагали, что такое выражение лица придает ему сходство с рыбой.

Он успел уже продумать почти две трети из того, о чем собирался рассказать ему поверенный.

— Откровенно говоря, мистер Понд,— начал юрист доверительно и в то же время осторожно, явившись к нему на следующий день и усевшись по другую сторону стола,— откровенно говоря, обстоятельства данного дела,



Круглые глаза мистера Понда стали еще круглее, и рот его приоткрылся.

весьма тягостные сами по себе, могут оказаться особенно тягостными для вас. Ведь столь ужасному подозрению подвергается ваш близкий друг, хотя в это и трудно поверить.

Круглые глаза мистера Понда стали еще круглее, и рот его приоткрылся — совсем по-рыбьи, как сказали бы многие. Юрист, вероятно, решил, что его потрясла сама мысль о виновности его друга. На самом же деле Понда поразило совсем другое. Он знал, что подобные фразы часто встречаются в детективных романах (которыми он нередко от души наслаждался, когда ему надоедали Брек или Гиббон). В его мозгу всплыли строчки, сотни раз встречавшиеся на страницах книг: «Никто из нас не мог предположить, что этот юный, очаровательный спортсмен способен на преступление», или: «Казалось нелепым связывать мысль об убийстве с именем блестящего и всеми любимого капитана Пиклбоя». Он никогда не понимал таких фраз. Его ясному скептическому уму человека XVIII века они казались бессмысленными. Почему не может очаровательный, светский джентльмен совершить преступление, как любой другой? Он был очень расстроен происшедшим, но все же не понимал подобного взгляда.

— Я чрезвычайно сожалею, — тихо продолжал юрист, — но я вынужден сообщить вам, что, по данным частного расследования, произведенного нами, некоторые поступки капитана Гэхегена требуют объяснения.

«Да, — подумал Понд, — поступки Гэхегена действительно часто требуют объяснения. В том-то и трудность, только... господи, как тянет этот человек!» Одним словом, вся беда была в том, что Понд очень любил капитана Гэхегена, но если бы его спросили, способен ли его друг на убийство, он, скорее всего, ответил бы, что способен, — гораздо более способен на убийство, чем на грубое обращение с кучером.

Внезапно с исключительной четкостью Гэхеген возник в его сознании. Он увидел его таким, каким видел в последнюю их встречу. Широкоплечий человек быстро шагал по улице; темно-рыжие волосы беспорядочно выбивались из-под легкомысленно сдвинутого набок серого цилиндра, а за его спиной по вечернему небу плыли легкие пурпурные облака, невесомые и яркие, как его судь-

ба. Да, очень легко простить Гэхегена — во много раз труднее его оправдать.

— Мистер Льюк,— прервал молчание Понд,— сократится ли наша беседа, если я сразу сообщу вам все факты, свидетельствующие против Гэхегена? Он действительно часто бывал у миссис Февершем, прославленной актрисы. Не знаю почему — мне кажется, он любил другую женщину. Во всяком случае, он проводил с миссис Февершем очень много времени, долгие часы, до поздней ночи. Если бы Февершем застал их за чем-либо предосудительным, он бы ославил их повсюду, затеял против них дело и бог знает что еще. Я не собираюсь критиковать поступки вашего клиента. Но, откровенно говоря, он жил только сутяжничеством и злословием, больше ничем. И если Февершем был вполне способен угрожать или шантажировать, Гэхеген — я не скрываю от вас — вполне способен применить силу; возможно, даже убить, особенно если речь идет о добром имени женщины. Вот что свидетельствует против Гэхегена. И должен сказать вам сразу, что я не верю в его виновность.

— К сожалению, это не все,— мягко заметил Льюк.— Боюсь, даже вы поверите в его виновность, когда узнаете факты. Пожалуй, самым серьезным результатом наших розысков является то, что капитан Гэхеген сделал три совершенно разных и тем самым взаимоисключающих друг друга сообщения о своих действиях или, точнее, предполагаемых действиях в ночь убийства. Даже если мы примем за правду одно из его утверждений, придется признать, что в двух других случаях он солгал.

— Я всегда считал его правдивым человеком,— возразил Понд.— Разве что иногда он лжет забавы ради. Как раз это показывает, что он не станет профанировать ради выгоды высокое искусство лжи. В обычных, житейских делах он всегда был не только правдив, но и очень точен.

— Даже соглашаясь с вами,— ответил мистер Льюк не совсем уверенно,— мы все же не решаем загадки. Если он всегда так правдив и искренен, то, значит, нужны были особые, чрезвычайные обстоятельства, чтобы заставить его солгать.

— Кому он солгал? — спросил Понд.

— В том-то и заключается тонкость и щекотливость

дела,— сказал юрист, покачивая головой.— В упомянутый вечер, насколько мне известно, Гэхеген беседовал с несколькими дамами.

— Да, он часто это делает,— заметил Понд.— А может, это они беседовали с ним? Если среди них случайно оказалась очаровательная особа из Пентаполиса, по фамилии Эйза-Смит, я позволю себе предположить, что беседу вела она.

— Это чрезвычайно любопытно,— удивился мистер Льюк.— Не знаю, как вы догадались, но среди них действительно была некая мисс Эйза-Смит из Пентаполиса. Кроме того, там была леди Вайолет Варни и ее сестра, леди Джоан. Именно последняя из названных дам была его первой собеседницей. Насколько я понимаю, это вполне естественно. Как вы сами заметили, он действительно привязан к этой даме, ибо то, что он сказал ей, ближе всего к истине.

— А! — сказал мистер Понд, задумчиво подергивая бородку.

— Джоан Варни,— серьезно продолжал юрист,— общилась совершенно точно, еще не зная о трагедии, что, прощаясь с ней, капитан Гэхеген сказал: «Я иду к Февершемам».

— И вы считаете, что это противоречит двум другим утверждениям,— сказал мистер Понд.

— В высшей степени,— ответил Льюк.— Ее сестра, известная актриса-любительница, леди Вайолет Варни, остановила его у выхода, и они обменялись несколькими фразами. Прощаясь, он совершенно определенно сказал: «Я не иду к Февершемам, они еще в Брайтоне», или что-то в этом роде.

— А теперь,— сказал, улыбаясь, мистер Понд,— мы подошли к моей юной приятельнице из Пентаполиса. Кстати, что она делала у Варни?

— Гэхеген столкнулся с ней на пороге, как только открыл входную дверь,— ответил мистер Льюк, тоже улынувшись.— Она явилась в чрезвычайно восторженном состоянии брать интервью у Вайолет Варни, «актрисы и общественной деятельницы». И она и Гэхеген не такие люди, чтобы не заметить друг друга. Гэхеген перекинулся с ней несколькими словами, затем приподнял серый цилиндр и сказал, что идет прямо в клуб.

— Вы в этом уверены? — спросил Понд, озабоченно хмурясь.

— Она в этом уверена. Такое заявление привело ее в ярость, — ответил Льюк. — По-видимому, у нее, как у всех феминисток, какие-то предубеждения против клубов. Она считает, что мужчины туда ходят, чтобы напиваться до бесчувствия и рассказывать анекдоты, порочащие женщин. Кроме того, он задел ее профессиональное самолюбие. Вероятно, она хотела продлить интервью для своей газеты или для себя самой. Но я могу поручиться, что она вполне добросовестна.

— О да, — подтвердил Понд горячо и в то же время печально. — Она безусловно добросовестна.

— В том-то и дело, — сказал Льюк с приличествующей случаю мрачностью. — Мне кажется, при данных обстоятельствах ход его мыслей вполне объясним. Он проговорился девушке, которой привык говорить правду. Возможно, тогда он еще не решился на преступление; возможно, он еще не вполне его обдумал. Но потом, беседуя с менее близкими ему лицами, он понял, как неумно было бы говорить им, куда он идет на самом деле. Сперва ему приходит в голову довольно грубая уловка: он просто говорит, что не идет к Февершемам. Затем, беседуя с третьей из женщин, он придумывает гораздо лучшую ложь, достаточно неопределенную, не привлекающую внимания, и говорит собеседнице, что идет в клуб.

— Могло быть и так, — ответил Понд, — а могло быть... — И в первый раз в жизни он последовал небрежной манере мисс Эйза-Смит, оставив фразу незаконченной. Он молча уставился вдаль, по-рыбы вытаращив глаза; затем подпер голову руками, пробормотал: — Простите меня, пожалуйста, я немножко подумаю, — и снова погрузился в молчание, сжимая ладонями лысый череп.

Через некоторое время бородатая рыба показалась на поверхности, на этот раз с новым выражением лица, и заявила резким, почти сердитым тоном:

— Мне кажется, вам очень хочется доказать виновность бедняги Гэхегена.

Лицо мистера Льюка утратило свою безучастность и впервые приняло жесткое, почти жестокое выражение.

— Вполне естественно, что мы хотим привлечь к ответственности убийцу нашего клиента, — ответил он.

Понд наклонился вперед, и взгляд его пронизывал собеседника, когда он сказал:

— Но вы хотите доказать, что убийца — Гэхеген.

— Я представил доказательства,— угрюмо сказал Льюк.— Свидетельницы вам известны.

— И все же, как ни странно,— проговорил Понд очень медленно,— вы не заметили, что является самым тяжким обвинением.

— По-моему, всё,— резко ответил юрист.— А что вы имеете в виду?

— Их показания неумышленны,— сказал Понд.— Не может быть и речи о заговоре. Моя юная американка абсолютно честна и ни за что не примкнула бы к заговору. Питер Гэхеген очень нравится женщинам. Он нравится даже самой Вайолет Варни. А ее сестра Джоан любит его. И все-таки все они свидетельствуют против него или, вернее, все они показали, что он сам свидетельствует против себя. И все они неправы.

— Черт побери, что вы хотите сказать? — неожиданно вспылил мистер Льюк.— В чем они неправы?

— Они неверно передают его слова,— ответил Понд.— Спрашивали вы их, что он еще сказал?

— Что же еще нужно? — вскричал юрист, окончательно выходя из себя.— Они могут поклясться, что он сказал именно эти фразы: «Иду к Февершемам»; «Не иду к Февершемам»; «Иду в клуб» — и ушел, оставив последнюю собеседницу в полной ярости.

— Вот именно,— ответил Понд.— Вы утверждаете, что он произнес три противоречащих друг другу фразы. Я же утверждаю, что он сказал три раза одно и то же, только по-разному расставлял слова.

— «По-разному расставлял слова»!..— повторил Льюк почти злобно.— В суде он узнает, что по закону о лжесвидетельстве «расставлять по-разному слова» совсем не значит «говорить то же самое».

Некоторое время они молчали; затем мистер Понд спокойно сказал:

— Итак, теперь мы знаем все о преступлении капитана Гэхегена.

— Кто сказал, что мы хоть что-нибудь знаем? Может быть, вы знаете? Я — нет.

— Да, я знаю,— ответил мистер Понд.— Преступле-

ние капитана Гэхегена заключается в том, что он не понимает женщин, особенно современных. Это обычное свойство так называемых губителей женских сердец. Известно ли вам, что старый добрый Гэхеген — не кто иной, как ваш прапрадедушка?

Мистер Льюк вздрогнул: он на самом деле испугался. Не ему первому пришло в голову, что мистер Понд не совсем в своем уме.

— Разве вы не видите,— продолжал Понд,— что Гэхеген принадлежит к старой школе галантных щеголей и волокит? Они восклицали: «О женщина, прекрасная женщина!», но ничего не знали о ней, и женщины этим пользовались. Зато как умели эти щеголи говорить комплименты! Вы, наверное, считаете, что это не имеет отношения к делу. Но понимаете ли вы, что я хочу сказать, называя Гэхегена губителем женщин в старом вкусе?

— Пока что я вижу, что он губитель мужчин в весьма новом вкусе! — яростно выкрикнул Льюк.— Он убил достойного, тяжко оскорбленного человека, моего клиента и друга!

— Мне кажется, вы немного раздражены,— сказал мистер Понд.— Случалось ли вам читать книгу доктора Джонсона¹ «Тщета человеческих желаний»? Очень успокаивает. Поверьте мне, писатели восемнадцатого века, о которых я хочу говорить, пишут в чрезвычайно успокоительной манере. Знакома ли вам трагедия Аддисона² «Катон»?

— Мне кажется, вы сошли с ума,— сказал юрист, сильно бледнея.

— Или еще: скажите мне,— осведомился мистер Понд тем же светским тоном,— приходилось ли вам читать пьесу мисс Эйза-Смит о герцогине в купальном костюме? Там все фразы неестественно укорочены, ну... как купальный костюм.

— Имеют ли ваши слова хоть какой-нибудь смысл? — прошептал юрист.

— О, несомненно! — ответил Понд.— Но сразу не объяснишь, это длинная история — вроде «Тщеты человеческих желаний». Дело вот в чем. Мой друг Гэхеген

¹ Джонсон Сэмюэль (1709—1784) — английский писатель, критик и языковед

² Аддисон Джозеф (1672—1719) — английский писатель.

очень любит старинное красноречие и старинное остроумие. Я тоже. Мы ценим блестящие завершения длинных речей и финальные жала эпиграмм. Так мы подружились, нас сблизила любовь к манере письма восемнадцатого века — знаете, размеренная речь, антитезы и тому подобное. Предположите, что и вы любите такие вещи и читаете хорошо известные строки из Аддисонова «Катона»:

Нам, смертным, не дано успехом править.
Но мы его, Семпроний, завоюем¹.

Они могут нравиться или не нравиться. Но в любом случае вы вынуждены прочесть их до конца. Потому что эти стихи начинаются с избитой истины, а вся соль их — в конце. В наше время у фраз вообще нет конца, никто и не ждет его.

Женщинам всегда была в некоторой степени свойственна эта манера. Не потому, что они не думают, — они думают быстрее, чем мы. Нередко они и говорят лучше нас. Но они не умеют слушать, как мы. Они сразу схватывают первую мысль, она для них важнее всего; дальнейшее они подразумевают — и несутся дальше, иногда не дослушав фразы. А Гэхеген совсем другой человек: он принадлежит к старой ораторской школе, всегда должным образом заканчивает фразы и заботится об их конце не меньше, чем о начале.

Я позволю себе предположить, как выражаются адвокаты, что в действительности капитан Гэхеген сказал Джоан следующие слова: «Я иду к Февершемам. Не думаю, что они вернулись из Брайтона, но все-таки загляну на всякий случай. Если их нет, пойду в клуб». Вот что сказал Питер Гэхеген. Но не это услышала Джоан Варни. Она услышала, что он идет к Февершемам, и для нее сразу все стало ясно, даже слишком ясно — как поется в песне: «Он идет к той женщине». Хотя он и добавил тут же, что этой женщины, скорее всего, нет в городе. Ни Брайтон, ни клуб ее не интересовали: она даже не запомнила, что он о них говорил.

Рассмотрим следующий случай. Второй собеседнице Гэхеген сказал: «Не стоит идти к Февершемам, они еще в Брайтоне. Но я все-таки загляну на всякий случай. Ес-

¹ Перевод Д. Маркиша.

ли их нет, пойду в клуб». Вайолет совсем не так правдива и добросовестна, как Джоан; она тоже ревнует к Оливии, но из побуждений гораздо более низменных: Вайолет считает себя актрисой. Она услышала что-то про Февершемов и смутно запомнила, что к ним не стоит ходить, то есть что он к ним не идет. Это ей было приятно, и она удостоила его беседой, но не соблаговолила прислушаться к тому, что он говорил дальше.

Наконец, третий случай. Выходя из дома, Гэхеген сказал мисс Эйза-Смит: «Я иду в клуб. Обещал пойти к друзьям, к Февершемам, но не думаю, что они вернулись из Брайтона». Вот что он сказал. А она услышала, увидела и пронзила испепеляющим взглядом типичного эгоиста мужчину, наглого и распущенного, который беззастенчиво хвастается на глазах у всех, что идет в одно из тех проклятых мест, где напиваются и поносят женщин. Бесстыдное признание потрясло ее; куда уж тут было слушать, какие еще глупости он скажет! Для нее он был просто мужчиной, который идет в клуб.

Итак, все три заявления Гэхегена точно совпадают по смыслу. В них сообщаются одни и те же факты, намечаются одни и те же действия, приводятся одни и те же доводы. Но они звучат совершенно по-разному в зависимости от того, какая фраза сказана первой. Особенно — для современных скачущих девиц; они наскакивают только на первую фразу, потому что нередко за ней действительно ничего не следует. Направление в современной драме, представленное гворчеством мисс Эйза-Смит, где каждая фраза обрывается в самом начале, имеет мало общего со стилем трагедии о Катоне, но оно тесно связано с трагедией капитана Гэхегена. Эти женщины могли довести моего друга до виселицы без всякого злого умысла, просто потому, что они думают половинками фраз. Проломленные головы, изломанные чувства, сломанные жизни — и все это потому, что они умеют говорить только на ломаном языке. Не кажется ли вам, что не так уж дурно наше старомодное пристрастие к литературному стилю, который приучает читать до конца все, что написано, и слушать до конца все, что говорится? Не предпочтете ли вы, чтобы важное для вас сообщение было выражено слогом Аддисона или Джонсона, а не всплесками мистера Токсина и Ныряющей Герцогини?..

Слушая эту речь — признаться, довольно длинную, — юрист проявлял все бóльшие признаки беспокойства и даже раздражения.

— Все это только догадки, — сказал он с почти лихорадочной нервозностью. — Вы ничего не доказали.

— Да, — серьезно ответил Понд. — Вы правы, это догадки. Во всяком случае, я угадал правильно. Я беседовал по телефону с Гэхегеном и знаю правду о том, что он говорил и делал в тот вечер.

— Правду! — воскликнул Льюк с непонятной горечью.

Понд внимательно посмотрел на него. На первый взгляд лицо мистера Льюка казалось застывшим, и, если присмотреться, оказывалось, что он очень прямо и неподвижно держит голову и волосы у него прямые, гладкие, словно нарисованные густой и клейкой желтой краской. Серо-зеленые глаза юриста, почти всегда прикрытые холодными веками, казались необычно маленькими, как будто бы далекими, но странные огоньки метались в них, точно крохотные зеленые мошки. И чем больше смотрел мистер Понд в эти полузакрытые и все же беспокойные глаза, тем меньше они нравились ему. Снова подумал он о заговоре против Гэхегена, но не о заговоре Джоан и Артемис. Наконец он резко прервал молчание.

— Мистер Льюк, — сказал он, — вполне естественно, что вы заинтересованы в делах вашего покойного клиента. Но можно подумать, что вами руководит не только профессиональный интерес. Поскольку вы так глубоко вникаете во все, что касается мистера Февершема, не можете ли вы сообщить мне кое-что о нем? Скажите, вернулся ли мистер Февершем и его супруга из Брайтона в тот день? Была ли дома миссис Февершем и заходил ли к ним Гэхеген?

— Ее не было дома, — ответил мистер Льюк. — Их ждали на следующий день. Не понимаю, почему Февершем вернулся в тот вечер.

— Должно быть, кто-то вызвал его, — сказал мистер Понд.

Мистер Льюк резко встал, собираясь уходить.

— Не вижу пользы в ваших рассуждениях, — сказал он, холодно поклонился, взял шляпу и покинул дом с непонятной стремительностью.

На следующий день мистер Понд оделся тщательнее и корректнее, чем всегда, намереваясь посетить нескольких дам. Эта легкомысленная светская обязанность не входила в круг его обычных занятий. Сначала он нанес визит леди Вайолет Варни. Раньше он видел ее только издали и теперь, увидев вблизи, был неприятно поражен. Она оказалась светлой блондинкой того оттенка, который, насколько он помнил, в наши дни называется платиновым. Румяна ее и помада были скорее фиолетовыми, чем пурпурными; несомненно, этим способом она тонко напоминала о своем имени¹. Друзья говорили, что такой цвет лица придает ей изысканность; враги находили более уместным слово «извращенность». Даже у этой невнимательной дамы ему удалось вырвать довольно ценные сведения о подлинных словах Гэхегена, хотя ее собственные слова складывались в обычные для нее неоконченные, выдыхающиеся фразы.

Затем он поговорил с Джоан, ее сестрой, и подивился про себя, насколько личные качества человека сильнее прихотей моды. У Джоан были почти те же современные манеры, тот же высокий голос светской дамы, она так же обрывала фразы. Но, к счастью, у нее была пудра другого оттенка, и другие глаза, и жесты, и мысли, и совсем другая душа. Мистер Понд, поклонник старинных женских достоинств, сразу почувствовал, что модные добродетели были у нее подлинными, независимо от того, что были модными. Она действительно была смелой, и великодушной, и очень правдивой, хотя именно это приписывала ей светская хроника. «Хорошая девушка, — подумал мистер Понд. — Чистое золото. Лучше, чем золото. И насколько лучше, чем платина!»

Следующим пунктом его паломничества был нелепый, огромный отель, который осчастливила своим посещением мисс Артемис Эйза-Смит из Пенсильвании. Она встретила его со свойственным ей непобедимым энтузиазмом, который носил ее по всему свету. И мистеру Понду оказалось совсем нетрудно убедить ее, что даже человек, посещающий клуб, случайно может не быть убийцей. Хотя эта беседа была гораздо менее задушевной, чем разговор с Джоан (о котором он никогда никому не сказал ни

¹ Вайолет (англ. violet) — фиалка; фиолетовый цвет.

слова), пылкая Артемис проявила много здравого смысла и добродушия и еще больше понравилась ему. Она поняла, что говорил ей Гэхеген, и в какой последовательности, и как неверно она восприняла его речь. Таким образом, до сих пор дипломатические маневры мистера Понда проходили успешно. Все три женщины выслушали с большим или меньшим вниманием его теорию об истинных словах Гэхегена, и все они согласились, что, вполне возможно, так и было на самом деле.

Покончив с этой частью своей задачи, мистер Понд сделал небольшой перерыв и собрал все душевные силы, прежде чем приступить к выполнению еще одной, последней обязанности, которая тоже приняла форму визита к даме. Волнение его было вполне простительно: ему предстояло пройти через мрачный сад, где так недавно лежал убитый, и войти в зловещий высокий дом, где жила вдова — великая Оливия, героиня трагедии и в жизни, и на сцене.

Он заставил себя открыть калитку и пересечь тот темный кусочек сада, где у подножия остролиста несчастный Фред Февершем был пригвожден к земле сломанной рапирой. Когда он поднимался по кривой тропинке к высокому и узкому, как башня, кирпичному дому, темному на фоне звезд, новые, гораздо более глубокие трудности встали перед ним. Теперь казались пустыми недавние волнения по поводу мнимой лжи Гэхегена. За всем этим вздором скрывался реальный вопрос, он требовал ответа. Кто-то убил несчастного Фредерика Февершема, и действительно были некоторые основания подозревать Гэхегена. Он на самом деле просиживал целые дни, а нередко и вечера, до поздней ночи, в доме актрисы. Как это ни грустно, вполне могло случиться, что Февершем застал их и одному из них пришлось его убить. Миссис Февершем часто сравнивали с миссис Сиддонс¹. Она всегда вела себя сдержанно, с большим достоинством. Для нее сплетня не была рекламой, как для Вайолет Варни. У нее было больше оснований, чем у Гэхегена... но, боже мой, это немыслимо! Предположим, что он и вправду невиновен, но доказать это такой ценой! Какие бы ни были у

¹ Сиддонс Сара (1755—1831) — английская трагическая актриса.

Гэхегена слабости, он скорее дал бы себя повесить, чем выдал бы Женщину. Мистер Понд снова поднял глаза и с растущим ужасом посмотрел на темную кирпичную башню, думая, что, может быть, сейчас он увидит преступницу. Усилием воли он поборол отвращение и попытался сосредоточиться на фактах. Что же в конце концов свидетельствует против Гэхегена и Оливии? Он заставил себя размышлять спокойно и понял наконец, что все сводится к вопросу времени.

Да, Гэхеген проводил с этой женщиной очень много времени, и это было единственным внешним свидетельством его любви к ней. Свидетельства его любви к Джоан Варни были гораздо более явными. Понд мог поклясться, что капитан действительно любит Джоан. Он словно свалился ей прямо на голову, а она, по обычаю современной молодежи, охотно подставила свою голову. Но их встречи, похожие на столкновения, были столь же коротки, сколь стремительны. Что могло заставить счастливого влюбленного проводить так много времени с другой женщиной, к тому же гораздо старше его? Размышляя об этом, он машинально прошел мимо слуг, поднялся по лестнице и вошел в комнату, где ему предстояло ждать миссис Февершем. Волнуясь, он взял со стола старую, потрепанную книгу; должно быть, она принадлежала актрисе еще в школьные ее годы, потому что на титульном листе было написано детским почерком: «Оливия Мэллон». Возможно, великая исполнительница шекспировских ролей вела свой род от великого критика шекспировских пьес¹. Во всяком случае, она была несомненно ирландка.

И когда он стоял в темной комнате, склонившись над старой книгой, белый луч догадки озарил его сознание. Так родился последний в нашем рассказе парадокс мистера Понда. Теперь он понял все, и единственно правильные слова возникли в его мозгу с пугающей отчетливостью иероглифов:

«Любовь никогда не требует времени. А дружба требует его всегда. Все больше, и больше, и больше времени — до поздней ночи».

¹ Мэллон Эдмонд (1741—1812) — исследователь биографии и творчества Шекспира.

Когда Гэхеген совершал свои знаменитые безумства в честь Джоан Варни, они почти не отнимали у него времени. Он спустился на парашюте к ее ногам, когда она выходила из церкви в Борнмуте; как известно, прыжок с парашютом не бывает долгим. Он выбросил билет, стоивший сотни фунтов, чтобы провести с ней лишних полчаса на Самоа,—только полчаса. Он переплыл пролив, подражая Леандру, чтобы поговорить тридцать пять минут со своей Геро¹. Такова любовь. Она состоит из великих моментов и живет воспоминаниями о них. Может быть, она иллюзорна и непрочна. Может быть, напротив, она вечна и потому сильнее времени. Но дружба пожирает время. Если у Гэхегена была настоящая, духовная дружба, он должен был беседовать со своим другом до поздней ночи. А с кем же ему дружить, как не с ирландской актрисой, которая больше всего на свете любит Шекспира? И как только Понд подумал об этом, он услышал глубокий голос Оливии. И понял, что не ошибся.

— Разве вы не знаете,—грустно улыбаясь, спросила вдова, когда он тактично перешел от соболезнований к делам капитана Гэхегена,—разве вы не знаете, что у нас, бедных ирландцев, есть тайная страсть—поэзия? Может быть, лучше назвать это чтением стихов. Оно преследуется законом во всех английских гостиных. Нет худшего порока у ирландцев! В Лондоне не принято читать друг другу стихи до поздней ночи, как в Дублине. Бедный Питер приходил ко мне и до утра читал мне Шекспира, пока я его не прогоняла. Конечно, это смешно и глупо — читать мне полный текст «Ромео и Джульетты». Но что же ему было делать? Вы понимаете, англичане не стали бы его слушать.

Мистер Понд отлично все понял. Он достаточно хорошо знал мужчин; он знал, что мужчине необходим друг, и лучше всего — женщина, с которой он мог бы говорить до рассвета. Он достаточно хорошо знал ирландцев; он знал, что ни дьявол, ни динамит не остановит их, когда они читают стихи. Черные мысли, мучившие его в саду, рассеялись при звуке сильного и спокойного голоса ирландки. Но потом им снова овладела тревога, хотя и

¹ Леандр — юноша из Абидоса, который каждую ночь плавал в Сест к своей возлюбленной Геро, пока не утонул в Геллеспонте.

более смутная. Ведь все-таки кто-то убил несчастного Фреда Февершема.

Теперь он был твердо уверен, что не жена. Уверен также, что не Гэхеген. Он пошел домой, раздумывая, кто же убийца, но только одну ночь пришлось ему искать ответа. Утренние газеты сообщили о загадочном самоубийстве мистера Льюка из известной адвокатской конторы «Мастерс, Льюк и Мастерс». И мистер Понд стал себя укорять: как это он не подумал, что человек, всю жизнь опасавшийся, чтобы его не надули, может обнаружить, что его надувает собственный поверенный. Февершем вызвал Льюка на полночное свидание в свой сад для объяснений. Но мистер Льюк, чрезвычайно заботившийся о своей профессиональной репутации, принял срочные меры, чтобы Февершем ничего никому не сказал.

— Как неприятно, что все так получилось!..— кротко сокрушался мистер Понд.— Во время нашей беседы я заметил, что он сильно напуган. И, знаете, я очень боюсь, что это я его напугал.

ДЕТЕКТИВНЫЕ РАССКАЗЫ ГИЛЬБЕРТА КИЙТА ЧЕСТЕРТОНА

Если бы в начале нашего века англичанина спросили, кого из современных писателей особенно любят в его стране, он назвал бы непременно не только Киплинга, Уэллса или Шоу, но и Честертона. Гильберт Кийт Честертон, родившийся в 1874 году, начал писать еще в школе, печататься стал в двадцать пять лет и сразу приобрел огромную популярность. Он стал любимцем англичан; об его толщине, рассеянности и добродушии рассказывали легенды, приезжие ходили посмотреть на него, как на лондонскую достопримечательность. Его романы, стихи и статьи читали в Англии и во всем мире. Их и сейчас любят многие. Честертон признан одним из классиков английской литературы; но — справедливо это или нет — если упомянуть его теперь, большинство вспомнит его детективные рассказы.

Он начал писать их, когда был уже очень знаменит как поэт, романист и критик. Первый рассказ, «Сапфировый крест», появился в журнале, а вскоре — в августе 1911 года — вышел первый сборник «Неведение отца Брауна». С тех пор Честертон писал детективы до самой смерти (1936). Он издал пять сборников о патере Брауне, один — о Хорне Фишере, один — о Понде, сборник «Четыре праведных преступника», повесть «Древеса гордыни» и несколько отдельных рассказов (Приключенческие его рассказы и повести этим не исчерпываются, но остальные — кроме разве «Человека, который был четвергом», — детективами не назовешь.)

Рассказов о Брауне, священнике сыщике, больше всего (около 50); с них Честертон начал, их лучше всего знают. На мысль о них Честертона еще в 1904 году натолкнула встреча с отцом Джоном О'Коннором. Его поразило, что тихий и, казалось бы, далекий от мирских дел патер так много знает о зле и преступлении. Об этом он написал в «Сапфировом кресте», и это стало осяю первого сборника — «Неве-

дение отца Брауна». О'Коннор был во многом похож на Брауна: правда, он не скрывал преступлений, но он тоже не мог управиться с зонтиком, тоже был рассеян, а главное, тоже поражал добротой, здравым смыслом и юмором. Они с Честертоном дружили всю жизнь, переписывались, гостили друг у друга, подолгу гуляли и беседовали. А когда Честертон умер, О'Коннор написал книгу «Отец Браун о Честертоне».

В Хорне Фишере находят сходство с другим близким другом Честертона, Морисом Бэрингом. Он был лыс и худ, происходил из знати, был в родстве с политическими деятелями и очень скептически к ним относился. Правда, в отличие от Фишера он не только много знал, но и много делал: храбро воевал в первую мировую войну, писал хорошие книги и прекрасно переводил русские стихи.

Но Брауна и Фишера любят и помнят многие люди и не слышавшие об О'Конноре и даже много более известном Бэринге. Герои Честертона живут сами по себе, как живет Шерлок Холмс. Они популярны и в Англии, и во многих других странах. Рассказы о них переведены на все европейские языки, издавались несчетное количество раз и по-прежнему издаются чуть ли не каждый год. О отце Брауне ставят фильмы. Вряд ли есть англичанин, который не знает его.

За что же так полюбили читатели детективные рассказы Честертон? Казалось бы, ясно, за что можно любить детектив. Интересно построен сюжет, не догадаешься, кто преступник, — вот и хорошо. Все это верно, но как-то мало, когда речь идет о Честертоне. С той поры как он начал «Брауна», изданы тысячи детективов, и сюжеты бывали покусней; и все таки его перепечатают, а главное — перечитывают снова и снова, даже когда знают разгадку. Вероятно, не в сюжете — во всяком случае, не только в сюжете — секрет популярности и прелести честертоновских рассказов.

Более того: с формальной точки зрения его рассказы не безупречны. Конечно, «кто убил» — не догадаешься, однако можно найти небрежности, которых не встретишь у Конан Дойла или Агаты Кристи. В рассказах Честертон концы не всегда сходятся с концами. Так, ему не всегда удается естественно ввести сыщика в то или иное дело. У других писателей это решается легко: сыщика просто приглашают. Но Браун и Фишер не только любители, как Холмс; они, строго говоря, вообще не сыщики, и потому — во всяком случае, в первых рассказах цикла — к ним не обращаются. На месте преступления они чаще всего оказываются случайно, и случайности эти далеко не всегда оправданы. Конечно, это условность. Есть и просто неточности. Например, «Тайна Фламбо» построена на том, что никто, кроме Брауна, не знал о преступном прошлом Дюрока. В «Невидимке» же, действие которого происходит намного раньше, запросто говорят о бурной молодости сыщика, и без всякой тайны называют его не Дюроком, а Фламбо. Это далеко не все; однако критики об этом не пишут, читатели не замечают, а тому, кто заметит, это не мешает. Если рассказы Честертон и отличаются от обычного детектива, то не в худшую, а в лучшую сторону.

Горячий поклонник Честертон, критик Роналд Нокс, писал: «Рассказы о Брауне нельзя просто отнести к детективам: это детективы и еще что-то. Как всегда, Честертон так плотно набил чемодан,

что ремни не затягиваются; в сэндвиче — слишком много мяса». Попробуем определить это «что-то». Начнем не с самого главного — так часто делал сам Честертон.

Может быть, рассказы Честертон — это детектив плюс психология? Ведь, по общепринятому мнению, их своеобразие в том, что Браун или Фишер не ползает с лупой в поисках улики, а вникают в психологию преступника. Не знаю, первым ли ввел Честертон такой тип сыщика и сыска. Как бы то ни было, честь этого новшества нередко приписывают ему — наверное, у него это вышло лучше и убедительней, чем у других. Но если это и выделяло в свое время его рассказы, теперь расплодилось много таких детективов, и этим приемом никого не удивишь. Да и вообще ради него не станешь перечитывать детективный рассказ. По-видимому, не в этом секрет долговечности честертоновских новелл. Присмотримся к ним пристальней.

Как и Эдгар По, Честертон был поэтом. Он написал семь книг стихов и сотни поэтичнейших эссе. Кроме того, он был художником, учился живописи, всю жизнь рисовал и даже иллюстрировал книги. В предисловии к антологии Честертон в серии «Классики мира» критик Уиндэм Льюис писал о нем: «Живописи, своей ранней любви, он обязан тем, что особенно остро чувствует форму и цвет облака, озера, драгоценного камня.» Льюис прав: Честертон удивительно изображает мир (хотя вряд ли этим он обязан только живописи). Цвета у Честертон — веселые и чистые, как у средневековых художников. Часто кажется, что в его рассказах воздух особенно прозрачен и предметы видны четче, чем обычно. Он сам нередко писал, что все было видно «четко, как под микроскопом», — так мы видим мир, когда очень радуемся или рано утром. В «Автобиографии» Честертон рассказывает, что в детстве все было освещено для него «белым светом чуда». Он и взрослый не потерял этого дара и умел передать его читателю. Когда читаешь его книги, мир кажется особенно привлекательным, веселым и уютным. На лондонской улице или «белой деревенской дороге» могут твориться страшные вещи, а нам не становится ни мрачно, ни уныло. В этом Честертон и похож на Эдгара По, и прямо ему противоположен: мир у него тоже окрашен и пропитан настроением, но не мрачным, а радостным. Хочется попасть в Хэмстедский парк, где беседуют Браун и Фламбо, или постоять в сумерках перед окном кондитерской, светящимся, «как сигара или фейерверк». (Один из критиков говорил, что читателю кажется, будто он видел цветные картинки к рассказам о Брауне.) Но не только о живописи напоминает проза Честертон. Когда читаешь в «Лице на мишени», как разбился автомобиль, кажется, что смотришь фильм. У Честертон — глаз оператора. Особенно напоминают о кино неожиданные ракурсы и световые эффекты (см., например, начало «Причуды рыболова» или то место в «Дарнуэях», где Пейн глядит из овального окна). Влияние кинематографа исключается: когда Честертон начал «Брауна», кино только-только начиналось, да и позже, в 20—30-х годах, Честертон был к нему довольно равнодушен. Он просто сам видел так, хотел и умел так показать мир.

Однако и это не главное в рассказах Честертон. Те, кто с любопытством следил за хитросплетениями его сюжетов или радовался описанию освещенного окна в сумерках и прозрачно-зеленого неба, на котором проступают звезды, удивились бы, наверное, прочитав в

предисловии к одному из честертоновских сборников, недавно изданных в Англии: «Гильберт Кийт Честертон всю свою жизнь учил людей жить, и даже теперь его имя — как клич боевой трубы». Тем не менее так оно и есть. Когда читаешь его бесчисленные книги, может показаться, что он только и хотел, что позабавить, ошеломить парадоксом или поворотом сюжета. Но вдруг что-то поворачивается, как в калейдоскопе, и мы видим другое: что бы он ни писал, он боролся и проповедовал, «учил людей жить».

Рассказы Честертон полны поразительных по глубине и мудрости суждений о жизни. Хочется выписать их — многие их и выписывают; они вошли в сборники мудрых изречений, а в Англии даже издан «Честертоновский календарь», где на каждое число дается отрывок из его эссе или рассказа. Его суждения можно читать отдельно, но это совсем не значит, что они висят в воздухе, просто вкраплены в текст, как бывают вкраплены шутки или каламбуры. Тот, кого поразили монолог Маргарет в «Пятерке шпаг» или слова Брауна в конце «Летучих звезд», может подумать, что они случайны. На самом же деле Честертон удивительно последователен, все связано у него, все бьет в одну точку. Его можно упрекнуть скорее в навязчивости, одержимости, чем в пустой игре ума.

И наоборот: можно прочитать рассказ и не заметить их, словно в глазу у вас слепое пятно; просто не увидеть их, как не видели почтальона в «Невидимке». Рассказ остается занятым и даже блестящим, но теряет третье измерение — глубину.

Чтобы не случилось ни того, ни другого, надо знать, с чем боролся Честертон и что он защищал.

Когда речь заходит о Честертоне, чаще и прежде всего вспоминают об его оптимизме, и, читая о нем, иногда можно подумать, что он «защищал все» — принимал мир, как он есть. Казалось бы, это верно — ведь мы сами говорили выше об особой, радостной атмосфере его книг.

С другой стороны, даже тот, кто прочитает наш сборник, может подумать и другое: уж не пессимист ли Честертон? Атмосфера атмосферой, но в рассказах о Фишере или в «Сломанной шпаге» он, скорее, сгущает краски. Рассказ «Белая ворона», например, гораздо больше похож на сатиру, чем на идиллию. Надо сказать, критики обвиняли Честертон и в слишком мрачном взгляде на современный мир, и в розовом, почти младенческом неведении зла. Сам же он повторял не раз, что никогда не был ни пессимистом, ни оптимистом. В чем же тут дело?

В одной из книг Честертон писал: «Я пришел к выводу, что для оптимиста все и все хороши, кроме пессимиста, а для пессимиста — все плохо, кроме него самого». Таким оптимизмом и таким пессимизмом Честертон не грешил. Как и Браун в «Сапфировом кресте», он гораздо лучше тех, кто подозревал его в неведении, знал, что не все на свете хорошо. Он прекрасно видел зло — в этом можно убедиться, читая любой его рассказ. Больше того: именно безмятежное довольство он считал одним из главных зол. Прекраснодушных людей, считавших, что все хорошо, он называл шовинистами мироздания и говорил, что они «не отмывают, а штукатурят мир».

Но так же строго, если не строже, он относился к тем, для кого «все на свете плохо». С ними он сражался особенно часто. В любой

книге его стихов, эссе или рассказов он и жалеет, и высмеивает тех, кто так относится к миру.

Противоречия тут нет. Слепое довольство и горькое уныние-смыкаются в равнодушии. То и другое приводит к бездействию, а Честертон прежде всего проповедовал действие: не безмятежность, а мятеж, не уныние, а вызов. С мудростью часто ассоциируют бесстрашие. Честертон стал мудрым очень рано, бесстрашия же не приобрел и в старости и ничуть к нему не стремился. Он и умер потому, что не хотел «уйти на покой», хотя был тяжело болен и врачи приказали ему не волноваться.

«Я принимаю мир,— писал он,— не как оптимист, а как патриот. Мир — не загородный дом, откуда мы можем уехать, если он нам не нравится. Он — наша фамильная крепость с флагом на башне, и чем хуже в нем дела, тем меньше у нас прав махнуть на него рукой» («Флаг мира»).

Честертон любил мир, как любят свой дом, и хотел, чтобы другие полюбили его так же сильно. Только тогда, считал он, люди захотят и смогут сразиться со злом и победить. Он говорил, что надо не просто любить и не просто ненавидеть мир, а «ненавидеть так сильно, чтобы его изменить, и любить так сильно, чтобы счесть достойным перемены».

Так относился к миру он сам. Он умел сильно любить, и ненавидел он сильно; но добро для него — суть мира, а зло — беззаконие, или, как говорил он сам, «узурпация»: оно существует, но не имеет права на существование. Поэтому дух его книг всегда радостен, как бы ужасны ни были события.

Те, кто все это понял, не увидят противоречия в его отношении к Англии. Он признан чуть ли не самым английским из всех английских писателей; один критик сказал, что он пишет с английским акцентом. Но если считать типично английскими компромисс и благодушие, придется признать, что Честертон — не такой уж правове́рный англичанин. В любом рассказе о Фишере и во многих рассказах о Брауне и Понде он говорит о своей стране такую горькую правду, что она кажется преувеличением. Секрет все тот же: он любил Англию не как шовинист, а как патриот. Любовь к ней, как любовь к миру, была у него так сильна, что его обвиняли в приукрашивании. Боль за нее так сильна, что его обвиняли в клевете.

Итак, Честертон любил мир и во имя этой любви боролся со злом. Что же было для него злом? С чем он боролся?

Злом Честертон считал все, что разделяет людей. Сюжет «Странных шагов», «Невидимки» и «Проклятой книги» на первый взгляд может показаться только занятным и парадоксальным. Однако это не так. Много раз — и в рассказах, и в романах, и в очерках — он настаивал на том, что каждый человек бесконечно важен и ценен. Ему не давало покоя одно из главных зол нашего века: равнодушие к людям. Слепота — синоним равнодушия; и вот Честертон претворяет в образы, как бы инсценирует это слово: в его рассказах люди буквально не видят человека. Очень важно, что те, кого не видят, — всегда низшие, подчиненные: секретарь, почтальон, лакей. Особенно ясен этот — социальный — мотив в «Странных шагах». Ту же самую слепоту считал он главным пороком английской бюрократии. В эссе «Двенадцать обычных людей» он писал, что в чиновниках «ужасно

не то, что они злы,— есть и добрые, и не то, что они тупы,— есть и умные, а то, что они привыкли». Для него было злом все, что основано на пренебрежении к человеку,— будь то тирания или филантропия. Один из его излюбленных отрицательных персонажей — снисходительный и брезгливый филантроп. Его тревожило, что живую любовь к живым людям подменяют все чаще отвлеченной любовью к человечеству. «Такой любовью,— писал он,— обидишь и kota».

Тревожило его и неумение видеть мир. Сам он всю жизнь видел его радостно и четко, как ребенок, и писал в старости, что не перестал удивляться одуванчику или дневному свету. Этот дар он хотел передать читателю. «Долг искусства,— писал он,— сохранять способность к удивлению». В самом прямом смысле слова он пытался открыть людям глаза, снимал плену равнодушия и привычности, как снимают серую пленку с переводной картинки. Много раз и в эссе, и в стихах он защищал (или показывал заново) почтовые ящики, фонарные столбы, яркие лондонские omnibus и десятки других вещей, которые люди перестали замечать. В рассказах он защищает их косвенно — вспомните, что говорилось выше об его описаниях и красках.

Некоторые критики считают, что обновление забытых вещей — цель и, так сказать, амплуа Честертона. Это не совсем верно. Его тревожило равнодушие к миру, но равнодушие к людям мучало его гораздо больше. Как Браун в «Дарнуэях», он мог сказать: «Я готов сровнять с землей все готические своды, чтобы сохранить спокойствие одной человеческой душе».

Над теми, кто слеп (а в «Гэхегене» — глух) по дурной привычке, он смеется не без добродушия. Его тревожит симптом, но сами люди не вызывают у него негодования. Если человеку нет дела до другого, смех его становится язвительным; так, к профессору Опеншоу он строже, чем к полисмену или швейцару, не заметившим почтальона. Если же виною тому высокомерие, он становится беспощаден,— вспомним «Странные шаги». Можно сказать, что из всех человеческих пороков он действительно ненавидел только упоение собой и намеренное пренебрежение к другим.

Эти свойства отнюдь не были для него признаками силы. Истинную силу он связывал не с утверждением себя, а с активной любовью к другим. Проблему активного противления злу, породившую столько споров и действительно непростую, он решал так: можно, а порой необходимо бороться с человеком, но нельзя смотреть на него со стороны, как на диковинного зверя, или сверху вниз, как на червяка. В этом и состоит тайна отца Брауна — он ничуть не проповедует непротивления злу, но никого, даже предателя, не считает ниже себя. Почти в каждой книге Честертона есть ученый, для которого человек — лишь объект исследования, или тиран, для которого человек — средство. К ним он безжалостен.

Борьбу Честертон понимал в рыцарском смысле этого слова — как честный поединок с равным или, еще лучше, сильнейшим противником. Кстати, те, кому бросал вызов он сам и в жизни и в книгах — миллионеры, филантропы, политические деятели, — были всегда надежно защищены своим положением, деньгами или громкой известностью. Много раз, особенно в стихах, он воспевал бой, обреченный на поражение. Подавление же слабых он силой не признавал и пользовался любым случаем, чтобы высмеять модный в его дни и очень

опасный культ сверхчеловека. Что же касается общественных форм борьбы, Честертон, как и Браун, был католиком, и силой, способной бороться со сложным злом современного общества, считал католицизм.

Ненавидел он и глупость. Честертон абсолютно не раздражала, скорей радовала нелепая и смешная, граничащая с чудачеством глупость, шокирующая интеллектуалов. Он нападал на другое — на умственную слепоту, против которой так пылко выступает Браун в «Дарнуэях». Особенно же ненавидел он глупость напыщенную, самодовольную. Собственно, только ее он и считал глупостью. Как и равнодушие и высокомерие, она была для него корой, отделяющей человека от мира и от других людей.

Тому, кто так зорок и нетерпим к злу, нелегко уберечься от озлобленности. Любая борьба — даже борьба с высокомерием — может ожесточить человека или хотя бы сделать его суше, чем он был. Честертон избегал этой опасности. И друзья его, и враги пишут о его несокрушимой доброте. Удивительно не то, что он был добрым — добрых людей много, — а то, что он сумел соединить настоящую кротость с настоящей твердостью. Он оставался добрым, хотя никогда не уклонялся от борьбы, не терпел соглашательства и восклицал: «Что может быть прекрасней праведного гнева!»

Избежал он и другой, может быть, еще более страшной опасности. Защита добра очень часто становится или кажется скучными и слащавыми прописями. Сами слова «зло», «добро», «любовь» так затерты лицемерами, что легко могут отпугнуть хорошего человека. Честертон лицемером не был: он жил так, как писал. Но в том-то и губительность лицемерия, что оно обесценивает самые высокие понятия и речи искреннего человека воспринимаются как ложь. Однако слова Честертонa никогда не кажутся ни лживыми, ни елейными, ни плоскими.

В какой-то степени он обязан этим тому, что даже в начале XX века защита здравомыслия и радости отнюдь не была общим местом. Прописными стали, скорее, рассуждения о праве сильного, о самоутверждении, об относительности нравственных законов — словом, все то, с чем он боролся. Честертон шел не по течению, а против течения. Уже поэтому его проповедь — вызов, мятеж, а не елейное пустословие.

Еще важнее другое: он не стал высокопарным и слащавым, потому что в нем совершенно не было самодовольства. «...Чем важнее человек, тем меньше в нем искренности», — писал он. — «...А убежденные, искренние люди не отличаются важностью». Сам он был искренним и добровольно отказался от велеречивой назидательности. Потому так легко принять его за «несерьезного писателя», счесть его рассказы головоломками, романы — клоунадой, а эссе — набором парадоксов и шуток.

Ему нередко ставили в вину намеренную легкость тона. В ответ на эти упреки он написал несколько специальных эссе: «В защиту шутов», «Обвинение в непочтительности», «О серьезности», «О легкомыслии». Он писал: «Не беспечная шутка пуста, а безответственная серьезность». По-видимому, среди литературных критиков было очень много безответственно серьезных — его упрекали за легкомысленный тон и «неуместное шутовство» до самой смерти; упрекают и сейчас

Он и сам говорил, может быть не только в шутку: «.. Судьба моя печальна... Те, с кем я не согласен, считают, что я их дурачу; те, с кем я согласен,— что я валяю дурака».

Конечно, он не совсем прав. Судьба его не печальна, а завидна: благодаря своей простоте он сумел, ненавидя зло, не стать желчным, защищая добро — не стать слашавым. Но врагам он действительно дал возможность отмахнуться от его нападок. Им легко могут пренебрегать «те, с кем он не согласен», то есть те, кто не согласен с ним, те, кому чужды его простодушие, нетерпимость к черствости, защита радости и надежды. Но тем, от кого все это просто скрыто суетой, пеленой привычки и чужих мнений, он помогал и помогает, «открывает глаза». Честертон не столько победил врагов, сколько помог неуверенным друзьям, порой и не знавшим, что они с ним согласны. Он не столько переубеждает, сколько подтверждает, поддерживает, не позволяет поддаться как будто занятым, но неверным мнениям. Вот почему, читая, например, монолог Маргарет в «Пятерке шпаг», чувствуешь, что это — твои собственные мысли, которые ты хотел и не мог выразить так, как он.

Для тех, кому чужды взгляды Честертона, его книги останутся занятым чтивом; и если бы мир состоял только из этих людей, его рассказы не стали бы так популярны. Но это не значит, что все его поклонники видят в этих рассказах кладезь мудрых изречений, что-то вроде сборника афоризмов,— тогда популярней были бы эссе, а это не так. Дело в том, что Честертон проповедует, учит и борется не только прямо, но и косвенно. Открывая его книгу, мы попадаем в атмосферу здравомыслия и доброго чудачества, радости и честной борьбы. В мире честертоновских рассказов четко, «как герб на щите», выступают истинные ценности, исчезают ценности мнимые, все становится на свои места. Вот почему мы снова и снова перечитываем его.

Н. ТРАУБЕРГ

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ЭДГАР ПО

Золотой жук. Перевод А. Старцева	7
Убийство на улице Морг. Перевод Р. Гальпериной	44
Украденное письмо. Перевод Р. Гальпериной	80
Низвержение в Мальстрем. Перевод М. Богословской	99
Свидание. Перевод М. Энгельгардта	118
Колодец и маятник. Перевод С. Маркиша	131
Овальный портрет. Перевод М. Энгельгардта	149
Очки. Перевод Э. Лазебниковой и Г. Фанбуловой	155
Н. Эйшишкина. Рассказы Эдгара По	181

ГИЛЬБЕРТ ЧЕСТЕРТОН

Пятерка шпаг. Перевод И. Бернштейн	189
Сапфировый крест. Перевод Н. Трауберг	220
Странные шаги. Перевод И. Стрешнева	238
Летучие звезды. Перевод И. Бернштейн	259
Сломанная шпага. Перевод А. Ибрагимова	276
Невидимка. Перевод Е. Алексеевой	297
Небесная стрела. Перевод И. Карнауховой	315
Злой рок семьи Дарнуэй. Перевод Н. Санникова	340
Тайна отца Брауна. Перевод В. Стенича	368
Тайна Фламбо. Перевод В. Стенича	377
Проклятая книга. Перевод Н. Трауберг	384
Лицо на мишени. Перевод О. Атлас	398
Неуловимый принц. Перевод Н. Демуровой	419
Причуда рыболова. Перевод В. Хинкиса	441
«Белая ворона». Перевод К. Жихаревой	460
Преступление капитана Гэчегена. Перевод Н. Трауберг	482

Н. Трауберг. Детективные рассказы Гильберта Кийта Честертона	504
--	-----

Эдгар По

ЗОЛОТОЙ ЖУК



Гильберт Честертон

СТРАННЫЕ ШАГИ

Ответственный редактор *Н. В. Шерешевская*. Художественный редактор *С. И. Нижняя*. Технический редактор *Э. М. Кузьмина*. Корректоры *Л. М. Николаева* и *Т. Ф. Юдичева*. Сдано в набор 12/IX 1966 г. Подписано к печати 2/II 1967 г. Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 16. Усл. печ. л. 26,88. (Уч.-изд. л. 26,41) Тираж 300 000 (1—150 000) экз. Цена 1 р. 04 к на бум. № 1. Издательство «Детская литература» Москва, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росгавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сушевский вал, 49. Заказ № 4935.

